

Новела Мамвеева

Мяч, оставшийся в небе



БЛИЗКОЕ ПРОЩЕНИЕ

Новела Мамвеева



Мяч,
оставшийся в небе

Библиотека
мемуаров



Новелла Матвеева

МЯЧ, ОСТАВШИЙСЯ В НЕБЕ

*В зеркале высокого и непреодолимого
прошлого значительно ближе настоящего...*

БЛИЗКОЕ ПРОШЛОЕ



Но не забыть мне и того короткого времени,
когда я ещё верила, что все стрекозы на свете —
стрекозы-старушки и стрекозы-дети —
звали меня летать!

Новела Матвеева

Мяч,
оставшийся в небе

Автобиографическая проза
Стихи

Библиотека
мемуаров



МОСКВА
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ
2006

УДК 821.161.1-94
ББК 83.3(2Рос=Рус)6
М 33

Серийное оформление
Константина ФАДИНА

Составление, вступительная статья
Геннадия КРАСНИКОВА

Примечания
Любови КАЛЮЖНОЙ

ISBN 5-235-02859-7

© Матвеева Н. Н., 2006
© Красников Г. Н., составление,
вступительная статья, 2006
© Издательство АО «Молодая гвардия»,
художественное оформление, 2006

И одна в поле воин...

Гоголи и Жуковские за нас заступники...

Борис Зайцев

*Если бы не было жизни в книгах —
В жизни бы не было книг...*

Новелла Матвеева

Всего несколько десятилетий назад известная поэтесса Новелла Матвеева написала песню, ставшую знаменитой, где был такой запев: «Когда потеряют значение слова и предметы...» Как поразительно быстро, однако, сбываются нынче самые неожиданные пророчества. Впрочем, подобное случалось и во времена Шекспира, обронившего однажды: «Ещё мы спим, а сны уже сбылись!..» Просто эпохи и события разнятся...

К концу XX века нас обольстительно легко и даже радостно, словно облагодетельствовав, приучили к мысли о том, как благодаря «прогрессу» и «цивилизации» с быстротой шагреновой кожи скукожилось повсеместно географическое пространство, как до размеров оруэлловского скотного двора уменьшился, стал ничтожно маленьким наш земной шар. Почти одновременно открылись беспрепятственные возможности для кругосветного передвижения (*со скоростью тьмы — не света!*) капиталов и террористов; для глобалистских замыслов нового мирового правительства и для пошлости массовой культуры с её порнокопытными идолами и кумирами; для так называемых «общечеловеческих ценностей», насаждаемых не мытьём, так катаньем натовских бомб; для наркотиков; для армии мигрантов, в необъявленной латентной войне шаг за шагом осуществляющей захват и передел

мира; для политического проходимства соросов всех мастей (больших пропагандистов политкорректности и «толерантности»); для легиона сектантских миссионеров, новоиспеченных «лжехристов и лжепророков»... Таким, в общих чертах, оказался итог победы «цивилизации» над культурой, грубого материализма над духом. Приходится признать, что современный мир, в котором мы живём, пребывает в кризисной точке истории своего развития.

Означенная «победа» привела в том числе и к исчезновению поэзии (на Западе почти полному, в России — пока частичному!). Можно с абсолютной уверенностью констатировать — в мире стало меньше Поэзии. Само Слово сузилось (сплющилось!) до структурной единицы мёртвого текста, до коммуникативной функциональности. Наступил предречённый Новеллой Матвеевой момент, когда «слова и предметы...» утратили свой высший поэтический смысл. Хотя ещё живо, не вымерло окончательно поколение, которое помнит, что именно Поэзия делала мир необъятным, объёмным, безграничным... Прав был Хайдеггер, утверждавший, что *«бытие оправдывается только в слове»*. Сколько морей и рек, неба и деревьев, стран и путешествий, пейзажей, дорог, людей, эпох, сюжетов, мелодий, песен — в творчестве одной только Новеллы Матвеевой!.. Если здесь уместна математическая терминология, то в своём сложении (в сумме) многоязычная поэзия разных времён и народов расширила кругозор человека до бесконечности задуманного небесным Зодчим Божьего мира. «Кремнистый путь», над которым «звезда с звездой говорит», или «горный ангелов полёт и гад морских подводный ход...» — действительно вне времени и пространства, ибо как сказано поэтом XX века — «от моря лжи до поля ржи дорога далека». Не случайно же в самой великой и самой поэтической книге человечества рассказывается о том, как для преодоления *всего одной пустыни* целому народу потребовалось 40 лет!..

смотря на «большой ветер», который «напал на наш остров»... Само происшествие выглядело как некое приключение: «...А шквал унёс в море / Десятка два шлюпок, / А рыбакам — горе, / Не раскурить трубок. / А раскурить надо, / Да вот зажечь спичку, / Как на лету взглядом / Остановить птичку...»

Странный этот ветер не только разрушает, но и по-своему созидает: «...Сломал ветлу ветер, / В саду сровнял гряды — / Аж корешок редьки / Из почвы сам вылез. / И, подкатясь боком / К соседнему саду, / В чужую врос грядку / И снова там вырос...»

Разумеется, было предчувствие тревоги и в тех, давних стихах и песнях Новеллы Матвеевой, но их экспрессивные краски скорее относились к свободной стихии моря, чем к предвестию общечеловеческих бед и катастроф: «В закатных тучах красные прорывы... / Большая чайка — плавающий сестра — / Из красных волн выхватывает рыбу, / Как головню из красного костра...» Или, помните? — «Шёл кораблик по летним морям, / Корчил рожки последним царям, / Все ли страны в цвету, все ль на месте, — / Всё записывал, всё проверял...» Забавным мультиком покажется теперь история про «кораблик» рядом со скорбью горьких строк «поздней» Новеллы Матвеевой о новейшей нашей истории:

Такой туман ехидный,
Как будто сожгли в нем резину...
Такое впечатленье,
Что в море подлили бензину...
...Какое странное море! —
Ни белое, ни голубое...
Такое впечатленье,
Что сдан Севастополь без боя.
Неужто лиходеи
От праведной кары закляты?
Такое впечатленье,
Что крепости — подлостью взяты!..
...Решусь ли оглянуться
На шум заповедного флага?
Такое впечатленье,
Что льётся из глаз моих влага...
(«Такое впечатленье»)

Конечно, подобная «перемена» в творчестве поэтессы не могла пройти незамеченной. Современная критика (назовем её — «лагерной», пишушая по принципу: «*ихний*» лагерь против «*не ихнего*») была начеку. Вот один из характерных, не заставивших себя ждать, откликов (окриков!): «Прирожденный лирик с дыханием свободным и лёгким, Матвеева упорно пытается писать стихи публицистические; результат — не нулевой даже, а отрицательный» (М. Ремизова, А. Урицкий. Обзор прессы // Независимая газета. 2000. 16 августа). Столь утончённым эстетам либо никогда не доводилось читать публицистические стихи «прирождённых лириков» Пушкина, Тютчева, Некрасова, А. К. Толстого, прежде которых был и Василий Тредиаковский, задающий тон этой теме стихами: «*Начну на флейте стихи печальны, / Зря на Россию чрез страны дальны...*» Или взять беспощадные стихи на злобу дня «прирождённого лирика» Марины Цветаевой, ну, хотя бы её знаменитые «Читатели газет», увы, не потерявшие актуальной остроты и до сего дня: «*Кто наших сыновей / Гноит во цвете лет? / Смесители кровей, / Писатели газет!*», или её «Стихи к Чехии»: «*...Отказываюсь — быть. / В Бедламе нелюдей. / Отказываюсь — жить. / С волками площадей / Отказываюсь — выть...*»

Либо патентованным либеральным ценителям прекрасного доставляет особое удовольствие упиваться высоким искусством (так же, как и подлым хохмачеством концептуалистов), когда под ногами горит земля, когда «крепости — подлостью взяты», когда государство унижено предательством власти, когда демократия в стране работает с неумолимостью газовых печей Освенцима, освобождая от земных тягот по миллиону человек в год... «*Тут уж пир — не ВО ВРЕМЯ чумы, а ВО ИМЯ чумы*», — как сказано у Новеллы Матвеевой, для которой, по её признанию, «не участвовать в кораблекрушении» есть принципиальный этический и эстетический императив.

Тотальная деградация в мире, игра «на понижение»

болевого, морального, психологического порога слишком опасны, чреватые цепною реакцией взаимоуничтожения, обоюдодоканнибализма. Новелла Матвеева так описывает это скатывание в пропасть: «...с дороги — на тропинку, а с тропинки... уж и не знамо куда (бывают ведь ещё и канавы!). От Достоевского — к Арцыбашеву, от Александра Островского — к Т. Уильямсу, от героев Александра Грина — к ведьмёнку Гарри Поттеру, летающему на метле; от “Капитанской дочки” — к мерзостям про девочку Лолиту (помоями политу); от честности — к непрошеной откровенности; от Галины Улановой к От Михаила Плетнёва — к И одним словом — уж обязательно от Моцарта — к Сальери!» («Сюжеты на манжетах»). Клиническое привыкание к крови, убийствам, трупам на экране, на сцене, в литературе — давно перешло не только грань христианской морали, но и все пределы человеческого одичания, — предупреждает поэтесса. «*“Гибель Титаника” — это не мистика. / Не развлекаловка. Не беллетристика... / ... Что ж вы никак НАГЛЯДЕТЬСЯ не можете / На беспокойное, на безысходное? / В чём-то и с нашими бедами сходное?..*» («Неслышимая сирена»). И расплата не заставила себя ждать. Диагнозом, поставленным современному человечеству (не пожелавшему услышать «штормовое предупреждение!»), можно считать реакцию композитора авангардиста Карлхайнца Штокхаузена на события 11 сентября в Нью-Йорке, назвавшего нападение на манхэттенские башни-близнецы «величайшим в мире произведением искусства». Факт (по нравственной глухоте мало кем замеченный), после которого человечеству падать ниже уже некуда. Тут, как говорится, точка возврата пройдена, дальше только болезнь к смерти, только дорога в ад, только возвращение неиспользованного билета Богу...

В творчестве Новеллы Матвеевой никогда не было противоречия между формой и содержанием: *эстетическое* начало отстаивает *этическое* в жизни, а *этическое* всегда на

стороне прекрасного, *эстетического*. Любители поэзии знают, с каким совершенством владеет поэтесса ювеналовым бичом — сатирой, иронией, как остроумны и опасны её эпиграммы, памфлеты, политические инвективы. Её дифирамбы, пасторали, гимны — природе, небу, человеческой порядочности, униженным и оскорблённым. Её сатира, публицистика — вызов подлецам и негодьям, унижающим и оскорбляющим, клеветникам России, пошлякам и растлителям, всем тем, кто —

...вместо клятвы Гиппократ
Даёт вам клятву Герострата...

С годами сатира Матвеевой становится жестче, неприимей:

...Прощать врагов приспела нынче мода
И в том числе врага людского рода!

О том же в своё время предупреждал великий русский философ Иван Александрович Ильин: «...никто не в праве прощать *чужие* (курсив Ильина. — Г. К.) обиды, или предоставлять злодеям обижать слабых, развращать детей, осквернять храмы и губить Родину», ибо действительно «только для лицемера или слепца равноправны Георгий Победоносец и закалаемый им дракон».

Особое замешательство у «лагерной» критики вызывает то обстоятельство, что Новелла Матвеева своим творчеством решительно опрокидывает распространённое мнение о якобы невнимании нашей литературы (в отличие от западной) к форме художественных произведений. С таким-то артистизмом, да с таким моцартианским «свободным и лёгким» дыханием, да с такой европейской культурой ей вроде как на роду написано принадлежать к либеральному лагерю «чистых», свободных от докучных социальных, национальных, державных, моральных предрассудков или, упаси Бог, от «имперских», а пуще, патриотических взглядов, для этого есть тёмные литературные смерды, лаптем щи хлебающие, квасом запивающие...

К сожалению, мы и сами распространяем тот же миф о собственной ущербности, «недотянутости» (ну, конечно же!) до мировых стандартов: «...родственная русской литературе черта — жертвовать законченностью формы, если в ней не уместится “дело”» (Петр Палиевский). Новелла Матвеева с блеском доказывает (практически и теоретически!), что это не так:

...Есть клады ценных слёз, есть копи, есть пещеры
Алмазных вымыслов и фактов золотых,
Но муза не придаст им ни малейшей веры,
Пока отделки блеск не заиграл на них.

Как часто тёмная певца терзает сила!
Как песня бы его страданья облегчила!
Пой, торопись, Орфей! Твой дар тебя спасёт!

Уж весь подземный сонм его за платье ловит...
Он может умереть, пока слова готовит!
Но не готовых слов он не произнесёт.

(«Есть вопиющий быт, есть вещи примеры...»)

В своей прозе Новелла Матвеева, вспоминая младенческий возраст, приоткрывает неожиданно глубокий философский смысл невозможности для себя произнесения «не готовых слов»: «Задержусь лишь на том, как жадно я хваталась за первые образы бытия, на собственном горьком опыте успев понять, что всё самое страшное идёт от бесформенного или неопределённого» («Мяч, оставшийся в небе»).

Покажется анекдотом, но в прежние времена тогдашняя, по-отечески пристальная, критика нередко вменяла Новелле Матвеевой в вину именно виртуозное владение формой, словно предполагая в этом скрытый идеологический подвох, а проще, невозможность для себя в силу малообразованности своевременно углядеть фигу, глубоко замаскированную в излишней, как они считали, «книжности» и «литературности» поэтессы. И хотя нельзя не согласиться с неистовым Лютером в том, что «истина сильнее красноречия», но традиция европейской поэтической культу-

ры, утверждённая Пушкиным и продолженная Лермонтовым, Тютчевым, Блоком, Белым, обоими Ивановыми — Вячеславом и Георгием, — подняла русскую поэзию на мировую высоту, доказав, что истина становится доходчивей и убедительней, если она отчеканена в идеальной форме. Говоря о *виртуозном* поэтическом мастерстве Новеллы Матвеевой, уместно вспомнить латинский корень этого слова: *virtus*, что значит — «доблесть», «добродетель», «подвиг». Кстати, тут поэтесса и заносчивым европейцам может дать сто очков фору. Когда, к примеру, знаменитый испанец Рамон Гомес де ла Серна иронизирует по поводу её любимой стихотворной формы, называя сонет «бархатным жилетиком поэзии», во-первых, видишь усталость и старческую апатию западноевропейской литературы, забывшей о «суровом Данте», «не презиравшем сонета», о Шекспире с его могучими четырнадцатистрочными скрижалями!.. Для Матвеевой же, у которой, кажется, более половины стихов написано в данной классической форме, — сонет скорее кольчуга, латы, рыцарская амуниция, но уж никак не «жилетик»! Прочтите её знаменитые сонетные циклы в защиту Шекспира (целые поэтические трактаты, достойные учёной степени британской академии!), стихи о Кристофере Марло или её, как всегда, остроумное эссе «Сонет, не презирай поэта!», и вы увидите, что эта форма в русской поэзии ничуть не устарела, она дисциплинирует мысль, оттачивает слово, требует от фразы бесстрашной лаконичной остроты и гибкости.

Поклонники поэзии Новеллы Матвеевой знают, с какой благородной отвагой бросается она в бой то на защиту Шекспира, то на защиту детских душ от телевизионных и книжных Ставрогиных, то на защиту русского леса от нуворишей, то на защиту маленького человека (не случайно любимые её герои — чаплинский персонаж, Гекльберри Финн, бедняки из трущоб всех времён и стран)... Невольно приходит на память давно написанный ею сонет «Жорж Санд»:

...Учтив, спокоен, храбр, великодушен,
Не столь плаксив, не всем ветрам послушен,
Один Жорж Санд — мужчина среди всех.

Ужель это та самая Матвеева, от светлых романтических стихов которой когда-то был в восторге Корней Чуковский, человек изысканного вкуса? Рассказывают, как однажды, услышав очаровательного матвеевского «Солнечного зайчика», по-детски импульсивный, в радостном порыве он даже принялся прыгать через стул... (Так же эмоционально, бегая по комнате со словами: «Гоголь, новый Гоголь явился!..», встречал Чуковский в начале XX века появление в литературе Евгения Замятина!)... Однако тот же Корней Иванович, блестяще знавший русскую поэзию и писавший о самых великих поэтах XX века, называл Новеллу Матвееву «уходящая». Почему? Во-первых, в эти слова вкладывался буквальный смысл — «уходящая», поскольку по врождённой деликатности Новелла Матвеева старалась «не обременять» старого писателя своим присутствием, не задерживаясь обычно в его доме, и без того полном обожателей и почитателей. Но вряд ли утонченный эстет Чуковский не вкладывал в это слово и некий дополнительный смысл, обозначающий, как теперь сказали бы, своеобразный «эскапизм», что в переводе на пушкинский язык значит «задумал я побег» — от реальности, от действительности в мир фантастический, в мир грёз. Подразумевалось ли, что романтика, в которой тогдашняя критика прописала музу поэтессы, — слишком старомодный для новой эпохи предмет, «уходящая натура», как Россия Чехова, Иннокентия Анненского, Блока?.. А быть может, в «уходящести» всё-таки вкладывался иной подтекст, вполне открывшийся только с годами? Ведь многие давние произведения Новеллы Матвеевой, как перевёрнутые нынешней эпохой айсберги, обнаруживают свою невидимую до поры («уходящую» от глаз) суть, ранее прикрываемую видимой романтической надводной «одною третью»... Ведь в те годы и прозвучало недвусмысленно, для чего приходят на Землю

поэты: *«Их тоска над разгадкою скверных, // проклятых вопросов — / Это каторжный труд суеверных // старинных матросов, / Спасаящих старую шхуну Земли».*

Неспроста Иван Киуру называл её лирику «рыцарски щедрой, поскольку она не ворчливо умудрённая, а детски мудрая и всегда на стороне справедливого». Вот и дом у «девушки из харчевни» в знаменитой её песне не богат своим бытом, иначе бы плащ не «висел на гвозде», вколотенном в стену.. И след от гвоздя исчезает в том доме «под кистью старого маляра», а не благодаря буржуйскому евро-ремонту или, помилуй Бог, «феноменологической редукации», как померещилось учёной голове Льва Аннинского («У нашей героини любимый редуцируется до плаща, потом плащ редуцируется до гвоздя»). Да и сама Новелла Николаевна по своим детским снимкам не случайно так похожа на девочку с картины Константина Маковского «Дети, бегущие от грозы». В стихах она декларирует это со всею определённою: *«...Поэзия есть область боли / Не за богатых и здоровых, / А за беднейших, за больных»* («Поэзия»).

В эссе «Почему у нас гениев нет?», написанном в начале 90-х годов прошлого века, в самый разгар катастрофы очередной, теперь уже либеральной, революции, Новелла Матвеева высказывается о роли художника в обществе с тою предельной нравственной мерой, какой, пожалуй, трудно припомнить со времён «Дневника писателя» Фёдора Достоевского: «Обосновываем, утверждаем и подтверждаем правду. Каждый свою. Но каждый — минуя вопросы земного богатства и земной бедности. Как будто это что-то второстепенное. Как будто на путях правды бывает что-нибудь другое, кроме этих двух проблем. Как будто их как-нибудь этак обойти можно. Сделать вид, что не от них все, буквально все остальные вопросы! Проблемы! Беды! При всяком новом успехе этой маленькой хитрости убавляется нечто важное в каждом человеке, в каждой судьбе, в каждой профессии — везде, где эту хитрость применили. Но самое необратимое происходит, конечно, с художником,

закрывающим глаза на самое вопиющее: на богатство одних и на бедность других... и вот почему (talанты у нас есть, но) гения нет и не может быть». И всё чаще отчаяние прорывается в творчестве поэтессы, пытающейся, как героиней какого-нибудь ненаписанного романа «Тихий Дон Кихот», бороться с ветряными мельницами: «Народу — гриб сорвать нельзя. / Всё можно — для Ылиты! / Страна разграблена. Не вся. / Но нет у ней защиты» («На приватизацию русских лесов»).

Чтобы понять истоки «всемирной отзывчивости» таланта Новеллы Матвеевой, нужно для начала попытаться понять причину обаяния тех песен, которые невозможно отделить от тайны, таящейся в её лёгком, почти детском голосе. Пусть это покажется неправдоподобно странным, но есть что-то неожиданно роднящее голос русской поэтессы Новеллы Матвеевой с голосом русской певицы Евгении Смольяниновой. Она тоже поёт почти как ребёнок, как, наверное, пела услышанная Блоком девушка «в церковном хоре» — «о всех кораблях, ушедших в море, о всех, забывших радость свою...» (А ведь это не только тема молитвы о «плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих», но и один из повторяющихся сюжетов поэзии Матвеевой!) О манере исполнения Смольяниновой известно, что это русская школа народного пения, которому певица училась у старых крестьянок. Видимо, есть какой-то генетический код, который связывает, казалось бы, столь далёкие друг от друга камерный стиль уникального авторского исполнения и изысканное народное пение!..

Не случайно, пожалуй, именно это *народное* естество интуитивно уловил в песнях поэтессы такой интеллектуал, как Альфред Шнитке, композитор с мировым именем.

С точки зрения профессионального музыканта, — это и есть то непостижимое, что никакими Гарвардами, никакими консерваториями не возьмёшь, что даётся только изнутри культуры твоего народа, из глубины и мелодической протяжённости родного слова, родного пейзажа, родной

истории... В «этот уровень» безоговорочно «выходят» лучшие песни Новеллы Матвеевой: «Какой большой ветер...», «Цыганка-молдаванка», «Горизонт», «Мой караван шагал через пустыню...», «Девушка из харчевни», «Окраина», «Адриатика», «Ехал солдат лесом», «Следы», «Капитаны без усов», «Луна», «Ах, как долго, долго едем...», «Платок вышивая цветной», «Когда потеряют значенье слова и предметы...» и десятки других, разлетавшихся по всей стране сначала на магнитофонных бобинах, а затем на грампластинках, звучавших с эстрады и в кинофильмах*.

Кстати, есть прелестный эпизод в воспоминаниях Новеллы Матвеевой о том, как в детском саду вместе с другими детьми она пела песню о Щорсе: «...наш хор выстраивался на ступенях. И с определённого мгновения где-то надо мной, в верхнем ряду поющих, начиналось тихое цоканье — подражание удаляющейся коннице. Это некоторые, специально отведённые для такого дела, ребята принимались ритмично щёлкать языками. Помню своё удовлетворение, что я-то не в цокающем ряду!.. («Из песни слова не выкинешь»)». Трудно себе вообразить Новеллу Матвееву с её одиноким голосом не для хора, поющей коллективно!.. И как прекрасно, как точно явлена здесь черта её характера: не быть «в цокающем ряду»!..

Написанная в последние годы Новеллой Матвеевой проза, собственно, и есть исповедь о том, как человек, про-

* В одной из бесед на мой вопрос о приоритете в создании авторской песни в нашей стране Новелла Матвеева ответила: «Справедливость требует сказать, что вообще-то я была первая, хотя сейчас не любят об этом говорить. Может, Окуджава уже тогда писал, но ему как-то препятствовали. Так что когда он начал, я не знаю, а я так в 42-м году начала. Во второй половине 50-х я написала очень много песен — и “Миссури”, и “Индийскую песню” (это были песни к моему роману “Чёрный Боб”). В 60-м году я выступила на литературных курсах, а в 61-м уже выступала очень сильно, и никто не сказал мне, что есть ещё кто-то. Враги бы мне сказали из злорадства: “Ага, ты не первая!..”, друзья сказали бы просто так: “Ой, как интересно, ведь есть ещё такой-то...” Вокруг была пустыня... Только в конце курсов я узнала, что есть Булат Шалвович...»

Справедливости ради надо заметить, что и сам Булат Окуджава признавал: «Матвеева первой взяла в руки гитару».

жив долгую и трудную жизнь в разных эпохах, при разных политических режимах и правителях, будучи по большей части страдательным субъектом истории XX и теперь уже XXI века со всеми их войнами, трагедиями, идеологиями, разломами цивилизационных систем, распадом империй, духовными и экологическими катастрофами — смог сохранить в чистоте бессмертную свою душу, свой не агрессивный, но твёрдый голос, своё отдельное, пусть и продуваемое всеми ветрами место на Земле не в «цокающем ряду» и не в толпе кричащих: «Распни Его!..»

Воспоминательно-эссеистический жанр этой прозы можно определить словами самого автора как «личный эпос». Сколь бы величественно эпическим ни было движение Большой Истории, Большого Времени, внутри него у каждого из нас есть своя собственная история, свой «личный эпос», даже своё отношение с обычным временем (как, например, в сказке у Новеллы Матвеевой: «У меня не было часов ни на руке, ни на башне!»). Хотя и образ Большого Времени ещё в начале творчества, как мне кажется, выражен у неё невероятной, космической метафорой — «Выселение из Вселенной». Такими масштабами в поэзии мог мыслить ещё разве что Уитмен...

Жизненные обстоятельства, в которые попадала поэтесса, были нередко таковы, что, описывая их, ей приходится порою как бы заранее оправдываться перед читателем: «Ах, боюсь, меня опять посчитают злою! Что, по мнению некоторых людей, слишком не соответствует моему, творчески-беззащитному, облику и нежной, как фиалки, манере письма...» («Дама-бродяга»). Но как описать «фиалковыми» красками «неприветливую, неуютную, осыпанную матом и щепками детдомовскую территорию», где «на все приютские воротники ставятся клейма — то есть имена и фамилии обвиняемых в сиротстве, уличённых в беззащитности» («Пастушеский дневник»)?

Как идиллическим языком «Дафниса и Хлои» Лонга передать реальную историю гонений, клеветы и преследо-

ваний, которыми мелкие грызуны советской номенклатуры буквально изживали со свету (выселяли из Вселенной) двух незащитных поэтов, Новеллу Матвееву и Ивана Киуру, её мужа. «В моём истерзанном воображении Иван Семёнович — как человек бесстрашный и слишком неосторожный — при всякой его отлучке из дома погибал тысячу раз!.. куда бы то ни было я — в мирное для всех время — провожала Ивана Семёновича как на фронт! Как на войну, видную, казалось, нам одним, слышную — нам одним, тайно объявленную — для нас одних. Я боялась, что его... покончат с собой!» («Дама-бродяга»).

Так было, свидетельствую об этом, поскольку именно в те годы (начало 1980-х) мы как раз и познакомились с Новеллой Николаевной и Иваном Семёновичем и вся эта криминально-абсурдистская история разворачивалась на моих глазах. Мне приводилось быть свидетелем сцен, подобных описанному в «Даме-бродяге» сюжету, происходивших на внешне благополучных для постороннего взгляда тропинках Дома творчества: «“Не вздумай с ними связаться, — потихоньку предупреждала я Ивана Семёновича при их приближении. — Им ведь только того и надо!” — “Выпрямись! — отвечал мне он. — И не вздумай уступать им дорогу!” Их же — одаривал таким взглядом, что (надобно отдать им должное!), не выдержав, они отводили взоры...»

Присутствие Ивана Семёновича Киуру на страницах прозы Новеллы Матвеевой столь же значительно, сколь значительно было присутствие этого во всех отношениях удивительного человека и поэта в её жизни. Вместе они составляли настолько гармоничную, цельную, дополняющую друг друга пару, что, глядя на них, нельзя было усомниться в истинности утверждения о том, что браки совершаются на небесах. В сущности, это были два странника, два Божьих человека на земле, рождённых для поэзии, далеких от «шума повседневности» (Н. Матвеева), от мирской суеты, от свары за место под солнцем. И в этом была вся их драма, ибо, как поётся у Новеллы Матвеевой: «Но

*колбасникам, тайным и явным, поэты противны». Не удивительно, что в наиболее драматических моментах её воспоминаний, как античный хор в трагедиях древнегреческого театра, возникают стихи Ивана Киуру, как, например, эти глубоко символические строки: «*Нерв звенящей натянут струною / И дрожат на нём горькие слёзы... / То не Лорки ли песню они отразили / И трепещут, сорваться готовы? / Не сорвутся. Вы соли их не раскусили / И подумали вовсе не то вы...*»*

В этой прозе много снов, самых различных: от снов-расследований, снов — Шерлок Холмсов (блестящее эссе-сновидение «Опыт грёз» о разгадке убийства Кристофера Марло), до снов — режиссеров, постановщиков трагедии о Ясоне («Дама-бродяга», где страшная, как сон, явь, перемешана с не менее ужасающим сновидением). В снах вообще не бывает прозы, сны сами по себе всегда поэзия, а в рассказанных снах Новеллы Матвеевой это ещё и поэзия, на которой лежит золотой отблеск художественного опыта Гофмана, Кафки...

В яркой традиции политических памфлетов Дефо, Свифта написано эссе «Страшный кондитер» о трансгенных (генетически изменённых) продуктах. С такой бы великолепной речью к народным защитникам в Госдуму. Но там и Солженицына не услышали, осмеяли, посчитав себя семипядистей во лбу.. И разве услышали бы наши думцы такой вот глас вопиющего: «Господь создавал этот мир как гениальное стихотворение. Никто не вправе редактировать Господа! А тут явились целые бизнес-кланы редакторов хлеба нашего насущного...» («Страшный кондитер»)?

В большой работе «Сюжеты на манжетах» на каждой странице россыпь открытий, отточенных мыслей: «Есть люди, которым ужасно нравится думать, что у нас в России чего-то нет! Ну, хоть чего-нибудь пусть в России не будет — и то уже им приятно... Канальство, — как легко их сделать счастливыми!..», или: «Можно считать порчу кон-

цом всего. Однако началом всего порчу считать я отка-
зываюсь», «мелодия — это СЮЖЕТ МУЗЫКИ, а сюжет —
это МЕЛОДИЯ ПРОЗЫ»... И сколько ещё подобных драго-
ценных наблюдений у Новеллы Матвеевой повсюду: «Был
бы грех — оправдание сыщется», «Упоение — враг анали-
за», «Благородство, даже испорченное легкомыслием, даже
не во всех точностях в себе уточнённое, но ИСКРЕННЕЕ
И ПЫЛКОЕ, тоже может одерживать блестящие победы
над временем» («Именем короля!..»); «а неплохое было бы
название для журнала — “Весёлый экономист”?» («Страш-
ный кондитер»); о «Бегущей по волнам» А. Грина — «Слов
нет: “Алые паруса” Грина совершенны, но по мне “Бегу-
щая” лучше. Здесь больше приключений, пространства,
тайны. Больше догадок о душе человека... Быть может, я
скажу неожиданность, но “Бегущая по волнам” это СВОЕ-
ГО РОДА... гриновское “Преступление и наказание”!»
(«Не скучно ли на тёмной дороге?»). (Собрать бы эти изре-
чения Новеллы Матвеевой вместе с бесчисленными поэти-
ческими максимами из её стихотворений, какой дивный
сборник афоризмов мог бы сложиться, не хуже знамени-
того «Карманного оракула» Бальтасара Грасиана-и-Мора-
леса!)

Читая классическое эссе Матвеевой «Над омутом лó-
зы...», убеждаешься, что все разговоры о «конце русской
литературы» не более чем чья-то злоумышленная выдум-
ка. Так же, как и воспоминания «Мяч, оставшийся в не-
бе», это повествование, посвященное «утреннему свету
детства», наполнено той красотой и таинственностью, той
чистой доверчивостью и мудростью неведения, той от-
крытостью незнакомому миру и впервые возникающими
в юной душе вечными вопросами бытия, которые помнят-
ся нам как незабываемая радость от чтения лучших стра-
ниц о детстве Сергея Аксакова, Льва Толстого, Алексея
Н. Толстого...

Что же видно с высоты детства, какая правда про нас
и нашу жизнь открывается *оттуда*? Что *здесь* существует

мир реальный, без неба, где кругом униженность бедности, алчность богатых, злобность преследователей? Но ведь НАД ВСЕМ этим всегда, во веки веков, был и будет прекрасный, необыкновенный, незабываемый «Мяч, оставшийся в небе»! Послушайте — *в небе!* — а не провалившийся же в бездну, в тартарары или в преисподнюю, — какими бы там жестокими и трагическими ни были «тридцатые», «сороковые» прошлого века! Ведь это *там* свершилось чудо рождения поэта Новеллы Матвеевой! Это *там*, по её свидетельству, был у неё «первый перехват горла перед явлением настоящей поэзии». И виной тому были «не только сами... стихи, но и то, как читала их моя мать». Это *там*, как теперь сказали бы, в «тоталитарной», «не идеальной», грубой эпохе, слух будущей поэтессы «был навсегда испорчен музыкой Идеала и ничего иного больше не принимал». И как же не подумать после этого — не есть ли вся наша последующая взрослая история всего лишь обратный путь в поисках утраченного мяча, оставшегося в небе?

P.S. Будь жив Александр Пушкин, он непременно внёс бы в свой «Table-Talk» историю о том, как автор старинной новогодней песни про «Золушку» (*«Я раздуваю пушинку огня, / Пламя бушует и варятся щи, / Если за печкой не сыщешь меня, / То уж нигде не ищи...»*) попала однажды наяву, ну, не в царский дворец, а в Кремль, на вручение Государственной премии. И как, проходя по красной дорожке, чтобы получить из рук президента премию, потеряла тужельку (с ноги у неё буквально едва не слетела босоножка!)... Но то был бы не более чем повторившийся сказочный случай, если бы... Если бы Новелла Матвеева не написала когда-то ещё одну пророческую песню, в которой предсказала новый поворот темы своей Золушки, весьма подходящий к её кремлёвскому происшествию: *«Но портить подошвы ходьбой / Не так по душе мне, / Я лучше приду к вам босой — / Так будет дешевле...»* («Платок вышивая цветной»)...

Но ещё поразительнее, что многие удивились этому государственному признанию её творчества — одни из зависти (почему она, а не мы?!), другие из раздражения (уж слишком любит Россию, того и гляди, станет российским Киплингом, певцом империи!). А Новелла Матвеева, вопреки всему, продолжает своё великое духовное странствие в мире, где почти уже не осталось места для поэзии.

Вы видели когда-нибудь, как ходят по земле «певцы империи»? У Новеллы Матвеевой это очень хорошо описано: «Свернуть бы? Да было некуда. Промедлить? Не имело смысла. У меня уже выработалась походка бродяг, — людей, которым спешить некуда, но и остановиться нельзя...»

2005

Геннадий Красников



«Цвёл ли, не цвёл ли в долине жасмин...»

Старое дерево и жасмин.

Рисунок Новеллы Матвеевой. Конец 1940-х гг.

БЛИЗКОЕ ПРОШЛОЕ

Мяч,
оставшийся в небе



Аркадские пастухи

Родилась я в Царском Селе. И это было с моей стороны уже нескромно, потому что (надо ли напоминать?) именно там находится лицей, в котором учился Пушкин и в котором он был счастлив, как больше нигде. Таким образом, сама Судьба позволяет мне то, чего люди бы не позволили: повторить за великим поэтом:

...нам целый мир чужбина,
Отечество нам Царское Село.

К сожалению, на этом сходство мое с Пушкиным обрывается (о чём я, впрочем, могла бы и не сообщать!). Да и оставалась я в «садах лицейя» недолго. Когда у меня спрашивают — помню ли Царское Село, я обычно, шутя, отвечаю, что меня оттуда увезли *в бессознательном состоянии*. (То есть ещё до обретения сознательного взгляда на мир.)

«Жители Аркадии счастливой»^{1*}, — счастливым голосом иногда произносила мать любимую, неведомую мне цитату. Может быть, из Филипа Сидни?² И этот возглас-вдох легко было отнести не только к её харбинскому детству, но и к периоду царскосельских рош, где семья жила так недолго и — по странному совпадению — тоже счастливо! Можно подумать, что душа молодого Пушкина, «солнца русской поэзии», там, на лицейской земле, опекала

* Цифрами обозначены примечания, которые даны в конце книги. — *Ред.*

моих родителей как достойных и горячих солнцепоклонников! Можно подумать, что во всех прочих краях России ему (Пушкину) сделалось потом не в пример трудно им помогать...

Убеждена, что места обитания гения, где он был более-менее продолжительно^о счастлив, благотворно действуют и на людей, в них потом поселяющихся. Злым людям и злой судьбе надо как-то особенно постараться, чтобы добиться ослабления волшебства местности, а то и полного исчезновения благотворного её влияния. Иногда мне кажется, что под давлением ужасающей непочтенности нашего века аура царсосельских рощ давно уже ослабла или угасла, что сам досмотр богов за ними отменен... А то опять вдруг подумается, что моим родителям не надо было уезжать оттуда так скоро.

Кто не помнит (хотя бы как я — по репродукции) картину Пуссена «Аркадские пастухи»? Пасли, пасли они своих коз, да и набрали вдруг на некое надгробие и никак не могут понять — что это такое; и читают надпись на камне, а всё равно не могут понять, — ведь сами-то они бессмертны! Вот и Царское Село в моём позднейшем представлении было Аркадией (ещё и от множества а р о к!), а всё остальное в мире — всего лишь тем камнем с надписью, на который сразу же наткнулись аркадские пастухи — мои родители, — как только возымели неосторожность покинуть край, охраняемый божеством Поэзии. И с тех пор куда ни пойдут, — везде этот камень... Камень преткновения, которого только из Аркадии не видать было. И эту надпись давно уже читают многие люди нашего рода, а всё не могут понять её. И даже сами уже обучились нехитрому искусству исчезновения, а надпись понять всё не могут, ибо недоразумение, связанное с некоторыми из нас, распространяется и на них... Так — если не думала, то представляла я, когда узнавала Царское Село (по снимкам и гравюрам) как бы двойным узнаванием: то есть — «узнавала» в смысле — видела впервые и «узнавала» в смысле — видела не впервые. Да: всё-таки как будто не впервые видела я свою

родину, которую воспринимала почему-то и как прародину, где и мои родители и я некое — очень короткое! — время были бессмертны.

Хотя настоящей моей прародиной был Дальний Восток, бесчисленные пёстрые образы которого, выступая рядом с отцовской пушкинианой, также начинали уже влиять на мою неоперённую личность. Но заявляли они о себе то во всеуслышание, то... тихо-тихо, потому что не пришло ещё тогда для меня время Страны при боя. До неё ещё дойдет разговор в последующих главах. Однако уже сейчас мне любопытно отмечать наш фамильный путь, пролежавший от Крайнего Востока до Крайнего Запада!

Сознать себя я начала в Москве, где, как это ни странно (и тут начинается уже какая-то иная «география»), я как будто стремилась вспомнить о предшествовавшем небытии! Оглянёшься назад, так дальше не легче! Как сейчас помню, меня в детской-спальне оставляли на ночь одну. И тогда мне в голову начинали приходиться вопросы, по-видимому, философской важности. Например: была ли я да в но? Была ли я... много, много, много раньше? И где находится это «раньше»? И... разве могла быть где-нибудь такая беспредельность, в которой не было ни моих мыслей, ни меня самой? От этих, всегда врасплох застававших меня, вопросов становилось не по себе. Хорошо ещё, что взрослые, уходя, оставляли включённым свет! (Вероятно, без света я вообще не засыпала.) Хорошо, что иногда на соседней койке ночевала сестра. Хорошо, что по стенам у нас всегда были развешаны, в основном выбранные мамой, картины; они уведили мысль от непонятной предмировой «пустоты» с её грозной беспредметностью. Тем меньше теперь понимаю: каким же образом я успела тогда добыть для себя чувство пустой стены? Разве что — мы не обжились ещё на новом месте и картины не сразу свои места заняли? Или я не вдруг их заприметила? Или — по малости лет — воспринимала их как бессмысленное нагромождение пятен?

Ненадолго ещё вернусь к этому времени до-картин, к своей личной небольшой «вечности», к личному своему

«белому безмолвию» (если воспользоваться выражением Джека Лондона). К «белому безмолвию», вдруг свалившемуся на дитя малое, неразумное! Но этот, самый незащитный, период, это моё смутное время (или безвременье) — до первого освоения первых картин на стенах — мне долго вспоминать всё же не хочется. Задержусь лишь на том, как жадно я хваталась за первые образы бытия, на собственном горьком опыте успев понять, что всё самое страшное идет от бесформенного или неопределенного.

Итак, при всяком новом начале ночи я обычно боялась даже шума в собственных ушах, похожего на глухой стук; шума, которого не слышишь, пока не припадёшь ухом к подушке. Поэтому я избегала припадать к подушке ухом, — а на одном затылке долго ведь не продержишься. И наконец придумала остроумный выход! Я уже знала от родителей кое-что о таких людях, как солдаты. (Как это хорошо — хоть что-нибудь знать!) Знала и о военном барабанном бое (почти уже эрудиция!) и, чтобы дальше не опасаться ночного шума в ушах, придумала, что это не шум никакой и не стук, а это... солдаты, поместившиеся у меня в ушах (и, должно быть, маленькие, точно атомы!), бьют в барабаны!

Первое представление спасало и выручало. Я успокоилась. Тут и вообще догадалась, что для преодоления неназываемого белого безмолвия надо обязательно что-нибудь представлять.

Что же мне представлялось ещё — на той ранней заре «туманной юности»? Кажется, следующим этапом было раздумывание перед сном о микроскопических китайских водоносах (или разносчиках, это вернее) с корзинами на коромыслах (коромысла-то и повинны, что корзины я путала с вёдрами!), и у каждого китайца на голове была конусообразная шляпа. Разносчиков этих я пронаблюдала на развороте (не это ли называется «фронтиспис»?) в одной из домашних наших китайских книг. (Папиных, подаренных маме, желтых, синих и других толстых книг о Китае.) Крошечные китайцы, все одинаковые, располагались на оди-

наковом расстоянии друг от друга примерно в шахматном порядке. Фигурки были так малы, что до сих пор в толк не возьму: как при таких, едва видимых, средствах выражения могли они изобразить, — все разом полуотвернувшись, — столько буддийской невозмутимости! Рисунок весь был выдержан, если я правильно помню, в коричневатом или бронзово-зеленом (не настаивающем на себе, но незаметно всепроникающем) цвете-вздохе. Я всё размышляла на ночь: какую бы задать им, этим китайцам, работу в моей неопределённой сказке? Они подталкивали меня на какой-то героический шаг воображения. Но оттого ли, что все они стояли полуотвернувшись (а для новой работы — у них и так уже все руки были заняты!), или по малости лет моих, — кончалось всё лишь тем, что я засыпала.

Помогал мне и Театр Одного Зрителя, — как потом я это назвала, записывая некий сон.

Окна дома напротив, освещенные таким же электричеством, как наше, были у меня перед сном (всё перед тем же сном!) прямо перед глазами. Я не вдруг догадалась, что их можно использовать как театр, но, едва сделав это открытие, с живостью сняла помещение и немедленно включила его в моё первое «Хлеба и зрелищ!». Правда, это был всего лишь Театр теней, но ведь это даже ещё лучше; театр не-теней, а людей, как есть, я могла видеть и днем, сама сколько-нисколько принадлежала к этому дневному нетеневому театру. К тому же дневных — светообъёмных — людей я часто дичилась (конечно, если это не свои были), а перед силуэтами можно было почти не испытывать робости. Я, конечно, не могла ещё знать, что такое «Театр теней», но когда в окнах напротив, на опущенных, но желтовато просвечивающих шторах, появлялись, исчезали, а потом опять появлялись движущиеся тени людей, я, лежащий зритель, преисполнялась к ним каким-то особенным, не дневным, мечтательным интересом. И любопытством, начинавшим помаленьку уже исключать из моей жизни страх. Так через силу, но неуклонно отвоевывала я первые дюймы площади у белого безмолвия. Картины на

стенах... Но, впрочем, теперь, когда позиции мои сколько-то укрепились, когда, по меньшей мере, по доброму взводу солдат поместилось у меня в каждом ухе, чтобы перед сном барабанным боем отпугивать злых духов и вообще — неприятеля; теперь, — ободряемая микрокосмическими китайцами и развлекаемая силуэтами, — я, кажется, могу и отсрочить описание картин, украшавших стены нашей квартиры. Да и вообще негоже так много внимания уделять своей личности, так долго валяться в кровати; положение, при котором разглядыванье картин обретает уже оттенок нахальной праздности...

Отец мой, Николай Николаевич Матвеев (по псевдониму — Бодрый), по моим всегдашним (времен детства) представлениям имел — при любых переменах — три основные должности: историка, лектора и партийного работника. Лишь много позже я поняла, что отец не просто историк, но и к р а е в е д (хотя любимый предмет и любимая тема его краеведения — Дальний Восток и Сибирь — исстари переполняли наш дом: рукописями, фотографиями, вырезками, книгами, открытками). Коммунист? Это бы я тоже ещё как-нибудь поняла, не будь при этом слове сопутствующего (и всё — путающего!) «партийный работник». «Докладчик»? Ну, это для того, что взрослые очень умны и мудры, а я не должна даже надеяться во всём так легко разобраться. Иное дело — л е к т о р! Значение этого слова дошло до меня почему-то очень рано, а дополняющее «о р а т о р» звучало даже ещё лучше! «О р а т о р!» — что за чудесное слово! И замечательная должность какая! К этому выводу я пришла (в большой мере) самостоятельно, отдельно и тайно от всех. Одним словом, не у всех детей отцы — лекторы. А нашего — разбуди в три часа ночи — так он тебе сразу лекцию прочтет!

Как человек сугубо увлечённый, энтузиаст во всем, к чему был привязан воспитанием и средой, идеалист в чем-то — до пылкого ослепления, отец даже нам, своим детям, стремился внушить почтение к тому, что он считал романтикой революции. В повести Максима Горького

«Детство», как мы все это помним, у деда Каширина был свой Бог, — карающий и якобы беспощадный. Зато у бабушки героя повести (в наше время почти такой же знаменитой, как сама Арина Родионовна!) Бог был, как мы знаем, другой — добрый и всепрощающий. Всё так. Но вот ведь и революция была — у кого какая! Тоже не у всех одинаковая. Если взять её в мечтах, а не в практике (на которую рано или поздно, а у всех людей, точно у кукол хлопооких, должны были раскрыться глаза), то и она, революция, — у кого была карающая, у кого — всепрощающая. И у отца моего была как раз эта, вторая. Не только принципиальная, доблестная и честная, но и — (как сам Господь!) — добрая и милосердная, одно слово — «гуманистическая». Во всяком случае такую её отец видел, потому что имел в виду её первых авторов, — давних, далеких, и её, так сказать, посылы, а не ссылки её и не начинавшиеся последствия.

Его зрение было приспособлено видеть лишь Идеал Коммуны; при всей его умной наблюдательности его глаза не были так устроены, чтобы в обожаемой Коммуне быстрее и раньше всех других начать замечать неладное. «Беззаветная преданность», «беззаветное служение» — вот понятия, смолоду прижившиеся в его словаре и звучавшие в его устах кристальной искренностью и честностью, тем более несомненными, что на своих убеждениях он не только ничего не нашёл, но и категорически не хотел наживать.

С каким высоким воодушевлением он произносил своё любимое четверостишие из Гюго!

О Родина! Когда без силы
Ты пред тираном пала ниц, —
Раздастся песня из могилы
В ответ на стоны из темниц!

Каким громоподобным делался его голос на двух вторых строчках, каким ликующим ударением он подчеркивал слово «песня»! И — с глазами, сияющими верой (и непо-

Возможно, я была к большинству артистов несправедлива. Но ведь меня и самоё — как подменили! Если так можно выразиться, мой слух был навсегда испорчен музыкой Идеала и ничего иного больше не принимал.

Разумеется, баррикады Виктора Гюго (всегда общечеловеческие, никогда не сектантские) никак не могли бы развести отца и мать на два враждующих лагеря! Поэт вообще никого не разъединяет. И в этом подобен тому Небесному Коню (из поэмы Ивана Киуру «С к а к у н»), который — конь — говорит:

Я дружбу сеял. (Пусть вражду
разносит подлый раб!)

и который (конь) объединяет и связывает гору с горой, город с городом и со страной — страну.. Но ведь известно, что не одни великие поэты и небесные скакуны в революциях бывают замешаны, иначе революции не приводили бы не только к семейным, но и к мировым «размолвкам»... (А прежде всего — они ведь и сами бы не понадобились, революции эти!)

Итак, мама далека была от восхищения существующим строем. Она принимала его принципы, но в их так называемом воплощении и видела много порочных мест. О Сталине она говорила: «Как же ему можно верить, если он сам позволяет себя называть “великим”?!» И произносила она это таким спокойно-презрительным тоном! — пренебрежительно-ровным, без повышений и понижений. Помню, отец, отвечая ей, ссылаясь на то (железное и впрямь!) обстоятельство, что льстецы не спрашивают: называть ли и кого им называть «великими»; что это они делают обычно «по собственной инициативе», но... слово за слово — и у матери с отцом доходило даже до ссоры и полного разруга. Отец уходил, хлопнув дверью...

Тут я, конечно, опять забегаю вперед: говорю не о детстве из этой главы, но о более позднем, чуть-чуть более понятливом детстве. А натурально, я ни в какие времена не любила обстановки размолвок! Мне гораздо больше нрави-

лось то, как все мы «чайпили». (Не «пили чай», а именно — в одно слово — «чайпили»: — «Ты почайпила?») Нравился мне и час, когда мы находились всего лишь где-то на подступах к этому дальневосточному священнодействию. И папа, шумя новой газетой, читал её то про себя, то (в особенных для него местах текста) — вслух... Или с живостью рассказывал последние новости, витающие в не газеты, но как бы слетавшиеся на её шум, и — с неприменной доброжелательностью, а то и с восторгом — называл имена своих (общих с мамой) друзей и знакомых.

Впоследствии мама рассказала мне — как ретиво и сосредоточенно я участвовала в малолетстве в семейных чаепитиях. «Ты пила чай до тех пор, пока на носу пот бисером ни выступал». Между прочим, я и взрослая сохранила верность ордену знаменитых «московских водохлёбов». Но всё-таки я не знала, что вступила в него так рано и так рьяно! И свидетельство матери было для меня некоторым образом неожиданностью. Помню ещё, что (периодически) на наших семейных чаепитиях кто-нибудь из взрослых произносил: «Чаепитие в Мытищах!»

Как сейчас помню, отец никогда не отмахивался от нас, если мы начинали приставать к нему со всеми этими нашими «где», «когда», «кто», «как», «почему» и «зачем», а терпеливо, охотно и весело разъяснял нам любой, приличный для наших калибров, вопрос. И — никогда никаких «некогда мне тут с вами» или «вырастешь, Ваня, узнаешь».

Конечно же, даже такие две маленькие завязтые эгоистки, какими были мы с сестрой (во всяком случае за свой эгоизм я ручаюсь!), будучи и постарше и поумней — могли бы заметить (по той усталой рассеянности, с какой подчас отвечал нам отец), что ему бывает и не до нас. Но... «Сестра и я вопрос возводим на вопросе: / Нас потрясает мир и все, кто в нем живет», — как сочинила я впоследствии... Потому что у нас хватало нахальной дерзости даже удивительную рассеянность отца относить к полю чудес и новооткрытый света. Как пеликан, говорят, питает своих детей собственной кровью, так даже отдельные незадачи наших

родителей, казалось, питали нашу неутомимую пламенеющую любознательность! Лишь до открытия сострадания нам было не в пример далеко, — да и что мы в ту пору могли понастоящему понимать?! Но зато мы сразу учуяли, что отец наш в чем-то и сам — дитя, и, собственно, наш товарищ. И что при всей глобальности обуревавших его взрослых забот и проблем он, может быть, и сам рад бывает отвлечься от них на наши, не такие серьёзные, но зато куда более светлые, занимательные, весёлые... (Какими они ему несомненно казались, какими показались бы теперь и нам самим!)

Иное дело — мама... «Мир, и все, кто в нем живет» продолжали потрясать нас на каждом шагу, но если, к примеру, была у матери в руках в это время тряпка или швабра или она занята была стиркой-мойкой, а то даже и просто книгой (вот ведь где, кажется, отвлекай-не хочуй!), она без обиняков и околичностей указывала нам прямо в глаза на всю несвоевременность наших утомительных приставаний и решительно прогоняла нас прочь. Так что в следующий раз мы уже не смели приступать к ней, заведомо не обдумавши всех положений и не взвесивши предварительно всех обстоятельств.

Правда, и тут не всегда всё было так плохо. Именно благодаря своей неровности, порывистости мать весьма неожиданно могла сменить гнев на милость, да так, что даже худший случай здесь выглядел хорошо. Нет, наше «спрашивай — отвечаем» могло всё равно не состояться. Но были всё-таки мы довольны. И не потому даже, что мать прогоняла нас теперь более приветливо, а потому, что при этом она примолвливала словечки, — всегда какие-нибудь интересные!

К примеру, вместо: «Идите, играйте» — она говорила: «Идите, играйтесь!» К тому времени мы уже отлично знали, что слово это не так произносится, и я хорошо помню первую оторопь своего удивления. Но ведь при усилении можно было догадаться, что мама так странно говорит — «понарошке». Так или иначе, а ни у кого из детей не было — в их семьях — такого словооборота, а у нас — был! Следовало принять его и оценить.

Явно под влиянием этого мамино «играйтесь» (вместо «играйте») мы с сестрою и сами изобрели вскоре новое словоупотребление: «живется» вместо «живет». И однажды, вернувшись с улицы, к немалому, видно, удивлению матери, грянули «хором» — прямо с порога — песню нашего собственного изготовления и следующего глубокого содержания (*петь размеренно, четко*):

Пьяный дурак живется в тряпке!
Пьяный дурак жи-вет-ся в тряпке!

Грянули именно «хором», мощным и торжествующим, так как не понимали ещё, что такое «дуэт», и даже совершенно бесповоротно были убеждены, что вдвоем-то и осуществляется всего успешней могучее хоровое исполнение! Даже не берусь теперь разобраться и рассудить внятно, кто из нас был первый поэт-зачинщик. Скорее всего, мы и сложили-то его «хором» — это произведение, состоящее из единственной, но с жаром повторяемой строчки! И «музыка» у нас тоже была своя; тоже являлась конечно же результатом внезапного, как нападение, коллективного вдохновения нашего. И этот никем как следует не предвиденный вклад наш в песенно-исполнительское искусство не может сейчас не напомнить мне «Петрушку и вора» — небольшую поэму Ивана Киуру и то место в ней, где Петрушка зовет к вору:

Пой, братец, пой! Искусство души
Тебе немало облегчит
И всколыхнет моря и сушу, —
Злодеев мира обличит!

И хотя речь тут идёт всего лишь о блатной песенке вора, которую наивный Петрушка воспринимает слишком серьёзно, — что с того?! Ведь главное — энтузиазм! Переходящее, так сказать, знамя энтузиазма, — если уж не исполнительского, то слушательского...

Подобно отцу, мама никак не чуждалась ребячливости, игры, проявлений веселости. И всё, конечно, кончилось тем, что она... подхватила напев (здесь разумею напев

«Пьяного дурака»). Скроив себе другое лицо, а голосом — негромко изображая безобразную уличную громкость «исполнения», она оказала-таки поддержку нашему начинанию! Лицо она «сделала» себе, как сейчас помню, нарочно-заспанное, я бы сказала, дерзко-невыспавшееся, взгляд — вызывающе-тусклый и (пользуясь её выражением) рот «кошельком». Московская квартира огласилась разудалыми звуками. Теперь «хором» пел уже не дуэт, а целое трио!

А надобно вам сказать, что в ту эпоху совсем неизвестно было такое явление, как (лишенное истинной детскости и настоящей — честертоновской — Игры) массовое паясничанье взрослых. Мать и отец никогда не паясничали, они были попросту веселы. Они были слишком благовоспитанны для того, чтобы ёрничество и возмутительное немилосердное кривлянье (какое мы видим сегодня вокруг) считать очаровательным и приличным. Не имея к таким вещам никакой охоты и склонности, никогда не разрешили бы они кривляться и детям своим. Обладая хорошим вкусом, оба они отлично понимали разницу между природным артистизмом и развязностью, между безобидным озорством и вульгарностью, между искусством весёлости и эстетикой бесчинств. Но их собственный природный артистизм, но их собственная живость, весёлость, непринуждённость выглядели — при тогдашних формах жизни — точно какой-то одинокий и опасный по-двиг. И это вот надо особенно отметить!

Теперь, время спустя (большое довольно время!), я, кажется, начинаю постигать: почему родители мои не нравились ни мелко-среднему преуспевающему обывателю, ни покровительственно рокотавшему совбуру высоких рангов. В обществе свирепствовала тогда ханжеская благочинность, так же, как, впрочем, и коровья мода на светскость. Куды! Даже ещё и на чопорность. Конечно, и то было хорошо, что люди у вас на глазах не кривлялись. Но зато они сильно ломались, то есть необыкновенно важничали! Всё это, разумеется, была только внешность,

рваная маска; поминутно падая, весьма плохо прикрывала она обрису лукулловых пиров, разнузданных оргий. Но моим родителям от этого было не легче (даром, что они и вообще тут были ни при чем!). Свобода и простота, с какой держались они, пролетарии разэтакие, необеспеченные, всерьез верившие (даже мама!) в великое донкихотское пролетарское счастье впереди, — не могли не приносить им всё новых и новых неудач. Сколько помню, родителями моими всегда были остро недовольны как власть предержавшие, так и восторженные прихлебатели оных.

Бесконечная творческая фантазия моей матери распространялась часто и на быт — сказывалась в ухищрениях, применяемых ею к домашнему хозяйству. И нередко скучная житейская польза («Ему бы пользы всё!...»), приходившая к нам не просто так, а через хитроумную выдумку матери, — тем самым становилась для нас и веселой и праздничной. (В худшем случае — сносной и не такой противной!)

Мы жили на улице Кирова. (Отец и мать, правда, продолжали называть эту улицу по старинке: «Мясницкая».) Жили на четвертом этаже, но мне казалось, что мы располагаемся где-то очень, очень высоко. И я этим была вообще-то довольна. Наша квартира, лишённая вспомогательной площади — (все подсобные службы вынесены были за скобки коммунального житья, в колоссальный тусклый коридор, в общую кухню), — состояла из двух комнат. В светлой, сильно продолговатой задней комнате была наша с сестрой детская, она же и спальня. А в квадратной (и темноватой) другой комнате, снабжённой выходом в широкий мир — в коридор то есть, находилось всё остальное. (Запомнившееся больше всего как папин кабинет.) Подозреваю теперь, что в наших окнах тогдашних... не было форточек! (Или не везде они предусматривались по архитектуре?) Во всяком случае мы, во время нашего самого раннего детства, форточек не видывали. Иначе, с нашей наблюдательностью, мы бы их на всю жизнь запомнили! Не потому ли и Надежде Тимофеевне, нашей матери,

для того чтобы «открыть форточку», приходилось отворять всё окно целиком? И даже, кажется, выставлять обе зимние рамы враз — в зимнее время! Чтобы как-то подготовить нас к столь разительной перемене климата в доме, а главное, чтобы не простудить нас, мама придумала следующий фокус. «Вы будете сейчас дома гулять», — обращалась она к нам, детям. Или ещё так: «Сейчас на домашнюю прогулку пойдём». Быстро и решительно она одевала нас тут в тёплые зимние пальто, в тёплые шапки-капоры, обматывала вокруг наших воротников тёплые шарфы («Шарф ты носишь, как хомут!» — говаривала она в других случаях папе) и даже варежки не забывала всучить нам для завершающего штриха. И только тогда начиналось проветривание, чем-то похожее на тайфун...

Гулять — а дома! Дома, а — гулять! Вначале это было ново, свежо, а при повторениях — всё равно свежо, во всех смыслах свежо! и всегда интересно! Опять-таки я догадывалась, что не у всех такие порядки, что это только у нас, и (почти ещё подсознательно) гордилась изобретательностью нашего рода, чуждого низости предрассуждений! И вот мы начинали расхаживать вперед и назад по комнате, закутанные, как снеговики, и, вероятно, очень серьёзные, — делая вид, что «гуляем». И в первые минуты было весело (не по-бытовому, а по-событийному!), однако же сравнительно скоро я начинала уставать от какой-то, что ли, малосодержательности и недоконченности приключения, от неизбежного «ну и что», уже видневшегося — так ясно! — в конце «путешествия» нашего. Всё это было, конечно дело, прекрасно, превосходная «дома — а прогулка», но не хватало «изюминки», «соли», «искры», «гвоздя» и «зерна», и «чего-то», а главное — новых, ещё не известных достопримечательностей по сторонам. Не было чего-то, из-за чего стоило пускаться в Путь, и как ни был он быстр, короток, а наскучивал мне ещё быстрее. А ведь и то ещё следовало учесть, что при всей оригинальности наших

домашних прогулок их нельзя было назвать даже уютными. Слишком свистало неприютностью из большого окна в конце длинной, как чулок, детской комнаты; слишком открыто несло морозом, шумело, бубнило и как-то буднично ослепляло изнуряющей белизной бессолнечно-яркого (так мне запомнилось) — дня. Приходилось радоваться, когда мама закрывала окно, и воздух в комнате успокаивался.

Но предпочитала ли я той, до каких-то минут всё же интригующей, домашней прогулке — прогулку уличную, настоящую? Нет, как ни странно! Покуда сестра моя малопомалу (а лучше сказать, много-помногу) превращалась в неуёмную добровольную бродягу, я, коли случалось взглянуть, выйти в широкий мир, — в тот же миг торопилась убраться восвояси, то есть обратно домой. Далее — ужас и смятение становились моим уделом, если дома шла уборка и мама прогоняла меня опять на улицу! Дело в том, что я сызмалетства была всегда человеком сугубо замкнутым и львиная доля моего «утра жизни», особенно раннего, была буквально отравлена нахальным присутствием во дворе и на улицах — разных «чужих» людей. Моя немислимая застенчивость, нестерпимая дикость, как сейчас помню, делала для меня заведомо ненавистным всякое проявление внимания взрослых ко мне — на улице. (Почему-то именно — на улице. Дома — не так. Дома благодаря защитному присутствию родителей, а также их смелости, естественности и природному такту, я даже успела привыкнуть к некоторым из наших взрослых гостей.)

Правда, когда я была уж совсем, совсем мала, — меньше копейки, меньше, чем здесь говорится, — тогда я просто не догадывалась, что людей надо бояться. Об этом-то времени сейчас и рассказываю... но уж так получается, что всё забегаю вперед... В описываемый период я всего лишь закладывала фундамент своей невероятной застенчивости на будущее. Но всё-таки была уже где-то на подступах... А предлоги — почему я не хочу на улицу (один другого вдохновенней!) — придумывались как-то сами собой.

То есть они даже не придумывались, а как будто существовали всегда.

— Идите на песок! — приказывала мать и уже вдогонку нам кричала: — Пеките куличичи из песка! Играйтесь! Далеко не уходите!

Для игры в песок были у нас даже «формочки», окрашенные снаружи красным, а внутри — натурального деревянного цвета (и даже с завитками бывших сучков), — бочонки, чашки, грубоватые рюмки — и всё для строительства песочных «куличей». Кто не знает нехитрой техники их изготовления?! Захватываете полную форму песку, переворачиваете её, но не с воздуха, а к земле впритирку, — и вот вам, пожалуйста, — гладкий, очень красивый кулич... И все же я не любила быть ссылаемой к кому-то там «на куличики». Это казалось мне почти туда ссылкой, «куда Макар телят не гонял!» Ибо счастье пекаря-песочника — в любом смысле — строилось «на песке». Во-первых, из-за ведёрок. Ведь, кроме формочек и совочков, были у нас и ведёрки (железные, по ведру на брата). Голубые, с жёлто-красненькими цветками, на боку нарисованными, и сколько-то даже вместительные. Это, значит, чтобы песок носить. Ну, там, куда-нибудь. Вообще. Таскать и перетаскивать.

Но ведь не зря мы уже обмолвились о непрочности людского счастья. Как часто совочки терялись в песке, либо кто-то бессовестно отбирал их у нас! А чарующие ведёрки выдергивались из наших рук постоянно! (После чего, правда, только и обретали в моих глазах настоящую ценность.) Не помню, как было с формочками, — кажется, грабители их оставляли в покое ввиду почти всегдашней упёртости формы в песок. И потом, эти ярко-красные фетиши в игре были самыми главными и неотъемлемыми — не вдруг-то их у нас выхватишь! Другое дело — все остальные игрушки.

Помню, что за выяснением судьбы наших ведёрок мать даже ходила к соседкам, родительницам охальников-ведерокрадов. Было ли успешным это предприятие, — теперь запомнотвала, но здесь была хотя бы какая-то познавае-

мость. Иное дело — потеря или покража мячей! В связи с ними впечатление глубины пропажи и широты панорамы обиды было гораздо острее и западало в сознание на более долгие времена. Ведёрко — всё где-нибудь там да зацепится. (Это почему-то слегка утешало, даже если ведёрка и не вернуть.) А мяч — он слишком скользкий и гладкий, — укатится — так уж, наверное, за самый горизонт! и ещё дальше... А даже если разыщется — то надолго ли? Иметь его было тревожно. Владеешь им — а всегда как будто не до конца... Ведь сама его форма — укатывающаяся! Так «думала» я. (Но по малости лет конечно же думала не словами, а представлениями, как во сне.)

Итак, выходить на улицу, в мир с игрушкой заранее укатывающейся формы, с игрушкой, заранее как бы замышляющей бегство, — повторю, было очень уж беспокояно. Это был, если не ошибаюсь, не имущественный страх (то есть не за имущество), а какой-то другой... Может быть, страх какой-то несправедливости, начинающей вкрадываться в план судьбы? Или недоразумения; более глубокого, чем кажется при поверхностном взгляде? Мать и отец были так добры к нам, что при всякой потере старой игрушки спешили купить нам новую. Почему же это не утешало? Или так необходим был именно тот, первый мяч? (Особенно, если — мяч?) Давно заметила, что именно потеря мяча в детстве есть, может быть, лучший образ потерянности самого детства (но это-то нам ещё только предстояло!), а также и образ какой-то особой томительности раннего детства — то скучной, то страшноватой, а иногда даже и грозной. Во всяком случае для меня это было так.

С потерей мяча для меня было связано впечатление глобальности, великой округлости и необъятной (округлой) неуловимости, и отовсюду скатывающейся недоказуемости и ненаказуемости самой идеи воровства. «Глубокие переживания на мелком месте»? Да, но маленькому человеку (здесь я разумею и ребенка, и чаплинского Бродягу) нетрудно впасть в большое преувеличение. С потерей мяча для меня

было связано всё, что заочно-дерзко, загоризонтно-враждебно, непонятно и непоправимо, горестно и невозвратно, и вызывает глобальную неутешность. И оттого, что нельзя было узнать и понять — кто вор (хотя иногда я это знала) и где он — за какими дворами, садами и городскими арками? — терялось понятие о том, где начинается, а где кончается Воровство... С пропажей мяча для меня было связано представление о Воровстве до горизонта и за горизонты простирающемся... Да, Воровство казалось не только пронизывающим всю округу, но и всю землю, всё небо! И — до горизонта и за горизонт — простиралась обида...

«Есть отчего в отчаянье прийти», — как сказал бы Ростан. Но маленький человек вынослив (не то что большой!). И сила, взявшаяся меня спасать, заодно сослужила мне и другую службу.. (если это была служба, а не новый ущерб). То есть, вероятно, потеря мячей в детстве была связана с самым первым моим (и долгое время — лишь подсознательным) стихотворным замыслом. (До того ль первым, что, подозреваю, первой даже, может быть, и самого «Дурака, живущегося в тряпке», — вышеописанного однострочного произведения двух авторов, в котором я имею долю по крайней мере на целую половину строки!) Повторю: в малолетстве я не могла знать, что это у меня насчет мячиков — замысел, — тогда это была просто череда горестей. Но через много лет (а именно — к середине 50-х) они стали складываться в большую поэму «о не вернувшемся мяче» — из трех частей: I. «Мяч, укативший в будущее», II. «Мяч, укативший в прошлое» (то есть — обратно в детство) и III. «Мяч, оставшийся в небе».

Увы! Поэму, долго незрелую, до сих пор докончить не удалось. Но в продолжение многих и многих лет я, как-то невольно, — как железо к магниту, — всё возвращалась и возвращалась к теме потерянного мяча, — возвращалась и в стихах, и в прозе... Даже иногда в... интервью! Но в книги (а конкретно — в «Ласточкину школу») вошло только одно стихотворение с мячом: «За санаторием, что скован “мёртвым часом”» 1969 года:

... Не бойся странности, в душе хранимой свято,
 Не бойся лестницы, с которой вниз когда-то
 Скатился красный мяч, и укатился он
 Туда, где страх весны...

(Кстати, единственный жанр, в котором — внутри которого — дозволено, я думаю, цитировать собственные стихи, это жанр мемуарный. В других случаях это, наверное, было бы не очень скромно, но в мемуарах бывает даже необходимо. Особенно если сильно придется к слову! Или... если в памяти у тебя застряли подсказанные прошлым опытом соображения будущей безопасности... Опасность в том, что иной твой стих могут «переосмыслить», а проще говоря, — перевернуть! Между тем, как ни мало ты ценишь свой стих, — ведь что-то в нем для тебя есть, или было, — а здесь тебе предоставляется, быть может, первый и последний случай добыть его из недр полузабвения *вместе* с приставшей к нему почвой — обломком его истинной предыстории! Иди же на это, поскорее цитируй собственные стихи, какие ни есть... Если не хочешь, конечно, чтобы кто-то другой, совсем неожиданный, вдруг начал тебе рассказывать: как, почему, где, зачем и в какой обстановке у тебя они возникли!)

О людях, занятых, по его мнению, пустым делом или пустым разговором, отец обычно говорил: «Они обсуждают внутреннее содержание футбольного мяча!» Боюсь, что и я обсуждаю на этих страницах нутро мяча! — разве что не футбольного. Однако же я до такой степени уже в этой теме увязла, что... не вижу возможности выбраться из неё сразу. (Кстати, мой муж, поэт Иван Киуру, называл это так: «Завертеть всё остальное вокруг чего-нибудь одного».)

«Завертевши» вокруг мяча почти всё остальное, сошлюсь на то, что ведь и вся наша планета была когда-то не больше детского мячика! Покуда, вертясь и вращаясь, не наvertsела она на себя и «всё остальное», в том числе и всех нас, передвигающихся по её терпеливой поверхности. Нас — горящих, воющих, ворующих и опять горяю-

щих, и ворующих снова... И, словом, как сказал — опять-таки — Ростан:

... в бильбоке ему попался
В конце концов весь шар земной.

Но... это-то уже не про нас. Я не знаю, существуют ли вообще дети, которые на одних находках воспитаны. Если так, то это были не мы. Что до нас, то мы росли, воспринимая детство как страну потерянных вещей.

Вернее будет сказать — страна потерянных игрушек, но в детстве игрушки — такие же вещи, как во взрослом мире, и даже ещё крупней! Поэтому мне трудно покончить сразу и с темой крушения куличей (первых иллюзий наших!), с темой ненадежного производства Стройпесок, так близко подползающего к игрушечной эпопее...

Если песок был сырой и — после не очень сильного дождя — даже красноватый немножко, куличи печатались гладкие, классически-правильные, радующие глаз. (Даже оба глаза радующие, сказала бы я!) К сожалению, почти всегда где-то поблизости играло дитё, обуреваемое непреодолимой обязанностью подойти и пинком ботинка (такого же маленького, как твой, но чужого и враждебного!) — развалить гордое сооружение. Тогда же или потом? — не помню, но я догадалась, что по всей Москве, собственно говоря, такие дворы есть, как наш — с одинаковыми песочницами, одинаковыми формочками, одинаковыми ведёрками, совочками и куличами, и что в каждом дворе есть такой же маленький злой ботинок, пинком разваливающий чей-то кулич. И от каждого разрушенного кулича бежит к дому свой незадачливый «строитель чудотворный», «строитель Сольнес», можно сказать, — бежит весь в слезах, с прыгающим от бега криком:

— Ма-а-аме ска-а-ажу-у-у!

И весь этот, — если можно так назвать его, — Стройпесок, и всё это близкое Закуличье наскучило мне, даже как

следует не успев понравиться. Ибо, если на то пошло, то ведь и в самом Стройпеске, а не только в происходивших от него неприятностях, с самого начала сидело некое, томься-изнемогающее, скучное «Ну и что?!». Действительно: вот кулич получившийся, не кривой. Но даже если никто его и не пнёт, — что дальше? Ведь его даже ничем сверху украсить нельзя! — былинку воткнешь, — и уже он весь ползёт, едет... «Зачем воздвигаешь ты чертог, о сын крылатого времени?» (В данном случае — дочь.) И не то чтобы мировая скорбь на уровне Екклезиаста посещала тогда юную строительницу на песке, — нет, конечно. А всё же среди всякой всячины (начисто забытой между предшествующим и последующим небытием) — вдруг — один блиц-кадр, никуда не девшийся: бессмысленное мое сидение перед тем ли сооружением из песка, и моя непродолжительная, можно сказать, перво-последняя и безуспешная попытка его осмыслить. То было неосознанное прощание с изделиями Ближнего Закуличья.

Середина 1990-х



Восстановить в памяти...

*...понять,
Что белизна — не пустота,
Что в зимних днях однообразии
Все ритмы крылись, все фантазии.
Как в белом цвете — все цвета.*

(1981)*

Посреди почти космической тьмы неведения, забвению равного и с забвением слитого, тьмы, в которой буквально тонет, захлебываясь, моё раннее детство, есть отдельные звёзды, — внезапные, редкие, но резкие круги освещённого вдруг пространства. Редкое избранное волшебного фонаря памяти.

Помню, как тёмным, — нет, — огнисто-синим вечером отец и мать, а с ними и я вошли в магазин, расположенный в нижнем этаже одного из больших городских домов. (Что за прекрасная это неповторимость! — раннее шкетство с выходом в город и в ночь; к её огням и на её снег — под охраной обоих родителей! Дивное, — ведь больше нигде его нет и не будет, — сочетание Покоя и Приключения!)

Какие-то тени дневного уныния и стеснительности, дневных страхов — всё ещё были со мной; вечерний уличный ветер сначала даже как бы раздувал их и увеличивал, но затем начинал уже сносить, уносить, развеивать. Ночь вообще гораздо лучше, чем день! — думала я теперь. Чего бояться? Улицы пустынные, магазин, куда мы вошли, сначала насторожил, но и тот оказался внутри пустынным, — свободным от неуловимо-иронического давления чьих-то любопытствующих присутствий. Повстречай мы

* Здесь и далее, где не указан автор, в эпиграф вынесены строки из стихотворений Новеллы Матвеевой. — *Ред.*

в пути или теперь, в магазине, хотя бы нескольких человек — этого было бы для моей дикарской застенчивости довольно, чтобы вообразить себя ведóмой, толкаемой к издевательскому многолюдству на закляние. Но если даже такие, как я, не могли пожаловаться на тесноту и давку, — представим же себе вечерний покой и простор тогдашнего города!

Магазин был большой квадратной комнатой, низкосидящей и плавающей в полумраке, а слева от входа сиял — крупным планом — аквариум с красными и золотыми рыбами. Никогда ничего похожего я не видывала! Родители пошли и полурастворились где-то далеко в сумраке, у прилавка (где был даже, может быть, и продавец, подумывающий о закрытии лавок на ночь). Я же немедленно приковалась (нет, не носом, а только благоговеющим взглядом!) к рыбам, которые довольно смело рассматривали меня в ответном порядке. Я ещё не знала, что такое «аквариум», но общее впечатление от него — стекло, свет, вода, блеск и сияние красок — меня заворожило. Впрочем, скоро из глубоких и далеких теней вышли родители и оторвали меня от рыб. (А ведь отрыв от рыб — неплохая рифма?)

Помню ровные, как линейка, зелено-коричневые детские санки. Если, сидя на них, одну ногу поджать, видно, как внизу, между планками, просвечивает «улица». От рождения я страдаю болезнью Менъера, но, катясь на санках, я даже не догадывалась, что в них меня «должно» укачать! Разгадка же, видимо, не только в том, что санки не трясло, но и в том, что они превосходнейше овеивались и обдувались изобилием безупречно-чистого воздуха и дивным зимним запахом снега, который больше нигде не увидишь и не учуешь так близко, как раскатившись на них.

Спасало от укачивания, конечно, и то, что сопутствующий снег и соответствующий мороз никак не были связаны с давкой любопытствующей толпы, что санки, мчась, не давали злопыхательского бензинного перегара и что — вместо зримого шофёра или невидимого машиниста, одна мысль о которых внушала мне почему-то утомительней-

шую ответственность (странно: чем ответственной «пост», тем больше спать хочется!), — санки тащила мама. И тянула она их за обыкновенную верёвку, видимую простым глазом и такую натуральную, что даже немного лохматую. А когда воочию видишь тайные пружины, приводные ремни и поршни, сообщающие тебе движение, — тебя может и не укачать!

Если отец когда и катал меня на санках, то я этого не запомнила. Подозреваю, что мама просто и не могла ему эту роль доверить. Она конечно же опасалась, что моя личность у него сразу же из саней вылетит! И что он вообще потеряет ей ребенка! Точно так же, как «постоянно» терял деньги, пуговицы, платки, перчатки, шапки, и даже однажды — страшно вымолвить! — потерял партбилет!

Помню ещё один зимний вечер... Я еду на санках. Мама везёт. Отстранённый от этой должности, отец шагает рядом. Было, помнится, не столько темно, сколько сине от удачного совпадения первой вечерней мглы со свеженамётанным снегом, по которому там и сям перескакивали и — далеко, широко, — «веером» разбегались от нас цветные морозные искры. (Эффект первых фонарей.) Очень занимательные для меня цветные искры! Но, впрочем, любознательность моя была всё ещё какая-то полудремотная, чем-то недовольная и почти печальная. Да, искры меня даже очень устраивали! Но к ним, по моему почти сознательному убеждению, полагалось и требовалось ещё что-то — важное, главное. Бывает ли оно? А может быть, всего того, что я согласилась бы считать важным и главным, вообще не бывает?

Но тут, справа от нашей тропинки, завиднелось большое, из красных кирпичей (сейчас уже вишнёвых от ночи) выстроенное здание в виде широкой печатной буквы П. «Буква» была открыта с нашей стороны, и вся площадка (да нет, — почти площадь!), образуемая тремя её стенами, была свежезавьюжена не то что «девственным», а даже, я сказала бы, совсем святым снегом. От крыла до крыла строения стихия располагалась большими свободными полукольца-

ми, надвигаясь и на середину. Было заметно, что никто ещё туда сегодня не лазил и там не вязнул (да и куда — к ночи?), ибо чистая структура кристаллов нигде ещё не была нарушена.

Если в окнах обоих этажей и усматривался кое-где свет, то никак не более, чем кое-где. Вообще же здание запомнилось мне целиком погруженным во мрак наступавшей ночи. И только в самой его середине и в самом низу — в центре низа — одно-единственное окно, очень широкое и наверно полуподвальное, откровенно пылало светом, как пещера циклопов! Среди ночи, зимы, бездействия — действующий окон вулкан!

И что же я увидела в том окне, сияющем на дне снежной площади? Что увидела я, проезжая мимо по уже синим от ночи заносам? На красно-золотом фоне света-пламени сновали и двигались, что-то делая, повара и повара в настоящих белых поварских колпаках! В колпаках, расширяющихся кверху так интересно и занимательно! И увиденных мной впервые! То были толстые, тучные (как правило) старшие повара, повара средней комплекции и, как я уже сказала, особо отмеченные восторгом моего открытия малые повара. Их самих было человек девять-десять (и взрослых и детей), но ведь ещё сверх того — их на редкость выразительные тени (как всё ещё крупна была жизнь!) проносились иногда по стеклу, жаром горящему за решёткой, стеклу, — и тогда их полку прибывало! А ведь если отдельно силуэты — хорошо, если отдельно повара — ещё, может быть, лучше, то повара с силуэтами вперемешку, бегающие и как бы танцующие с ними в одной связке, — это уже был верх всего, на что я могла рассчитывать! О, теперь мне их надолго хватит! Теперь я разбогатела, как Рампсенит³ (о котором, впрочем, тогда и не слыхивала). Теперь у меня были (горой противу всех белых безмолвий вставали) не только солдаты с барабанами, но и китайцы, но и силуэты! Не только китайцы и отдельные от людей силуэты, но и повара, тени которых действовали при них же!

И странники бредут по эспланадам
Живые — с нарисованными рядом.

Итак, мой секретный внутренний мир — он не был каким-нибудь вызывающим: он всё ещё никак не шумел, но он начинал заселяться и заселяться всё плотнее, теснее... И окно-театр, в котором живые повара плясали вместе со своими тенями, набегавшими на пламенное стекло — живые с нарисованными рядом, — явилось такой важной вехой моего земного странствия в самом начале его, что, быть может, кому-то это покажется даже смешным. При всех возможных скидках на причуды малолетнего воображения (всё чего-то ждущего, но ни к чему не готового) подобный тип первого «освоенья желтых далей», может быть, и вправду смешон! Порядочные люди, вон, открывают законы, эликсиры, заливы, проливы, острова, земли и звёзды, а я-то открыла... лишь несколько человек поваров, работающих в вечернюю смену, не более! Но... судя по необъятным размерам и высокому качеству моего восторга в тот вечер, я, видимо, всё же узнала тогда: что испытывает про себя настоящий, напавший на новую мысль изобретатель или поражённый великим пейзажем подлинный путешественник,

И как бросается в лицо румянец, —
Когда страну откроешь!

Теперь я, конечно, могу и домыслить, и довспомнить что-то. К примеру, предположить, что в рисуемое время мне довелось наблюдать скорее уж ритм пекарни, чем поварни. А кроме того, вспомнить и позднейшее объяснение матери, что самый высокий и толстый — это шеф-повар. (Итак, повар, а не пекарь всё-таки. И, значит, все варёное можно так же быстро передавать, — по цепочке и приплясывая, — из рук в руки, как все печёное!) Но к чему объяснения? Зачем рушить очарование зимы и ночи, огненного окна, безымянной мечты? «Я имени её не знаю / И не хочу узнать»... А что хотела узнать, то я и узнала ведь! Да! Теперь

я наконец-то знала — чего так не хватало морозным искрам, которые скакали вдаль по снегам. Не хватало же им, оказывается, какой-то одной, но главной картины — черты (срединной — будь бы она даже с краю). Не хватало какого-то выразительного центра, от которого они (искры) могут разбежаться дальше — теперь уже с чистой совестью. И скакать — хоть за край света! И это уже не будет пустопорожний бег, потому что теперь у них есть что разносить по свету (как Жоффруа Рюдель разносил по всему свету славу принцессы Мелисанды⁴); потому что они обрели теперь с о д е р ж а н и е! (Я имею в виду опять — снежные искры.)

Таким образом, с бедностью впечатлений навсегда было покончено. Ибо поиски их получили наконец определённое направление. Несомненно, как-то связанное с жадной сказки. И, по-видимому, сказки гофмановского типа. Почему же именно гофмановского? Ведь я и понаслышке ещё не знала тогда о Гофмане! Но и потом, уже о нём прослышав, мне всё равно пришлось искать его книги в продолжении... всего последующего детства и всю первую половину юности, и — всё... безуспешно! Правда, как-то всё-таки попала мне в руки — отдельной книжкой (к концу отрочества моего) — пленительная история «Мастер Мартин-бочар и его подмастерья». Но, во-первых, как мне показалось, это была не совсем сказка, а во-вторых, я нашла её... нетипичной для Гофмана! Можно только гадать, каким образом могла я решать, что типично, а что нетипично для автора, которого я в о о б щ е не знала! Повторю: «Мастер...» был первым его сочинением, которое я держала в руках, и сравнить его мне было не с чем. Вероятно, оно просто расходилось в чём-то с моими представлениями о великом сказочнике, сложившимися вдали от его книг и независимо от степени моей «образованности». Словом, это тоже отдельная история. Но не она занимает сейчас мои мысли.

Сейчас я снова спрашиваю себя: среди чего очнутся от долгого, силой навязанного им летаргического сна воз-

рождаемые теперь московские храмы? Посреди какого мезозойского дизайна они прозреют? И не захочется ли им снова закрыть глаза при виде обморочных манекенов, толстых зеркал в форме сердец, заканчивающихся розовыми бантами, и рекламных щитов, с холодным цинизмом, впрочем, весьма нескладным, разыгрывающих раннеамериканскую угорелость? Нуворишеской ляпотой заслоняется, завешивается сейчас естественная красота Москвы. Обратим этот путь или теперь уже навсегда исчезнут светящиеся краски Москвы, замечательные хитроупенчатые просветы, неожиданные дали? Ведь у неё, у Москвы, была тайна, — своя тайна. Чудом державшаяся до сих пор (под натиском новостроек, ей-то — ненужных) и подразделявшаяся на многие множества других тайн, одна из которых — каким бы парадоксом это ни прозвучало, — вела, как мне кажется, и к частичному постижению тайны Гофмана! Имея в своем распоряжении любые проулки и закоулки на любой (неиспорченный) вкус, она — Москва — могла себе и это позволить... Хотя, впрочем, и тут ничего утверждать нельзя. Ведь, как заметил Иван Киуру, не так давно прошедший «таинственными её дворами», — «бессильно тут слово любое»! Над Москвой облака высоки, — писал он в 70-е годы, —

Над Москвою ревушие зори,
Над Москвою — небесной реки
Рукава! И небесное море.

И шумит и вздыхает Кольцо
До полуночи — тяжким прибоем.
И текучи душа и лицо.
И бессильно тут слово любое.

Только главные ритмы лови!
Но сознанию откроется бездна...
И зачем говорить о любви?
О любви говорить бесполезно.

«Главные ритмы лови»! Быть может, у меня они были временные и частные и лишь на то (правда, длительное) мгновение детства — главные, но какие-то свои ритмы я



Культ личности
30 сеп. 1956г.

«Тиран (сие понять поря давно!)
Созданье благодарное: оно
Из наших воскирений рождено.
Так что ж мы недовольны?»

Культ личности.

Рисунок Новеллы Матвеевой. 30 сентября 1956 г.

всё же тогда (в рассказанном выше периоде) — уловила. Вернее, это они поймали меня. Зимой. К ночи. Вблизи обыкновенной московской фабрики-кухни.

А внизу все огни потухли,
Только в кухне скачут отблески углей.

И впоследствии повара с поварятами (вовсе не ради еды, которую они стряпали, а с художественной точки зрения и в силу непонятной причуды) долго ещё казались мне сказочными существами высшей категории из неизвестного мне Джиннистана!⁵ И наоборот, — силуэты, при полной сохранности их изначальной загадочности, стали у меня считаться гражданами, вполне гораздыми (при определённых условиях) смешиваться с толпой обычных светообъёмных людей и уживаться с ними как ни в чём не бывало. Словно «силуэты» — это должность такая! Или профессия. Или нация. Или вероисповедание. Или гражданское состояние. Очень возможно, что я начинала их немного путать с чёрными невольниками и трубочистами. И вообще — с чернокожими. Хотя я, разумеется, отлично знала, что чернокожий — будь он того черней! — не может быть плоским, как тень, всё-таки (лет через пять после всего здесь рассказанного) — при первой попытке сочинить пьесу, я — как сейчас помню! — украсила её следующей ремаркой: «Входит несколько силуэтов. Поварёнок принимает у них подносы, уставленные всякой посудой. Последний силуэт ведёт за руку маленькую дочь госпожи Пиликановой».

(Бедная «маленькая дочь госпожи Пиликановой»! Не хотелось бы мне очутиться на её месте!)

...Но чем же ещё примечательно и увлекательно было течение «тихого, но не сирого Детства на улице Кирова»? И на прилегающих улицах?

Как-то (уже во время войны) встретила мне переводная фраза из автобиографии Марка Твена. Вроде бы ничего особенного: «Я могу восстановить в памяти» — так звучала

она. Однако подкрепляемое замечательной яркоцветущей речью и с упорством повторяемое через разновеликие промежутки её, предложение это произвело на меня впечатление до того сильное, что (удовольствовавшись ссылкой на первоисточник) я должна обязательно повторить его для себя!

Итак, я могу восстановить в памяти (хотя «я вспоминаю» было бы, конечно, короче), что одно время соседи ссужали нас (нашу семью) санками своих детей, невероятно великолепными; даже со вторым высоким сиденьем и в кистях, — вроде странствующего трона!

Я могу восстановить в памяти, что затея с треском провалилась, так как те же соседи вдруг почему-то грубо и хмуро лишили нас этого одолжения. После чего родители и приобрели для нас куда более скромные, но зато свои санки. Надеюсь, не худшие. Ведь человек на передвижном троне и охраняемый мамелюками (и папелюками) вместо обычных, простых родителей, думается, никогда не встретит на своем пути ни одного настоящего приключения! (Позже я и вообще убедилась, что только с обыкновенными — в неплохом смысле — людьми случается все самое необыкновенное! Что романист, во всяком случае, почти обязательно терпит провал, вздумав вывести своего основного героя в заведомо бросающемся в глаза и сразу же — с первой страницы — великом или выдающемся виде!)

Я могу восстановить в памяти и то, что в обсуждаемую здесь эпоху мы с сестрою ещё не знали пословицы «Не в свои сани не садись». Но с тех пор, кстати, и действительно больше никогда не садились в чужие сани.

Я могу восстановить в памяти свое уважительное восхищение вечерними, неярко освещёнными витринами, где сидели куклы, дымились меха, горели «драгоценности», красовалась посуда...

И ещё многое могла бы я (оказывается!) восстановить в памяти. Например, то, что в дневное время родителям некогда было водить меня на прогулки. А то, что вечер-

ние наши выходы в город как-то меньше стесняли и устаршали меня, чем дневные, терпеливому читателю уже известно.

Ох уж эти прогулки! Довели они меня однажды всё-таки до греха.

Подобно моим родителям, я, кажется, совсем не умею скучать, томиться и маяться. Но похвальным неумением этим я овладела не сразу. Должна признаться, что чувство ненавистного штиля и опущенных парусов мне было даже слишком хорошо знакомо. И как раз — в самую раннюю пору моего существования. Наверное, мне тогда все ещё сильно недоставало материалов для обдумывания. Ведь только дома я была «в своей тарелке» (и тут можно бы заметить, что «тарелка» моей сестры стояла на улице!), добывать же яркие впечатления, не выходя из дома, я к тому времени ещё не научилась. Играла я сравнительно мало. К игрушкам привязывалась очень уж избирательно. Не помню — умела ли я читать. Но даже если буквы уже мне были показаны, взрослые тексты, которыми изобиловал дом, были мне пока не под силу. А картинки внутри книг (некоторые) меня пугали. И, во избежание повторных встреч с ними, я подолгу не раскрывала книг. Разумеется, такое положение вещей было своего рода пыткой для моей деятельной натуры!

И вот однажды вечером, при электричестве уже, когда родители о чём-то негромко переговаривались, а я, сидя перед сном в своей кроватке, ломала голову — чем бы заполнить немислимые пропасти выпавшего на мою долю досуга, мне вдруг подумалось, что надо бы как-то доработать, подредактировать скучное слово «гулять». Сделать его как-то поинтересней, что ли. Чтобы оно иначе повернуло краску и, так сказать, заиграло новыми гранями. Перво-наперво следовало, конечно, убрать у него первую букву и заменить какую-то другой. Но... — какая же другая буква тут лучше всех подойдет? — размышляла я (являясь, как ви-

дим, уже всё-таки большим грамотеем и желая как можно скорее пустить свою образованность в ход)! Ну что? Взять букву «Д»? «З» или «В»? Нет! Всё не то. И в конце концов мой выбор остановился на букве «Б», приноровив которую к началу слова, я любознательно заглянула в «конец задачника». И что же?! Неожиданно вышло так, что в результате напряжённой работы моего мыслительного аппарата (ещё и одержимого идеей новаторства!) я получила в своё распоряжение слово... гм... не такое уж новое и к тому же не то чтобы умное! Надо ли уточнять — какое? Если из «бывшего» слова «гулять» вы — в честь иной буквы — изымете не только «бывшую» первую, но и «бывшую» вторую (что я не преминула почему-то сделать), и если вы всё ещё помните, с какими словами, вывернувшись из-за угла, обратился к вам в стелку упившийся незнакомец, которому вдруг показалось, что вы не друг ему, — пожалуй, вы получите истинное понятие о словце, вышедшем из моей детской лаборатории!

Разумеется, я не могла предвидеть — каким окажется мое фаустовское открытие. Ясно, что не понимала я и подлинного смысла таких речений. Но всё-таки я уже знала, что слово это плохое, запретное. Ведь моя овеванная ветрами странствий сестра, занимавшаяся доставкой мне из большого мира самых разнообразных слов, давно растолковала мне это!

Как сейчас помню бледный, но несомненный огонёк лукавства, дугой мелькнувший в дикарской тьме моего сознания! Хулиганская полуулыбка заиграла на невинных устах моих. Я рассудила за лучшее завтра же испытать новое слово в кругу семьи. (Ведь во всяком случае словоупотребление было новым.) Но... нет! Расходование новых слов среди своих, среди близких и только, показалось мне вдруг бесхозяйственным. Нет! Лучше уж я прокричу это слово, когда у нас будут гости, — решила я. И, устроившись поудобней, заснула сном праведницы.

В гости к нам довольно часто заходил некто дядя Захар (которого я почти сразу же окрестила по созвучию дядей

Сахаром. А будь он Глебом, — мне ничего не стоило бы прозвать его дядей Хлебом!). Другим нередким нашим гостем был виртуоз-балалаечник дядя Лёня. Ещё один дядя Лёня, заглядывавший к нам на огонёк, отличался в моих глазах главным образом тем, что на балалайке он не играл. Я так и называла их (чтобы не спутать) дядя Лёня-С-Балалайкой и дядя Лёня-Без-Балалайки.

— Кто без нас приходил? — спрашивали родители.

— Дядя Лёня-С-Балалайкой.

(Как если бы эта балалайка всегда находилась при нем! — обедал ли он, «чайпил», спал, клеил обои, чистил зубы или шёл, например, на службу!)

— А сегодня кто у нас был?

— Дядя Лёня-Без-Балалайки.

(Словно отсутствие у какого-либо лица этого музыкального инструмента нужно было понимать как самую отличительную черту его натуры. Словно человек без балалайки — это вроде как «большой, а без гармошки». Словно таковая безбалалаечность непохвальна. Хотя обозначение было, конечно, условно и в сущности-то никакой кривой смысл в него не вкладывался.)

Дядя Лёня-С-Балалайкой был молодой человек с маленьким лицом, всегда выражающим крайнюю благожелательность, предупредительность и чистосердечность. Но эта усиленная учтивость, этот всегда чуткий наклон к собеседнику, пожалуй, не означали ничего особенного, кроме обычной вежливости, а вообще-то — подозрительно походили на простодушную выплату отступных всякому, кто не обидел. Всякому, кто не отнял у него — у дяди Лёни — его заветный музыкальный инструмент, а ведь могли бы! Многие могли бы! Казалось, под видом учтивости (и якобы только учтивости!) на лице его отражалась тревожная обязательность благодарности всему свету за то, что ему позволено заниматься любимым искусством. Потому что по-настоящему он думал только о балалайке.

Склонив голову чуть-чуть набок, он слушал вас, как бы говоря: «Я весь — внимание! Какие удивительные сведе-

ния! Надо же!» Но вы могли поклясться, что ничего-то из сказанного вами он не понял и ровным счетом ничего не слышал, так как мысли его находились в это время в довольно-таки далёкой отлучке и даже, лучше сказать, в самоволке! Отсюда и некоторая виноватость в его лице — да, именно отсюда, а не от недостатка гордости. Музыкант не прислуживался, он — *п р и с л у ш и в а л с я*. Не к вашей речи (отсюда и виноватость!), а к внутренней музыке, — обдумывая заранее всяческие ходы её, каскады, пассажи... Мысленно — уже давно играя...

Со всем тем он был, кажется, очень привязан к нашей семье, тем более что у нас его слушали и признавали. Очень возможно, что отец открыл его в каком-то кружке самодеятельности и, разумеется, с той же минуты начал, по своему обыкновению, поднимать, выявлять для всё более широкой публики ещё одно неизвестное дарование. Недаром же «Тянулся вслед за ним» (то бишь за отцом моим) «всегда и млад и стар!». Недаром —

Все, кто не знал, как быть,
Кто в чем-нибудь нуждался,
Кто денег не берёт, удачи не дождался,
Все шли к нему. И всем он помогал, пока
За ним не прижилось прозвание «чудака».

Ибо помощь богатого бедному называется всегда «мecenатством», а помощь бедняка бедняку почему-то «чужацеством». С чего бы это?

Который-то из двоих дядей Лёнь носил, смутно помнится, длинное тёмное кожаное пальто. Вероятнее всего — дядя Лёня-Без-Балалайки! Потому что в человека в кожаном пальто до пят и с балалайкой в руках я что-то никак не могу поверить! В жизни, конечно, чего только не бывает, но, не соблюдая заповедей, люди всё же стараются соблюдать — каждый свою стилистику.

Кажется, этот дядя Лёня был несколько замкнутый, даже суровый. А может быть, и не был. А может быть, у него и скулы были кремнёвые? И, если уж о стилистике, — то и наган в кармане? Может быть, да, а может быть, и нет.

Теперь мы, конечно, превосходно знаем, что за типы разгуливали некогда в кожах! И всё-таки я не могу дать расписку с печатью в том, что дядя Лёня-Без-Балалайки был тоже из их числа. Как-то не хочется ни на кого (ни с какой стороны) возводить поклёпы. Ну и что же, что в кожах? Платье обязывает, но не настолько же... Если же и ходил к нам какой-нибудь «Природы праздный соглядатай», изучавший моих родителей на предмет посадок, то он как раз не обязательно был так уж строго подстилизован под носителей кожаных тужурок, и, главное, это совсем не обязательно был дядя Лёня-Без-Балалайки.

У меня плохая память на лица, но довольно хорошая — на выражения лиц. Настолько, что — по одному лишь выражению — я снова и само лицо могу вспомнить. Не такое простодушно-проникновенно-учтливое, какую являлась круглая физиономия дяди Лёни-С-Балалайкой; более бледное, продолговатое, городское лицо другого дяди Лёни злодейским не было тоже. Ручаюсь, что и на нём не было ни плутовства, ни угрозы, ни спеси (так свойственной соглядатаям-провокаторам, потому что их непотченное занятие требует от них особо-возвышенного внутреннего оправдания, которое им довольно легко для себя придумать). Словом, лицо было как лицо. Или я ничего не смыслила в лицах (а теперь — ничего не понимаю в делах ребяческой интуиции, почти всегда безошибочной. И даже иногда пророческой! Чему надеюсь привести в скором будущем красноречивый пример).

Итак, я не сохранила впечатления, будто те наши гости ходили к нам с низкой целью. Да и, собственно, что с нас было взять?! Будь мой отец костеровским Клаасом⁶, вряд ли бы костеровский рыбак побегал доносить на него инквизиции — ради вознаграждения в виде двух наших столов, нескольких наших стульев да папиного архива, ценности коего не понимал в то время никто, кроме нескольких специалистов-дальневосточников... Правда и то, что уже надвигались облавы обвальныe. Правда и то, что где-то совсем близко от нас аресты превращались уже в чистей-

шее «искусство для искусства», от которого никакое пролетарство, никакая бедность никого уже защитить не могли. Но случай всё ещё миловал нас. До поры до времени...

Теперь я думаю, что дядя Захар мог иметь некое отношение к организации папиных лекций. Не лишено вероятия, что у нас дома он и отец обсуждали именно это. Но для меня осталось загадкой: почему же таким неуверенным «на лицо» и не преуспевающим в оообще выглядел этот человек? Его сложение было даже дюжим, но, как сказал бы истинный романист, отнюдь не «дышало силой». Он носил военную форму, но казался нескладным, да и форма была какая-то выгоревшая. Бритое его лицо, сырое и рябоватое, казалось тяжёлым книзу, а высокий чуб (или — как там называется кипа волос, похожая на картонную, потому что она никуда не падает?) продолжал его физиономию далеко вверх. Седине приходилось чуть ли не приступом брать неколебимую причёску дяди Захара. И, одним словом, на вид это был типичный служака-организатор, если не служака-хозяйственник, — бодрящийся, безропотный, деятельный, но... неуловимо всё-таки невезучий. Был ли он «честный и смелый», как «парень» из песни или как мой отец? Не знаю. Я только догадываюсь, что это был человек, принимавший имперскую службу очень всерьёз, как большинство рядовых сизифов-энтузиастов того драматического периода.

Делается похоже, что по запомнившемуся выражению лиц я (как некий перевернутый Кювье!) могу восстанавливать не только лица, но и фигуры! Если, конечно, я действительно восстанавливаю их... Но ведь даже и за то не могу поручиться, что в вечер (о котором речь впереди) все здесь отпортретированные (зато, надеюсь, не третируемые!) были у нас в полном составе. Как не возьмусь и утверждать, что не было среди них и ещё кого-то, — нашей, например, соседки Берты... Как бы там ни было, никто из этих людей конечно же не заслуживал участи, какую я для них приготовила!

...И вот гости собрались. И когда все они особенно оживлённо разговорились между собой и меньше всёго ожидали

удара, я пронзительным голосом, перекрывающим все голоса, враз потребовала прогулки. Как предсказано уже, — на своем новом наречии. И — в одно только слово!

На мгновение всё замерло. А затем...

— Деточка, деточка, да как же так можно?! — поражённой скороговоркой и с сильным ударением на «как же» заговорил отец.

— Кошмар! — вскричала мама. — Кто это, интересно, её научил?

Родители были ввергнуты мной в смятение, в настоящую панику! Но негромко и холодно, почти лениво прозвучал вопрос к ним одного из гостей:

— Где она у вас это слышала?

Я смутилась. Во мне с глупостью уживалась всё же некоторая сообразительность, и я превосходно уловила это вот самое «у в а с». Я его даже отдельно про себя отметила. И показалась я себе тут настоящей злодейкой — хуже, чем предательницей своих родителей! Предают ведь то, что есть. Предают скрываемое, но все же имеющееся в наличии. Тогда как я, получается, попросту оклеветала и отца и мать! Я возвела на них ни за что ни про что совершенно удивительную напраслину! Да, случилось, что при мне они спорили. Иногда даже очень сильно! Но кому, как не мне, лучше всех было знать, что подобных слов — даже в крайней горячности — они не употребляли никогда! А теперь гости подумают, что я слышала это — от них! Теперь всё время так будет считаться! Я была не на шутку огорчена, сконфужена, пристыжена. Вот так случай! И до меня вдруг дошло, что не всё из ряда вон выходящее обязательно уже тем самым интересно, смешно, забавно, остроумно и весело.

— Чтобы это было в первый и в последний раз! — твёрдо сказал отец.

У него, когда он был расстроен, после чеканнейшей речи обычно оставался на языке как бы ещё такой постепенно опадающий и не очень ясный уже речевой осадок. Вроде не вдруг замирающей за горизонтом грозы и в ви-

де одного или нескольких «понимаешь ты» или — «вот те здравствуйте, я говорю... пожалуйста!». Теперь, после своей графически-чёткой мне укоризны он, заблудившись вдруг меж гостями, ходя вперёд и назад и треща пальцами растерянно соединённых рук, всё бормотал: «Вотт ведь понимаешь ли!..» («Вот» — всё ещё громко, а дальнейшие слова — тише, тише, тише, и потом уже без «вот»)... Мама, по-видимому, пыталась как-то объяснить гостям случившееся. Я — совсем поникла и приуныла. И как было не сникнуть? Получалось, что маленькая девочка из интеллигентной семьи выругалась, как сапожник!

Но я смело утверждаю, что это было в моей жизни действительно в первый и в последний раз.

А как же с облагораживающим влиянием той фабрикухни, где повара — по совместительству — работали ещё и силуэтами? (За что им полагалось бы, конечно, двойное жалованье — одно светообъёмное, другое — тeneвое!) Спрашиваю себя и уже не могу поклясться, что замечательный тот поварской танец в окне я видела до, а не после рассказанной здесь хулиганской истории. Но даже если и после, то что с того? Даже и встреча с божеством лишь ненадолго делает человека лучше, — будь он взрослый или дитя. Всяк человек хоть немножечко — да факир, потому что умеет быть плохим и хорошим почти одновременно. «В башке ведь всё перепутано!» — как заметил мне один редактор, отвергая мою распланировку книги, по его мнению, слишком стройную. Я, правда, не совсем согласна, что путаницу в собственной «башке» мы вправе механически переносить в голову читателя. Стремиться-то надо всё-таки к Идеалу! Не надо куражиться над ним только за одно то, что он недостижим! Тем более что это ведь не его вина, а, наверно, всё-таки наша? Но — так как речь тут зашла не столько о желательном, сколько о существующем, то, возвращаясь к сюжетам детства, скажу: мечтать о чудесном я могла само собой, а капризничать, осуществлять деспотизм и хулиганить — само собой.

И потом: почему прекрасное видение вечерней фабрики-кухни (даже если предположить за ним силу, «развлекающую поучая») — должно было перевоспитать меня сразу? Наверняка же те фантастические повара изрядно умели готовить фундаментальные деликатесы, повара, быть может, применяли уже волшебную выдумку по части соусов (а силуэты всё это смекалисто сверху перчили), но воспитывать и перевоспитывать сразу — умели на моей памяти... только мои родители.

«Сразу» — это значит вовремя. Воспитать человека рано, а не поздно, это и есть — воспитать вовремя. Но... да не подумает кто-нибудь, будто и меня им удалось отшлифовать на славу! Они просто бы и не успели. Все дальнейшие обстоятельства работали против них.

Осуществляя суворовский переход к следующему сюжету (суть в том, что придётся вновь говорить о вещах серьёзных и трудных), — не сделать ли ещё один, кажется, и необходимый — привал? Довелось мне однажды (по нечаянности, конечно!) сильно развеселить одного человека, сообщив ему, что «данное мне моими родителями аристократическое воспитание не пошло мне на пользу». Учув парадокс, он много смеялся. (Что, впрочем, не помешало ему потом обокрасть меня по линии песен, — но это я так, только к слову!) Главное здесь для меня в том, что нечаянный тот парадокс парадоксом почти что и не был! Конечно же, отчасти я пошутила. Но ведь и кроме шуток — я получила недурное воспитание. Но ведь и кроме смеха — я не сумела воспользоваться им как подобает.

Вернёмся, однако же, к нашему повествованию и поведем его не только о родительской строгости.

В живописуемый (а вернее, в скоромалюемый!) период многое по части вылазок и капризов сходило мне с рук. Как младший человек в доме я — до поры до времени — обживалась в системе баловства и поблажек. Но, даже и в том своем полуварварском состоянии, я не могла уж совсем не замечать прекрасных качеств моих родителей — их деликатности, их терпения. И временами вдруг словно бы про-

сыпалась от осаждающих наваждений, чтобы увидеть их лица глазами стыда и раскаяния.

Однажды утром я (в прямом смысле) проснулась под впечатлением сновидения, словно нарочно списанного с крымских открыток, хранившихся в домашних альбомах. (То были яркие ялтинские виды, собранные отцом и матерью в память о их путешествии на Юг, — о магнолиях, о купанье, о Байдарских воротах...) Снилось мне, впрочем, уже не открыточное, но своенравно вырвавшееся из всех изображений море. Я давно хотела увидеть его таким: не «заснятым», а настоящим, в натуральную величину, живьём! Таким, каким видели его папа и мама. Но — странное дело! В моём сне оно было не столько широким, сколько... высоким! И лезло ещё выше. И всё крупней клокотало, грозя смыть меня с места. Не на шутку встревоженная его кидаящимися движениями, его тяжёлыми взмахами, его слишком быстрым ростом и приближением, — я не успевала заинтересоваться его далью и ширью; взбалмошное, сумасбродное — оно само же и заслоняло свою даль, пугая ею почти заочно, не давая успеть и предположить о ней что-нибудь хорошее...

Южное море? Да. Голубое? Да. Но оно не было голубым по-радостному, оно было скорее лишь взбаламучено-голубым, казалось поднявшим весь ил свой со дна — осадок всех досад... И само дно вывернувшим наизнанку — вверх низом, как святочный тулуп... И даже небо, — неподвижное небо всех снов, — здесь — близкое, знойное, бледное и всё-таки голубое, не могло отразиться в таких волнах лазурью, а могло оно отразиться в них только в желтоватом, грозном и выцветшем виде.

А главное то, что волны — каждая, — поворачиваясь всем своим крупно-клокочущим корпусом, с каждым таким поворотом делались, повторяю, всё выше и всё ближе к моему пристанищу. Лезли вверх, всё вверх, и это было очень страшно! Тем более страшно, что я стояла на верхушке всё быстрее затопляемой скалы. И хотя её желтоватый пористый камень был до уюта прочен, сейчас он поглощал-

ся морем на каких-то слишком уж вероломных, бессовестных, сверхчеловеческих скоростях. Мы так не договаривались! Но не было никакой надежды, что эту скалу отпустят.

Я, конечно, и одна не знала бы — что делать в такой обстановке. А тут ещё за моим плечом стоит будто бы моя сестра, преисполненная самой безжалостной решимости столкнуть меня в волны! И вот... она толкает меня! И я кувырком лечу в волны! И... — от того ли, что дальше уже не было перспективы что-либо увидеть, — на лету просыпаюсь.

Я всё ещё была тогда невысказанно простодушна, но не настолько ужё, чтобы не отличать снов от яви (как это имело место незадолго до моей «крымской кампании»). Поэтому я до такой степени быстро сумела опомниться от пережитого страха, что на скорую руку придумала даже способ пересказа этого сна семье, — способ, как мне казалось, очень весёлый. Немного же времени и занял мой пересказ!

— Зязя! — (так величала я свою сестру) — Зязя, — обратилась я к ней, — зачем ты меня в моём сонё в море бухнула?

Кинув на меня беглый презрительный взгляд, сестра не удостоила меня ответом. Едва уловимым и лишь мгновенным было на лице её легкое удивление; очень заметным зато — выражение пренебрежительности. Но отец и мать пришли от моего «пересказа» в совершеннейший восторг! И вскоре мама уже обращалась к соседке с вопросом, вполне риторическим: «Знаете, она что сказала сегодня, когда проснулась?! — Зязя, зачем ты меня в моём сонё в море бухнула?» «А знаете, что она у меня сегодня сморозила? — вторил маме отец, останавливая по одному друзей, знакомых: — Зязя! Зачем ты...» И так далее, и так далее... Похоже, мой словесный оборот начинал прочно входить в золотой фонд изустных семейных преданий.

Он произвёл действие, на которое — пора признаться! — я как раз и рассчитывала. Но отчего же успех меня совсем не обрадовал? Меня не только не ругали — меня хвалили. Но отчего при первом же звуке похвал я сама себе вдруг показалась отвратительной кривлякой, канальей

и фальшивомонетчицей?! Ах! Секрет не только в том, что, приступаясь к «Зязе», я уже отлично знала, что (как сочинила я впоследствии) «Редьку “Ландышем” не спрыскивают, / Наяву за сон не взыскивают!»! А ещё и тем объяснялось моё начинавшееся уныние и самоедство, что я и о том ведь давно уже знала, как произносится фраза «в моём сне». Но вместо верного произнесения я подсунула слушателям ложное «в моём сонé»! Я вполне была властна рассказать свой сон по-человечески. Но вместо этого вдруг засюсюкала, подделываясь под своё детство, как под чужое, и нахально напрашиваясь на восхищение взрослых! Восхищение, которое, оказывается, мне совсем и не нужно было. Больше того, которое теперь так стесняет меня и гнетёт! А будучи взято вместе с восхищением ещё и чужих людей (ну и хорошо, если оно у них хоть поддельное!) — прямо-таки засахаривает меня живьём, как муху в банке с вареньем!

Следя за изменениями в моем словарном запасе, отмечая в нем всё забавное, всё нечаянно-остроумное и, наоборот, возмутительное, требующее немедленного искоренения, на сей раз мать и отец (видимо, по вечной занятости своей) явно проглядели какой-то этап моего языкового развития. Не заметили, что некоторые слова я давно уже говорю, как взрослая. Это-то и позволило мне преувеличить долю моего косноязычия в их глазах. И вот, — всегдашние враги паясничанья и фальши, — на этот раз они попались: приняли мое комедианство за чистую монету. Тем более — я не должна была их обманывать! И теперь я охотно вернула бы назад, отменила бы свой «пересказ» вместе с его успехом. Да было поздно! Слишком скоро он сработал — этот мой загот-экспромт (если так можно выразиться). И сразу же, в следующий миг — стал ненавистен мне!

(А выражение — за год — экспромт, — то есть экспромт годовой растянутости, всё равно мне напрашивается. Ничего не могу с собой поделатъ!)

Будь тот мой поступок ложью, — ложью от начала и до конца, должно быть, я созналась бы в этом и попросила у взрослых прощения. Но ложь была частичной, а работа

по отпугиванию — (своей ли, чужой ли) — лжи от истины, трудная иногда и для взрослых, ребёнку представляется вообще непосильной. Ребёнок становится в тупик перед ней, точно перед китайским узором или китайской грамотой. И ещё более непознаваемыми были для меня (чтобы не сказать — остались и до сих пор!) мотивы моей дурацкой выходки. Для чего всё-таки я старалась? Неужели только «для красного словца», для которого уж ведь известно — кого не жалеют?!

И вот мой внутренний голос приказал мне (вместо отцовского голоса) — чтобы и это тоже было в первый и последний раз.

Постепенно родители перестали пересказывать мой сон (и расписывать мою выходку) друзьям, знакомым и малознакомым. То ли случай себя изжил? То ли однажды они всё же заметили, как мало я радуюсь моей неожиданной славе? (Мне даже кажется, будто я помню момент какой-то их молчаливой догадки обо мне! Неужто они взяли и мой внутренний голос подслушали?!) Ну а он? Внутренний голос? Неужели он говорил со мною и о воспитании? О воспитании в прямую, когда с тобой для чего-то суровы? Болтала ли я с ним по-свойски и о воспитании от обратного, когда тебе приветливо верят, а ты этого пока не заслуживаешь? Неужели я была уже так сознательна? Разумеется, нет! Как явствует из рассказанного, внутренний голос уже кое-что запрещал мне, но его распоряжения долетали до моего сознания смутно, как дуновения, и как будто издалека. Да и вообще он говорил со мной тогда не словами. Разве изредка. Гораздо чаще — картинками, вернее даже, эскизами. Обрывками снов, то тяжёлых, как мой крымский сон, то иных. Вероятно, так беседовала с собой непонятная полустихийная девица из гофмановской сказки о Повелителе блох! Но не излишним тут будет вспомнить и Афанасия Фета, который сказал:

Тихо шепчет лист печальный,
Шепчет не слова.



Милёля и другие

*И снова детей своих кличет мать.
А мы в садах танцуем опять...
А ужин давно готов;
(Стол — с этой картины.
А золото блюд —
С картин других мастеров.)*

1976

На картинах старинных английских и голландских художников изображаются кошки и собаки, иной раз такие короткошёрстные, что кажутся даже голыми, как поросята.

Поражает также их самоуглублённость.

Среди скандально валяющихся чепцов, падающих очков и оползающих на пол скатертей они держатся особняками, стараясь не брать всего этого в голову, не вкладывать в это душу и, если можно так выразиться, не участвовать в кораблекрушении. Мне всегда было их жалко, но молчаливыми вечерами я безотчётно испытывала перед ними ещё и какой-то неопределённый таинственный страх, как перед маленькими представителями великого Сарказма.

Ведь же у некоторых живописцев на изображении даже всякая бросовая хозяйственная тряпка — и та как бы продёрнута электротоком иронии. Кусает, бьёт по пальцам! Почему-то именно в раннем ребячестве меня успешнее всего зацепляли эти, там и сям возникающие, короткие разряды. Теперь не так. Чем взрослей (то бишь чем грешней) человек, тем неуязвимей для критики. Зато теперь я вижу, что Хогарт⁸, например, — и притом со всеми его сарказмами — просто великий человеколюбец. Открытие, которое радует и утешает.

Многое... нет, не то чтобы уладилось (как бы не так!), а сильно переменялось. Даже «голых» собак в том исполнении, что и жалобило меня и чуть-чуть отшатывало, я встре-

чаю теперь почему-то не у Хогарта, как предполагала, а у других художников! Значит... либо когда-то я своею волей закрепила за ним чужое, либо сами эти домашние звери (а ведь никогда вроде перебежчиками не были) неожиданно сменили хозяев, перебежав на другие картины? Да и люди иные на иных изображениях тоже как бы поменялись местами. Пересели вроде как на другие стулья... А кого — так и за дверь, очевидно, выставили, — зря, что ли, я его больше не вижу в его обычном углу? И самые подробности некоторых живописаний перелетели, как птицы, на другие, новые ветки.

Разумеется, больше я всё-таки запомнила, чем забыла или мысленно передвинула. (Зритель-передвижник!) «Везде передо мной подвижные картины». Оказывается, не везде. Да и то, что изменилось, изменилось ведь незаметно, без резкой жестикюляции. Это как движение рассвета:

Бескрыло перелетая,
Не двигаясь, пересела
Просветов лиственных стая...

Словом, так и кажется, что за пройденные мною годы детали знакомых картин тоже, НЕ ДВИГАЯСЬ, ПЕРЕСЕЛИ! Повторю: не все. Но уж что осталось в точности неизменным, но уж что БЕССПОРНО никуда не пересаживалось и не пересядет, так это то, что в продолжении всего своего ребячества я, точно каторжник добровольный к тачке, была буквально прикована к рассматриванию прекрасных картин в толстых книгах!

Однако прежде чем сестра приохотила меня к этому занятию, я, стремясь и сама к познанию, довольствовалась чем ни подвернись. К примеру, от капризов, от рёва, предприняемого мной подчас перед сном, меня старались отвлечь (и отвлекали порой даже успешно!)... портретами немецких коммунистов! которые отец приносил из другой комнаты и подавал мне торжественно, с широкой улыбкой! Приумолкнув, я принимала портреты. И как же должна была удивлять его и радовать такая политическая разви-

понятных горестях, как... политическая карикатура! Из тех её образчиков, которые отец вырезал (или — по его слову — вырезывал) из газет в качестве подсобного материала для своих лекций и докладов по международному положению.

Не понимаю: как до тех пор я жила на свете без политической карикатуры?! И почему бы мне было — сразу, на месте! — не погибнуть без материалов для докладов по международному положению?! Пока отец искал в другой комнате папку с карикатурами, я, от предварительного отчаяния, от страха, что вот вдруг возьмут и обнесут меня сегодня этими — по слову Ивана Киуру, — «сверкающими богатыми сокровищами», — прямо разрывалась от горьких рыданий. Но вот долгожданные картинки получены. И я могу раскладывать их по одеялу перед собой. Я сосредотачиваюсь, углубляясь в их изучение. Горести — как не бывало! Затем налаживается и сон. Если больна была, — болезнь проходит.

Резкие (подозреваю, уже и в рассказанные дни, подчас устарелые) изображения, например, Чемберлена в цилиндре, с моноклем в глазу и в галстук бабочкой действовали на меня успокаивающе-усыпительно, как хорошая колыбельная. Мирили с реальностью. Почему? В чём могла быть разгадка такого пристрастия к несоразмерным фигурам работы Бориса Ефимова, Кукрыниксов (кажется, тогда гремевших славой), других шаржистов и карикатуристов, — художников не передвижников, а *пересмешников*? В чём было дело, в чём, так сказать, пафос? Ведь не могла же я тогда понимать символического значения, истинного назначения таких рисунков!

Что ж! Тем-то они и разбирали меня, что я их не понимала. (Вариант: «Он тем меня и взял, что мне его не жаль».) Да нет! — как могла бы нянчить, баюкать, утешать ребёнка политкарикатура, знай бы он — что она такое? Никак не могла бы, думаю я. Ведь только моя неосведомлённость на её счет и придавала ей в моих глазах всю ту значительность и чудесную замечательность, подобную смеху некстати



«А ты, волшебница Сирень,
Не выходи из пьесы;
Приди, и Золушку скорей
Одень в наряд принцессы...»

Волшебница Сирень.

Рисунок Новеллы Матвеевой. Июль 1948 г.

«ночью и на бурном закате»! Ведь только мое неведение полнейшее и могло превратить обыкновенные газетные вырезки в некое царственное подобие непреходящей классики (пусть не для всех, но для меня — бесспорной). Потому что все эти карлики и дылды, и непомерные лопающиеся толстяки, и немыслимо худосочные чудаки-чудаковские; потому что все эти замысловатые «костюмы» (с перепадами от горностаевых мантий до ходьбы без штанов); потому что посвящение себя всеми этими жуликами самым странным и необъяснимым занятиям вроде срывания какого-нибудь занавеса или перетаскивания земного шара с места на место; потому что всё это (в моём понимании) не могло быть ничем иным, как только сказкой! Прекрасной, волшебной, причудливой сказкой на ночь! (Вот как? Значит, коты и собаки от живописи — это сатира, а сама сатира — что твои коты и собаки?!)

Позднее, когда я узнала, что даже сам «Гулливер» не полностью сказка, а всего лишь политическая сатира, я этим так была раздосадована, как если бы столкнулась вдруг с вероломством! А ведь я так рассчитывала на него, — на Гулливера то есть! Так свято верила, что его титаны и малютки ничего не значат! То есть ничего, кроме самих себя, но ведь это-то и есть (было!) самое грандиозное! Я так радовалась, что всё это только сказка, но ведь это смиренное «только» — оно-то и есть (было!) самое величественное и беспредельное... И вдруг... точно щелчок по лбу, — «сатира»!

Впору было заподозрить, что уж в таком случае и катушка ниток и чашка чаю, и вся комната, и весь мир, и мы сами — тоже всего лишь какая-то политическая сатира, ни больше ни меньше! (А меньше-то и нельзя!)

Да нет! Какая может быть политика среди вещей, которые только *представляются* неодушевлёнными? Какая ещё сатира — в областях непознаваемых? Да если на то пошло, оно и так всё должно быть с глазами и с ножками! — всё это тайное мировое хозяйство, притворившееся и хромым и слепорождённым, но очень ловко ускользающее от умо-

зрения... И ведь ходит оно ходуном, и кувыркается, и куро-лесит «не для чего-то, а просто так» и уж во всяком разе — не для сатиры!

Просто так
танцуем танец, танец,
Просто так!

Особенно очевидным это становилось к ночи, когда вы были одни, и перед сном, и во сне... Ведь самые чудесные сны моего детства (безо всякой политики страшные, безо всякой сатиры смешные) никогда не были посвящены никаким таким вигам и тори, а всегда только лилипутам и великанам. Самим по себе.

И вот, стало быть, почему (чтобы уж разделаться с этим вопросом и подвести итоги) — вот, стало быть, почему — как только узнала я возмутительную весть, что «Гулливвер» не сказка (вернее не совсем бескорыстная сказка); что все изображённые в ней дивные существа всё-таки что-то значат (значат в скучном смысле и в скучном мире, а не у себя на родине, в заповеданном Джиннистане!), — то бишь систематически намекают на что-то неизмеримо меньшее, чем они сами; именно же на такую бесконечно малую величину, как политика — к тому же в её давно отшумевших видах; как только я о том, повторяю, проведала, мне стало скучно и зябко, словно бы вдруг обанкротилось до конца самое богатое из моих сновидений. Словно где-то открылось вдруг зимнее окно и оттуда пахнуло и обдало хлынувшим холодом...

Что мне делать?
Где жизнь простая?
Всюду символы, знаки, намёки без счёта...
Всякий чих означает высокое что-то...
Что мне делать?
Где жизнь простая?!

Может быть, это «смешно и дико» (как сказал Ростан устами Лизы Рагно⁹), но я и поныне, кажется, осталась (в чём-то) приверженкой не взрослых (полных), а детских

(сокращённых) изданий свифтовского шедевра. Сокращённых как раз настолько, чтобы политика не успела внутрь повествования откуда-нибудь пролезть... И чтобы негде ей было расположиться там со всеми удобствами!

Ребячливость, давно непозволительная? Может быть. Я и сама это нутром чувю. И всё же слухи о каких-то моих панических «бегствах от действительности» в идеализм, в инфантилизм, в сентиментализм, в идиотизм, в блаженство рассудка и вообще в какие-то Елисейские поля восторженного слабоумия, — все эти слухи, как сказал бы классик, несколько преувеличены. Мне, конечно, жаль, что я произвожу такое впечатление... Жаль, что и само слово «романтик» в устах сегодняшнего человека стало звучать как «дурак»! И хотя мне было бы бесконечно лестно попасть под эту категорию вместе с такими людьми, как Вальтер Скотт, Пюго и, скажем, Шарлотта Бронте, всё же я (в страхе перед ярлыками и этикетками) от этих выдумщиков отступилась и теперь пишу голые факты, только факты и ничего, кроме фактов!

Ведь до чего доходит? Доходит до того, что даже в таком ненормально-мечтательном стихотворении, каким является «Акация», все мелкие детали — и те у меня строго сверены с автобиографической существенностью и жизнью, как есть! Правда, Иван Киуру всегда утверждал, что «жизнь совсем не такова, какова она есть», а ему не верить я не могу. Что ж! Значит, они (я о деталях) сверены не с такой жизнью «какова она есть», но с какой-то жизнью они ведь несомненно сверены. Главное, были бы сверены. И главное — с жизнью. Ну, там, с какой-нибудь... (Гром и молния! Где я вам возьму настоящую?!) И если я, к примеру, говорю (в той же «Акации») —

Шахматное полотенце,
Синяя книга баллад, —

то знаю, что говорю. Тщетно поверхностный пересмешник стал бы заверять вас, что «полотенце» тут ради рифм «квинтэссенция» и «заусенцы» притянута! Ничего подобно-

го! С тех пор как меня, повторяю, запугали разными прозвищами (и попрёками в беспочвенности осыпали), я не решилась бы и полотенце придумать сама, личными силами! Но уж если оно у меня в стихе обозначено, то позвольте присягнуть; значит, оно у нас в доме действительно было — «шахматное», полотенце то есть! И от исторической правды с её реализмом тут не отступлено ни на шаг! Даже, как сейчас помню — с обоих полюсов его красуются именно шахматные клетки, вышитые (уже ветхими) бледно-фиолетовыми и коричневатыми нитками... Мы его даже так и называли: — А ты не помнишь, где у нас шахматное полотенце?

То же и «Синяя книга баллад»! Уж раз я говорю, что она синяя, значит.. гм... впрочем, кажется, она была всего лишь тёмно-голубая. Но отклонение от суровой правды жизни здесь ведь самое незначительное — разве не так? Если же ко мне опять придираются станут (в прямом смысле, де, краски сгущаешь!), — сами должны понимать, — отвечу я, — что в наше время от голубого до синего — один шаг!*

Вообще, что касается реализма, то, по-моему, только реалистом чувств и можно быть в этом мире, где, по-видимому, никак невозможно быть реалистом всего остального.

Но теперь мне смутно вспоминается, что, вроде бы, начинала я о ином? О своём, например (времён Мясницкой улицы), непонимании политики в газетной карикатуре и о своём, опять-таки, сопротивлении сатире в «Путешествии Гулливера». Ясно, что даже в каком-нибудь путешествии Гули и Веры — и то должна была бы присутствовать какая-никакая сатира, с этим ведь ничего не поделаешь! Но я этого не понимала.

В тяжёлых формах эта моя особенность, правда, не сохранилась надолго. Постепенно старинная борьба тори с вигами, королей с парламентами, епископов с королями втянула и меня в свою орбиту. В подростковом возрасте я

* Здесь автор, конечно, ни на что вульгарное не намекает. Даже ещё не знает, что самые краски и цвета уже опорочены временем, — новыми словоприменениями. (По тексту здесь и далее примечания автора, за исключением особо оговорённых.)

уже втравливала свою раннюю музу то в одно, то в другое политпредприятие, где «Торьям виги кажут фиги», где темнокожие беглые рабы прячутся на болоте от собак надсмотрщика и... мало ли ещё что происходит... От политики не уйдёшь хотя бы уж потому, что никогда не знаешь — где она начинается, а где кончается, и кончается ли она где-нибудь вообще. Но я и не помышляла о каком-нибудь бегстве от политики. Просто я сразу (хотя и невольно) отделила её для себя от сказки. И некоторое время это выглядело, как «навсегда».

Быть может, с моей невежественной стороны это дерзко, но иногда мне казалось, что старое оконное стекло, надтреснутое и надставленное или кривое, может заключать в себе... случайные элементы телескопа. Бывает, мне думалось, такое стечение волн стекла, через которое звёзды днём открывать можно! Во всяком случае таким стеклом, — обычным, но с видами в необычное, — были для меня в раннем детстве (независимо от их усыпительного воздействия!) газетно-рисованные аллегории мирового империализма. Повторю: для меня они были просто сказками. Тут как бы стекло было нашито на стекло, слой набегал на слой и, взаимоисключаясь, все они создавали какой-то неожиданный третий смысл, единственно нужный мне. Но не было, не было случайных элементов даже и такого «телескопа» в тех политических портретах (на толстой бумаге, не больших и не малых), которые подсовывал мне отец (и к которым я также должна вернуться).

Бывало, что он пытался как можно более подробно и внятно поведать мне о жизни и подвигах Эрнста Тельмана, Клары Цеткин, Розы Люксембург, но рассказы эти я слушала вполуха, а портреты их героев принимала на рассмотрение... лишь в силу какой-то своеобразной младенческой учтивости, нападающей, как это ни странно, подчас и на таких безутешно-привередливых зверёнышей, каким являлась я! Вообще у многих детей на лицах можно порой

наблюдать это неожиданно тихое выражение внезапной рыцарственности по отношению ко взрослым... В это время дети смотрят не прямо, а немножко вниз и в сторону, а в углах полуулыбок возникают у них как бы небольшие зажимчики, — точно у благовоспитанных дворян на старинных изображениях, там, где они подбородками слегка упираются в стоячие воротники! И во всём ребячьем облике тогда образуется — вдруг, откуда ни возьмись, — внимательно светящееся терпение и тайная снисходительность к маленьким слабостям взрослых, — право же, таким простительным, если рассудить... Кстати, это выражение обязательности, подавляемой светской неловкости и покровительственной понятливости скрываемого сочувствия, — словом, это смешанное улыбчивое выражение личности лягушонка-дворянина наблюдается подчас не только на лицах человеческих детей, но даже и на физиономиях домашних животных! Когда они так исполнительно подставляют макушки, чтобы их погладили (раз уж так надо, хотя им самим это сейчас вовсе не требуется) или... когда, по их наблюдательному мнению, хозяева их попадают в дурацкое положение...

Быть может, в помянутое время выкраивалась и на моём лице подобная мина? Не потому, что я-то являлась понятливым ребёнком, добрым до конца. (Чего не было, того не было!) А потому, что отец подносил мне свои драгоценные портреты политиков не просто так, а бережно держа каждый обеими руками за краешки и, как я уже говорила, широко улыбаясь. И так как в улыбке этой читалась какая-то странная просительность и даже вроде надежда на идейную преемственность — от отцов к детям, — то закапризничать, взбрыкнуть или разреваться в тот миг было бы неммыслимым вероломством!

Не хочется пересматривать мне и теперь. Что-то никак не берёт меня смех ни над неразделёнными идеалами родного отца (их и без меня было кому осмеивать!), ни — даже — над этим странным Эрнстом Тельманом, который, как это широко известно, множество лет провёл в заключении за

свой — какой-то прямо-таки болезненный! — интерес к столь незанимательной для многих материи, как права немецких рабочих! Не бѣрет меня смех ни над Кларой Цеткин (я слишком мало о ней — для этого — знаю, но зарождению-то фашизма противилась, наверное, и она), ни над зверски убитой Розой Люксембург.

Вот ночка тебе и свечка,
А вот тебе в сердце — нож.
А ты за меня словечко
Замолви, когда придешь;
Не светит мне свет утешный
Большой, как маяк, любви,
Я теплый, земной и грешный,
И руки мои — в крови.

Но детство безответственно и, как я уже сказывала, аполитично. Особенно детство человека, никогда и навперед не собиравшегося в политику. Тем более что в октябрю я не успела, в пионеры — не удостоилась, в комсомолки не удосужилась, а в партийцы и тем паче. А время шло, и вот уже о любимой Коммуне отца я судила не по Тельману, а по... штатному идеологу советских юношеских театров Ефиму Стенкину, по приютской директрисе Эвелине Злобиной да по завхозихе Рекрутовой-Петушинской. Что делать? Мы ведь и «диалектику учили не по Гегелю». Но всякий раз, когда на эту болезную тему я заводила... почти политические и почти непримиримые споры с постаревшим уже Николаем Николаевичем, — каюсь: он сильно гневался, а потом заметно крушился.

А пока... Пока что я была мала и (время от времени) даже учтива! По-видимому, этим вполне успокоенный, отец возвращался работать в нашу столовую-кабинет-гостиную-проходную и там начинал шелестеть бумагами, а портреты его любимцев оставались со мной. Отказаться от них я уже не могла, замена их чем-либо-другим (красной шкатулкой или Кукрыниксами) в те разы уже не предвиделась, никто больше не наблюдал за моим поведением, значит, мне следовало срочно начинать извлекать из важной портретной

коллекции какую-то и для себя пользу (или то, что я могла под этим словом подразумевать).

Во всём, что только ни попадало мне в руки, меня прежде всего (да и после всего!) занимала, конечно, зрелищная сторона. По девчачьей традиции всё зрелищное (а точнее — кукольное) обыкновенно связано с тем, как выглядят дамы, поэтому Тельман с самого же начала выбывал из игры. «Детство глупое» требовало кукол (почему-то их изображений — даже больше, чем самих кукол); зывало к очень красивым платьям, — пусть опять же не для себя, но для кукол уж обязательно! И... как это ни прискорбно, а именно с этой точки зрения соглашалась я рассматривать и Клару Цеткин, и Розу Люксембург на их дагеротипах. Стоит ли уточнять, что именно этим моим запросам они соответствовали меньше всего?

Не без досады это поняв, я пробовала вообразить себя дитём без игрушек, совершенно куклолишённым существом! Ведь только в таком случае я и могла примириться как с парой кукол с двумя довольно строгими революционными дамами. А если так, — дико, на полуподсознательном уровне «рассуждала» я, — то Розу Люксембург всё равно забраковала бы, а выбрала бы в куклы... — уж лучше тогда Клару Цеткин! Потому что черты лица у неё как-то мягче, нежели у Люксембург, а для куклы это всегда как-то лучше, да и оборочка на воротнике Кларфиной кофты казалась более волнистой и дамственной, чем оборка на вороте Розы. Но вообще-то, коли на то пошло, то обе дамы в куклы не годились — для этого они были слишком мужественны и суровы! Впрочем, как я уже обмолвилась выше, я и самих кукол не очень-то жаловала. Я и от самих кукол не требовала, чтобы они были куклами! Или... чтобы они вообще были! (Единственная черта сходства моего с Екатериной Великой!) Откуда же именно к этим двум эмансипированным, великовозрастным и негибачаемым коммунисткам взялись у меня столь несообразные манекенные требования из области каких-то неопределённых и невидимых миру картинно-портняжно-игрушечных действий? Оправдан-

ных бы разве для бедняги — маленькой Козеты, да и то — ещё только до встречи её с Жаном Вальжаном, который подарил ей лучшую куклу в округе? (Дивная «Козета» из серии «Книга за книгой»! Не скоро ещё мне с ней предстояло встретиться!) Но в чём же, в чём всё-таки был пафос моей околокукольной истории?

Как знать... «Чужая душа — тёмный лес», а своя — непролазные дебри. Быть может, я играла в портреты (или, если угодно, играла портретами) с целью, — неприлюдного уже и невидимого, — продолжения учтивости к привязанностям отца? (Счастье, — что отец ничего не узнал о таком продолжении!) Или я играла (собственно, даже не играя, ничего не предпринимая, а просто глядя на портреты и «думая») в них только потому, что вдали от игрушек играть мне нравилось больше, чем близко от них? Так или иначе, а никто теперь не узнал бы во мне бунтарку и рёву; казалось, это портреты смиряли меня (вместо того чтобы подымать к восстанию, как положено бы им по их революционности!), но, пожалуй, они утихомиривали меня даже... слишком. Я находилась в том периоде, когда любить что-нибудь умеешь только через игру. А игра не клеилась, и потому я не могла искренно полюбить портреты, хотя честно старалась.

Быть может, мне и вообще не стоило бы подымать эту историю из недр забвения, кабы не одно весьма немало-важное обстоятельство.

Я уже говорила, что Цеткин считалась у меня «куклой» лишь на худой конец и лишь по сравнению с Люксембург (не удостоившейся в глазах дерзкой девчонки даже и этой «чести»!). Однако же именно у Люксембург, у этой строгой и в высшей степени непонятной взрослой, было — перед Кларой — одно особенное преимущество...

В поэме «Ключи от клуба» (ударившей мне в голову, разумеется, через много лет после всего, здесь обдуманного) я усиливалась набросать портрет моей старшей сестры Лианы. Имя это было ей дано родителями при её рождении. Но... — так как я никогда не была должным обра-

зом по-дамски любопытна и через то безжалостно разграбила весь (возможный) свой будущий историзм, то теперь не знаю, что побудило отца переименовать Лиану (уже, было, прочно этим именем завладевшую!) в Розу. Какое политическое событие было тому причиной? Но даже уже тогда, когда играла в портреты, я совершенно точно знала: Зязю переименовали в честь Розы Люксембург. И это побуждало меня порою чуть пристальнее, чем в другие снимки, вглядываться в лицо женщины, так мало похожей на куклу.

Думаю теперь, что мама не вдруг-то должна была согласиться с переименованием дочери. Не потому ли за сестрой наряду со вторым было закреплено и первое её имя? Получилось по западноевропейским образцам: *Роза-Лиана!* И оставалось так до тех пор, пока первое имя (ставшее вторым) не отлетело от неё как-то само собой, точно ступень от ракеты, и тогда сестра сделалась просто Розой. Но мне-то продолжало нравиться прежнее её имя:

...беспокойная, как в джунглях обезьяна,
Изобретательна моя сестра Лиана!

И я пользовалась каждым удобным случаем, чтобы напомнить знакомым либо сообщить незнакомым, что сестру мою вообще-то Розой-Лианой звать!

Однажды двое взрослых (даже не помню: дядя с тётей или две тётки), узнав, как меня зовут и наверное удивившись, до того ль разохотились на «удивительное рядом», что, с заметно жадной надеждой, тут же осведомились, а нет ли у меня в таком случае сестры? Ах, есть?! Как же её звать?

— Роза-Лиана, — с гордостью отвечала я.

Гордость, конечно, была наивная, а другой у меня быть не могло. Однако —

Назвать ли вам троих, особенно бесславных?
Судья неправедный, — бич и гроза бесправных.
Поэт, который нас минимализму учит.
И врач, с больным своим связавшийся на равных.

И... взрослый, связавшийся на равных с ребёнком, — добавила бы я теперь, когда мне вспомнилось, как дальше повели себя эти взрослые... Едва услышав имя моей сестры, они... то ли бесшумно прыснули, то ли беззвучно фыркнули, то ли они попросту дружно-обрадованно подавились находкой, — трудно сказать, но факт остаётся фактом; они как-то вдруг сразу саркастически изнемогли от прихлынувшей ядовитой иронии и всякого другого подступившего, едко захлестнувшего их мухоморства. Нескрываемо-скрываемый смех из цикла «Ой, держите меня! Ой, не могу!», но вместе с тем всё ж малость насильственный («Ты смеёшься, а тебе невесело; / Сердце сжала чёрная тоска») так разбирал их, словно в «Розе-Лиане» им слышалось что-то вроде «Марии-Терезии»... А это на их подозрительный мухоморский взгляд было непростительной дерзостью (со стороны нашей семьи) и превышением чего-то.

Словом, двое взрослых нашли возможным не просто подтрунить надо мной (я, кстати, уже отлично различала виды смеха), но зло высмеять человека, едва видного от земли! Который всего лишь ответил на их же вопросы и к тому же сказал им чистую правду.

Вот это-то я и называю в великовозрастных (неумеренных!) весельчаках *переразвитым чувством комического*.

У меня и в помыслах не было их как-то обидеть. Я думала — они порадуются вместе со мной, что сестру мою зовут так красиво! Но они восприняли её имя как личное оскорбление. Почему? Зависть близко была расположена? (Как бывают «слёзы близко» у некоторых людей, вроде меня — тогдашней?) Впрочем, стремиться постигнуть тайну иных сердец это всё равно, что (как говаривал сводный мой брат Виктор Николаевич) «забывать свои золотыми часами». И, наверное, это хорошо (ибо этак было безопасней для нас), что со временем из пышных лепестков Розы-Лианы сестра высвободилась в качестве просто Розы (если *просто Розы* бывают!), а затем уже — Розы Николаевны. Это как-то больше соответствовало и нашему

общему скромному житью-бытью, и нашим невзрачным заработкам, и не блестящим, невыдающимся бытовым условиям. Но...

Но оттого и свист,
 Но оттого и гром
 И чуть ни выстрелы нам вслед на самом деле,
 Что тихо-тихо здесь мы проскользнуть хотели
 И эха не будить, встающего кругом...

(«Ключи от клуба»)

* * *

Имелся у нас в семье небольшой альбом в зернисто-чёрном прочном переплёте, уже и тогда старый, потрёпанный, — и весь он внутри испещрён был ещё юным, полугимназическим почерком матери. Уверена, то был её молодой дневник, но увы! мне не довелось прочитать его. И теперь о его содержании я никогда ничего не узнаю!

В середину одной из его крупно-кудрявыми буквами затканых страниц была вклеена фотография девочки, ещё такой маленькой, что даже ножки-бубликом; конечно, ещё только ползать училась! а теперь сидела в подушках. И глядела на вас большими, широчайше раскрытыми, очень светлыми глазами с выражением... какого я никогда больше у таких маленьких детей не видывала! В глазах ребёнка была как бы убедительная просьба; не обижать его, если можно, и простить ему его маленькие недостатки! Вместе с тем вопрошающие и просящие глаза эти, светлые, как сам свет, были на удивление приветливы и добры. Ко всем! Ко всем другим людям, — кто бы ни заглянул в них, намеренно или ненароком.

Теперь, глазами памяти из далека времени, я вижу этот снимок по-иному, чем видела в детстве. Ведь тогда мою глупость, падкую на яркость и на узоры, занимала не столько девочка на изображении, сколько исполинская пёстрая бабочка (то ли вышитая, то ли нарисованная) на её фартуке! Бабочка с большеглазыми крыльями распространялась почти во всю ширь фартука большеглазой девочки, и глаза

крыльев отвлекали от глаз лица. Между тем хозяйкой фартука, глазастой девочкой (открытость и доброта которой, видные на том снимке, кажутся мне теперь непомерными и опасными для тех, кто обзаведётся подобными) как раз и являлась моя старшая сестра — Роза-Лиана.

Сведения о её младенчестве, как всякая внутрисемейная история, должны были, конечно, представляться нам всем навсегда нерушимыми, и никто не мог даже вообразить себе, что они когда-нибудь пропадут, как пропала та тетрадь в альбомно-твёрдом переплёте. А ведь очень может быть, что многие домашние анекдоты, связанные с временем первого роста сестры, её особенные тогдашние словечки, замашки и выходки были записаны мамой как раз в ту тетрадь. Недаром же и портрет маленькой Лианы был вклеен туда же!

«Рукописи не горят»? Ах, вот как? Это в воде они не горят, думаю я. А в огне, соответственно, не тонут. Но ведь вообще-то мне и самой не раз доводилось наблюдать: до чего же безотказно загорается, чернеет и скручивается любая бумага! (А которая не горит, так на той ничего и записать невозможно...)

Иное дело — плохие рукописи. Вот эти действительно в огне не горят и в воде не тонут! И это так же верно, как то, что абсолютно ничего не делается и полномочным их кровным родичам; плохие статуи не разбиваются, плохие картины не вспарываются, плохие (поддельные) самоцветы — не разворовываются... (Я, во всяком случае, не слыхала, чтобы кто-нибудь выкрал бы из иконостаса фальшивые самоцветы специально для того, чтобы глухой полночью, тайком, крадучись... — подло подменить их настоящими!)

Но всё это, конечно, лишь к слову сказать. Ведь канувшая тетрадь навряд ли могла представлять для других такую же ценность, какую имела она для нашей семьи. Хотя, впрочем, у моей матери смолоду был до такой степени сжатый и замечательно-находчивый слог, что лица, прихватившие тетрадь, давно и наверняка поднялись уже с её помощью на целую ступень своего умственного развития!

Отрешась от низменного мычания, они, думается, давно уже возвысились аж до детского лепета моей сестры (времен фартучка с бабочкой), записанного рукой моей матери. Её слогом!

(Ах, как зло! Как злы вообще всегда эти обкраденные! И насколько же лучше — эти милашки-воры!)

В прорве ночной
 В черном окне
 Вещи, скользнув, исчезали, —
 Гасли на дне
 Ночи и дали.
 А выпархивали
 Уже в той епархии они,
 где люди живы,
 где книги целы,
 где нет печали.

Задолго до того, как фамилия обзавелась мною, в истории семьи имела место изба в каком-то (по моим представлениям, ото всего далёком) колхозе. Избу эту временно снимали родители. Хозяйка-молочница, как ни странно, всё ещё как-то связанная со своей коровой (видимо, ещё не всё было охвачено коллективизацией!), однажды куда-то отвлеклась от своего хозяйства. Отсутствовали в тот миг и Николай Николаевич с Надеждой Тимофеевной, так что при больших молочных бидонах, среди яркой скуки зноя, осталась, как на часах, одна только маленькая Лиана.

Если за избами и раскачивалось жаркое дневное равнинное марево, то не в нём был, по всей очевидности, пафос, а больше-то — в суетливом движении восторженных колхозных мух, наседавших на незакрытое молоко. Это не ускользнуло от напряжённо-ответственного внимания маленькой девочки. (Очень возможно, что во всё время отсутствия взрослых она отмахивала мух сжатыми кулаками!) И как только вернулись взрослые, —

— Бабуська! — обратилась она к хозяйке. — Бабуська, а твое молоко мухи кусают!

Да, именно так: не «едят», не «пьют», а «кусают»! Мухи всё-таки...

Мама любила пересказывать нам эту маленькую историю.

...Дело следующее происходило, если не ошибаюсь, всё в том же колхозе (или совхозе), когда однажды мама сварила исполинскую кастрюлю превосходнейшего компота и поставила её для прохлады на пол. Затем она и отец опять ушли — не то в гости, не то за покупками. И что же, воротясь, они видят? Выяснилось, что в их отсутствие Лиана залезла в компот с ногами и, одержимая духом чистоплотности, вымыла в нём ноги! Тем же компотом она вымыла и пол вокруг, после чего усердно вытерла его (боюсь, что не простой тряпкой, а каким-нибудь, опять же, чепчиком, платьем или чулками! Но не буду уж домысливать то, чего точно не помню).

Повесть о компоте так же залегла в фундамент изузной семейной хроники.

Видимо, ничто так не служило к пополнению этой хроники, как родительские отлучки из дома! В продолжение коих дитя, бывало, уж обязательно проделает что-нибудь непредвиденное или (в конце их) скажет что-нибудь неожиданное.

Как-то раз, когда сестра опять же осталась дома одна, на порог взошёл некий общий знакомый родителей, справился о них и, не застав их, тут же ушёл. Тщетно пытались потом отец и мать дознаться при помощи наводящих вопросов: кто же это был?

— Ну сколько ему примерно лет? — спрашивали они у дочки. — Как, хотя бы, он выглядит? Во что одетый? — Всё было напрасно; маленькую Лиану задачи портретной живописи явно застали врасплох.

— Ну хорошо, — подступились к ней снова родители, — а какие у него хоть волосы? Какого цвета?

— Волосы у него были *лысого цвета*, — вдруг ответила Роза-Лиана.

Как-то одна дама дала ей конфетку. Дитя приняло гостинец благосклонно, но в суровом молчании.

— А что надо сказать? — бросили ей намек папа и мама.

— Дай ещё! — мигом догадалась Лиана. (Вот что надо было сказать вместо «спасибо», оказывается!)

Этот случай — готовый живой анекдот! — стал впоследствии сказительской классикой нашей семьи. (И сама Роза Николаевна, сделавшись взрослой, часто вспоминала его с улыбкой и даже чуть ли не... с гордостью!)

Куклы были её слабостью. Быть может, родители не догадывались об этом, пока она сама не обратилась к ним с просьбой следующего порядка:

— Купите мне кукильки кикие-то.

— Что значит, — переводила нам потом мама с детско-го на взрослый, — «Купите мне какую-нибудь куклу».

Себе же я долго приписывала иной перевод (уверена теперь, что он тоже был *мамин*); «Купите мне куклу какую-нибудь, и не одну, а несколько!» (Может быть, даже не несколько, а *много*? Да нет, вряд ли! Несмотря на случай с конфетами, девочка была очень скромна.)

Так или иначе, а «кукильки кикие-то» — это всё-таки целый отряд... Однако же в кукольном деле сестра оказалась до суровости стойким однолюбом.

Была у неё, как рассказывали, кукла Мулёля. (Мама так назвала куклу или сама Лиана? Моё бывалое, бравое нелюбопытство оставило и этот вопрос теперь уже навсегда без ответа!) Этой Мулёле сестра была до того ль вассальски предана, что не расставалась, кажется, с ней ни на час. Влиятельную куклу я уже не застала, но даже и в самом семейном предании так и не запечатлелся момент молодости Мулёли. Как если бы немалый стаж её службы сестре был ей, Мулёле, присущ от природы; как если бы дряхлость была её неотъемлемая характерная черта и вообще главная особенность её кукольной натуры. Как если бы эта кукла уже родилась глубокой старушкой! Другими словами, от долгого служения, от перетаскивания её — хозяйкою — с места на место, от бесперебойно осыпающего её града забот (о ней же) кукла пришла наконец в такой очевидный упадок, что родители увидели в этом срочный сигнал для неотложной покупки новой куклы ребёнку.

И купили новую куклу. Нарядную, прекрасную! Кажется, даже с косами и с «закрывающими» глазами! (В нашей семье не говорили «с закрывающимися»; мама освобождала нас от преждевременных трудов по освоению длинных словес, а заодно и сама *играла* в слова, как в какие-нибудь игрушки!) Итак, новая кукла была всем куклам кукла! И той грязной, до умопомрачения замулённой растрёпе — никак не чета.

Но финал истории был самый неожиданный. Взяв гордую фарфоровую красавицу, сестра со всего размаха тяпнула её об пол и разбила вдребезги. А затем торопливо схватила свою старую грязную Мулёлю и крепко-крепко прижала её к себе, обливая слезами...

* * *

Какие бы тайны души моего отца ни остались для меня навсегда закрытыми, всё же мне известно о нём и нечто совершенно бесспорное. Бесспорно, к примеру, то, что он почувствовал бы себя настоящим преступником, если бы увидел в магазине яркую занимательную игрушку и... не купил бы её нам, своим детям!

Сколько бы я ни ошибалась насчет истинного характера моей матери, а знаю, что и она не простила бы себе, замучилась бы Достоевщиной, вернувшись домой без куклы, зайца или медведя, приглянувшихся ей для нас в какой-нибудь лавке. (Сколько недоразумений в отношениях с мамой избежала бы я впоследствии, если бы *никогда* не забыла об этом!)

Наверное, игрушки во времена нашего детства были достаточно дешёвы, а то не видать бы их нам в таких баснословных количествах! Более чем скромный достаток семьи несомненно расстроил бы их войска, не позволил бы им двигаться на нас такими стройными рядами! Но так ли важно, почему игрушки, если для нас, детей, они всё равно были связаны с представлениями о пышном великолепии, о почти римской неистовой роскоши? Одним словом:

Мы одуванчиками обеспечены
И с облаками хорошо устроились!

В нашей с сестрой комнате между большим окном и спинкой моей кровати был целый угол, заваленный игрушками. Чего-кого тут не было?! «Какая смесь одежд и лиц!» И мишки, и слоны, и оловянные солдаты, и кубики-строители (те, из которых складывались картины, нравились мне больше, чем просто жёлтые, синие да красные; что-то я даже зелёных среди них не вспомню, а строить из них было как-то слишком легко и скучно).

Была игрушечная посуда (или «посудка»), высоко ценяемая нами! Были крошечные «голыши» — гладкие и нагие — действительно, как морские камни, — куклята из какого-то скользкого умывальникового мрамора или, наоборот, из легкого розового целлулоида. Их голубые глазки глядели прямо и отвлеченно-непримиримо, как целеустремлённые незабудки. Руку целлулоидовой куклы можно было повернуть, но никогда не в сторону, а только вверх, вниз или вперед, чтобы она как бы указывала (срабатывал легонький шарнир). Но лишь тогда, когда в результате верчения целлулоидные ручки у голышей внезапно отламывались, я проникалась неким подобием сострадания к новоявленным инвалидам — и они, дескать, люди! Однако же в число моих любимцев они никогда не входили. Это только взрослым требуется всегда что-нибудь умиленное! И поэтому они всегда перепутывают свои интересы с детскими, — так, обычными своими не-словами (но иногда даже уже и словами!) думала я. Это только большим нужны такие куклята. А при чём тут мы! И, главное, при чём тут я?!

Словом, я глядела на присутствие голышей в доме весьма неодобрительно. И, случись разговор, сказала бы им только одно: — Хоть бы прикрылись!

Даже в нечаянном калечении таких кукол я участвовала редко, нехотя и лишь под руководством сестры, вечно обуреваемой духом исследования: целлулоида ли, фарфора, шарниров, тайны Движения, тайны ли неподвижности,

лишь бы исследовать! Довольно часто сестре удавалось поджечь мою любознательность к вещам и «наукам», но к некоторым игрушкам я относилась как бы лишь *исполнительно*: раз подарили их нам, значит, *надо играть*. (Вариант «*надо мечтать*»?) В худшем случае — признавать не играя.

Так, с душой, отрицательно заряженной благими намерениями («которыми...» — и так далее!), я играла иногда и в немилые мне настольные игры; играла скорее из вежливости, из чувства какого-то странного долга или из подчиненности старшей сестре, нежели для своего удовольствия. Подчас это так разоряло и опустошало дремлющую мою фантазию, что, пожалуй, только полуведёрёе тепловатой кипячёной воды, принятой натошак, могло бы сравниться — по скучноте воздействия — с этим треклятым занятием!

Видимо, я становилась миролюбивее. Но делалась ли я от этого, что называется, *благоденнее*? Не думаю и не замечала. Ведь в некоторых *сугубо принципиальных* (на тогдашний мой взгляд) случаях я *очень даже могла взбунтоваться!* Однако об этом — после.

После — и о любимцах моих в среде игрушек (вспомнился анекдот — «Среда засосала!»), о личностях, о героях, о бедняках и еретиках, о ярких выразителях жгучих общекукольных чаяний... Даст Бог время — скажу и о них. А куда мой сказ о игрушках *в массе*, без которой, впрочем, неоткуда бы и взяться героям вроде Щелкунчика!

Но... не из игрушечных «низов» и не из кукольных «верхов», а точно бы из самой преисподней, похоже, выползли изделия Гекаты¹⁰ — сегодняшние игрушки! — бесстыдные, физиологичные, страшные! Попробуй нечаянно встретиться взглядом с такой уголовной цацкою, когда, поместившись (вероятно, с помощью прыжка) между цветными карандашами и газетами, выглянет оно на тебя вдруг из-за стекла киоска, — ведь на весь день потом настроение испортится! А у несовершеннолетних как?

Так вот вам — фабрикант игрушек — Стеклтон!

И вот — портниха кукол — Дженни Рен.

Вот где он! (А не она.) Потому что жестокосердый диккенсовский Стеклтон¹¹ как представитель большого бизнеса (встарь выпускавший пушки — детские игрушки! — а теперь — очаровательные водородные бомбочки!) — продолжает безнаказанно разорять благородно-мирную Дженни (как представительницу бизнеса малого)...

Значит, со времён Чарлза Диккенса ничего не изменилось? Ой, что я?! Изменилось, да ещё как! Ведь же в старину Стеклтона всё-таки пришлось придумывать — пришлось не кому-то, а гению, — придумывать как злодея карикатурно-книжного ряда! Но даже как в такового, в него не все поверили: так и остался — сказочно-уродливым дитём пресловутых диккенсовских «преувеличений». А нынче — вот он живём среди нас обретается! И все (то есть *почти* все) не только верят (ему и в него), но и глубоко *чтят* его. А главное, никто больше не обзывает его «диккенсовским преувеличением», — наоборот! — многие взирают на него, как на античный классический образец чего-то.

Детей родители учат
Игрушек своих не бояться;
На их шипы,
На их крючья,
На зубья их — не попадаться.
Но гаснет свет —
И крик несётся из детской...

Впрочем... последний из таких криков *здорового* детского страха, по-моему, оборвался и смолк ещё до начала девяностых годов. И смолк он, быть может, как шум последнего... счастья! Потому — никогда не знаешь: а что же ты будешь почитать за счастье в следующую минуту? (Таким вопросом, кстати, постоянно задавалась одна из героинь давнишнего моего, до сих пор не реализованного, романа!) Возвращаясь к шуму последнего счастья, скажу: то было счастье естественности, — ведь же и сами страхи шли от НАТУРЫ, а не от её извращений. И вот свершилось! Дети больше уж не пугаются чудовищных, страшных игрушек (опасаться коих таким нормальным делом

считал мистер Диккенс, — и не только в специально им отведённом для таких опасений «Сверчке»), — а мы?

Над Здравым Смыслом празднуем победу,
Самодовольством гордость заменив.

(1987)

Свершилось! Дети приветственно облобызали своих корявых и склизких новых «друзей»; Бабу Ягу, Весёлого Роджера, не менее «весёлых» драконов и динозавров; кукол, похожих на Смердякова и на древних душителей прорицателя Лаокоона¹²... Кому это понадобилось — коверкать, калечить душу людскую с малолетства? Где и когда, для какого дела — это может пригодиться?

Вкуса у взрослых нет? И не надо! Но повторю вопрос: так где же он ТЕПЕРЬ, хотя бы тот первый, НОРМАЛЬНЫЙ! детский страх? Товарищ СТЫДА? Храбростью заменился? Ой ли? А не жестокостью ли ранней? А не остекляением души? Как в страшных сказках — у Кая и Петера Мунка?¹³

Мы тоже в детстве не были совершенны. Не были идеальными, наверно, и наши игрушки. Но, рискуя вызвать неудовольствие потребителей фабрики «Стеклтон и К°», буду утверждать, что мы с нашими куклами, похожими всё же на кукол, а не на жриц Киприды¹⁴; с нашими зверюшками, — похожими на зверюшек, а не на выходцев из прорв или выползков из хлябей, — мы были куда нормальнее и счастливее сегодняшних маленьких бедолаг. Живущих даже иногда в достатке, но для чего-то обманутых, ослеплённых взрослыми; это ведь не шутка — *целые подрастающие поколения обречь играть хмырями да фуриями*, выполненными ужасным Стеклтоном в духе какого-то Эжен-Сю-реализма¹⁵ и даже, может быть, ещё того хуже...

Взойдётся ли ты снова, солнце Нормальности?! Возвестит ли твой восход новую весну игрушек, — натуральных детских игрушек? Вернётся ли в мир (гордящийся нынче своими вероломствами) кукла с человеческим лицом?

О, это было бы добрым знаком! Или это сделалось уже невозможно и ничего поправить нельзя? Но что это?!

Вдруг — цзынь! —
орех раскалывает грецкий
Щелкунчик! Потеплели тени стен...
Заря приподымается с колен
Затекших... Глянь: потоки света
мчатся
С небес в долину!
Утро... В дом стучатся...
— Кто там?
— Портниха кукол Дженни Рен.

Почему бы и не помечтать?!

1995—1996



Тысячвёрстый путь

*Разрешается скучать
отсюда и до Константинополя.*

Французское присловье

Когда-то отцу моему, — который, имея добрый, весёлый нрав, не упускал случая сострить или подхватить шутку, — очень понравилось моё определение себя как СУХОПУТНОГО МОРЕПЛАВАТЕЛЯ и он даже всё повторял его! А я поясняла: — Это потому, что у меня МОРСКАЯ БОЛЕЗНЬ НА СУШЕ.

Морская — на суше? Увы! Отец обо мне это знал не хуже, чем я. Когда надо было куда-нибудь ехать, меня неизменно укачивало. Но странное дело! ПОМНЮ, как меня укачало при нашем въезде в Звенигород (хотя это было раньше), и СОВСЕМ не помню такой укачки при нашем въезде в «Мускатово» (хотя это было и позже). Иногда мне, впрочем, кажется, что полупарящую звезду широких белых ворот и дугообразное название санатория на них папа нам показал из кузова грузовика и, празднично торжествуя, огласил название — там же. Смутно иногда вспоминается, что всё ж я каким-то образом обратила внимание и на ту звезду, — чисто переплётную, не заполненную никакой фактурой, а только сквозную, и чрез которую вершинно просвечивал встречный парк. И — на того же гибкоплётного металла всепросвечивающие белые ворота, высокие, широкие, полувоздушные — тоже обратила внимание. А папа так ликовал, как будто мы въезжаем в собственное поместье!..

С другой стороны... — как же я всё это могла запомнить, если меня укачало? А если НЕ укачало, то почему?

Этого просто не могло быть, если мы прибыли на транс-порте! Так, может быть, всё-таки мы подошли к воротам — всею семьёй — *пешком*? Быть может, позади нас оставался какой-то перевалочный пункт, где мы уже сколько-то отдохнули?

Так или иначе, а всё равно я помню себя какой-то сонной и не совсем, как теперь говорят, «оклимавшейся», когда мы, семья, очутились вдруг в санаторной столовой, — то было, если не ошибаюсь, самое первое моё впечатление от «Мускатова» ИЗНУТРИ.

Настолько, помнится, пригодная к делу еды, как если бы мы пришли пешком, но и настолько вялая, как если бы мы всё-таки приехали, — я не без робости глядела перед собой. И ещё помню, что приступать к обеду-то я всё же боялась, — как человек, чья морская болезнь НА СУШЕ ещё не прошла. (Эх, апельсинчика бы туда! Прямо в царство моего прошлого. Или ломтик лимона! Но, может быть, эти великие лекарственные средства тогда ещё даже не были нами открыты?)

Итак, незнаемая столовая. Возможно, что папа и сестра находятся прямо передо мной, — просто за другим столиком. Но ненаблюдательность — надёжная спутница болезни Меньера, действует безотказно, и в этом периоде я их больше как-то не помню. Мне кажется, теперь только мы с мамой одни сидим за столом, что втиснут между порогом и выступом стены справа. И мама показывает и разъясняет мне разные вещи своим — для таких случаев — не только музыкальным, но и немножко строгим (музыкально-строгим) голосом. В таких случаях она разговаривает как какая-нибудь добродушная, но менторски настроенная скрипка. Я же слушаю, дичась многолюдства, и, несмотря на слабость, даже кое-что запоминаю...

Ах да! Всякий рассказ желательно ведь начинать сначала! А я чуть не упустила самое главное. А главное в том, что я слушала маму не просто «дичась многолюдства» (как бы подбавляющего к маминому «наставительству» ещё и от себя — укоризненности незримой!) — я слушала, ежеминут-

но вздрагивая от настоящей ПАЛЬБЫ! От которой вся столовая (переходящая в кухню и обратно), казалось, ещё и в ТИР сейчас перейдёт и вот-вот разорвётся! Это в допотопной — и тем великолепной! — печи стреляли крупнокалиберными искрами сухие, как порох, поленья. Можно было решить, что у самого твоего уха чешут из пулемёта! Не так часто, конечно, разреженнее, конечно, миролюбивее, конечно, но — не намного... А главное-то было всё-таки само КАЧЕСТВО треска: именно самое что ни на есть пулёмётное качество; фальцетно-громобойное и — с отчётливым впечатлением великой воинской потехи...

Прямо в столовую, не на страх, а на совесть работающую сейчас ложками, ножами и вилками, — была распахнута (в переднем углу справа) дверь в кухню — прямо на кухонный фронт. Слева из двери выглядывал передний край плиты, на которой жарилось, парилось, варилось, творилось всяческое объедение. Видно было, как в огневеющий зев справа подбрасывалось и подбрасывалось всё новое топливо — источник повелительного, какого-то даже безапелляционного, как бы не терпящего никаких возражений и совершенно нестерпимого — я повторяю — трёска!!! Ежели бы у меня на уме сейчас какое инакомыслие уместиться могло, я его, наверное бы, устрашилась, душевно пятась под этою канонадой. Но, как сказано выше, не до мыслей было мне, и не до инакомыслия было мне, а следственно, и не до крайностей подобного противного малодушия было мне. Тем более когда не знаешь — кому инакомыслить.

Так что и старинный — такой натуральный и живописный! — вид приготовления еды имел в себе конечно же не одни лишь преимущества. И всё же я предпочла бы его современному, низкому и лицемерному — без огня и дыма, без вида и цвета, без запаха и вкуса... И так, чтобы съестное походило на жвачку из промокашки двоечника.

Изысканно-зеленоваты
Сухого кекса экспонаты,
С музейной пылью пирожки

И коржики из терракоты...
Полумистические шпроты,
Как на папирусах, тонки.

(1990)

Но стоп! «Еда без запаха» сказала я? Это я немножко погорячилась. Потому что запах крашеного картона — он тоже чего-то стоит (только раскошеливайся!). А потом, бывает ведь не только еда без запаха, но и запах без еды. Это то есть когда «один запах»! Или два. Или три.

Но всё равно без самого съестного. А что? Или вы не приобретали в сегодняшних магазинах, например, «Суп-вермишель с запахом курицы»? Смешно, зато честно и откровенно. Чем не «Суп из топорища»? Суп из топорища с запахом курицы. Одним словом, нюхать подано! — как предвыразился ещё в 1970-е годы мой трубач Руперт из «Предсказания Эгля», которого, Руперта моего, ещё в 1984 году замечательно так сыграл на сцене артист Алексей Блохин, и это НЮХАТЬ ПОДАНО (из моих столь старых тетрадок) прозвучало в его устах так ново и выразительно! Даже торжественно! Ведь и уже ТОГДА все мы терпели если не голод, то достаточные лишения (что отразилось потом и в стишках, приведённых выше). Но кто поверил бы *даже тогда* — в настоящие, не театральные ПРОДУКТЫ ДЛЯ НЮХА И ПОЧТИ ЕДИНСТВЕННО — ДЛЯ НЮХА, да ещё и в то, что нам придётся *взаправду* их покупать?! Так действительность если и не опередит любую фантазию враз, то уж зато потом обязательно догонит и перегонит её. НЮХАТЬ ПОДАНО!

Мама ценила и часто повторяла пословицу: «Дорогá ложка к обеду». И уже коль скоро ежели речь о «полумистических шпротах» из цикла миниатюр «Музей съестного», то как теперь не заговорить о некой... ИМИТАЦИИ КРАБОВ? Не из сказки, нет! И не из стихов 1990 года, а прямо на сегодняшних магазинных рекламках так и написано: «Имитация мяса крабов»! Каково? Ведь тогда их по меньшей мере надо бы и продавать исключительно дёшево. А у нас?

У Ивана Киуру было выражение: «Непроизвольный юмор». Это то есть когда человек, сказав смешное, сам не замечает комичности сказанного, а того паче — может не оценить собственного остроумия и во все последующие времена... «Имитацию», кстати, все продавцы отпускают нам с весьма серьёзным видом (вот он — качественный образец НЕПРОИЗВОЛЬНОГО ЮМОРА!), хотя, что само собой разумеется, нипочём не позволят вам за имитацию снеди расплатиться имитацией денежных знаков. Нетушки! Деньги должны быть завсегда настоящими, — это закон природы. Даже если вы покупаете на них только фикцию жареную! Но это-то, по-моему... гм... не совсем справедливо.

Имитации имитациями, а между прочим нам не мешало бы знать, из чего этот краб состоит (или от кого родился). Раз уж всё равно признались, что он не настоящий. Страшно подумать даже иногда бывает — какие же в таком случае материалы пошли на его изготовление?! Ах! До хозяев пропитания нашего дойдёт же когда-нибудь и комизм названия: «Имитация крабов»!.. А откуда доходит, — подумаем и мы о чём-то более весёлом. К примеру о том, что надо бы нам закупить себе телескопы, взглядеться в микроскопический вредно-красный шрифт на синих пачках и узнать всё-таки: из каких ингредиентов составлен краб. А что, когда... Что, если они окажутся... Но прочь, прочь суровое злое сомнение!

Изобретатели новой еды (старую, не модную, никуда не годную — вроде икры паюсной и тому подобной халтуры — долой в дорогостоящие рестораны!), — так вот: все эти ба-сенные Лисы и Журавли, угощать привычные так, чтобы ни в коем случае не угостить; кормить так, чтобы не накормить часом, — никак не могут они того допустить, чтобы люди, давно не пользующиеся ничем НАСТОЯЩИМ, вдруг начали бы есть, например, настоящее мясо! Эта возмутительная картина не укладывается у них в сознании. Просто не укладывается — вот и всё! Вот и создают они, — наши кормильцы-то непрошеные, вот и разрабатывают они, вот и выпускают они из окаянных рук своих истинные

шедевры непитательности, обезвитаминенности, вызывающей безкалорийности и какой-то удивительной всевыжатости! И не могут уже остановиться, напав однажды на золотую жилу; и творят они снова и снова прямые чудеса несъедобности, обессоченности для — безжизненного вида — бедняков... Кабы лимоны можно было выращивать заранее выжатыми, эти неслыханные (за чужой счёт) жмоты охотно растили бы их в «пользу» «лишних» людей на пиру... Да что там! **НЮХАТЬ ПОДАНО.**

В начале жизни своей я жила на Мясницкой. Но это ничего не значит, потому что вообще я не мясоедка, а — по примеру своей матери — больше склоняюсь к рыбе. Бывают, впрочем, исключения из этого правила, когда приходится прицениться и к мясу; на витринах же только одна говядина... Говядины — целые выставки; ракурсы и экспозиции; броские композиции — лувры и коллизии — одной лишь говядины, говядины, говядины... Однако ж народ, много наслышанный именно о коровьем бешенстве, а не о каком-то другом, остерегается покупать её, даже когда имеет такую возможность. На ней ведь даже не написано — откуда она! — вся эта говядина, — а таинственностью усугубляются страхи. — Скажите, есть ли у вас баранина? — Нет. — Жаль! Ведь же как раз о бараньем бешенстве пока не слыхали. А вот о коровьем... Продавщица начинает беспокоиться вращать туда-сюда головой как бы в поисках подмоги. Или управы на меня со стороны запропастившегося заведующего. Либо чего-то вроде магазинного вышибалы. Она делает вид, будто я хулиганю. (Ей вроде как **ВОЗРАЗИЛИ**, а к выслушиванию образчиков инакомыслия тоже нужна привычка!) Баранина? Ишь чего захотели! Баранина есть, а не про вашу честь, — она для избранных неба припасена — всё для той же ресторанной братии — порноаристократии...

Так что — нет и нет! — барашка нам не предложат, — ждут, когда бараны в бешенство впадут, — вот тогда пожалуйста... И вообще мы созданы лишь для вдохновенья и для скупки всего подозрительного, оваянного смутными слуша-

ми, страшными фактами, требующими крепких нервов, а также балладами и легендами, в которых, к сожалению, каждое слово — правда... Впрочем, то, что самих крабов — в Японию и во Францию, а нам с вами — имитацию да из трёх пальцев знаменитую комбинацию — это даже ещё ничего, — а вот не проглотить бы в чистом виде отраву! А в чистом виде отравы не хошь — так и не ешь вовсе!

Что делать, как поступить, чтобы не ходить в поводу у разбойников, у головорезов, назначивших себя «честными малыми» — благодетелями и кормильцами нашими? Мы ведь — если вообще заработали — то честно заработали себе на еду. Может быть, чудом, но честно. А нам в уста — всё та же ведьмина клёцка из «Пропавшей грамоты»! То есть галушка. То есть множество вообще-то галушек, а собственно — ни одной. Как ведь и не вспомнить того казака бывалого, который — какую ни зацепит вилкой галушку и ни направит в рот себе, — а она, глядишь, уже во рту присевшей рядышком нечисти! Не то поел, не то приснилось...

Вот так Николай Васильевич Гоголь, сам того, конечно, не подозревая, нарисовал картину нашего благоденствия — всей сегодняшней экономики нашей. Конечно, если понимать её не по науке, а по совести.

Ну а что значит — *понимать по науке*? Экономика, думается, и вообще не должна относиться к отвлечённым наукам. Вроде алгебры, куда нынче её отнесли. Сыты люди в стране? — значит — экономика. Полусыты? А иные с голоду мрут? Значит, это уже что-то совсем другое. И экономика тут ни при чём.

Ах, не избранные мы с вами природы! Не порновысший свет! И не посвящённые в тайну Кухни, — вот что! Поэтому в наилучших случаях мы не едим, а пробуем. (См. выше насчёт имитаций.) Да и пробуем только то, что НА НАС пробуют. И следят потом: ну как? — сразу мы или не сразу? Как в том — ни дать ни взять — старомексиканском фильме «Грибной человек», несколько примитивном, но не лишённом мудрой подсказки, — а там, как сейчас помню,

ещё фигурирует специальный такой человек, — слуга, на котором господа испытывают: а что гриб? съедобный или ядовитый? Ну так пробуй! Пробуй! Кому было сказано — «Начинай с себя»? И несчастный пробует. На себе. «Но очередь наша. / И кончится ряд испытаний / Не нами» (А. Фет).

Я, конечно, далека от намерения утверждать, что здесь Афанасий Фет намекал будто бы на пищевые именно ИСПЫТАНИЯ. Почём было знать поэту, что всего чрез каких-нибудь несколько поколений его потомки выйдут... в Грибные люди? (И пошёл я в Грибные люди!) Да ведь тоже и нам — не до поэзии в прежнем, нормальном, смысле этого слова, ибо мы и впрямь грибные люди времени. Мы уже и того, — «грибков поели»! Мы... Но полно! Полно! Не забыть бы, как ценила мать и такую, кстати, пословицу: «Заставь дурака Богу молиться, так он себе лоб расшибёт». Приходится учитывать родительские уроки.

Конечно, с одной стороны — где же, если не в столовой (да ещё с открытым видом в кухню!) — а именно там застал меня мой рассказ — где же ещё и впадёшь в разглагольствования насчёт пропитания? Но с другой стороны — «Не полно ли о съестном»? Я, кажется, и так слишком далеко ушла от прямого повествования. Так не вернуться ли? Не обновить ли в памяти (не в моей, так в Вашей, не в Вашей, так в моей) его первые звенья?

Итак, наш въезд в «Мускатово». Неточность воспоминания: как. Хотя помню звезду ворот. Радостный предсанаторный вид! Укачало ли меня или, в качестве исключения, обошлось? Во всяком случае мы, семья, как бы СРАЗУ в пышном хвосте зимы увязшие, в мороз, перевалившись через снега, оказываемся в столовой — в глубине санатория.

«Прекрасно — уходить и возвращаться!» — говорит Роберт Фрост. Не уходивши от темы, я могла бы и не вернуться в одну столовую — дважды. А значит (хотя это, может быть, и не важно для истории происхождения видов), значит, вовсе могла забыть о снежных заносах перед столовой! Которая находилась где-то в боковой правой стене, внизу

высокого корпуса; обойти парадное крыльцо, зайти за угол справа, нырнуть прямо в снега, в их глухоту и укромность, а там — дверь! Да нет, не могла я это забыть! Всё равно потом вспомнила бы. Пышная снежная впадина, как берлога, и на самом дне её — небольшая тёмная дверь. Сезам, откройся!

В буре, в лесах, во тьме,
В снежном экстазе мы,
Как Теофиль Готье,
Славим дрозда зимы!

Так же я не могла забыть и не забыла: ни полыхания жарких очажных бликов (уже внутри дома), ни тогдашних тамошних поваров, что, с выражением пиршества в курфюршестве, сновали перед нами туда-сюда, ни их высоких белых колпаков, расширяющихся кверху так интересно...

Как? — снова повара? — удивится, может быть, тот, кто читал (и с любезным терпением перенёс!) главу под названием «Восстановить в памяти». Да, повара были уже. Но, во-первых, всё новые появления их на сцене никем, слава Богу, не считаны, не меряны и, надеюсь, не будут нормированы — пока человек от еды ни откажется. Во-вторых, — тогда, в том вулканно-огненном окне (в рассказе «Восстановить в памяти») были не столько повара, сколько их тени — вроде предисловий к настоящим. Не столько сами кухмистеры во плоти, сколько пока ещё их силуэты. Здесь бывшие силуэты впервые представляли **В ОБЪЁМЕ**. (И в каком!) И к тому же не в чёрном, а, наоборот, в белом выражении (изъявлении, изъяснении, воплощении. Согласно их рабочей форме — белой, как та далёкая зима за окном). Иногда, правда... и в краснорожем выражении они представляли, не скрою. Но да будет это сказано не во зло! Потому «рожи» — здесь читай в хорошем смысле! Вообще для **ПОНИМАЮЩЕГО** человека (а я только с понимающими разговариваю) — здесь, в «краснорожести» этой, отчётливо прозвонит даже **ВОСХИЩЕНИЕ!** Понятливая душа не упустит эту ноту. Потому — понятливый мыслит не только буквами, но и живописью! — а это ведь замечательно: мыс-

лить живописью восхищения! И как не восхищаться людьми, которые для нас так стараются, — так искусно готовят и стряпают! А вместо благодарности (когда, нажравшись, отвалившись и обнаглев, мы лениво высматриваем, к кому бы придрататься) — вместо благодарности получают высокомерно-взыскательные напоминания, что женская часть их коллектива «не может управлять государством»! Да говорите вы что хотите! Но высказывайтесь лучше всё-таки ДО обеда, — когда вы ещё находитесь В ЗАВИСИМОСТИ от кормящей руки и не решаетесь её укусить заблаговременно. Несите вздор любой, всякий, но не тогда, когда наступившая сытость сделает вас (нас? нас? вас?) ещё более нахальными, чем во всё остальное время.

И ведь это ещё неизвестно — у кого рожа! У них или у вас, вообще-то. И у кого «краснорожесть»... Ах да! Это, кажется, я сказала? Что ж. Если я и отозвалась таким образом не о нас с вами, то спешу напомнить и повторить: я произнесла это с в о с х и щ е н и е м! Потому что к портрету мастера блюд «лицо» просто бы не подошло стилистически. Ну.. а ежели к поварам сейчас побегут глашатаи и альгвасилы (сегодня таких много!) и огласят перед ними следующую мысль: — Алькальд, — скажут, — вы ДОЛЖНЫ, вы ОБЯЗАНЫ разобидеться! — что ж? — я скажу вам, я отвечу.. То есть не вам я скажу, а ПОВАРУ я отвечу: — Согласна, — скажу, — выслушать от вас, что я-то и есть краснорожая. (Даже если тут и выйдет ошибка насчёт расцветки.) Только бы вы не обижались, товарищ кухмистер моего детства, если, конечно, это ВЫ будете, а не кулинар-эстет, Ылитою для Ылиты с Цейлона выписанный, и не самозванец какой, притащившийся требовать сатисфакции от дамы. Потому что в таком разе, боюсь, не сатисфакцию, но сатисфикцию вы получите, ибо вы сюда явились без приглашения. Вас тут попросту не спрашивали, а вы явились без приглашения.

Рожа? Ну что ж такого? Лишь бы не харя! Вот ХАРИЮ иметь — это действительно большое несчастье для кого угодно, даже если сам потерпевший не чувствует своего по-

зора. «Рожа» есть нечто нечаянное и её можно сделать на время. Но «харя» — это уж навсегда. И всегда злонамеренное! Но, впрочем, это отдельная тема — и я обещаю ещё вернуться к ней с более тщательными разработками и во всеоружии познаний.

Поэт! Не говори ты,
 Что здесь живут Хариты:
 Я вижу только харю
 Твоей подруги Риты.

(«Харя Риты»)

...Канонада искр не смолкала. Да и что за «искры»! По их громогласности — скорее то были целые угли, — крупные экземпляры типа знаменитого Угля из сказки Гриммов «Соломинка, Уголь, Боб», — но только уж не в одиночестве, а в десантных множествах вылетающие из пламени... Правда, сами эти увеличенные искры, ЛИЧНО искры, если не ошибаюсь, не были с нашего места видны. Но, не будь я мной, не будь я счастливой современницей *чуда обычных столовых для обычных людей*, — если эти искры на слух не были КАНОНАДОЙ!

— Видишь? — вот это титан, — сказала мама, указав глазами вправо, за выступ стены, — из него берут кипяток.

Действительно: в том углу вплотную к стене стоял высокий богатырского вида бак — сооружение из тёмного железа, даже на внешность горячее. И такое представительное, что я испугалась!

Да. «В одну реку нельзя войти дважды» (а в две — четырежды, как впоследствии уточнит Веста из романа «Союз Действительных»). Но, помнится, он уже был мне знаком — запах кипятка: сырой, жгучий и немножко железный. А в то же время как бы сухой.

— А вон там, в кухне, видишь? — этот дядя — шеф. Шеф-повар.

Не успела пройти моя робость перед «титаном», как её немедленно заступила робость перед шефом! — когда в ку-

хонном дверном проёме проплыл самый толстый, самый высокий и, как почудилось мне, самый хмурый и грозный из всех поваров: с малиновой (от внутреннего и внешнего жара) физиономией, с гневно сросшимися (на широкой благодушной переносице) персидскими чёрными бровями. И поварской белейший колпак на нём был почти что до потолка; головной убор, красноречиво изобличающий Повелителя!

Ко всем оробениям моим (и почти страхам!) мама продолжала говорить со мной всё тем же голосом наставительной скрипки: — Вот это титан... А это дядя шеф... — словно преподавала урок и опасалась, что я их могу перепутать! Ну так ведь что ж. Их и вправду было нетрудно перепутать, потому как титан выдвигался истинным ШЕФОМ в своём металлическом роде, а шеф (как все уже, конечно, догадываются) — вылитым ТИТАНОМ, существом почти мифическим. И какого-нибудь там расшалившегося не в меру Циклопа, ни слова не говоря, мог свалить одним кулаком.

Я не очень даже удивилась бы, увидев на стене рассказанной харчевни картину, изображающую ВОЙНУ ШЕФОВ С ТИТАНАМИ. Титаны, — как рыцари или роботы, — одеты, конечно, во всё железное, по-железному элегантное тёмно-серое, а шефы, разумеется, в белое — под стать, ввязавшимся в битву, облакам... Лица красные, в руках вертела. А у Титанов — только маленькие, но крепкие железные руки с растопыренными пальцами и круглые глазки на лицах, переходящих непосредственно в туловище, и взбрыкнувшие ножки. (Подзаголовок основного названия — «Маленькая размолвка».) А в голубой перспективе... Но будет, будет! Они тоже неплохие — эти бедные баки: мы брали у них кипяток! И шефы работали на нас. А главное то, что в этом пункте рассказа беспристрастная честность историка позволяет мне лишь только вздохнуть: чего не было, того не было. Не было даже в мыслях. И не к лучшему ли, что не красовалась на стене подобная ахинья?!

Еда, которая лучше голода, но не намного, — помнится, людям не предлагалась. После супа (я его тогда ненавидела

и, должно быть, отвергла) нам подали отличные бараньи котлеты с превосходным гарниром. (Как сейчас помню, потому что в хороших столовых они были тогда в ходу.) Боюсь, что, несмотря на всю свою слабость, робость и тонкую чувствительность, я всё же оказала честь угощению! Не от того ли, впрочем, и слабость была, что надлежало попросту — подкрепиться? Недаром — уже во время уничтожения своей порции (зимой — так уместно что-то горячее!) я как бы меньше стала дичиться, меньше и унывать, мысленно пытаясь даже от титана с горячей водой!.. Скажут: Пообедала — и на здоровье. Но ты сказала «боюсь». Почему — «боюсь»? Ах, это для красоты слога и для того, чтобы не считаться обжорой. Вообще поэты (даже только будущие) обедать не должны. Это так вульгарно! Не должны они, конечно, и завтракать или ужинать. Кроме того, у них, кажется, никогда не должно быть крыши над головой. Гнездо своё

У птицы есть,
У ящериц есть,
Есть у крота, — у всех, кто живёт,

а у поэта не должно быть! Во всяком случае так думают многие, хотя не всегда проговариваются насчёт этого вслух. (Но и мы ведь не дураки: действия глядим, а не слова слушаем!) Спать поэт должен, разумеется, там, где листопад постелет, а небо укроет. Если, конечно, он вообще должен спать, хотя и это ему совсем не обязательно. Но довольно, довольно. Не отпираюсь, что отдала должное горячему блюду. Ведь ещё скоро ли удастся путём поддержать силы? В дальнейшем читатель узнаёт, что не скоро. К тому же — «Завтра была война»!

...После того обеда — полный обрыв памяти. (В смысле воспоминаний.) Как если бы та, вполне добропорядочная, еда была зверской выпивкой, а сама я — запойной пьяницей! Которая, враз опорожнив стопку, вдруг проваливается в долгое тёмное забытьё, небытию равное... Во всяком случае почти равное сну Рипа ван Винкля¹⁶, — если уж не по длительности, то по глубинам... На самом деле никакого

забытья, разумеется, не было. Просто дальше, наверное, не было, — долго уж потом не наблюдалось тех впечатлений. Не каждый день встретишь в лесу Пряничный домик, — может быть, этим-то и ярко, и увлекательно малообеспеченное детство? Не каждый день выдаются явления столь выразительные, как — с титанами и шефами, — в пышных снегах столовая или странная старинная кухня — с треском искр, подобным разрыву петард... Не каждый день! И потому последующие впечатления поневоле меркнут по сравнению с ними. И потому кажется, что затем наступил сон.

А внизу все огни потухли,
Только в кухне скачут отблески углей...

Долго ли, коротко ли длилось относительное процветание нашей семьи, — мы узнаём после. А пока... от санатория мы получили необыкновенно уютный дом, одноэтажный, бревенчатый, а всё равно ДОМ (то есть не изба), с двумя выступающими вперёд с обоих углов тамбурами и крылечками.

Правый тамбур сразу вводил в курс дела, — то есть в нашу угловую комнату. Но выйти-то из неё можно было и по-другому, а именно — через небольшой светлый коридор, который вёл как раз ко второму (левому) тамбуру, — вот нам и другой выход на улицу! Соответственно — выход уже общий, а не только наш, чуть не сказала я, но это было бы не совсем верно. Ведь кроме нашей семьи никто больше в чудесном убежище не селился, если не считать некую незнакомую библиотечаршу, — «не считать» которую, впрочем, было нельзя! Потому что её дверь помещалась как раз МЕЖДУ нашими двумя дверями. Одна из которых вела в нашу общую (скажем так) комнату, а другая — в папин рабочий кабинет.

Я не могла постичь: почему «она» поселилась не за нами и не перед нами, а в аккурат *между* нами, точно бельмо в глазу? Кто она такая, кто её сюда сгрузил и всобачил в самую середину чужой для неё фамилии? И почему она сама так охотно встревает — со своей дверью — в нашу се-

мью?! В самый центр между детьми и родителями, между нами и нами! Разве не в сто раз лучше, — кабы две наши родственные двери шли подряд, а не вразброд? И при чём тут какая-то библиотечарша?!

Может быть, это так называемый «детский эгоизм» говорил во мне? Думаю, что на этот раз — нет. В виде исключения — нет. И кто же обрадуется «добрососедству», похожему на подселение или вторжение? Хотя никто и слова не скажет, если сосед — в своём праве. Вот и я при всех моих (очевидно, уже тогда наметившихся!) варварских несовершенствах вовсе не об изгнании соседки мечтала, а всего лишь о **НЕСМЕШИВАНИИ ПРОСТРАНСТВ**, о **НЕ-ПУТАНИЦЕ** дверей. О каком-то, как я его понимала, порядке в мире. Где я впервые столкнулась тогда с таким микрокосово — в микрокосме своей семьи! Словом, на месте той библиотечарши — сама бы я так не сделала. Поселилась бы и сама на краю, — ведь так даже интересней! Ведь как таинственна всегда в сказках, как занимательна — «хижина на самом краю города»! Или деревни! Я была больше чем уверена, что за дверью между нами и нами живёт враждебное сказкам, неестественное существо.

Тем не менее, наверное, к лучшему, что я не оглашала свою досаду, негодовала молча. Наверное, это удача, что отец, который жил для всего человечества, этих моих гадких и х мыслей не знал! Наверяд ли он разделит бы мои новые воззрения, а я ничего не сумела бы объяснить. Отец бредил коллективизмом и, как «суровый Дант» — сонета, не презирал даже, кажется, и самого общежития! Во мне же этого коллективизма — не было никогда и маковой росинки; я была на редкость необщительна и неисправимо дика. Правда и то, что я знать не знала: чем именно можно вызвать «гнев отца» (он нас никогда не наказывал), и молчала я не из страха, а всего лишь по необъявленному обычаю всех детей: скрывать, замалчивать именно то, что кажется особенно серьёзным и трудным.

Впоследствии я не могла разгадать этот феномен даже на собственном бывшем примере. И опыте! А недавно



«И звук его песни в душе молодой
Остался без слов, но живой...»

М. Ю. Лермонтов

Ангел ночи.

Рисунок Новеллы Матвеевой. 1942 г.

мысль о непонятной скрытности детей встретила у самого Честертона.

А может быть, в путанице дверей, что так возмущала меня на первых порах вселения, не содержалось для нас ничего обидного? Может быть, библиотекарьша-то была из бедных, и следовало здесь не о дверях подумать (как в моей, тогда будущей, пьесе «Трактир “Четвереньки”» о дверях только и думает моя героиня Веста!), но о самой соседке: что за личность? А если не злая? И вопрос дверей тогда станет лишь вопросом привычки? Возможно, у меня просто не было чутья на людей — ни очного, ни заочного, — а нечего и говорить тут о каком-нибудь предчутье? Позволяющем порой даже малому ребятёнку (и прежде всего — ему!)

Ловить предзвук — вести предоткрытий.
(Сонет «Предзвук», 1960-е гг.)

Как знать, как знать... Быть может, всё и на самом деле было сложнее? Или, наоборот, гораздо проще?

Может быть, да, а может быть, нет. Может быть, не здесь, но в главе под названием «Синдбад Мореход и другие» всё и откроется? Может быть, да.

* * *

Проходила зима, но мы ещё застали (и нас ещё застали) кое-какие из её весёлых примет.

Комната у нас хотя и угловая была, но ещё угловей (и ещё правей) находилось и почти вплотную к дому примыкало некое совсем небольшое и необитаемое строение. «Без окон без дверей» (точно огурец или трактир «Четвереньки»). Вроде сарайчика для сбережения топлива (или для привидений!). Эта безвыходность заброшенного сарая — не есть ли всего только плод моей тогдашней ненаблюдательности? Или вход-выход был просто сильно завьюжен? И верно: был. Но расчищать не хотелось. В близне зимы сарайчик был слишком чёрен; ветхость и мокро-льдистая непроницаемость его общего вида не могли не

отталкивать нас от расследования: есть ли «луч света» в этом «тёмном царстве». Да не очень-то и нужны были нам окна-двери: нас интересовала КРЫША! Для сестры (а значит, и для меня) она явилась бесценной находкой! Обогнув дом, мы по насту снежного заноса (или по какому другому — не помню — приспособлению) взбирались на её верхний, высоко поднятый край и, сидя на подошвах, съезжали — по ледяной кровельной поверхности — к её нижнему краю. Спускавшемуся, наоборот, так низко, что, съехав, мы оказывались в аккурат рядом с нашим крыльцом — на уровне самой нижней его ступеньки... И-и-ихх! И какой же русский не любит быстрой езды?!

Волшебства и молодцеватости, и неповторимого счастья езды той, — как будто со звёзд — и в незнаемое, в снега; езды в зимнее предвечерье, неуловимо похожей на подвиг и на свершение, — всё равно не описать! По вдохнутому воздуху — на таинственную миссию, по выдохнутому — на героическое свершение! Ну и что же, что результатов свершения — не видеть? Ну и что же, что этот подвиг бесполезен? — всё равно не верилось, что это не он и что он напрасен.

...Надо ли пояснять, что детски-молодецкие представления эти могли проноситься у нас в умах и душах лишь на детском же уровне? Думаю, и пояснять тут нечего. И, конечно, мы не могли бы выразить всё это словами. (И долго ещё не собирались выражать!) Но могу опять поручиться; казалось — многое! Казалось, что в синем напуске сумерек, в снежной остроте воздуха, в свисте движения было что-то от наших умопомрачительных подвигов и заслуг! Забавно? Зато оно успокаивало, снимало «заботу», к ночи обеспечивало хороший сон.

В движении, в движении —
Весь мельника покой, —

разве не так поётся в песне Шуберта на стихи Мюллера (с которым, кстати, во умножение моих «заслуг», я родилась в один день!).

Рассказать ли... Но нет, не описать! И я умолкаю (надо признаться, весьма неохотно!). Ограничусь лишь выражением запоздалого удивления, что меня (больную «Меньером») в езде той ни разу не укачало.

Крыша, идеальная, так сказать, ещё изначала времён, (а после шлифовки ещё идеальнее сделавшаяся), вроде во всех отношениях состоявшаяся крыша, — всё же имела свои недостатки. Гвоздь — не гвоздь, — не знаю: может быть, ржаво-изогнувшееся кровельное железо (кто ездил по крыше — меня поймёт), — но к нашим пальто на каком-то отрезке пути всё время что-то каверзно придиралось... Проносясь, мы старались не думать об этом; это ведь было, кажется, только в одном месте крыши, а захват духа не давал задерживаться из-за пустяков. И что же? Девочками из приличной семьи среднего достатка взбирались мы на эту кровлю — деклассированным элементом, оборвышами — спускались с другой стороны! И хотя наше столь наглядно-показательное ниспровержение из интеллигенции в люмпены происходило, конечно, не сразу, а из раза в раз и частями (кстати, низвергаясь по ГЛАДИ, тоже ведь великолепно обтрёпываешься!), мать, наблюдавшая из окна наши румяные профили и повторяющийся полёт, не могла не озадачиваться состоянием нашей экипировки.

— На них не напасёшься ни одежды, ни обуви! — жаловалась она отцу. — На них всё горит и рвётся! — негодовала она, стремясь думать только о рутинном быте. А сама, взирая на наши вылазки, вслушиваясь в разудалое шипенье наших подошв о лёд и железо, «незаметно» от нас (то есть не без труда!) подавляла улыбку. Она только более-менее успешно стягивала губы, но из голубых глаз рвался юмор...

На «не напасёшься» отец отвечал рассеянно: — А? Да-да! Совершенно верно. — Не особо и сам вникая — что именно «верно» (хотя НАПАСАТЬСЯ-то предстояло именно ему. На маме была обязанность шить и перешивать).

* * *

...«Как зима беспредельна!» — запишет через много лет ваш адресант. Да. Но беспредельна она, наверное, только в рассуждении пространства. Только вширь. (А может быть, даже и внутрь? Как «даль свободного романа» «сквозь магический кристалл»?) Всё так наверно и есть. Но даже зима не беспредельна ВО ВРЕМЕНИ.

Вблизи снега ещё совсем упруги,
А в дальний лес уже весна зашла:
Лежит в тиши, заламывает руки
И жадно ждёт заветного числа.
Число придёт! Оно уже так близко...

Это из маминых стихов. Из стихов т о г о дома. Того периода.

* * *

Собственно говоря, весну мы, наверно, встретили у своего двора (что-нибудь вроде болезней могло помешать нашему с сестрой немедленному выходу на более вольную волю). Была уже, может быть, и не весна, а полное раннее лето, когда мы выбрались в настоящую — по нашим масштабам — даль. Но именно тот наш выход запомнился мне как первый. Как если бы мы только что приехали — и СРАЗУ же вышли в путь, точно какие-нибудь впервые открывающие широкий мир основатели колоний.

Их, правда, ещё без нас, до нас основали, но не всё ли равно?

Я в каком-то странном новом городе,
А в каком — не знаю, —

писала известная финская поэтесса Катри Вала. Попасть «в какой-то странный новый город», а в какой — не знать, — всегда было и моей заветной мечтой (хотя не совсем уверена: можно ли считать «городом» санаторий «Мускатово». Пускай даже странный и новый).

В лёгких летних платьицах, свободные и независимые, ничьи соседи и ничьи пока что знакомые — мы шли на встречу ясному склону дня. Сами! Одни! На поиски новых приключений...

Боюсь, правда, что последующие эпизоды чуть-чуть потеряют понятность, если я не возьму себе минуту на их подготовку.

Как ни был бы скромнен бюджет нашей семьи, а в отношении искусства (картин, книг, песен) наш дом всегда был — полная чаша. Это обстоятельство довольно рано начало меня воодушевлять, вызывая представления о чём-то очень ЦВЕТНОМ впереди (вроде волшебных стёклышек стетоскопа); о великих фантиках туманного, но прекрасного будущего. Родители с готовностью поощряли меня на этом (небезопасном, может быть) направлении к творчеству, но если по занятости или ещё почему-нибудь временно упускали из виду этот вопрос, министром моей культуры становилась моя сестра (проказница и насмешница, каких свет не видал!), а тогда картинки в книгах делались у нас основными наглядными (и ненаглядными!) пособиями.

Не меньше моего ценила сестра высокую художественность во всём. Но так как при этом ей страшно нравилось меня дразнить, она всячески стремилась удержать моё внимание на «хулиганских» картинках. Ей доставляло прямо изысканное наслаждение наблюдать, как я горюю, как безутешно сокрушаюсь я при виде всякого безобразия. Вот, к примеру, известные рисунки Гранвиля к «Путешествиям Гулливера»: больной с отравлением, склонившийся над лоханью... И весь (пardon!) процесс... Или дикарь йеху, кушающий (прошу прощения!) крысу! Я плакала. Зато мою воспитательницу гравюры эти приводили в неопишное восхищение. — Смотри, — говорила она, — Хулиганское, а напечатано. Прямо в книге! Хе-хе...

Плач превращался в рёв. — Реви сколько угодно. Я, что ли, нарисовала? Обращайся с этим в Академию наук.

...Мало-помалу, по односторонней аллее (справа — наш дом и несколько берёз, а слева от нас — основная и сплошная полоса высоких прекрасных деревьев), по этой самой большой мускатовской аллее-улице вышли мы и на главную площадь. Так же счастливо пустующую в тот час. (Некого дичиться — и слава Богу!) Здесь внимание моё развлекли

и направили в русло, нужное мне, в основном две достопримечательности. Во-первых, большая цветочная клумба и — среди разных чудесных цветов — так называемые аютины глазки! (Впервые увиденные, а уже запылённые! Впрочем, такой симпатичной летней предвечерней пылью незнакомого «города»!) И во-вторых — низко на белой стене санаторного здания, на самом углу — синий почтовый ящик с белыми буквами.

Я остановилась перед ним, как громом поражённая! Я так на него вытаращилась, что, кажется, до сих пор — при одном воспоминании — ломит орбиты.

— Это почтовый ящик, — честно объяснила сестра.

Что это был он — я уже и сама догадалась. (Сообразительность не совсем была мне чужда. Так же, как зрительная память на картинки.) Но меня потрясло другое: его невозвратно-безвыходное, как мне показалось, устройство! Для заглывания конвертов у него, конечно, имелся прямой, внутренней чернотой зиявший, мойдодырский «рот». Но где же «глаз» или «ухо»? Где хоть какое-нибудь приспособление, через которое людские руки могли бы подтолкнуть письмо дальше или извлечь его обратно? Ничего этого не было. Видимо, жизнь столкнула меня с неразрешимой загадкой...

— Это через него все письма доходят? — с большим сомнением спросила я у сестры.

— Через него.

— А их бросают — сюда? — указала я на железный зев Мойдодыра.

— Сюда. (Её спокойный голос и тягучий выговор не изменились, но, видимо, она, давно наблюдая за мной, прикидывала: какой бы ей добыть эффект из моего, столь удивительного, простодушия? Насмешливому человеку грех было упустить такой случай!)

— А как же эти письма потом отсюда... достать?

— Да зачем тебе их доставать, если прямо отсюда они идут к людям, которые их как раз дожидаются?!

— Вот я и говорю: как же эти люди их отсюда сумеют достать? Если они их дожидаются?

— Да никак. Ведь письма к ним сами придут.

— Да как же так — «сами»? У них разве есть ноги?! — невольно вскричала я (попутно развивая навыки логического мышления). Уж не насмехается ли сестра надо мной? Но почему же тогда дикие сведения, которые я сейчас от неё неожиданно получила, так совпадают со стихами, напечатанными в книге? —

Письмо
Само
Никуда не пойдёт,
Но в ящик его опусти, —
Оно пробежит,
Пролетит,
Проплывёт
Тысячи вёрст пути.

Стихам Маршака нельзя было не верить. В них не могло быть насмешки. Они были до величественности серьёзны. А если так...

И тут я узнала от сестры удивительную историю из почтовой жизни!

Она терпеливо объяснила мне наконец устройство почтового ящика. Выяснилось, что его наружная часть (то бишь сам он) есть лишь выступ над бесконечной, никому не видимой шахтой (или тоннелем), где царит вечная тьма. И шахта эта, — как следовало из слов рассказчицы, — «проходит сквозь всё». Да! «Незаметно для отдыхающих» и сквозь санаторий (сначала через стену в пол, а потом в котельную). А там — вообще «сквозь весь земной шар!»... И вот по этой-то чёрной, пустой внутри, нарочно сделанной для этого, шахте — каждое письмо — летит, летит, летит — «без конца»... И появляется оно только уже на другой стороне земного шара, где его сразу подхватывают землекопы и антиподы, которые там ходят на головах — вверх ногами. А получают эти письма не только они, но и проживающие там же дикари йеху. Которые (как я сама изволила видеть на картинке из «Гулливера») обычно угощаются крысами.

Конечно же неистовая изобретательность моей сестры подогревалась и моими наводящими вопросами: «А потом куда оно падает? А кто его с той стороны быстро ловит?» И так далее. Отсюда и таковые ответы: ведь я же спрашивала — вот мне и отвечали... И от того, что небылицы росли и крепили в чём-то по моему заказу, я была ими почти довольна. Но едва лишь внезапный поворот повествования вырулил на гнусную личность йеху, которого я всегда ненавидела, — я не выдержала и заплакала. Нет! Я не могла допустить, чтобы письмо, пролетевшее через всю середину земного шара, досталось какому-то крысоеду! Стоило ли письму (какому угодно) проделывать для этого столь великий ТЫСЯЧЕВЁРСТЫЙ путь?! Да и кому понадобилось вдруг писать письмо к йеху? Зачем? Неужели кому-то нужен был его адрес? Да он и читать небось не умеет!

Как большинство людей (больших и маленьких), я даже любила быть немножко напуганной страшными сказками. Но... изо всех своих цыплячьих сил я сопротивлялась отвратительному! Мой рот кривился, из глаз бежали ручьи... Рёвом я выражала протест негодному йеху!

...Ставши взрослой, сестра как-то притихла и скромно поступила в Детский сад воспитательницей. Куда девались её «характерец», её отчаянность, её фантастичность? «Она с неба звёзд не хватает, — говорил отец, — зато это хорошая, скромная — настоящая тургеневская девушка». Но я-то знала, что иногда и тургеневские девушки с неба звёзды хватают. Особенно в детстве. Просто это очень трудно потом доказать... Потому что они за собой ведь ничего не записывают. Хотя изустно прямо-таки на ходу, на каждом шагу творят свою повесть и свою мифологию. Потом их затягивает рутинная. И одарённость их, быть может, недюжинная, пропадает навсегда, — как то письмо, провалившееся в тартарары... И полученное непримиримыми *антиподами* на противоположном полушарии нашей планеты.



Из песни слова не выкинешь

*... мне хотелось бы, чтобы
хоть изредка вступал хор.*

Г. К. Честертон

В Детский сад?! Мне это сильно не понравилось. Мне вовсе не улыбалось изгнание из родного дома: стены его ещё не успели мне надоесть!

Я представила себя на месте Мальчика-с-Пальчика; отверженца, которого родители сговорились одного в тёмном лесу оставить! (Теперь мне казалось, что одного.) И хотя названный «тёмный лес», то бишь здание Детского сада, находился от нас всего шагов за полтораста, даже виднелся — напротив — из наших окон, — это не утешало. Может быть, как раз лучше — кабы подальше от нас всё это было устроено? Подольше бы тогда продлился путь к неприветливому учреждению... Хотя бы и лесом на самом деле пройти! Лесом из сказок Перро...

Я знала: там, в доме напротив, ждут меня (то есть как раз не ждут!) чужие, которых я и так всегда дичилась, но с которыми, по крайней мере, ещё не оставалась — нос к носу — одна!

Запротестовать? Зареветь? Взбунтоваться? Но что-то, смутно похожее на гордость, заставило меня смолчать. И, проглотив обиду, подчиниться новым обстоятельствам.

«И пошёл я в люди»...

До времени умолчу о первом впечатлении от Детсада. Который (как не верить заранее собранным сведениям!) совсем даже не САД был, а попросту дом. Тот самый, —

видневшийся из окна. И (так и есть!) ничего другого за собой не таивший. Умолчу (то есть пока совсем немного скажу) о впечатлении от его внутреннего вида и суетного убранства; от пестроты игрушек, валяющихся на полу, от крика и шума, как на базаре, от детского многолюдства. И о своей нелюдимости, защитно обострившейся при виде (и звуке!) всего этого веселья, распространяться долго не стану. Достаточно будет сказать, что Детский сад не обманул моих наихудших ожиданий.

Но в своей непреклонной решимости немедленно и бесповоротно впасть в уныние, я ещё не подозревала, что и здесь найдутся вещи, которые вскоре... если и не спасут положение, то как-то всё же... смягчат мою злую участь.

И, можно сказать, я получила смазку для своих кандалов! Речь о вещах, лучших для меня, чем любые игрушки (из-за которых я застала весь Детский сад вдрызг передравшимся!). Речь о вещах, имеющих отношение к Искусству, — музыке, танцу! «С отрадой, многим незнакомой» отметила я взглядом разноокрашенные ивовые обручи, развешанные по стенам; они заставляли задуматься о их предназначении. Большие блестящие медные тарелки (из которых, надо полагать, никто не ел?), сияя вдоль стен, внушали почтительный страх... Но постепенно робость проходила, сменяясь первыми понятиями о музыке и сцене. Вот металлические какие-то треугольники — их звякнувший ответ, — цзынннь... Вот настоящая балалайка! Впервые в жизни увидела я тогда... кастаньеты! Робея перед их знатностью, взяла в руки, попробовала на звук... И это было для меня значительное событие, — чуть ли не равное путешествию в Испанию! Езде в незнаемое на пиренейских мулах! (Смутные представления обо всём этом я получила от больших домашних книг с несравненными картинками, которые мы часами рассматривали вместе с сестрой, сидя на полу...)

Как выглядело моё вхождение в детсадовскую самодеятельность? Проверял ли меня кто-нибудь на музыкальный

слух и на мой, не особенно громкий, голос? Память решила от меня навсегда это скрыть. Зато я помню себя... — уже сразу в ансамбле!

В детском ансамбле, куда, если не ошибаюсь, — без низкопотребной делёжки на «худших» и «лучших» (привычка тех, кто «Из грязи да в князи»!) были призваны и приняты все желающие. Вплоть до самых шкетских шкетов, чьим инструментом иногда являлась обыкновенная расчёска, завёрнутая в папиросную бумагу, — та, в которую дудеть. (Мы с сестрой тоже это пробовали: получалось — чем пронзительней, тем лучше!)

Каждый человек (кроме Козлова-Вякина) чего-нибудь да стоит. Это неоспоримый факт. (Придёт время — и в сонетах «Есть гениальность ночи» и «Народ» я попытаюсь это по-своему выразить.) Но не может же быть, чтобы идеальный музыкальный слух был СРАЗУ У ВСЕХ! В случае Детского сада — у всего учреждения враз? Если не подставлять «ножку», стезю свою найдёт каждый, но ведь не обязательно — в музыке? Право, не знаю, чем это объяснить, но **ДИССОНАНСОВ НЕ БЫЛО**. Прорвись в ансамбле хоть один, — он запомнился бы мне на всю жизнь!

Быть может, феномен объяснялся тем, что все грехи нашего оркестра дружески покрывал баян дяди Пети Копылова? Властно вмешиваясь в происходящее, повелительно направляя весь поток в должное русло, он так роскошно умел взречь — этот его баян! С поистине королевской щедростью — направо и налево, точно княжества, раздавал он великолепные звуки! А ничтожные, привходящие (если они были) втягивал в недра свои, и там — уничтожал, перемалывал, перетирая и перерабатывая их в нечто безопасное для общества и даже — с той секунды — удобоваримое. Так, — отмеченные Полигимнией¹⁷ или забытые ею, — **ВСЕ ДЕТИ БЫЛИ ЗАНЯТЫ**; в пении, в дудении, в кручении рукояток разных трещоток, — все были нужны, довольны и счастливы. И совсем не было, — *на всём свете не было!* — безголосых, либо лишённых слуха!

Не вспомню никого и такого, чтобы валандался вне ансамбля; чтобы каким-то образом, тоскуя, появился бы вдруг с наружной его стороны, пиная соринку..

А располагались мы все на нескольких широких ступенях летней террасы Детсада, — открытых на улицу, на свежий воздух, — «Откуда льётся мир и где увидишь всех»...*

Дан приказ: ему на запад,
Ей — в другую сторону.
Уходили комсомольцы
На Гражданскую войну, —

пели дети и воспитатели; пели друзья и родственники тех и этих, случившиеся тут же, у нашего ансамбля под рукой; пели иногда и подоспевшие отдыхающие санатория и, наверное, работники клуба (из которого в Детсад просочились вышесказанные литавры, — тогда могло показаться, что и сквозь стену!)... Лица у всех были серьёзные, задумчивые, честные. И свежий летний зелёный запах травы подымался около нас, поющих, — особенно внятнй при первом, едва заметном, повечерении.

Ты мне что-нибудь, родная,
На прощанье пожелай.

Начни я только перечислять песни нашего репертуара, боюсь, одни их названия затормозили бы весь рассказ, так много их было...

По военной дороге шёл в борьбе и тревоге
Боевой восемнадцатый год, —

гремели мы изо всех сил, —

Были сборы недолги, — от Кубани до Волги
Мы коней подымали в поход.
Среди зноя и пыли мы с Будённым ходили
На рысях на большие дела;
По курганам горбатым, по речным перекатам
Наша громкая слава прошла.

* Из стихов Н. Т. Матвеевой-Орленевой.

А надо было ВИДЕТЬ, какого рода коллекция типов выкрикивала эти слова! На всех на нас были белоснежнейшие жабó, достойные натурщиков Ганса Хальса («Помнят псы-атаманы, помнят польские паны Конармейские наши клинки!»), а на макушках — настоящие черноблестящие *цилиндры*, для дополнительной элегантности сдвинутые ещё и немного набекрень, — все — в одну сторону:

Веди ж, Будённый, нас смелее в бой!
Пусть гром гремит, пускай кругом гроза!
Мы беззаветные герои все
И вся-то наша жизнь есть борьба!

Прошу представить себе компанию, одетую по-буржуйски, но ведóмую в бой красным командиром! Замешал которого (наверное, временно?) дядя Петя-баянист, со своей стороны тоже — в жабо и в цилиндре, щеголевато и заливчатски сдвинутом нá ухо!

По долинам и по взгорьям
Шла дивизия вперёд...

И не напрашивается ли здесь (для сравнения) «дивизия» (или, вернее, рота) незадачливых и франтоватых лондонских шпионов, которые тоже были не прочь попасть в передрягу, не снимая белых перчаток, и которые Г. К. Честертоном так броско нарисованы в романе «Человек, который был Четвергом»? Но всё это, конечно, не совсем всерьёз говорится; нетрудно догадаться, что были мы, так сказать, всего лишь ДЖАЗ-БАНДОЙ, одетой, как, вероятно, положено быть общеевропейским джазменам (и отчасти — хористам) по тогдашней буржуйской моде. Она вступала, конечно, в некоторое противоречие с нашими боевыми песнями, — тем более, наверно, забавное, что несоответствия на этом не завершались. Ведь, говоря кстати, лишь только с макушки и до плеч мы были экипированы во всё буржуазное, а дальше — от плеч вниз — одеты кто во что горазд; от платьев с безрукавками и (латаных иногда) штанов на лямках — до каких-нибудь ситцевых сарафанов и до

любой бумазеи, ветхой и пёстрой, как летняя бузина...
Сверху до плеч — буржуи. Ниже, до пят — пролетарии!
И как же иначе? «Чуть бой снова», — вперёд, плоёные во-
ротники и чемберленовские головные уборы!

И, — чтобы уж по всем долгам рассчитаться с вопро-
сом цилиндра, — ещё два слова о нём. На гравюрах и дру-
гих изображениях он кажется... чуть ли не вырубленным
из блестящего куска базальтовой скалы! Ну так ничего
подобного: носить его очень легко, — одно удовольствие!
На башке он почти не чувствуется, на мысль не жмёт,
а под подбородком схватывается удобной и незаметной
резинкой.

Плыли,плыли тучи,
Где песок горячий.
Разорвали...

(не помню что!)

Вóроны летучи.
Чуть
Бой
Снова —
Мы двинемся в строю;
Дай,
Конь,
Повод,—
Не вздрагивай в бою!

А мне слышалось «Даль. Конь. Повар». Так я и пела! Че-
го никто в общестройном гаме, конечно, расслышать не
мог. А что? Зачем так уж, по-вульгарному, вникать в каждое
слово? Ведь главное в песне — воодушевление! Не так
ли? — Так ли. (Как говаривал, отзываясь на «Не так ли»,
Иван Киуру).

Взрослых утомляет продолжительное участие в
хоре, особенно если имеются у них и другие заботы, — это
дети могут долго не замечать своей усталости. И, может
быть, это естественно, что в какой-то момент — с боевой
и совершенно неугомонной, казалось, тональности мы со-
скальзывали на другую, почти лирическую:

Шёл отряд по бережку,
Шёл издалека, —

начинали мы вдумчиво, тихо, очень серьёзно;

Шёл под красным знаменем
Командир полка.

Голова обвязана,
Кровь на рукаве, —
След кровавый стелется
По сырой траве.

Хлопцы, чьи вы будете?
Кто вас в бой ведёт?
Кто под красным знаменем
Раненый идёт?

Мы сыны батрацкие,
Мы за новый мир.
Щорс идёт под знаменем —
Красный командир.

Настоящий хорист не оглядывается по сторонам. И ничего не может знать о своего полку неожиданном пополнении. Никогда во время пения нельзя было вычислить — сколько же нас теперь в общей сложности?! Между тем подходили и подходили всё новые люди, — тихо подхватывали напев.

В голоде и холоде
Жизнь его прошла,
Но недаром пролита
Кровь его была.

Если бы меня спросили «Что такое детство?» — наверное бы я, отшучиваясь, ответила: детство — это временное состояние взрослого человека, от которого (временного состояния) всю жизнь потом невозможно отделаться. Да и зачем отделяться от того, что САМО запоминается так надёжно?

Тишина над берегом,
Глуше стук копыт...
Знамя Щорса красное
По ветру шумит.

Как я уже обмолвилась выше, наш хор выстраивался на ступенях. И с определённого мгновения где-то надо мной, в верхнем ряду поющих, начиналось тихое цоканье — подражание удаляющейся коннице. Это некоторые, специально отведённые для такого дела, ребята принимались ритмично щёлкать языками. Помню своё удовлетворение, что я-то не в цокающем ряду! Но языки того ряда (а то, может быть, и двух верхних рядов) работали, кажется, на свой страх и риск! И с тем пушей отдачей, что их старания пригодились и для следующего — заключительного — куплета:

Тише топот конницы,
Смолкли голоса.
Солнце книзу клонится,
Падает роса.

А солнце действительно уже клонилось. И роса действительно падала. С полей за воротами по-вечернему начинало дышать клевером, а запах травы подымался чуть не от самых ног нашего маленького поющего общества. Ну, а если всё такое же настоящее, как в самой песне, вплоть до запахов вечера, — то и отряд раненого «красного командира», верилось, только что проходил здесь, — прямо перед нами! Мы только по недоразумению могли упустить его из вида! А сейчас он уже где-нибудь там, за воротами; слева от поля, справа от деревни, и как раз огибает её, изогнувшись для этого зигзагом, и вот-вот исчезнет за горизонтом вместе с солнцем, клонящимся туда же... Да, только лишь по занятости песней мы его проглядели — этот отряд! А ведь только что он проходил прямо здесь, мимо Детсада... *Такое же точно* — закатное солнце и точно такая же, как в песне, роса — тому вернейшее доказательство!

А солнце клонилось ниже и ниже. И трава сырела, и трава благоухала даже лучше, чем цветы, потому что достовернее. И, как я уже сказала, **ВСЁ БЫЛО САМОЕ НАСТОЯЩЕЕ**. О, всё было такое **НАСТОЯЩЕЕ**, что никакими словами выразить это мне теперь никогда, наверное, не удастся...

20 августа 2003

Маленькое послесловие

Думаю, что у героев Революции и Гражданской войны (кто бы ни спровоцировал обе авантюры) было гораздо больше общего с нашими царями-великомучениками, чем с троцкими да луначарскими (этими сиднями всех войн и хитроваными всех революций).

Лицемерия времён Советов я отрицать не собираюсь. Оно не являлось исключением из лицемерий других времён. Но уж во всяком случае тогда у нас не было «владельцев заводов, газет, пароходов», а по моему разумению это было ГРАНДИОЗНЕЙШЕЕ ДОСТИЖЕНИЕ человечества и для человечества. К захвату газет-пароходов многие уже и тогда, конечно, стремились, — как же без этого?! Но стремились ТАЙНО. В любом разе это (и всякое другое) бесстыдство не поощрялось. Запрещалось. Высмеивалось. Самые нахрапистые поневоле смирялись и сламывались. Обходились неполным краденым. Жалкими улыбочками маскировали тщетный порыв. Именья, как «шило в мешке», прятали ЗДЕСЬ, а не за границей (что тоже ведь было небезопасно!). А когда негодяи вынуждены вот так (хотя бы ТАК!) притворяться хорошими, — ей-Богу — это не самое худшее состояние дел на свете, и никогда я не откажусь от этого убеждения.

В тех насмешках над мистерами-твистерами было что-то очень живое, освежающее, подлинно СВОБОДНОЕ! Не теперешней подлой «свободой», — то есть произволом и разнузданностью толстосумов, — а весёлой свободой ДЛЯ ВСЕХ! Пусть, пусть это была только мечта! «Пусть это был только сон, — Но какой чудный сон!»!

Июнь 2004



Над омутом лóзы

1

В счастливую для меня пору пребывания нашей семьи в санатории «Мускатово», где свою постоянную лекторскую работу отец совмещал с деятельностью культурника (организатора художественных мероприятий), явилось в моей малолетней жизни одно удивительное стихотворение! Явилось и воцарилось в судьбе сразу же как заглавное: ни дать ни взять какой-нибудь экслибрис или даже девиз на мой счёт, видневшийся, казалось, даже где-то в уголке неба!.. И неизменный там, и несомненный там, где ни проходила бы я понизу — утром или днем.

То было известное стихотворение графа Алексея Константиновича Толстого «Где гнутся над омутом лóзы...». И не то чтобы я его выбрала: оно, как это говорится, само выбрало меня. У меня и смекалки бы тогда не хватило на подобные личные предпочтения. По счастью или к сожалению, я не была ребёнком замысловатым и многозначительным, из тех, что устрашающими массами в виде готовых вундеркиндов выходят из интеллектуальных семейств и сразу по-взрослому отыскивают для себя ведущий стих или кумира-авангардиста (потому что гарвардские университеты они закончили ещё в материнской утробе). Нет, не отличалась я никогда такой расторопностью! Но так как это тоже невелика заслуга, то и всё сказанное (кроме шуток!) не есть камушек в огород истинно образованных фа-

милий. И уж тем более не экивок в сторону гениальной Марины Цветаевой с её сугубо взрослыми (порой) в детстве поступками. Ведь если она и начертала на дикой скале (ещё в малолетстве) пушкинское «К морю» в качестве своего девиза (или даже уже антидевиза: «Прощай же, море!»), то у неё это было связано лишь с очень ранним развитием и столь же ранним осознанием своего типа и дара, а значит, и выбора.

Привзрослённое и несколько патетичное поведение некоторых детей около века назад могло быть, конечно, и данью времени; видя, как взрослые ходят на котурнах, дети привставали на цыпочки... Но я-то была из другого — по-другому (и притом слегка не по-моему) приподнятого времени. Вот я и не искала себе девизов так рано, как могли искать их старинные дети.

Не могу сказать, что к возрождению подобных обыкновений в нашем доме и предпосылок не было. Не смею утверждать, что родители совсем не проговаривались при мне о моей (будто бы) удивительности. Увы! Делали эту ошибку и они! (Хотя и ошибка-то была не в их духе.) Да! Иногда они хвалили меня как дитё недюжинное, но этому утверждению не было нигде подтверждения. Дома сестра своими насмешками в случае чего быстро посбивала бы с меня спесь. А улица казалась даже и просто враждебной. Так каким же образом в столь неблагоприятных условиях (неблагоприятных не только для «спеси», но и для простого самоутверждения) меня всё же успел найти и достигнуть **МОЙ СТИХ?** — ещё и обозначившийся как мой девиз? Не от того ли так произошло, что эти стихи — буквально линия в линию! — совпали тогда с моими личными обстоятельствами?

Где гнутся над омутом лозы,
Где летнее солнце печёт,
Летают и пляшут стрекозы,
Весёлый ведут хоровод.

Дитя, подойди к нам поближе,
Тебя мы научим летать!..

А надо сказать, тогда, в начале жизни, в Детском саду санатория «Мускатово» я считалась выдающейся танцовщицей. Среди взрослых, включая даже и не очень ко мне расположенных, не было ни малейших разногласий насчёт того, что я этой роли заслуживаю. Кажется, я и вправду танцевала сносно. Поэтому в Детсаду, находившемся в том же самом доме, что и клуб санатория, мне шили даже специальные платья для сцены.

По режиссуре танцев другие девочки должны были водить вокруг меня хоровод. И одним из важнейших наших представлений как раз было: «Где гнутся над омутом лóзы...».

Я не помню эти стихи напечатанными типографски или как-то иначе; не вспомню их как литературу. Они стали известны мне сразу же в виде ПЕСНИ. А песня — сразу же в виде ТАНЦА. А танец танцевать предстояло — мне! Сразу же. В качестве примы. Не это ли тройное совпадение и позволило мне потом ещё долго-долго рассматривать «Над омутом лозы» почти как личную собственность? Или... или было в них даже ещё что-то? Связавшее меня с ними более таинственными узами?

Начиналась музыка. «Дитя, подойди...» И Дитя (то бишь я) принималось выделывать разные фигуры, которые придумывало само. А другие девочки, Стрекозы то есть, подбежав, окружали Дитя, заключали в свой круг. Временно замерев (как сейчас помню, с пальцем у рта!), стояла я в центре круга, простодушно созерцая Стрекоз, а те, одновременно протянув ко мне руки ладонями вверх и придав пальцам своим одновременно подманивающее движение, пели:

Дитя, подойди, подойди же,
Пока не проснулась мать!

Всё как будто бы ясно: Стрекозы хотят научить летать некое Дитя. (Быть может, я и ВСЕГДА была у них на примете? Ещё до всех времён? А теперь это только лишний раз проявляется?) Но почему всё-таки мать подзываемого ребёнка должна в это время спать? Почему она не должна знать ничего о СЧАСТЬЕ, выпавшем на долю её чада? Раз-

ве, пока она спит, Дитя не друзей встретило? Разве учить летать — значит учить плохому? Такому, что следует скрывать от своих родителей? Чтобы не нагорело? И... и почему я никогда: ни тогда, ни после — не спрашивала себя об этом? Впрочем, странное на первый взгляд невнимание моё к названному месту в стихах имело своё объяснение...

Первых в своей жизни стрекоз (не Стрекоз-девочек, а настоящих летуний) увидела я ещё в Звенигороде. Мне потом вспоминалось так, что я встретила их даже множеством на той площадке-лужайке перед домом, куда мать обычно отсылала нас, детей, всякий раз, когда собиралась вздремнуть по дневному времени. «Гуляйте, играйтесь», — говорила она.

Получив полную свободу, но томясь, но скучая самим ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ, что ДНЁМ спать возможно (мастерство сложное и нам непонятное!), мы с сестрой прогуливаемся, играем, но... как-то без энтузиазма. Стараясь не шуметь даже на улице, мы ничего не обсуждаем и никого не судим. Но, не будь мы сознательно и подсознательно врагами и ненавистницами этого нелепого «мертвого часа», нам и странствовать веселей было бы, и лучше клеились бы наши игры! К той скуке сознания, что мы теперь как бы снова одни на свете — чуть только не сироты в безмерной, бесприютной и обесмысленной Вселенной! — (разве мы не сиротеем немножко, когда другие спят?), примешивалось, признаться, ещё и опасение за скорое будущее: а вдруг, проснувшись, мама заругается?

С какой стати? Да ни с какой. Просто после дневного (именно дневного) сна у мамы почти обязательно портилось настроение. И попасть нам тогда могло за что угодно! И за то, что вбежали «внезапно, как ненормальные» за мячом или скакалкой — чуть не разбудили её. И за прежние прегрешения... И даже вообще ни за что! Поэтому кабы во время потери ею законного бодрствования мы научились летать, то были бы... да нет: не то чтобы «жестоко выпороты», а всё же как-либо за этот шаг наказаны. Не потому, что летать — плохо. И не потому, что хорошо. А просто потому,

что научились. И... вот тут-то мне ни в коем случае не хотелось бы напроситься на превратное толкование!

Мама НИКОГДА и НИ В КОЕМ РАЗЕ не ратовала за невежество. Никогда не выступала против наук в любом их виде, а совсем наоборот. Столь же чудовищной несправедливостью явилось бы утверждение, что она была якобы злою! Никак нет, сэр! Скорее, это мы с сестрой были слишком чувствительны. А идея взлёта, а принцип крыла? Разве могли они быть чужды маме, как поэту, автору стихов, и каких! Всю свою жизнь мать высоко ценила и жалела всяких там мотыльков и велела нам сразу отпускать их, если поймали, «а то — от пальцев — у них пыльца с крыльев стирается!» Старательно по краям стихов (пером и цветным карандашом) рисовала она стрекоз — голубых, прекрасных! Не кто иной, а именно мать показала мне первую в моей биографии стрекозу и объяснила, кто это. Всё так. Но... только ведь это было наверняка не после ДНЕВНОГО СНА!

И вот, маясь присутствием в нашем доме возмутительного дневного Морфея и в конце концов не выдержав этого неестественного положения (и моего общества в придачу!), сестра убежала к подругам, а я оставалась играть на площадке одна. С кем же было играть, как не с теми же бабочками, жуками, стрекозами? И я то бродила праздно, то бегала за ними, делая вид, что ловлю. (Что если и они как-то ЗАПОМИНАЛИ меня в это время?) Лишь с отъездом семьи из Звенигорода были прерваны все эти мои светские знакомства и высокие общественные связи...

Почему я не удивилась, встретив Стрекоз и на новом месте — хотя бы и в новом обличи — воспитанниц Детского сада? Почему не насторожилась, заметив, что меня и ЗДЕСЬ отсылают с ними играть? Как если бы и не обрывалась та наша звенигородская таинственная взаимопротекция! А что, я теперь всегда и непременно обязана буду встречать во всякое новое стрекозиное начинание? Как вообще поняли, что я тут замешана? Не могли же власти Детсада и санатория списаться тут без меня (Почтой духов?) с моими звенигородскими знакомыми (с этими феями воз-

духа в больших голубых пилотских очках), чтобы у них обо мне проведать! Да. Царство Стрекоз всё ещё оставалось для меня чисто звенигородской приметой. И недавним прошлым. И сугубо внутренним делом. Так как же это произошло, что о нём и здесь, на новом месте, знают?

Опешил — значит не сам спешился, а с лошади упал. Ошеломлён — значит шлем с головы сбили. Но я, как сейчас помню, и с коня не слетала, и шлема не теряла. Удивления не было. Это, признаться, моё уже ТЕПЕРЕШНЕЕ удивление. И вопросов не было. Это ТЕПЕРЕШНИЕ вопросы. А было, как ни странно, убеждение, что всё идёт правильно. Так, как следует быть по судьбе.

Забот, разумеется, прибавлялось. Теперь на моих, так сказать, руках находилось уже не одно, а целых два воздухоплавательных сообщества. И как же далеко отстояли они друг от друга — эти два стрекозиных стана: эфирный — звенигородский и полуэфирный — мускатовский! Далеко и по времени (в детстве всегда и так непомерно растянутому), и по расстоянию, которое отделяло девочек-Стрекоз «Мускатова» от натуральных, виденных там, на территории Саввы Сторожевского! (Натуральные-то водились, конечно, и здесь, на новом месте. Но ТЕ — были ведь первыми...)

Так как же быть? Держать (мысленно) тех и этих врозь — это так неудобно! Так как же (ради общего блага и общего танца обеих летучих организаций), как не поступиться всеми временами и пространствами? Как тут не придвинуть одно к другому? И вот я, заправская монтажница (которая и в стихах своих будет потом сводить воедино саморазличные места и времена), соединяю в начинающем воображении своем ТО время и ЭТО. ТУ местность и ЭТУ. ТЕХ стрекоз и ЭТИХ Стрекоз. («Мускатово» пишем, Звенигород — в уме.) Быть может, впервые в жизни (и притом совершенно бессознательно) применяю я этот приём...

Ой, мало в юны лета мне песен своих серебряных спел соловей с приречных кустов! Не удержала я коня беспричинной Радости — пропал мой конёк за краем хлебов... Но не забыть мне и того краткого времени, когда я ещё верила,



«Собственной смеялся затее.
Может быть, немножко некстати,
Как смеются все чюдодои
Ночью и на бурном закате».

Оле Лукойе.

Рисунок Новеллы Матвеевой. 1945 г.

что все стрекозы на свете: и те и эти! стрекозы-старики и стрекозы-дети — звали меня летать!

— Такое юное и уже такое дерзкое самомнение?

— Нет, мадам. Самомнение ни при чём. А что до идеи полёта — это не я; это ОНИ ПЕРВЫЕ начали! Там, далеко, над площадкой между храмом и нашим домом, они ПЕРВЫЕ выстраивались передо мной в воздухе — для ответственных переговоров — в одну неровно трепещущую линию... (так, по крайней мере, продолжало мне твердо грезиться, хотя, наверное, на такую шеренгу их там всё-таки не хватило бы!) и звали, уже ТОГДА — ПЕРВЫЕ ЗВАЛИ: «Подойди! Подойди!..»

Во всё это тем проще было поверить и тем невозможнее не поверить, что Действительность превосходила Мечту. Судите сами! Наряду с дерзкой выдумкой, с «дичью», разве нет здесь и невыдуманных совпадений? Давно ли эти знатные дамы, умеющие летать, принимали меня у себя на звенигородской земле? И вот я снова у них! У их слегка сварьированных мускатовских двойников! Я в центре их круга. У меня особенная (как для приёма) одежда. У меня (как по условию!) один с ними танец и одна с ними песня! В ней записана, конечно, моя судьба... ах да! — с точки зрения реальности это-то снова не факт? Но... но разве танец, когда я в него вступлю, не оторвёт меня и вправду немножечко от земли?!

Если же скажут, что все эти совпадения так себе... не с жизнью... и не по шву... и слабо документированные... и, словом, некачественные, бракованные всё совпадения, то я скажу вам, я отвечу: есть в запасе ещё одно... Только одно, зато настоящее! Можно сказать, заслуженное, без страха и упрёка, всем совпадениям совпадение! Есть чем прожить (а дуновенью — с чем унести за окоём)!.. То есть? То есть не забыть бы тут важную толстовскую строчку, посвящённую СПЯЩЕЙ МАТЕРИ. Спящей ДНЁМ или утром! (Ночью ведь не бывает стрекоз!) Каковое совпадение с жизнью и убеждало меня лучше всего остального, что песня о лозах — это, собственно, песня О НАС, о нашей семье... ЭТО

ведь НАША мама, именно она обычно днём спит. А перед тем отпускает нас поиграть со стрекозами...

Играть можно, летать нельзя, смутно подсказывали стихи. Можно и полетать, пока она спит, подстрекали стрекозы стиха. Не то я не убегала бы к ним с понятием некоторого запрета в душе, как мальчишка к индейцам! И как я ни минуты не сомневалась, что я-то и есть то песенное Дитя, так не сомневалась я и в том, что это ЕЁ, конкретно — Надежду Тимофеевну Матвееву (в девичестве Малькову) ни за что не надо будить. А надо спешить бежать, спешить играть, а главное, «пока не проснулась», поскорее учиться летать у этих глазастых на их индейской территории... Вот я и убегая к ним туда. И для меня, значит, нет вопроса: «Почему это нужно мне?» Но я никогда не спросила себя: «Почему это нужно стрекозам?»

2

Под нами трепещут былинки,
Нам так хорошо и тепло, —

продолжали между тем детские голоса, —

У нас бирюзовые спинки,
А крылышки точно стекло.

Девочкам так явно нравилась их роль подзывающих, что вряд ли они задумывались о некоторой, быть может, служебности этой роли по отношению к подзываемой. Когда задумываться? Надо петь, танцевать — это так увлекательно! Не задумывалась и я, отчего я в центре: для меня это было естественно — ведь же и на других танцах (например с обручами) я всегда была прима. Страшиться же какой-то ревности со стороны Стрекоз, их недовольства социальным неравенством в условиях танца тоже вроде не было оснований. Для этого у меня у самой была слишком подчиненная (по-своему) роль; подчиненная ИМ ЖЕ. Какая-то странная: сразу и первая и последняя. С одной сто-

роны, моё место — самая середина, и всё роится вокруг меня. А с другой — я одна в этом действе не пела, одна некое время простаивала (я уже только к финалу опять примешаюсь к танцующим); одна не умела ЛЕТАТЬ. Мне одной было смиренно воспринимать преподаваемую мне науку, когда другие, считалось, уже знали её. Так что никто здесь не был общественно ущемлён. Я тоже. Мне и в мысль бы не пришло, что учиться летать — унизительно: наоборот — это так чудесно! Единственная ученица шести летучих учительниц, я условность искусства воспринимала так серьёзно, как если бы над всеми нами уже веяли крылья Предназначения и как если бы я уже знала — своё!

И танец продолжался, и музыка звучала, и девочки всё манили к себе Дитя; подбегали и манили вблизи; отбегали и манили издалека, и снова сдвигали круг: «Дитя, подойди же!..». Но оно к ним не шло, потому что основные слова ещё не были спеты.

3

Мы песенку знаем так много,
Мы так тебя любим давно...
Смотри, какой берег отлогий,
Какое песчаное дно.

И это была чистая правда. Я сама видела: у нашей речки Вори — с этим её сырым и свежим, вечно праздничным запахом тины — действительно берег отлогий. И там в самом деле светлое песчаное дно! С некоторыми камушками, начинающимися ещё на суше... И с поразительно точными по рисунку лодочками речных раковин, полузарывшихся в песок — сначала на суше, потом тоже и под водой... И так занимательно просвечивающими оттуда — из-под зеленоватых неторопливых водяных колебаний. Обычно я собирала их (сначала сухие которые), вытряхивала из них песок (так, найдя по берегу, вытряхиваешь песок из собственного башмака) и выуживала их затем из воды, хотя там они упирались в дно (а кроме того, я сильно боялась пиявок).

И вот — на мыслях моих о той мускатовской речке (от Детсада, правда, не видной); на самом-самом её дуновении; на сигнальных для меня словах «песчаное дно» я, подобно всем уважающим себя земноводным, наконец обретаю крылья! Кто меня звал? Я здесь! Вот и научили меня летать! И я снимаюсь обрадованно с места, словно и впрямь отрываясь от земли... Хоровод расступается, уступает и мне местечко среди Стрекоз. Торжественное посвящение меня в Стрекозы свершилось... Я теперь уже не Дитя — я теперь как все! И я делаюсь необыкновенной, как все, и танцую — летаю вместе со всеми...

Повернувшись и легонько топнув ногой в тряпочной тапочке (а это почти босиком), я останавливаюсь, чутьем угадывая финал. Музыка смолкает. Дядя Петя-баянист, всё время неопределённо улыбающийся куда-то в светлые санаторные дали, поправляет на плече ремень баяна. Девочки бросаются врассыпную. А я всё стою. Теперь, ужé завербованная в Стрекозы, я вновь неподвижна. И мне как-то неловко, что меня сразу бросили.

Да. В песне всё совпадало с жизнью по части воды и рельефа, отлично известных мне по нашим местам. Ну так я же и не сомневалась, я ВСЕГДА знала: всё совпадёт! Но, что касается выражения: «Мы так тебя любим давно», — в самом ли деле детсадовские девочки любили меня? Как это было предусмотрено в ПЕСНЕ? Я, конечно, догадывалась, что это-то не входит в их обязанность. Не настолько же сковывали меня предрассудки собственного изобретения, чтобы и этого не понимать. Не так сильно пронизало меня током суеверий, как были плотно наэлектризованы роком герои древнегреческих трагедий — до такой крайности с вещими настроениями не доходило. Ясный отчет отдавала я себе в том, что вода водой, а рельеф рельефом, но отношения людей — это что-то совсем другое. Мне вообще рано пришлось в этом убедиться. И всё же... Как было с первыми этими разочарованиями согласовать, примирить тот первый, совершенно негаданный, вещий настрой? Так, чтобы сплошь вся песня сбывалась, а не только через вторые

строчки? Нарочно, специально думать об этом я ещё не умела, но всё чаще пребывала в некой растерянности. Пока Божественный План вновь не давал о себе знать через радостно-узнаваемые сигналы того или иного Искусства.

В начале жизни он был слышнее — Божественный план, в который тебя как бы заранее включили. И тебя, какой ты ни есть, будто бы тоже сразу узнаёт откуда-то сверху, с неба. И сомнений нет. Сомнения (первые) происходят, повторяю, от людей и являются вместе с ними. А всё-таки это было странно, очень странно! Как же так? Речка — за нас. Берега песчаные — за нас. Ночь и утро, свет и воздух, тепло и ветер — за нас! И только люди — против. Но почему? Почему?! И даже могло быть так, что именно несходство и расхождение людей с пейзажами исказило первую направленность моего характера.

Хочу быть понятой правильно. (Чье-то злорадство — в сторону, и до лучшего применения!) Речь вовсе ведь не о том, что, дескать, не понимали, мол, разные людишки избранную натуру. Да что вы, мэ! Совсем наоборот! Это ОНИ, это люди научили меня летать, а не я их! Только вот зачем научили, если потом они меня сразу бросили? Сами побежали играть, приглашая друг друга: «Айда в салочки! Айда в прятки!», и только меня одну не позвали. Вот они-то, видно, и есть «избранные»! — все, за исключением меня. Это не они хуже меня, а значит, это я чем-то таким их всех плоше.

Скажут: «Человек сам кузнец своего счастья». И чем, дескать, «ждать особого приглашения», мне следовало самой себя как-то проявить: всего лишь замешаться в бегущую ватагу — и все дела! Ах, вы думаете, что все? Что ж. Я скажу вам, я отвечу. Классический тип деклассированного элемента, где-то между нарами и Канарами застрявшего на фоне Афони и мирового прогресса, в глазах общества выглядит почти всегда замечательно. Такова сегодняшняя реальность. Зато сколь строгими становятся люди при встрече с некоторыми несовершенствами в стихах незрячего поэта; какими взыскательными делаются при виде лох-

мотьев бездомного бродяги и до чего же непримиримы они порою к промахам и недостаткам ребенка (таковым, как ни странно, была когда-то и я!), ежели он не из «знати»... Между тем... Нет, вашскабродь, не ждала я «особого приглашения». В своё оправдание могу сказать, что я ведь не всегда стояла на месте. Все способы (включая вторжение в «ватагу») к рассказанному времени были уже испробованы. И что же? Стрекозы лишь ОБТЕКАЛИ меня (замешавшуюся в «ватагу»), как неожиданное препятствие... А затем ускоряли темп, изменяли вдруг направление и нахально поворачивались ко мне «бирюзовыми спинками». Уже заранее, уже СРАЗУ при моем вторжении хозяйки крылышек, прозрачных, «точно стекло», делались непроницаемы для меня, как чёрная вакса, а я — невидимую для них. Если же, не сразу спохватясь и насильственно улыбаясь, я продолжала бежать рядом с ними или среди них, со мной они держались так, словно я призрак в гуще живых, и — опять же — тем быстрее надо бы им от меня отделаться! Или же я просто гонимая ветром конфетная бумажка — даже не фантик (фантик бы они подобрали), а те малозаметные надкрылья (или подкрылья) всякой конфеты; та лёгонькая, полупрозрачная промежуточная обёртка между конфетой и материалом для фантика, каких никто никогда, конечно, не подбирал. Естественно, я останавливалась и поворачивала назад, а потом шла... если не домой шла, то пускалась в большое одинокое исследовательское путешествие, начинавшееся позади нашего дома. Домой было рано. Но человеку, подвергаемому столь явному остракизму, не очень-то хочется возвращаться и в Детский сад.

Да. Сначала меня в Детсаду, похоже, увенчали на Царство. Но ведь я не сама себе это устроила — совесть моя чиста. Да. Я гожусь почему-то для танца, а для игры я почему-то не гожусь. И всё это было, в общем, довольно любопытно и занимательно. И всё это уже тогда могло бы стать материей, достойной глубокого изучения... Но, хотя отец и называл меня «философом» (по тогдашней молчаливости моей), — что я тогда могла ПО-НАСТОЯЩЕМУ смыс-

лить?! Только теперь и удосуживаюсь пораскинуть наконец-то умом насчёт всего, столь давно со мной приключившегося. И все «выводы», записанные здесь, есть лишь позднейшие домыслы вперемешку с бывшим недоумением. И недоумение-то, впрочем, было какое-то недоконченное... так не довести ли хоть домыслы до кондиции? Например, так: «Не было ли у детей какого заговора против меня?». Тогда странно, почему в нём принимала участие даже благородная Валя Самохина? Или... или родители не велели детям со мной «водиться»? Стоп! А может быть, всё же была у них на меня какая... обида? Почему и заговорила я (несколько выше) о некой предполагаемой подвассальности их роли в нашем общем танце. Той, вообще-то пустяковой и вполне условной; той, о которой я-то совсем не думала, но, может быть, думали... ОНИ? Тогда почему же, танцую со мной, они выглядели такими свободными и счастливыми?

На их физиономиях, повторяю, нарисовано было полное блаженство, когда чистосердечно преподавая мне науку полёта, они принимали меня в свой хоровод. Но вот, расцепивши руки, они улетали — и я оставалась одна.

О, «Уме незрелый, плод недолгой науки», успеешь ли ты что-нибудь понять в этом мире? А впрочем, тот, кто читал «Тома Сойера» (и сам был в детстве не совсем стариком), знает, как легко развеивались в ту поистине «золотую пору» всякие там неприятности...

4

Не только в детстве. Мне даже и теперь ещё кажется, что, несмотря на некоторые принесённые им огорчения, стихотворение А. К. Толстого «Где гнутся над омутом лóзы...» как бы не вовсе напрасно мелькнуло в моей судьбе. К добру или нет, но оно стало для меня в мускатовском периоде какой-то прекрасной воздушной вещью, неотделимой от погожего лета, от его горячего запаха, жара и света,

от самих места и времени действия и от моего (тогдашнего) будущего, разумеется РАДУЖНОГО! А как же иначе? Ещё и потому не иначе, что оно, стихотворение это, с первой же строки своей, с первого раза возымело ко мне самое личное (о чём уже было сказано выше) и даже совсем ничем не опосредованное отношение. Оно говорило о целостном, о неразрывном мире — недаром же и сошло ко мне, буквально СПУСТИЛОСЬ — в виде ПЕСНИ. Сразу! Как если бы и не было никогда просто стихами. Что ещё за «стихи»? То было светлое око Дня! То было жизнерадостное миниатюрное откровение! Особо надёжный — для начала детства — друг и оракул! Он открывал мне судьбу через ТАНЕЦ! — что могло быть замечательнее?! «Но и Дюкло мне надоел» — впоследствии, когда всё равно не до танцев стало, а «Лозы», даже тогда, когда из них, точно эфир, убежала музыка и открылись «в сухом осадке» наконец-то просто стихи, — «Лозы» и в этом качестве всё же оставались для меня знакомей и сродственней, чем даже, может быть, «Люблю грозу в начале мая» (Фёдор Тютчев). И, пожалуй, не дальше от меня отстояли, чем наши домашние духи и типичные Пенаты — мамыны стихи.

«Где летнее солнце печёт». Мне ли не знать было — ГДЕ? Мне ли неизвестны припекающие лучи в Мускатове! Я ведь уже сказала, и не зря сказала: ГОРЯЧИЙ ЗАПАХ ЛЕТА! «Летают и пляшут стрекозы»? Вот! Вот! Вот именно летают и пляшут, как я — тогда! как всё вокруг меня! Если, конечно, не было поблизости ревнивого и насмешливого наблюдателя, наводящего холод на всё. Или... если не было — тоже — огорчения; детсадовского (из рассказанных здесь) или иного, нового, вовсе с иголки — из тех, что заставляли вдруг останавливаться и застревать в разных расхолаживающих (не таких приветливых, как везде) уголках санатория. А именно: «Там, где Севера отпечаток / Резче явлен и глубже вдавлен», потому что «Всё летает там ветер мнимый, / Ночи выученик любимый» и просвещает тебя в какую-то неожиданно другую сторону, чем намечали и так таинственно обещали «Над омутом лозы».

И тогда я буквально исследовательски: как-то слишком тихо и пытливо; как-то почти испытующе-открывательски (если не по результатам, то по намерениям) — вглядывалась в целый ряд вещей, которые, казалось, начинали уже меня не совсем законно изводить и обманывать, будто хотела им сказать: «А вы, оказывается, предатели!». Ещё немного — и вслух сказала бы! Всему тому вдруг унылому, внезапно безотрадному, незаконно, беспардонно безрадостному, что описано теперь в концовке стихотворения «Рассветные звёзды гаснут...». Будучи навеяно тем серым предутренним состоянием суток, когда кажется, что уже от самого рассвета всё идёт не так, как было задумано по правде и справедливости.

«Ветер мнимый, / Ночи выученик любимый, / Завиваясь унылою пляской, / В серых папоротниках колобродит...» Да, но это всё-таки стихи. И даже уже свои! То есть положение более-менее защищённое, не безвыходное. А тогда? А пока?.. Где-то там, в недрах детства? Я ведь ещё ничего не умела выразить. И это делало меня поразительно уязвимой.

Могла ли знать, поражаясь упорству тени
(Как будто винтик на месте какой «заело»),
Сколько ещё возвращений и повторений
Тьмы, что и в первый раз давно надоела!

(В первый раз, а уже давно надоела? Именно так. В начале 1970-х годов записано, в 1978 году в книге «Река» напечатано, а ведь думано-передумано ещё в мускатовском детстве!)

Будь хотя бы требования мои к жизни чуть поскромнее, так, может быть, ещё и ничего... Но я продолжала держаться внутренне так, как если бы всё на свете являлось (или ДОЛЖНО БЫЛО являться) лишь прекрасным развернутым продолжением того, что граф А. К. Толстой сочинил о погожем лете. Своротить меня с этого пути — с пути убеждённости, что человек «для радости родился», — было бы немыслимо и невозможно.

Таким образом, граф становился вроде как заложником мускатовского санатория! Навсегда ответственным не только за свои сказанные в рифму слова (и за пейзажи тамошние), но даже и за погоду.. И до поры до времени он как будто бы держал зарок: в цветущих условиях санатория и зарок удержать нетрудно. Однако же и там задували подчас такие ветра-листоде́ры (к тому же отнюдь не мнимые!), а на глаза навёртывались такие, с позволения сказать, рожи, что трудно было бы графу вписать в реестр — ещё и это!

О, это были конечно же недоразумения, которые непременно уладятся! (Так не уставала я подсознательно повторять.)

Хотя... как может рожа — уладиться? Мысль становится в тупик перед этой проблемой.

И всё же осадок снова рассеивался. Или, может быть, выпадал в чуть видимый первый опыт? Недоразумения (если это были они) коли не улаживались, то забывались. И снова «НАД ОМУТОМ ЛОЗЫ» воцарялись в моей жизни, как надёжные блеск и жар безоблачного и безобманного лета.

И только совсем недавно — всего, может быть, несколько лет назад, — превзойдя к тому времени уже многие мытарства, пережив многие невзгоды; потеряв обоих родителей и мужа; претерпев разнообразнейшие гонения со стороны завистливых и мстительных, озлобленных и нерассуждающих, неугомонных, неуголимых и неуголимых; успев несчётное множество раз отчаяться, прийти в себя и снова отчаяться, — вдруг зимой в глухой час ночи я неожиданно поняла: какое же это страшное, оказывается, стихотворение! И как же могла я ВСЮ ЖИЗНЬ этого не замечать?!

Выходит, что, подобно знаменитому Рипу ван Винклю, я вообще очень редко бодрствовала, а спала, быть может, поболее его... Правда, мучимый бессонницей, ван Винкль спал вовсе не так долго, как, например, наш Илья Муромец, а всего лишь какие-то двадцать лет кряду.. Но и он успел-таки проспять американскую войну за независимость,

что бывает тоже совсем неплохо для усталого человека... Что же до меня, то я почивала таким причудливым образом, что даже ничего проспять, ни заспать не успела (то есть ничего, заслуживающего упоминания), кроме нескольких слов внутри наизусть, раз и навсегда (каналство!) вызубренного стихотворения! Зато какие это были слова! Не знаешь: гордиться ли, что сумел такие заспать, или, наоборот, поздним сожалением сожалеть о нерасслышанном среди нежных флейт штормовом предупреждении: «Не верь нам! Не верь!».

Всё это, может быть, вовсе не значит, что вчитайся я в те стихи чуть повнимательней, так и судьба (в награду за столь пристальное школярское тщание) сложилась бы лучше, иначе. О, я так вовсе не думаю! И я не думаю, что какие бы ни было вообще стихи, в детстве вами недопонятые (или, наоборот, очень правильно понятые), могут мистически влиять на дальнейший ход жизни вашей. И всё же... Если где-то проставлено слово остерегающее, да ещё и в стихах, для вас заповедных... наверное, лучше всего к этому слову прислушаться. А я не прислушалась. Я не обратила внимания на недвусмысленнейшее указание МЕСТА, где пляшут стрекозы! А ведь это место обозначено, и весьма ТОЧНО, в первой же строчке стихов: стрекозы пляшут НАД ОМУТОМ!

Вот же она, эта строчка, — черным по белому:

Где гнутся над омутом лозы...

И значит?.. значит, над чем же милые прозрачнокрылые уговаривают Дитя полетать вместе с ними? Теперь уже ясно — над чем.

Ах, они научат? А что, если, пока учат, Дитя не удержалось бы в воздухе? Ведь же одного мгновения колебания и сомнения, мига неуверенности довольно, чтобы упасть! Так не отсюда ли и вся эта вкрадчивость летучих вербовщиц, — которые не могут не знать, на какую стезю зовут

человека? Не отсюда ли и эта ласкательность усиленно-сладкая в каждом слове линзоглазых, — совсем не обязательная при честной игре, и эти признания в любви — неожиданные, непрощенные?! Не отсюда ли расточительность похвал и собственной красе, и сиянию зноя, — как если бы эти сильфиды попросту торговали всем этим великолепием, точно заправские лавочницы! Кого из взрослых, из умудрённых не насторожил бы столь залиvistый тон их призыва?! Но ведь потому и обращаются они именно к неопытному, несмышлёному существу, что оно-то им сразу поверит...

Финал стихов также не оставляет сомнений в верности моей, столь поздней, догадки:

Взгляни, — какой берег отлогий.
Какое песчаное дно.

Чего-чего? Это у омута — берег отлогий? Да где же такое видано?! Обычно почва приступает к омуту не постепенно, а сразу, с места в карьер, и без предупреждения обрывается у самой воды, — у воды мрачной, иногда чёрной, точно китайская тушь, от непроницаемых водорослей, ила, квашеной тины... У воды, не знающей дна своего, а потому — и «себе на уме», и тебе на уме, и всё, что ей будет угодно... Одно слово — о мут!..

А как шустро эти невесомые вертолётники с голубыми фарами углядели песчаное дно! И у кого, опять же, — у омута! А ведь песчаное дно как раз только там бывает, где берег вправду отлогий! — где оно не глубоко и не спрятано, близко и познаваемо, светло, наглядно и весело! И просвечивает под прозрачной, как сама честность, водой, лишь постепенно уходя от берега к середине, на всё более тёмную глубину...

На омуте всё не так, — это ведь каждый знает. И есть множество способов «добиться», чтобы раскрылась — и захлопнулась бы за человеком густая чёрно-зелёная хлябь. Так не НАРОЧНО ли те (толстовские) стрекозы вводят Дитя в заблуждение? Гипнотизируя его (как «зомбирует» кто-

то нынче и нас путем слов-смягчителей); внушая ему, что перед ним всего лишь пляжик с песочком, видимым под мелкой водой? И тем увлекая его к верной гибели!

И тот же вопрос: «Как я-то могла упустить из виду такие важные “пустяки”?».

Была ли я в самом деле намагнетизирована? Ослеплена и усыплена лучистым скольжением красок (тех стихов); их неверной трясинною яркостью, — неизбежной яркостью зацветших вод, водяного запустения в зное? Всем тем, что я им приписывала или МОГЛА приписать? Запуталась ли я в том, что (см. выше) стихи были песней, а песня танцем, а танец — ещё и моим? Или меня сбили с толку маленькие предательства девочек-Стрекоз? О, это могло бы стать. Но было-то всё несколько по-другому..

Дело в том, что в намалёванный здесь наскоро период я некое время периода (или период времени) просто... не знала, что такое «омут».

5

И вот как это произошло.

Вообще-то я имела все возможности узнать это слово давно и сразу. (То есть его смысл.) Стоило лишь спросить о нём у родителей. Но, не зная самого слова, я не знала, что о нём... надо СПРОСИТЬ.

Как так «не зная слова»? И на уровне слышанья — «не зная»? А не я ли, как заведённая, всё повторяла его наряду с другими словами? Я. Но, пребывая под знаком Терпсихоры, я (прошу не забыть) была всё ещё так несмышлёна, что даже некоторые слова произносила неправильно. А дети обычно не интересуются значением слов, уже как-то ими самими переименованных. Другие слова — другое дело.

Именно в первой (решающей) строке разбираемых тут стихов я всегда ошибалась КАК РАЗ на решающем слове. То есть вместо (это когда мы пели без танцев) вместо «над омутом», я всегда пела «над домутом»!

Никто никогда так и не слышал лишнего «д» в моём исполнении; никто никогда не сумел меня на нём изловить... Навсегда и безвозвратно кануло оно в хоре других ребяческих голосов (как разобрать — даже бы и не в хоре — одно у вас «д» или два подряд?). Поэтому-то никто так и не смог меня вовремя поправить. И заодно объяснить мне — об чём я пою. Так и повелось у меня: «над домутом» да «над домутом»... Что это был за «домут» такой — неизвестно. Но только он мне совсем не мешал, а иногда был даже связан для меня с некоторыми свободными представлениями. «Домут» это в общем и целом всё тот же наш дом в Звенигороде, — думалось мне тогда. Почему опять же не в Мускатове — тоже не очень понятно. Но я ведь и не гналась за понятностью. «Женская догадка точнее мужского знания», — сказал Редьярд Киплинг. Видимо, я и тут довольствовалась «догадкой»...

У хозяйственного человека всё должно быть в одном месте, а не по всему свету размётано! — чтобы в любое время можно было взять оттуда любую нужную вещь. Этим-то соображением, быть может, и руководствовалась я, сводя всё к Звенигороду как прародине первых стрекоз... Ведь где стрекозы, там и лозы. Должны быть! И так как действие происходило в воображении, то «гнулись» они у меня (и даже, не помещаясь, завёртывались немного внутрь) в аккурат — над самой крышей нашего звенигородского дома, образуя этак над ним прелестный узорно-сквозной балдахин... Чего в упрямой действительности состояться, конечно, никак не могло бы!

Не могло бы — не только из-за отсутствия в нашем климате таких здоровенных лоз, чтобы целый дом, и немалый! обвить и сверху накрыть! Ведь надо ещё отметить, что многоквартирное то пристанище (для служащих Дома отдыха отведённое), в котором мы занимали две комнаты, стояло одной «ногой» (стороной то есть) в глубоком, чуждом растительности, каменном рву (делаясь, таким образом, с одной стороны — двухэтажным, так как ров продлевал стену вниз и добавлял снизу два-три окна.) Тогда как

другая (левая) половина дома (там, где крыльцо) опиралась на обычную по высоте почву и таким образом возвращала дому его одноэтажность. Сейчас мне это устройство трудно было бы описать более внятно (надеюсь выправить положение в рассказе, специально посвящённом Звенигороду). А пока суть в том, что и перед этой (пользуясь любимым словом сестры) **НОРМАЛЬНОЙ** половиной дома, — хотя к его крыльцу подбегала уже кое-какая короткая трава, — всё же кусты, а тем более деревья начинались глубоко не сразу..

Лишь за несколько взрослых шагов от дома вступали вы наконец на довольно приветливо зеленеющую площадку-лужайку (ту самую, где мы играли), опоясанную дорожкой для беготни, и даже уже с деревцом, отмечающим середину всего — наподобие солнечных часов, сияющих меж домом и Храмом. Чем дальше от площадки, тем гуще было всякой зелени, которая разворачивала свои неисчерпаемые возможности вовсе уже вдалеке от наших дверей. Но и та зелень ведь была сухопутная: вдали от воды — какие могут быть **ПРИРЕЧНЫЕ ЛОЗЫ?**!

Прямо за домом — почти вплотную к его задним стенам — проходила монастырская крепостная стена. (И это так же верно, как то, что наши атеистические квартиры располагались в бывших монашеских кельях!) В узком, но увлекательном для детей зазоре между обеими стенами всегда можно было найти энное количество битого бутылочного стекла, обрести кирпич и огрести сколько-то извести. Но, разумеется, и в этом тупике никакие лозы свое начало взять не могли. Тем более так, чтобы над полуторазтажной постройкой сводом сомкнуться! И чтобы походить при этом на величественную, почти чёрную против света, акацию, тонко выполненную (и перевыполненную) рукой самого Боттичелли... Так, возможно (уже взрослая), дописала бы я свое впечатление от сей небывалой картины, если бы стала настаивать на её исключительной достоверности. А пока — нерассуждающее воображение несло, летело к звенигородскому «домуту», силком опутывая его сугубо су-

хопутную физиономию водолюбивой растительностью; по какому-то произвольному произволу — навязывая ему это ботаническое преувеличение. Дико? Но некая дикая логика здесь всё же была. Особенно если вспомнить и повторить напоследок: стрекозы (в виде САМИХ СТРЕКОЗ) впервые мелькнули мне именно в Звенигороде. А коли так, то где же и лозам ИХ ЛИЧНЫМ быть, как не над «домом», и где тому «дому» быть, как не там же?! И как тут опять же не повторить: у хорошего хозяина (или хозяйки) всё должно быть под рукой — одно к одному.

О дух Порядка! Будь всё время с нами!
 (Как? Только дух? А воплощение где ж?)
 И если уж не фактами, то снами
 Счастливыми — философа утешь.

Здесь можно бы и оборвать личный эпос былой малолетней выдумщицы. Но ещё предстоит, — как это ни удручает нас, — разобраться и с настоящими омутами...

* * *

Как же долго могла я не знать о настоящих, из воды состоящих? Кажется, к нашей божественной речке Воре мы никогда не подходили с их стороны. К тому же место омута в моем сознании было уже слишком прочно занято «домом», а какой дурак родной дом ради омута бросит? (Кстати, я и сейчас не верю в так называемые «брошенные» деревни, а только в ВЫМЕРШИЕ деревни верю. Даже кое-что уже знаю о них.) Когда же (вернусь к детству) — когда поневоле пришлось убедиться в дерзком существовании омутов, я так и не пала до низкого подозрения, что у поэта А. К. Толстого подразумевался один из них! Предпочла уж лучше и впредь прозябать в невежестве, чем такую гадость предположить!

И то сказать! Когда песня уже освоена ТАК, а не иначе; когда так и видишь: стрекозы парят над площадкой Солнечных часов или над светлой Ворей, а не над прокисшим водным провалом, то как-то не хочется пересматривать

и перестраивать песенный механизм наново. Но не будь я обитательницей Края Непуганых Реформаторов, если таковые пересмотры приходили мне в голову. Они и не могли приходиться.

А время шло. Вечно ничего не знать про омуты было нельзя. Но, когда узнала, — сама песня забываться стала. Сделалось не до сопоставлений чего-то с чем-то: жизнь повернула в новую колею.

Разумеется, вызубренная в детстве песня забылась не насовсем. То есть она забылась не как ТЕКСТ, а лишь как ПОНЯТИЕ. То есть как раз настолько, чтобы мне так и не успеть разобраться в ней! И лишь спустя (как было сказано) много лет, глухой зимней полночью (должна повторить и это!) вспомнилась мне вдруг заповедная песенка детства. Вся — от строки до строки. И, как ни странно, а **ВПЕРВЫЕ ЗА ВСЮ ЖИЗНЬ** удосужилась я тогда вникнуть в её стихи, в их настоящий смысл:

Где гнутся над омутом лозы,
.....
Летают и пляшут стрекозы...

Так вот оно что открывается! — думала я, поражённая (и пускаясь в обратный путь по следам бывшего ребячества), — а вот это новость! — они, значит, **НАД ОМУТОМ** пляшут! И, — как в некоторых старинных балладах русалки подманивают рыбака, а затем, смеясь, утаскивают на дно, — они и Дитя подзывают туда же! Господи! Так они же Дитя утопить хотели!

А я — всё радовалась чему-то... всё радовалась их доброте, красе и таланту! Поймалась на тяжёлую грубую лесть Невесомых! Вероломные какие! Непроницаемую чёрную хлябь с крутым и скользким обрывом (и отдельными «былинками» — сухими дудками, выглядывающими из слизи и тьмы) — расписывали мне, как «берег отлогий», всячески рекомендовали, как «песчаное дно»! И вот они, — продолжала я, невольно переносясь мыслью в далёкое (и вроде как **ВЕЩЕЕ**) малолетство, — и вот они взяли бы меня —

тогдашнюю в свой «весёлый хоровод» над прорвой; взяли бы, глупую-то, за руки под сенью береговых лоз, которые... ведь уж известно над чем гнутся и клонятся (пока цела вода — над мелью — никогда), — а потом... — вдруг и расцепили бы цепь, — выпустили бы мои руки вдруг из своих, крылатых... И — полетели бы, — свободные, дружные; — Айда в салочки! Айда в прятки!.. А я?..

Обманут кем-то сам или обманчив стих,
Таивший некогда Оракула значенье?

Странный, диковатый с виду вопрос приходит мне иногда на ум! А может быть, так и надо было — упустить какое-то слово? Чего-то в заклятии не расслышать? Чтобы оно хотя бы уж не полностью сбылось? Не до конца «жертвой» своей распорядилось в рассуждении расправы? Людей рассеянность часто губит, но ведь иногда и спасает. Быть может, нам не обязательно свой приговор читать внимательно?

Так, стало быть, омут. А уж какие над омутом «девизы»?! Вот и открылось, почему прозрачнокрылые провокаторши сманивали Дитя именно «Пока не проснулася мать»! Будь моё, — столь сильно припозднившееся! — толкование этих стихов даже ошибочным; будь просто путаницей понятий самый омут с отлогим берегом и песчаным дном (мало ли бывает с поэтами недоразумений; мало ли несут они смысловых потерь в погоне за удачной звукописью?) — тем более непонятным осталось бы выражение «Пока не проснулася мать»! Верно, воздушные вербовщицы знали: мать не спящая, мать бодрствующая не позволила бы утопить своего ребенка, — не допустила бы его до омута. И потому:

Дитя, подойди, подойди же,
Пока не проснулася мать.

Увы! Теперь она долго не проснется. Разве проснулася, но уже в другом Царстве, — не в этом.



Непобедимый стих

*Светлой памяти моей матери —
Надежды Тимофеевны Матвеевой-Орленевой*

Когда-то об авторе нижеследующего очерка пошло в народе поверье, будто он «прикован к койке» болезнью, но зато много в детстве своем читал книг да газет... (Ни дать ни взять — Прометей Прикованный, которому вместо орлов да коршунов газетные утки печень клюют!) Отсюда критики вывели мысль о «нежизненности» моих сочинений.

Преследование прикованных, — однако же догадались критики, — нехорошо и некрасиво предавать огласке. Поэтому «койка» была скоро вычеркнута из разговоров о моем прошлом. «Газеты»? Их с удовольствием оставили бы за мной. Но ведь тогда уже нельзя было бы толковать о моей «старомодности»! Поэтому навеки закреплена была за мной только «книжность».

Благородство человеческое практически не знает границ... Дабы оно не увело нас, таким образом, в дебри, обсуждать мы его здесь не станем, а только вновь зададимся вопросом: сами ли все эти жизневики во мне «книжность» открыли? Сами или не сами — хоть прицепили-то её ко мне, как пушечное ядро к ноге каторжника? В том-то и дело, что даже такую простую вещь у них не хватило самостоятельности придумать самим. А взяли-таки её мои не-книжные... из книжки-с, из аннотации обо мне, не совсем точной. Люди обыкновенно не помнят о табакерках, из которых одолжаются, и почитают себя всякого табаку первооткрывателями."

Таким образом, утверждение, будто, в отличие от многих, я свое призвание вычитала из книг, несколько безосновательно. Это как если бы нас пожелали заверить, что и сама Жанна д'Арк никаких таких «голосов» не слышала, кроме нарочно записанных для неё на магнитную плёнку её столетия!

Влияния? Кого-то моё следующее сообщение, знаю, и возмутит, и обидит, но... ничем не могу помочь: по влияниям ПЕРВЫМ и ГЛАВНЫМ я автор как раз не литературной, а изустной традиции. Как раз не «книжной» ведь, а более всего — сказительской. Разумеется, я не Жанна. Но ведь, если на то пошло, если уж быть такими буквалистами, как все мы, то ПЕРВЫЕ, могущественно повлиявшие на всё моё будущее, стихи, я не прочла, а услышала.

Не скоро увидела я вблизи даже бумагу, на которой они были записаны, — стихи, навсегда поразившие меня именно в голосе. И это был голос моей матери.

Стужу упругой воды вдыхают горячие ноздри:
Зноем коричневых глаз конь на дорогу косит...
Выпусти повод, поэт! Ветры летучие остры,
Всем отдается поток, стужею всех веселит.

Выпей лесного вина из розовой ладони.
Вспомни пейзажи и сны, страсть, воплощённую в крик.
Прошлому жить не давай, — пусть оно
в стуже утонет!
Если бессмертного нет — сгинь, нарастающий миг!

Трудной дорога была... Как почернели орбиты!
Но не ржавеет перо на беспокойном столе.
Я неподкупным стихом коню подковала копыто.
Выпусти повод, поэт! Вымой лицо в хрустале!

В «Лунной долине» Джека Лондона юная героиня романа Саксон часто вспоминает стихи своей матери, некогда пересёкшей прерии от востока до запада. Стихи, в которых мелькает старая Европа, всё ещё дышащая античностью, живущая её тенями и знаками. Весьма смутно помню я строчки вроде: «Там, под листвою мраморные статуи богов, богинь... Там возле грота бьет родник, из-под кустов бежит

ручей...» Прекрасно. Но ведь это всё ещё романтика классицизма! Другого «запада», культурного. А где же романтика дикого? Где упряжки быков и волов, крытые фургоны? Видимо, для матери Саксон эти её трудные будни ещё не успели превратиться в лирическую тематику. Темы стихов для неё, *романтика* для неё — её западно-европейское прошлое.

И эта вот оглядка назад, эта необходимая приостановка в пути, и неизбежный, и продолжительный вздох на перевале есть, полагаю, один из священных законов поэзии. Поэт, без оглядки и не переводя дыхания прыгнувший в современность, подозрителен для меня. Нет! На воловьих упряжках дикого Запада это уже мы оглядываться будем. Начиная с молодой Саксон — потомка первопроходцев.

Неизбежная несовременность всякой поэзии, от века присущая ей наряду с упрямством мечты и позиции, в стихах моей матери прослеживалась не сразу. Она сказывалась, пожалуй, лишь в той почти вызывающей (но без вызова) неожиданности, какую можно ждать только из дали былого, и в мнимой простоте решений, которую мы и принимаем иногда почему-то за «старомодность». Здесь-то и намечалось у неё то прогрессивное движение в прошлое, из которого нам надобно было же ухитриться вернуться с пустыми руками, но о котором Робертом Фростом не зря было сказано: «Прекрасно — уходить и возвращаться!». Движение в прошлое, где многие, между прочим, так и не побывали, что и помешало им стать людьми по-настоящему новыми.

Как Саксон бредила стихами своей матери, я бредила стихами — своей. Быть может, мне чуть-чуть не хватало в них откровенной сказки из старины, более откровенного вздоха на перевале. И вдруг:

У этих стен есть сила старины
 Остановить меня в дороге,
 Чтобы взглянула я на пыльные чертоги,
 Где жизни больше нет, но где остались сны.

Ну вот — окно! Сюда врывались грозы, —
 В камине мраморном развеяна зола...

Конечно, здесь стояла дева с розой
И рыцаря ждала.

Стих Саади уста её шептали,
И соловей ей кротко сердце жёг,
Каскады кос на мрамор ниспадали,
И мрамор был чуть-чуть белее ног.

Тот рыцарь пал, застигнутый стрелой,
И конь его примчал с пустым седлом:
Он на заре пришёл и разбудил весь дом,
Уныло звякая уздечкой золотою...

У этих стен есть сила старины
Остановить меня в дороге,
Чтобы взглянула я на пыльные чертоги,
Где жизнь окончена, но где остались сны.

Я лихорадочно додумывала эти картины... Мысленно я заменяла «мрамор» диким и серым камнем. И не могла понять: чего всё-таки больше в этой «Балладе»: отчаянной безысходности или восторга, поднимающего ещё выше высокие замки? «Баллада» была гимном моего детства, но вершиной гимна — зачин: «У этих стен есть сила старины / Остановить меня в дороге...». Пройду, бывало, несколько шагов, и опять, про себя: «У этих стен есть сила старины / Остановить меня в дороге...». Поживу ещё немного, и снова: «У этих стен есть сила старины...!» Наваждение, сопровождавшееся отчаянием, оттого, что я ВПРАВДУ не могла остановиться в ... той дороге, под той стеной!

Впрочем, как способность, так и святое право людей уноситься в мечтах — слишком сурово осуждается Критиками Беспрепятственного Обнародования. (Скажем коротко — КБО!) И так как мне от КБО частенько нагорало за досужие романтические бредни, открою секрет: ни из стихов моей матери, ни из собственного воображения никаких таких романтических отвлечённостей я так и не почерпнула.

Как так? Не я ли только что сама рассказывала... Да. Но я хотела добавить, что всё, когда-либо обрисованное мной, всё, что после казалось кому-то вымыслом (моим или родительским), я видела на самом деле. В самой реальности.

Более того. Подобно тени отца Гамлета, я всё же! лично имела честь ходить по такой стене. Почти такой! Ещё того более! Мне выпадал даже счастливый случай в наступающих сумерках лично плакать на башне, как младшая сестра Селизеты из метерлинковской пьесы*. Я боялась, что сестра и другие старшие девочки, бросив меня одну, уж не вернуться! Чем не младшая сестра Селизеты?

Мне могут не поверить, но этот плач на башне был, повторю, и со мной! И когда я, позже, в гётевской «Поэзии и правде» читала о том, как в детстве вместе со своей сестрой поэт обходил весь город кругом по крепостной стене, заглядывая сверху во дворы, огороды и сады с возившимися в них садовниками, я словно видела и узнавала собственное детство, когда мы (тоже с сестрой!) так же обходили город по крепостной стене, поглядывая вниз... (На этом, впрочем, заметно обрывается мое сходство с великим поэтом, а не то пришлось бы второго «Фауста» создавать, чего я никак не могу! Замнём же этот вопрос... Правда и то, что сравнивать ещё не значит равняться.)

Речь всего лишь о том, что не из книг (даже не из гётевских книг!), а именно из живой реальности я вынесла свои «неправдоподобные» на чей-то взгляд, «залитературенные» на чей-то прикид вкусы и представления. У КБО одно время даже считалось: сначала я, де, начиталась книжек-то, а затем — «пошла писать губерния» напрямик по следам прочитанного! Простите, но это вульгарно. И ведь всё было как раз наоборот: сначала я переживала нечто в самой реальности, а потом, не без некоторого изумления, вдруг то же самое (или почти!) вычитывала из книг.

Что это за томительно-знакомое, родственное, всегда бывшее, безотчетно-узнаваемое? — так подумала я (и даже не подумала, а как зверь, учуяла), однажды начав читать «Крошку Доррит» Диккенса и напав на то место, где мистер Кленнэм, вернувшись из далекого Китая, слушает лондонские колокола. Дело в том, что эти лондонские колоко-

* Задолго, разумеется, до того, как я прочла «Аглавзну и Селизету».

ла я тоже вспомнила — по колоколам звенигородским, — по их перезвону, слышанному в детстве так близко, и так тяжело, и так резко! Слышанному не из книг! И узнаваемому теперь, как старая штопка на собственном рукаве.

Что говорить! Ведь даже и Пожарный (из собственной моей одноименной песни), Пожарный, которого многие и до сих пор считают (я это вижу отчасти по выражению лиц) какую-то театрално-условной фигурой, — не человеком, а шагающей стилизацией, — и тот, как ни странно, существовал в живой действительности. Он-то, кстати, и был первый, кого мы с матерью увидели, как только вышли на первую же звенигородскую прогулку. Он-то и расхаживал взад-вперед по каланче, вздымавшейся сразу же за воротами, и каска его, боюсь, на солнце сверкала, как настоящая! То есть она и была *настоящая*, как римский шлем. Словом, человек этот и моя песня о нём полностью совпадают. Вот разве что только «фиалку на груди» он, может быть, не носил.

Да и вообще тамошние пожарные, кажется, не отличались излишнею сентиментальностью. Даже наоборот: они, если не ошибаюсь, были подвержены порывам абсолютно противоположным. И когда девочки старше меня вместе с моей сестрой наловчились палками сбивать яблоки с веток монастырского сада (а я, стоя поодаль и ещё ничего не умея, наблюдала, заложив руки за спину, как это делается, и, питая свою юную любознательность, набиралась таким образом поучительного житейского опыта), — помянутые пожарные вооружились дубьём и, как сейчас помню, начали гоняться за нами, используя при этом слова, далёкие от употребительных на дипломатических приемах и от салонного щебета...

Но что толку приводить КБО (то есть Критикам Беспрепятственного Обнародования) научные доказательства реального существования моих пожарных? Пусть, пусть Критики Беспрепятственного Обнародования (то есть КБО) продолжают привычно не верить не только в глубокую тайну жизни, но и в крепостные стены, и в медные каски, и в медные колокола, которые всё-таки существовали; которые не исчезали по крайней мере до тех пор, покуда их не под-

вергли такому вот деятельному сомнению... Пусть, пусть КБО не верят, что у песенно-нарисованного пожарного мог быть когда-нибудь живой прототип. Пусть, пусть КБО, как спириты, — при случае, когда надо вызвать пожарную команду, в которую они не верят, — вызывают одни только души возможных пожарных, одни только души (в которые они, впрочем, тоже не верят!) — посмотрим, что из этого получится. Пусть не верят они и в настоящих живых живописцев; например, в тех, которые работали с масляными красками и холстами прямо у нас в доме, так как мои родители охотно водили дружбу с некоторыми из них. И пусть продолжают думать, что обращение к живописцам в «Рембрандте», в «Брейгеле», в «Подмастерье» — это, дескать, обычная моя возня с докучными схемами Искусства-для-Искусства; с призраками, коих бледные сонмища являются мне ни с того ни с сего и безо всякой надобности. Господи! Да что с них, с КБО, взять, когда есть люди, которые даже в чисто выметенный двор не веруют, — считают его неправдоподобным, большим, романтическим вздором. И норовят поскорей завалить его мусором, чтобы опять стало похоже на правду истинную и на реалистическое направление!

Ах, КБО, КБО, — продолжайте трудиться! Заведомо, забегая вперед, называйте «книжностью» всё, что вы ещё хотели бы истребить. Подводите под определение «книжности» всё больше и больше самых разных (право же, иногда неплохих!) вещей. Первоначально столь безобидное с виду неприятие «книжности» продолжайте выращивать в нечто крушащее и рушащее, валящее со свистом и громом, перекидывающееся уже на большие понятия, на великие открытия, драгоценные летописи, города, страны и материки... Пусть причудливые и странноватые существа, запрещавшие нам называть вслух наших предшественников (как если бы и величайшие из них были ворами, самый звук речи скомпрометировать способными), подводят таким образом базис под «необходимость» постепенного снятия и всей жизни с повестки дня! Пусть напишут предисловие к пустыне.

Но до двухтысячного года было ещё далеко. Зато сорок первый уже находился на подступах. Началась война. Отец немедленно пошел записываться добровольцем на фронт. Но мать перехватила его заявление, предъявив в военкомате достоверную справку о тяжелой болезни отца. (У него была язва двенадцатиперстной.) Тогда Николай Николаевич пошел в Народное ополчение. Как сейчас помню: он ходил в то время в ватнике, в пилотке и в кирзовых сапогах. Отдыхал мало. Помогал жителям Щёлково тушить пожары, возникавшие от зажигательных бомб. Вместе с ними лазил на крыши гасить фугаски... Позже возглавил МОПР. Но ещё до этого поступил политруком в Монинский военный госпиталь, куда раненых бойцов привозили прямо с фронта, из полосы огня.

«Всё для идей — ничего для детей», — острила мать на его счёт. Правда, не по этому поводу. Да и не по другому! И не по третьему.. Ведь, коли на то пошло, она и сама глубоко уважала отца за его гражданскую честность. Она-то и знала ведь лучше всех, что у нашей семьи не только нет, но и не может быть прочной материальной базы. Как ни парадоксально, а это отсутствие базы как раз и являлось лучшим доказательством привязанности Николая Николаевича к своей семье. Добывать что-то лишнее для детей у него и значило — эгоистически добывать *для себя*. Во всём, и в этом он отождествлял себя с детьми. Он стремился вырастить нас людьми честными и справедливо полагал, что собственная его честность должна быть для этого безупречной.

Ну и что с того, что он был «не добытчик»?! Ведь не мог же он, даже ради собственных детей, тайком урезывать пайку у раненых бойцов! — как это — с легкостью увлечения — делали в госпитале другие. Напротив. Николай Николаевич конечно же сразу включился в работу по разоблачению тех, кто не стеснялся обворовывать даже умирающих! А через это новый политрук неизбежно вступал в конфликт с администрацией госпиталя.

Так что если мать и острила подчас насчет его «донкихотства», то чисто риторически и лишь для облегчения души. И недаром позже в посвящении отцу она скажет:

На тебя обиделись уюты —
Ни один сковать тебя не смог!

...Нашей семье между тем делалось всё труднее, всё хуже. На нас начинала наваливаться постоянная слабость от недоедания, вечные простуды зимой из-за плохой одежды и обуви. От острого авитаминоза я начала слепнуть. И тогда Николай Николаевич пошел на первое и последнее в его жизни, великое, как он сам считал, «злоупотребление». На целый месяц устроил меня для излечения в тот свой Монинский военный госпиталь.

Кормежка там, правда, была не сильная, зато регулярная, по режиму. Кроме того, мне теперь каждое утро выдавали сырую морковь (в количестве двух штук) и ежедневно делали мне в оба глаза «закапывание» какой-то острой влаги. (Я немедленно приспособила про себя слово «закапывание» к слову «копать», в смысле «рыть». И сочла существующее словоупотребление неправомочным!)

Так или иначе, а глаза у меня вскоре открылись настолько, что именно там, в госпитале, я и получила возможность впервые прочесть главные книги детства (и моего в том числе!). То были «Приключения Тома Сойера», «Приключения Гекльберри Финна» и «Жизнь на Миссисипи» Марка Твена, а также Р. Л. Стивенсона — ослепительный «Остров сокровищ»! Книги, в которых зашифровано само бессмертие детства.

Но ведь даже в «Приключениях Тома Сойера» сказано, что никакие небеса не бывают слишком долго безоблачными и ясными. Да, глаза мои вновь открылись, но, похоже, не только на отрадные явления. И хотя моё второе прозрение было только физическим (пророческим вроде не было), оно показало мне вещи самые странные.

Я увидела взрослых соседок по палате, которые почему-то взирали на меня с тяжёлой, непоправимой и неискоренимой ненавистью. На все мои «Здравствуйте», «С добрым утром» и «Спокойной ночи» они угрюмо отмалчивались.

Загадочное это явление так навсегда и осталось для меня «белым пятном» (если на языке земли) и «черной дырой» (если вообразить, что мы в космосе).

Кто были они, эти дамы? «Три любви, три жены, три сестры милосердных», — одним словом, медсёстры. В госпиталь они были доставлены с какими-то, видно, не очень тяжёлыми травмами. Во всяком случае позволявшими им вставать, ходить, вести меж собой довольно развёрнутые беседы о «страсти нежной» («которую воспел Назон»), о личной жизни артистки Валентины Серовой и даже зачитывать друг другу стихи Константина Симонова со знаменитейшим в те годы «Жди меня» во главе программы.

Одну из этих двоюродных сестёр Милосердия звали Клавой. Подстриженная, как тогдашний парень (то есть коротко), с копной на лбу, но женственная, она всегда что-нибудь вязала, сидя на окне, наклонив чуть припухшее лицо и скрестив ноги в полуспадающих тапочках. Другая, Людмила, была — наоборот: с мягкими, почти до плеч, волосами, как бы всегда дождевой водой вымытыми, но зато с квадратным и суровым лицом. Одним из любимейших произведений было у неё симоновское стихотворение «Убей его!». Имелось в виду, уж известно, «убей врага». Но мне казалось, что если бы вместо врага Людмиле, к примеру, меня подсунули, — она бы и не заметила подлога.

«Ты возьми его — и убей!» — низким, как шуршание, и по-волевому задышающимся шепотом декламировала она. И сжимала уста в узкую полоску. И останавливала (быть может, случайно) на мне пару небольших железных глаз. И это было бы страшно, кабы я боялась её. Но я только дивилась на неё, тайком взглядывая иногда из своего далека на это ненавидящее лицо. «Меня-то за что?» — могла я подумать, если бы мои мысли в ту пору отличались большей последовательностью. Но я старалась позабывать как можно скорей о таких вещах, возвращаясь в мечтах на величественную Миссисипи, на катящую в неё свои волны Огайо, в куда более приветливое общество беглого негра Джима и Гека Финна, «местного парии».

Третья двоюродная (и даже, лучше сказать, троюродная!) сестра Милосердия была некая Шура, — маленькая, сухонькая и желтолицая особа с деревянным скрипучим голосом (казалось, это у неё на лице морщины скрипят!) — жуткой распушенности человек. Будь она стихотворением, а судьба — цензурой, ручаюсь, Шуру не пропустили бы на этот свет. Однако же и Людмила и Клава не только не порицали её, но даже благосклонно и не без важности покровительствовали непочтенным повадкам своей молодцеватой, издающей по временам какое-то хриплое гиканье, приседающей и притопывающей подруги.

Жили в нашей палате и две большие девочки лет по пятнадцати, шестнадцати. Было ли на мне заклятье какое, не знаю, но только и они сразу подвергли меня остракизму. Я так и не поняла: риторическими, каверзными или провокационными считались мои вопросы типа: «Не скажете ли, Аня, который час?», — но только мне на них никогда не отвечали. Казалось, я была в той палате призраком или Человеком-Невидимкой в детстве. Или фабрикантом-обидчиком, которому его служащие объявили забастовку молчания. Или... Впрочем, Дон Кихот рассердился бы на меня за такое скопление сравнений в одном месте, а эти сравнения можно было бы ещё и ещё продолжать...

Из прибывающих в госпиталь если не все, то многие проходили парикмахерскую стрижку наголо. От одних этого требовали, наверное, последствия тифа, от других — нужды профилактики.

Юная Аня свою «лысину» (так я, грешным делом, называла по ошибке, — хорошо ещё, что не вслух! — всякую стрижку наголо) обматывала кокетливой голубой косынкой и неустанно вертелась, глядясь маленькими голубыми глазками в зеленоватый пятнистый осколок зеркала. «О, Манефа моя!» — пела она при этом на мотив «О, Мари», (слова, спародированные в каком-то фильме) и часто выбегала в коридор поболтать с выздоравливающей частью военного мужского населения.

Однажды, наделав где-то очередных анютиных глазок и торжествующе танцуя на ходу, из путешествия в Большие Коридоры она принесла колечко с бирюзой и гордо объявила всей палате, что это ей «подарок от женатика». Всё это, надобно заметить, как-то оскорбляло меня. Ведь к тому времени я уже знала песню: «Кольцо души-девицы / Я в море уронил / И с тем кольцом я счастье / Земное погубил»... А здесь и моря не было, чтобы кольцо утопить *нечаянно!* Нет, я видела, что о потере кольца здесь позаботились и что над незнакомой мне душой-девицей зло посмеялись у неё за спиной.

А что же — кузины Милосердия? Довольно скоро мне разнадобились их ответы на мое «Здравствуйте», ибо чересчур многое в их манере держаться стало причиной моего несовершеннолетнего негодования. «Весёлая» Шура *на их глазах* все более выходила из берегов «тоски» (то есть приличия). Анята *на их глазах* глумилась над освящёнными узами. Но и вязальщицу Клаву, самую добродушную на вид (единственную, чья непонятная вражда ко мне в первые дни меня огорчала), и любительницу поэзии с квадратным лицом — подобный характер «веселья», царившего в нашей палате, вполне устраивал.

В палате как бы не было возрастов. Не было, так сказать, признания *разницы* возрастов, должных бы в чем-то стесняться друг друга. Вели себя друг при друге гораздо непринужденнее обитателей любого зверинца. И хотя прямой матерщины не было, любую другую, к ней восходящую, мысль высказывали открыто. (Так что гласность — в определенном смысле, конечно! — во-о-на когда у них уже была отлажена!) Между тем кузины Милосердия, и не только они, сплеча врѣзали бы промеж глаз всякому, кто вслух усомнился бы в их цивилизованности или единожды посмел вякнуть чего против их (несколько чопорного) интеллектуализма! «Ещё только тявкни — и полетишь!» — говорят в таких случаях интеллектуалы. (Тип интеллигентности, достаточно распространенный и в наши дни.)

Другая большая девочка (тоже Шура — назовем её Шура Младшая) вначале показалась мне самой серьезной из всех. Её рекрутская стрижка и словно остановившиеся в невыразимом негодовании чёрные глаза вещали, казалось, о только что перенесённых ужасах. Когда её к нам привезли, мне почему-то взошло на мысль, что ей совсем не понравятся через край «весёлые» старожилки наши; все эти мастерицы дробно-негнущихся деревянных пробежек с песенкой и нечестивым притопом, да и похитительницы чужой бирюзы в не своей оправе. И что же? Даже она, Шура Младшая, в суровых глазах которой всё ещё догорали, казалось, далекие зарева пожаров, — даже она эти свои вопиющие пуританские очи обратила против меня же! Обратила с ненавистью. Неугасимо-мстительно и непримиримо! Казалось, она твердо вознамерилась испепелить меня взором, как единственную и самую, надо полагать, непосредственную причину и Великой Отечественной и вообще всех войн во всём свете (к примеру — Алой и Белой Розы и Великого Ледового побоища)... Зато с развесёлыми моими недоброжелательницами Шура Младшая довольно быстро сдружилась.

Где происходили все эти «заговоры обречённых» против моей скромной и незаметной личности? Чему, собственно, была я обязана такой честью?

Видя, что обстоятельства складываются в пользу моей нелюдимости, я всё больше замыкалась и всё больше читала.

Стояла суровая зима. В окружавшем госпиталь пейзаже, — в больших, мощно склонённых монинских берёзах; в синей дымке лесов на горизонте, в заснеженных палисадниках и водокачках было, казалось мне, что-то от пейзажной лирики матери. От страха, что диковинные приключения книг вот-вот оборвутся, я сэкономила их: и торопилась и, одновременно, боялась дочитать до конца. В детстве день тянется, как неделя, неделя, как месяц, месяц кажется годом. Что делать, когда я останусь без удивительных

приключений? Вот это так будет напасть! И тут снова на помощь приходили стихи моей матери. Теперь можно было ими перемежать приключения, тем самым отсрочив стремительно близящийся конец «Острова сокровищ» и не разбив свою шлюпку с размаха о вздыбленный берег.

По заведённой дома привычке, я всё зубрила про себя эти стихи. Но всё же избегала тех, которые напоминали бы вид за окном. Пусть припомнятся стихи не об этой, но о другой какой-то зиме: о весёлой зиме далёкого и уже, казалось, невозвратного, мирного времени.

Зима звончей,
А льды — совсем как скрипки,
Когда их трогает стремительная сталь.
От звучной крыши — ледяные нитки,
Как будто дом надел серебряную шаль!

Замók космат!
И злющему железу
Приятно дó крови ладони опалить...
В такую стынь, — подумай! — где же лесу
Дорожку нашу тёплой сохранить?

Ты приходи в полночные бураны
На дальний свет пунцового огня:
Ты здесь найдешь любимого Роллана,
И Пушкина! И Гёте! И... меня.

Мой теплый дом,
Мой рай стеклянно-синий
Всю ночь глядится в сказочный мороз!
Бенгальский, стрельчатый и самоцветный иней
Все ели новогодние занёс...

Ты приходи!
Пусть острый ужас стужи
И одиночество из свистов ножевых —
Пусть это всё — гигантский ветер кружит!
И пусть растёт неповторимый стих.

...Часто в палату заходил отец. В белом, подсинённом синькой халате, накинутом поверх гимнастёрки, в пилотке, которую он не всегда успевал снимать, — всегда оживлённый, деятельный.



«Насмехаясь, изменяет
Он небес закон святой...»

Гётте

Мефистофель.
Рисунок Новеллы Матвеевой. Август 1946 г.

— Ну? — отрывисто-весело обращался он к моим однопалатницам. — Как вы тут? Выздоровливаете понемножку? Она (это то есть я) — как? — вам не мешает? Сильно шумит, я думаю? Буйствует? А то у меня смотри! — быстро уймём. Ведь у отца с вами разговор короткий.

— Что вы, что вы, Николай Николаевич! — подымался сразу со всех коек хор сирен, неожиданно залиvistый и приятный. — Что вы! Такая хорошая девочка! Да её не видно — не слышно!

Отец, любивший пошутить, сам, конечно, лучше всех знал, что меня «не видно — не слышно» (хотя я никогда не подумала бы, что это и есть главный признак «хорошести»). Дóма за свою молчаливость и замкнутость я получила у него даже кличку «философ». Впрочем, следы глубокой уединённости моих занятий были и тут налицо. Книги на моей койке ещё, так сказать, дымились недавним чтением, дым от которого и вокруг моей физиономии (если меня что отвлекало) расступался не сразу. На тумбочке передо мной всегда лежали ножницы и, следственно, всегда красовалась «мебель», вырезанная из обычной бумаги, но с тем расчётом, чтобы (как меня кто-то выучил) стулья стояли на ножках, как настоящие, и спинки их возвышались, как живые, вокруг довольно правдоподобного «стола». Я как раз подумывала о том, что на стульях не мешало бы рассадить «людей», а для столов смастерить «посуду»... Одно время были у меня в госпитале и акварельные краски, подаренные отцом, пока их у меня не позаимствовал без отдачи взрослый художник Нигров. «Па, а когда Нигров краски вернет?» — «Не знаю, надо будет у него спросить...» — рассеянно отвечал Николай Николаевич. Но краски, взятые «на часок», так и не вернулись. (Легли, видать, в рисунки Нигрова, надеюсь, бессмертные, так как произведение не может не отражать прекрасную душу художника.)

Итак, «шуму» от меня действительно не так было много. Правда, мой вид был, наверное, странным и не располагающим. Глаза после той слепоты были красные, точно

у кролика. Ноги потоплены в исполинских госпитальных тапочках со взрослой ноги.

Зато никто не мог отрицать мою деловитую опрятность. Волосы мои, светлые, как солома, всегда были аккуратно причесаны, а поверх домашней фланелевой серой блузы красовалась на фетровом ремне (и фетровая же) синяя сумка для платка и для карандашей. На ней были нашиты аппликацией два мухомора: красные с белым, «старший» и «младший». Снаряжая меня на лечение, как на войну, мать надела на меня это практическое украшение, как португую, — таким крепким и энергическим жестом, что я даже слегка пошатнулась и присела.

— Что вы, что вы, её не видно, не слышно! — с жаром и даже с некоторым повизгиванием пели сирены.

— Что вы! Её не слышно, не видно, — неслись вариации на ту же тему из других углов, из-под других одеял...

«Оказывается, они ко мне хорошо относятся! — с удивлением думала я. — И теперь, как папа выйдет, они наверно уже начнут... разговаривать со мной», — продолжала я мысленно. (До случая с «кольцом души-девицы» и некоторых других случаев это, видимо, ещё не было мне совсем безразлично.)

Но... не успевала палатная дверь за Николаем Николаевичем затвориться, как меня тут же вновь исключали из списка живущих. И мне оставалось лишь дивиться на чудовищное и непонятное лицемерие взрослых!

В те дни я завидовала Тому Сойеру и Геку Финну, и Джиму Гокинсу: ведь у них были «приключения», а у меня — не было. Отчего бы мне тогда сразу не догадаться, что «приключения» происходят и со мной? Да какие! И как же я ошибалась, принимая их за обыденность!

Впрочем, только при записывании некоторых занудливых ситуаций и выясняется, что и это были, оказывается, приключения! Но для этого надобно догадаться (а главное — захотеть) записать их! Побороть к ним естественное отвращение...

Наша палата, как это можно заметить из моего предыдущего рассказа, была более или менее благополучной. Че-

го никак нельзя сказать об остальной территории госпиталя. Всё чаще прямо из полосы огня привозили раненых. Почти ежедневно кто-нибудь из них расставался с жизнью. Некоторые кончались в муках, а хуже всего было тем, чьи мучения затягивались надолго, тогда как надежды на их спасение всё равно уже не было.

Доставленная санитарной службой прямо из гущи фронта, с передовой, в одной из палат лежала молодая девушка Паша. Её раны не давали ей ни жить, ни помереть! «Ой, лихо мне, лишеньки мне! Ой, лишеньки мне!» — как сейчас помню, кричала она. Кричала так, что отец мой то и дело в совершенном ужасе вбегал к ней в палату. Он совершенно не переносил зрелища страдания других людей, хотя стоически выдерживал собственные. (А ещё собирался на фронт, где пришлось бы насмотреться досыта не на одни только собственные невзгоды! На войну добровольцем? До сих пор не пойму, как же бы это всё-таки у него могло получиться?!)

«Пашенька! Пашенька!» — вскрикивал он в ответ на её крики, и к её двери бежал с искажённым лицом, морщась, да так, что рот у него даже оказывался где-то сбоку лица, — болезненно съезжал в сторону... (За год, за два до рисуемых событий эта способность папиного лица, всегда худого и нервного, могла привести в немалый восторг мою юную любознательность. Так занимает детей манера взрослых смеяться, умение их щёлкать пальцами или, скажем, их часы на цепочке и прочие пустяки... Но и мне теперь было не до того.)

Николай Николаевич всеми силами, всеми правдами и неправдами стремился отвлекать Пашу от её страшных мук. Даже целый цыганский ансамбль как-то специально для неё выписал и привёл к ней в палату. Всей толпой цыгане плясали и пели перед одной-единственной раненой девушкой, — так перед лицом заходящегося в крике ребенка взрослые трясут цветной погремушкой, — а Николай Николаевич, сам как дитя, радовался, глядя на это. Действительно: на какие-то минуты, может быть, даже на час,

Пашу можно было отвлечь. Но в общем-то, на более долгий срок это было почти невозможно.

От такой, как я, проку было, конечно, и вовсе мало. А всё же и меня отец привёл как-то в Пашину палату. Очевидно, по его (явно ошибочной) мысли моё появление могло если не развлечь, то отвлечь Пашу. Мне же он думал, видимо, преподавать... пусть несколько ранний, но сурово-полезный жизненный урок.

Всё же крики Пашенькины смолкли: хотя бы на тот миг, когда мы вошли к ней. На белой, белой койке в жёлтой тени стены приподнялась в подушках девушка лет двадцати с мягкими чертами лица, с колючею обритой головой. На меня глянули огромные, видимо, когда-то украинские, но теперь потусторонние — ничейной земли — глаза. Сумрачные, ни в чём уже более не участвующие. Не её и не наши. Отец ей сказал с порога несколько ободряющих слов, ответа не последовало, и как только мы вышли, за дверью возобновились её ужасные крики. Обе ноги мне словно током прошило, я едва не упала. Примерно через неделю Паша отмучилась.

Палата наша состояла из двух, так сказать, частей: лежачей и ходячей. Лежачие тоже могли ходить, как ходячие — лежать.

Но усталость или каприз располагали Клавдию и Людмилу больше к лежанию. Тогда как хорошие, видимо, результаты отдыха или же неугомонность натур побуждала остальных слоняться вперед и назад по всему госпиталю. И однажды скитающаяся часть, захлебываясь вестями, сообщила лежачей части, что из фронтовой полосы привезли девочку, которая, не приходя в сознание, умерла. И что девочка эта «выставлена» сейчас в коридоре. Ну, для такого случая лежачая часть палаты начала тоже вставать. Не меняя непреклонного выражения лица, Люся моментально облачилась в уютный байковый (бурый с большими цветами) халат и решительно двинулась к выходу, но вернулась, чтобы поправить прическу. Сложив своё вечное, точно у Парки, вязанье, Клавдия тоже начала собираться... Все со-

бирались даже словно бы в «гости», что-то теряли, что-то искали — гребёнки, шпильки, — и даже, если не ошибаюсь, по очереди гляделись в зеленоватую эстафету анютино зеркала, похожего на осколок снаряда.

Зимние сумерки падают быстро. Начиная стремительно темнеть. Аня в нетерпении выбегала в коридор, вбегала снова в палату, и обогащала сокровищницу наших познаний всё новыми вкладами. «Ой, девочки, не могу! Лежит она там — такая красивая! Ресницы длинные!.. Что же вы не идёте-то? Быстрее, вы, поворачивайтесь, давайте!» (...Как если бы на то «представление» можно было опоздать.)

И Анюта, как сейчас помню, — восторженно взвизгнув, подпрыгнула в темном дверном проёме, точно какой опереточный турок, — так что полы её длинного голубого халата, вихрем, винтом перекрутятся на ней прямо в воздухе, навертелись на взлетевшие в падающих шлепанцах ноги, а голубой, из косынки свернутый, тюрбан на голове и маленькие, тоже голубые (но не наивные, а просто без выражения) глазки дополняли сходство этой пляски жизни с театральной сценкой из какой-нибудь перелицованной «Принцессы Брамбиллы» или же с иллюстрацией из «Арабских сказок»... И снова в темном углублении дверей «пропала, / Будто вовсе не бывало». Только и успела мелькнуть из коридора унылая желтизна электричества.

«Девочки», крихтя и зевая, потянулись в коридор за своею отважной предводительницей. Все «пошли смотреть». Но я «смотреть» не пошла. Видно, кто-то из нас мало был в пекле, мало всё-таки глядел в глаза своей и чужой гибели, — не нагледелся ещё, видать, на свою ненаглядную-то. Кто же? Они или я? Право, здесь легко было всё перепутать... И уж скорее меня, щенка жалкого, принять за потрёпанного в боях санитаря, вдосталь насмотревшегося на ужасы войны, нежели — их. Были они всё-таки там или нет? Или... там не они были, а совсем другие?

Впрочем, должна признаться, эти сомнения — уже сегодняшние. А в тот вечер, оставшись одна в палате, единственное, о чем я подумала, так это о выключателе. Но не ус-

пела я до него дотянуться, как тут же начали возвращаться дамы, делясь по пути впечатлениями от увиденного и тревогой по поводу того, что везде отключилось электричество и неизвестно когда дадут!

Наша вся палата не на шутку приуныла.

Когда совершенно стемнело, все, от пробиравшей жути, перебрались в угол на одну койку, — Людмилину, ближе к окну и дальше от двери. Каким-то чудом угнездившись там всей толпой и привалясь на локтях, начали (за недостатком света) чиркать спички, одну за другой, одновременно перешептываясь.

О позор! Позорнейший факт моей биографии, — может ли его оправдать даже ребячество, объясняемое детством? — но... и я приползла к ним туда же! Я достаточно хорошо знала, что отнюдь не являюсь всеобщей любимицей. Я и в тот миг вовсе не забыла, что никто в палате со мной не разговаривает. Но мой страх перед ночной тьмой, страх оттого, что произошло с незнакомой девочкой, лежавшей там, в коридоре; объединяясь против меня воедино с безнадежной тоской, заставил и меня перебраться туда, где все.

Я примостилась на самом краю койки, зацепившись рукой за её железные прутья. Бурных приветствий, разумеется, не последовало, но никто не стал и прогонять меня. Может быть, впотьмах мое вторжение просто осталось незамеченным? Все ведь, как вокруг своеобразного костра, сидели, не оглядываясь, вокруг мерцавших спичек, а к тому же были заняты тихим, как дуновение, разговором между собой, — каким-то глухо-суровым секретничаньем.

При коротком и летучем трепете спичечных вспышек взрослые были чем-то похожи в тот миг на испуганных собственными рассказами ребятишек из «Бежина луга», которых довоенный художник изобразил с таинственными отблесками костерка на лицах. Тогда как я в этой ситуации явно занимала положение «барина», так как находилась за кругом их «света», и могла не *привлекать к себе внимания*. Тем более что не было со мной ни ружья, ни охотничьей собаки!

Впрочем, пункты несходства моего с героем «Записок охотника» (фактически с самим Тургеневым!) этим, конечно, никак не исчерпывались. И если всё делать по правилам, то пункты эти пришлось бы ещё долго перечислять, как то: не мужского пола, не взрослая, не помещик, не писатель, не выдающийся человек, не охотник ни в каком смысле, — и так далее... И, чтобы не заполнять эту слишком уж длинную анкету, — не лучше ли начать другую, покороче? И не сравнить ли, к примеру, себя с Геком Финном? Притаившись ночью в ялике, привязанном незаметно к чужому плоту, однажды он, как это известно, подслушивал страшные рассказы полуночничающих и незнакомых плотовщиков. (Вариант, не вошедший, как мы знаем, в «Приключения Гекльберри Финна», но зато волшебным образом враный Твенем в канву «Жизни на Миссисипи».)

Помнится, о таких-то вещах я и старалась помышлять, чтобы не думать о погибшей девочке. Так — одно течение несло и чужой мне плот и мою шлюпку, тайком к нему пришвартованную (если бы меня поймали, мне попало бы меньше, чем это грозило Геку), — но не было ни малейшей связи между мной и другими. От того, что спичек было прочиркано уже немало, — почтенное общество пахло серой, точно и впрямь в аду! — и с командой плотовщиков, собравшихся вокруг плавучего своего огня и простоудушно точивших лясы, — у сборища не было никакого внутренне-го сходства.

Я и не сравнивала тогда их ни с кем, — ни от прямого, ни от обратного. Но себя с Геком — уже могла сравнить. Ведь, коли на то пошло, мне было даже совсем не до них. И не тогда ли романтизм и романтика начали приходить ко мне понемножку на помощь? Геку надо было что-то узнать и потому он подслушивал. Меня же занимали, по счастью, совсем другие вопросы:

Как Джим Гокинс будет жить, когда вырастет?

Пустится ли он ещё раз в отважное плаванье?

Неужели Джона Сильвера так и отпустят с миром?! Неужто опять вывернется, этакая лиса?!

Кстати, в безнаказанности Джона Сильвера, как думаю я теперь, сказался реализм романтизма.

И вообще — суровая история типичных морских практиков, может быть, только потому превратилась в «романтическую», что предполагалась давно миновавшая? «Что пройдёт, то станет мило»? То станет романтично, — осмелилась бы добавить...

Классицизм — разум, а романтизм — душа гуманизма. Реализм должен бы вроде объединять в себе то и это. Но как часто его огромные перспективы мы стремимся сузить до учительской линейки, бьющей по рукам непослушных представителей других направлений!

На месте непрошенных менторов, больше всех нас повинных в наведении такого порядка и отладивших его до блеска (почти до безотказности), я была бы, впрочем, поосторожнее. На месте то есть этих расторопных техников-наладчиков, на поверку-то как раз ничего полезного не умеющих и, как правило, лишённых подлинной самостоятельности, я не рисковала бы говорить о романтизме в этом вот их разъярённо-снисходительном тоне. Вела бы себя смиренно, — дабы в самой реальности не отправили бы и меня (часом!) в тяжелое, требующее смелости и ума, «романтическое» путешествие!

Довольно большая часть романтизма произошла от нужд занимательности. То есть как раз — не-оторванности от действия, дела. Неоторванности ни от чего и ни от кого, ни от какой настоящей жизни. И только люди с рассудком, рассчитанным не надолго, могут связывать неукротимость и могущество романтизма с какой-то там «нежизненностью», с чьей-то (не знаю чьей) «наивностью», с пресловутым «детским лепетом», с «розовыми очками» и с прочей дребеденью милого сентиментализма.

Я, конечно, понимаю: это делается как раз в отместку романтизму за его силу и честность, за жанровую невозможность бесчинства в его условиях, за его органическую неподкупность. Ничего не скажешь: благородство — большая помеха на пути к пиратской удаче. Но ведь никто не

решается ВСЛУХ охарактеризовать романтизм как помеху такого рода!

Хорошо. И не надо! Продолжайте переключать все грехи «с больной головы на здоровую». Но зачем же такие дела делать ещё и от лица... реализма?! Реализм крут? Пусть так. Круче самого романтизма? Я и тут промолчу. Но нигде, во всяком случае, не сказано и ни на каких скрижалях не записано, что реализм обязан к низости, неджентльменству, непотребству и недоброжелательности, и что любая величественная шушера может, таким образом, выносить людям от его имени свои смертные приговоры.

Но вернусь к тому, что занимало меня в ту давнюю пору. Что ещё, кроме проблематики шкуны «Эспаньола» и образа доктора Ливси? Человека столь чистого, столь морально-точного и до такой степени верного клятве Гиппократа, что днём он, доктор Ливси, простреливал обнаглевших негодяев-разбойников, а ночью — сам перевязывал раны этим несчастным заблудшим, не боявшимся подойти к нему с просьбой... Этим страждущим душам. Этим паршивым плутам! Мерзавцам, виртуозно (почти на уровне виртуозности Паганини!) — игравшим на доброте доктора в надежде, что это не доброта, а глупость, не благородство, а слабость (вечная история!), и наутро опять стрелявшим в него и в его друзей, — впрочем, не безответно...

Многое, одним словом, интриговало меня: как выглядит Миссисипи, когда никто на неё не смотрит?

И что делается в моих сновидениях, когда я не сплю? Продолжаются ли они всё равно? Уже без моего участия? И где?

Так, между прочим, и могло (ещё тогда или уже тогда!) начаться исподволь бессознательное сочинение «Союза Действительных», — того самого романа-сказки в прозе, в которой разбираются отношения реальных людей и оборотней. Где разные люди — в разных домах и даже в разных странах видят один, коллективный, сон, а не то — разные сны, которые комически перемешиваются. Где главная героиня, Веста, нечаянно съедает огурец, «засоленный в боч-

ке из-под Диогена», — как выражается в романе другой персонаж, и, таким образом, Веста, обычная домохозяйка, внезапно получает блестящий ораторский дар. Где сам этот ораторский дар обнаруживает крайнее коварство, так как, получив его, Веста вынуждена (по навязанному ей условию) произносить речи всегда некстати: не к месту, не ко времени, не те и не перед той публикой. Где приводятся и сами эти речи... И всякий раз, когда на скромную домохозяйку, как гром среди ясного неба, вдруг падает очередной заряд красноречия, — сначала — светлые добрые духи барабанным боем предупреждают её об этом. Происходит и многое другое. Например: поиски двери на выход из залятого трактира «Четвереньки». И в дополнение к мытарствам Весты её однажды постигает ещё одна напасть в форме невидимости и неслышимости. Причём ей долго приходится выяснять: вправду ли её «не видно, не слышно» или по какому-то всегда новому, всегда следующему недоразумению?..

Вот я сейчас написала: «не видно, не слышно» — цитату из реальной жизни, которую приводила выше, — и вспомнила, что в шестьдесят седьмом году, приступая к сценам под общим названием «Невидимость», я и не думала отождествлять Весту с собой и совсем не помнила (почти до сего дня не помнила, да и не хотела вспоминать) свою госпитальную историю. Значит, сочиняющий человек, набредая на какой-то сюжет чисто интуитивно и неожиданно (как почти всегда было со мной), всё же он — в непознанной глубине глубины души своей неизбежно воскрешает собственную свою биографию.

«Союз Действительных» я начала писать последовательно — в 24 года. Первую дату на первых его листах, обмакнув перо в чернила, поставил ещё Николай Николаевич. (Самописок, как многие из нас помнят, ещё не было, — факт, в виде шутки обсказанный мной в «Оде кляксе».) К тому времени у меня уже было много стихов и песен. Но в детский-то госпитальный срок «родиться поэтом» я даже не собиралась. Полное собрание моей ли-

рики составляла тогда единственная частушка, созданная ещё в трехлетнем возрасте. (Я назвала бы её «Младенческая-драматическая»!) Правда и то, что следующие три стихотворения появились всё-таки в госпитале, — в самые последние дни пребывания в нём. То были типично-детские, но, кажется, всё же не очень интересные стихи, сочинённые, скорее всего, ради полноты и закругленности личного «ренессанса»: рисунки есть, бумажные куклы — изделие ножниц — есть, бумажная мебель — есть, а значит, и стихи должны быть! Но вряд ли я претендовала на какое-то развитие этой линии в будущем, — мечтала быть только прозаиком. (Я и теперь убеждена, что родилась прозаиком, как другие рождаются поэтами!) А Идеал прозы для меня всегда был: событийность, очень тесная занятость всех сюжетных клеток, по возможности — непрестанная подача мыслей и сведений, жизнерадостность и надежда.

Стихи? Но должно ли стремиться после Надежды Тимофеевны выражать что-либо стихами?! День, когда я начала последовательно нарушать этот, самой себе подсознательно данный, зарок, был днём большой моей дерзости. И даже, может быть, некоторого кощунства... Лишь одно могло меня сколько-то оправдать: проза жестоко требовала беззаботности, расточительного обращения с временем, но при этом же — строгого распорядка дня и, во всяком случае, более сносных бытовых условий, чем те, какими мы располагали всю жизнь напролёт. В сочинении «Союза действительных» то и дело образовывались временные провалы величиною... никогда не меньше, чем с год! Тогда как стихи не требуют ведь ни свободы, ни простора, ни излишка времени, ни особенных бытовых удобств, а складываются куда быстрее, — так мне долго думалось, мнилось.

В монинский свой период я могла, конечно, только читать, но никак не писать прозу. Что же до поэзии, то каких мне ещё стихов, если стихи моей матери были всегда в памяти!

фронтовиками или фронтовыми медсёстрами. Насколько я на их счёт ошибалась — как знать... Линия фронта тогда начинала делать самые неожиданные зигзаги; ходить на войну — уже становилось в каком-то смысле излишеством; прихотливо изменяя свои очертания, война сама шла к людям, точно гора к Магомеду. И уже «шальная» — какого угодно убеждённого тыловика зацепить могла, профессионального штабиста оцарапать; пугливейшего из обывателей задеть мимолетом, иногда превращая его тем самым в «героя», — «защитника родины». Так зарождались невероятные биографии, достойные барона Мюнхгаузена и корнета Савина... Обрастали орденами, как чешуёй, самые отталкивающие чудовища... Бывало и так, что сама государыня крыса, бегущая с корабля, на бегу, со спины, покрывалась наградами, как морскую пену — до самого острия хвоста своего... Один взгляд на неё в наши дни — и сразу видишь: нет! не могло этого быть! — не она защищала нас! А как докажешь? На неё и глядеть-то невыносимо, а документы у неё — героические. Одно слово — добытчица! А вот иные реальные героини Великой Отечественной не могут подчас доказать даже своё право на прибавку к пенсии. Известно, многие из недоразумений этих и до сих пор не разобраны! Так могла ли я, в малолетстве и в самое время, в самый жар войны, что-нибудь в этом понять? Я — тем более не могла. Я мыслила как раз по схеме: ранен, оцарапан ли — значит фронтовик. Поэтому при виде моих однопалатниц... как-то запутывалась. Что бы они там ни выделяли, — они не умели вызвать во мне ясное и внятное отношение к ним. Влияние отца — ребяческий патриотизм, не позволяли мне сознательно презирать их. А вся наглядность их поведения (не только со мной) мешала мне их уважать.

Или это было для меня даже к лучшему, — что обошлось без ненависти и презрения с моей стороны?

Или — я была просто недостойна своей палаты?

И я научилась вполне довольствоваться более скромным обществом: Пушкина, Лермонтова, Марка Твена. Об-

ществом, наверное, самым простым и самым доступным каждому человеку.

...Однажды, когда в госпиталь приехала мать, отец нам сказал, что непременно должен нас познакомить с лётчиком Алексеем Хлобыстовым, дважды Героем Советского Союза, который изобрёл таран и, первым его применив, сбил множество (уже не помню сколько) вражеских самолётов.

Подталкиваемая родителями (потому что я, кажется, упиралась!), я с беспокойством и трепетом переступила порог незнакомой палаты. Перед нами, за столом, положив на него красные руки, сидел плотный молодой парень в гимнастёрке, с круглым лицом, беззвучно смеющийся и прямо-таки пропадающий от смущения! Нестерпимый жар стеснительности, казалось, доходил у него до самых ногтей, — как если бы он что плохое сделал и люди его всем собором бы уличили. Он встал к нам навстречу, поздоровался с каждым за руку, даже со мной, и снова сел, — так поспешно, словно стул был прибежищем и военным укреплением, которое не выдаст и хоть крошку уверенности (кажущейся ему, наверное, но весьма ненадежной) позволит уберечь! Самооправдательно улыбаясь, он словно хотел сказать нам: «Сидя — не так страшно, как стоя».

Он краснел, как юная девушка (довоенных времен, конечно), и немилосердно ерошил одной рукой свои русые волосы, — занятие, начало которому он, по всей видимости, положил задолго до нашего прихода.

Это и был Хлобыстов.

Отец, надо полагать не впервые, бурно выражал свою удивлённую радость по поводу редкой скромности Хлобыстова, которого он как младшего по летам называл Алёшей. Здесь же, от отца, мы услышали, что Алексей «простой рязанский парень». Хлобыстов заказал для нас чаю. Улыбался он больше, чем говорил и, всячески избегая темы героизма, делался смелее и общительней, когда разговор касался Рязанщины.

Зачем я тогда ничего не записывала?! Хотя бы тогдашним своим почерком и в ребяческом стиле... Тогда я смогла бы впоследствии вспоминать: о чём так весело толковали при мне трое взрослых в тот достопамятный солнечный день.

Под впечатлением той встречи (а затем и ещё одной) мать написала тогда стихи, посвящённые Алексею Хлобыстову.

Тараньте, соколы, тараньте!
Крушите ярого врага!
В таком отчаянном таланте
Запечатлеются века.

.....
...Наметив цель, кидайся быстро,
На риск бросайся с головой!
Тарань, как огненный Хлобыстов...

Не знаю, почему теперь молчат о Хлобыстове. Заметкой о пароходе, названном его именем, я не успела завладеть, — потерялась та газета!

Между тем стиль работы Николая Николаевича в госпитале всё пуше раздражал администрацию. Мало кому нравилось это его «чужачество», это его «ребячество», проявлявшиеся, например, в бестактной искренности его восторга перед героями, в слишком, так сказать, буквальном понимании своего долга перед ранеными бойцами. Статочное ли дело! Никакой выдумки, никакого творчества в понимании служебного долга, — ни тебе апокрифа, ни просто вольного переизложения. Не только новаторства там или изобретательности, но не было в его действиях даже слабой попытки домыслить, а уж тем более — переосмыслить наскучившую мораль! Всё это было настолько дико и так непонятно директору госпиталя, и так надёжно не укладывалось у него в голове, что однажды...

Однажды, когда поблизости больше никого не было, он подошёл к Николаю Николаевичу почти вплотную и, проникновенно заглядывая ему в глаза, спросил напрямик:

— Че-го те-бе на-до?

— Я не понимаю вас, — ответил отец.

— Нет! — вскричал директор, делаясь настойчивее. — Ты слушай-ка, ты скажи мне: че-го те-бе на-до?!

И, видимо, не совсем верно поняв наступившую паузу, директор (по всем правилам Театра Комедии!) начал заполнять её следующими вопросами:

— Может быть, твоего пайка тебе мало? Хорошо! Удвоим. У семьи валенок нет? (Он молодецвато тряхнул головой.) Дадим! Дадим валенки. Будут! С завтрашнего дня — будут! Но только ты скажи чётко: чем ты недоволен? (Пауза. Ещё один испытующий взгляд в самую душу, и — уже с угрозой): — Чего тебе надо?!

— Мне ничего не надо, — холодно ответил отец. Впрочем, помолчав, он с гневом добавил: — Мне нужно, — сказал он, отсекая каждое слово, — чтобы раненые получали свой паёк целиком и полностью. Мне нужно, чтобы им выдавалось добротное бельё, а не тряпки. Мне нужно, чтобы в палатах, которые сейчас находятся в морально-антисанитарном состоянии, прекратилось это безобразие!

Повернулся и пошёл, с трудом овладев собой.

Этот разговор отец пересказал матери (при мне) в один из её заездов.

— Слушай-ка: уходи немедленно! Иначе они тебя изведут, — понизив голос, остерегающе сказала мать. (Как сейчас помню, сказала не в первый раз.)

К моему удивлению, Николай Николаевич, который всегда (и даже обязательно!) возражал ей в таких случаях, — на этот раз промолчал.

Вскоре же он ушёл из госпиталя.

...Надежда Тимофеевна (и это видно уже на примере её посвящения Хлобыстову) никак не могла не отозваться творчеством на госпитальный период — когда ей привелось не однажды выступать перед ранеными и выздоравливающими бойцами. Сильнейшее впечатление произвели на неё и отдельные личные встречи с пилотами и пехотинцами, с партизанами и партизанками-пулеметчицами, — с увенчанными и тогда ещё начинающими героями... Их рассказы — о битвах, походах и удивительных случаях на войне, — рассказы, документально подтверждённые их ранами и ожогами, были для неё и драгоценны и страшны одно-

временно. Она их нам потом пересказывала. И сами по себе пересказы эти являлись неотразимыми, вдохновенными рапсодиями, так как в них заключался не только блеск мастерства, но и не кончавшаяся (никогда не кончившаяся) потрясённость самого пересказчика. Самого поэта.

Именно Монинским госпиталем было навеяно моей матери стихотворение «Танкист». Написанное уже совсем незадолго до Победы.

Бой оттремел.
Спокойны брови,
Хотя с земли никак не встать...
Ручей хлопочет в изголовье, —
Всё хочет рану зализать!

Он то прохладую помашет,
То свежей искрою блеснёт,
То целую семью ромашек
Над головою развернёт,
И, в самом трепетном участке,
Своей старается струёй
Шептать,
Звенеть,
Кричать о счастье
Над молодой головой:

«Ты жив... Ты жив...
А жизнь, — пойми же! —
Цветок, мелодия, раскат..
Уже победой мир пронизан,
И гимны кроются в ростках,

И встанут голоса в деревьях,
И песня вспыхнет там и тут,
И сонмы звезд,
Как в книгах древних,
С землёю вместе запоют...

И оттремят бои, товарищ,
Бои навеки оттремят;
Когда вокруг рукой пошаришь,
Услышишь, как цветы звенят...»

Танкист лежал. И ночью хмурой
Он жадно слушал через стон
Лесных ручьев колоратуру
И мглистых кедров баритон.

В другом стихотворении, написанном ещё до войны, мать говорила: «Я труженик пера! / И я имею право / На тёмные леса, / На светлые цветы, / На радугу. / На синь. / На бойкие потоки... / На голубой мороз. / На искромётный снег. / На самые широкие дороги, / Откуда льётся мир...»

«Имею право!» Но право — это такая вещь, которую, даже «имея», можно всё-таки не иметь. Не получать и не получить никогда.

Несмотря на усилия всей жизни, Надежде Тимофеевне так и не удалось издать даже маленькой книжечки. Словно бы злой дух заморозил нашу фамилию на долгие времена! Словно бы и впрямь те «три сестры милосердных» (не окуджавские и не чеховские «Три сестры», а как бы шекспировские, из Макбета!), заклято молчавшие со мной, ещё в моем малолетстве, открывали теперь «бессрочный кредит» замалчивания — и для моей матери, — для её стихов.

Я-то вырвалась. Вырвалась благодаря молодости, настойчивости (меньше устала), счастливому случаю, добрым людям. Оказалось («И всё-таки она вертится!»), что они всё-таки существуют! Но мать к тому времени как раз покорила одолевавшей неуверенности, связанной с привычным невезением и, страшая новых разочарований, опасалась теперь и выпускать-то свои стихи из дома.

В народе факт публикации ваших сочинений обычно отождествляется с наступлением для вас кругового благополучия во всём. Наша семья также всегда находилась в плену этого пагубного заблуждения. Неотступная мечта о защищённости (в том числе и материальной) долго заставляла нас ждать с нетерпением того счастливого дня, «когда мама напечатается».

Как только вышли в свет мои первые подборки стихов, стало считаться, что волна, потопившая чёлн моей матери, меня-то вынесла прямиком на золотые берега Эльдорадо. Знакомые Надежды Тимофеевны и в особенности соседки нарочно дразнили её разговорами о её «знаменитой» и «преуспевающей» дочери... Разумеется, сильно преувеличивая и то и другое, и ведь всегда как раз в то мгновение,

когда меня особо ожесточённо терзала какая-нибудь очередная (или внеочередная) бестия, — завистливая и мстительная, мстя, не давая вздохнуть...

Перебравшись из неотапливаемой шестиметровки аварийного дома, где мы прожили тринадцать лет, в новую квартиру, мать снова попала в оцепление. Новые соседки считали своим святым долгом поддерживать в ней убеждение в том, что литературная удача — это уже и есть защищённость, могущество, процветание. Добрые женщины усердно и заботливо отлаживали сугубо воображаемую, но зато резкую разницу между моим бытом и условиями быта моей матери. Отлаживали контрастность. Особенно же усердствовала и в этом и во всём другом некая... не будем указывать пальцем и назовем её (условно) Попугаихою.

До меня и до моего мужа (тщетно бившегося тогда всё с тем же чёрным замалчиванием), поэта Ивана Киуру, доходили упорные слухи о подвигах Попугаихи. И о том, как болезненно мать отзывается на любую её, даже вовсе мелкую, провокацию.

— Какие-то «попугаихи» там её терзают, — сказал Иван Семёнович, — знаешь, надо к ней съездить туда! (То есть в Подмосковье.) Пора собирать книгу для матери. Сама она на это никогда не решится, а её стихи пропадут...

Меня укачивает на транспорте. «На этот раз надо это как-то перенести», — сказал Иван Семёнович. (Как если бы я возражала!) И решительным шагом властительных меценатов (типичные Фортуна и Фортунат!) мы двинулись на выручку.

Приехав к матери, мы сумели уговорить её согласиться с нашим планом. Выяснилось, что даже своей пишущей машинки она боится, — настолько страшна ей техника! И, таким образом, всё, что она писала, так и оставалось у неё в единственном экземпляре!

Мы печатали стихи Надежды Тимофеевны на машинке до тех пор, пока не собралась изрядная рукопись. И что же? В самый тот день, когда нам выезжать, Надежда Тимофеевна... спрятала всю отпечатку! Крепко-накрепко заперла её.

Сказала, что боится за свои стихи, что даже нам не отдаст их, потому что «неизвестно к кому в руки они попадут!» Такая бесповоротная *решимость в неуверенности* имела, конечно, свои причины. Многих можно было бы поблагодарить за эту, почти что роковую ужé, запуганность автора, но прежде всего литераторов нечистых на руку благодарить надо!

Как бы там ни было, мы уехали ни с чем. Так сказать, восвояси. И после я долго не могла простить себе, что заранее не выкрала хотя бы 3-й (бледный) экземпляр!

Впрочем, если одни неприятности могут в других неприятностях служить утешением, а в жизни подспорьем, нас должно было «поддерживать» хотя бы то соображение, что провести книгу матери в печать нам все равно бы не удалось. Действительно: с чего мы взяли, что стихи, около сорока лет не принимавшиеся из рук самого автора, внезапно будут приняты из наших?!

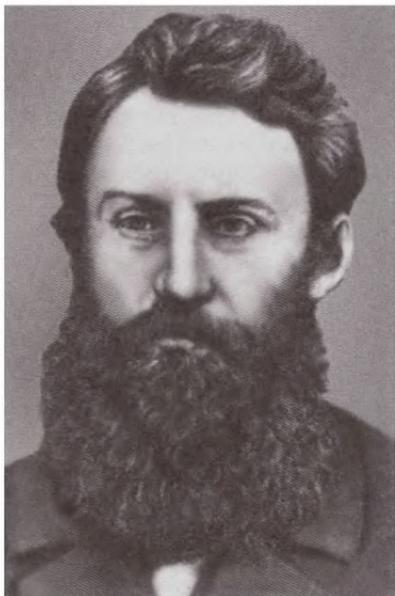
К тому времени, правда, была на выходе уже вторая книжка моих стихов. Но ведь от этого я всё равно не превращалась в издателя! Я и сама оставалась всего лишь автором, которому насчёт своих полномочий не так простиительно заблуждаться, как, например, иному читателю, тоже сочиняющему стихи. «Сам напечатался — теперь посторонись и напечатай меня!» — обычный ход рассуждений такого читателя, самобытно отражающийся в его письмах к нам. (И непонятно, что больше требуется: «посторониться» или «напечатать»?) Впрочем, пусть эти оригиналы и продолжали бы принимать нас за издателей. Но как мы сами-то — даже на миг могли принять себя за таковых?!

И всё же надо было продолжать, — как сказала бы диккенсовская миссис Чик, — «делать усилия». Из сочинений матери у нас оставалось теперь только то, что я сохранила в памяти. Этого хватило на несколько подборок. Мы сделали их и подали редакциям. Ответов или не последовало, или они были расхолаживающими. Можно было подумать, что мать пишет в заведомо не востребовавшем жанре!

Я сильно виновата перед матерью. Этих попыток должно было быть больше. Но ведь потом никогда не можешь

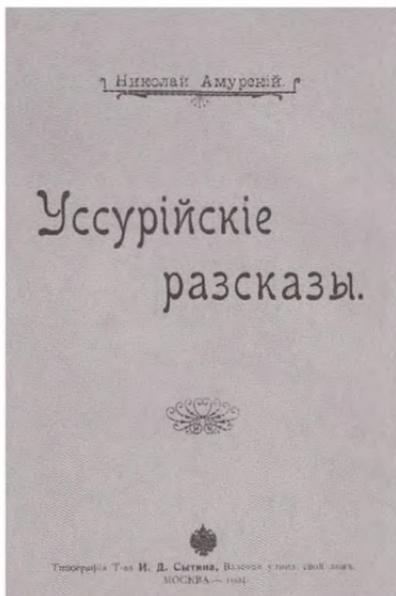


Новелла Матвеева. *Начало 1960-х гг.*

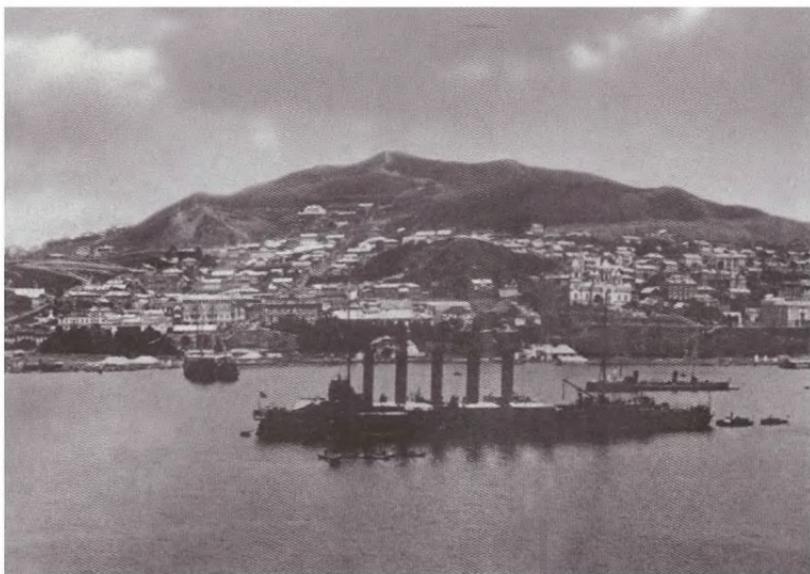


Николай Петрович
Матвеев-Амурский, известный
дальневосточный поэт, писатель,
издатель. Дед Новеллы Матвеевой.

Бухта Золотой Рог. Владивосток. *Фото начала XX в.*



Книга Н. Матвеева-Амурского.
Москва, 1904.





Книга поэта и писателя
Венедикта Марта (Матвеева),
отца И. Елагина и дяди Н. Матвеевой.

Поэт Иван Елагин —
двоюродный брат Н. Матвеевой.

Владивосток. Фото начала XX в.





Надежда Тимофеевна
Матвеева-Орленева, мама поэтессы.
1960-е гг.



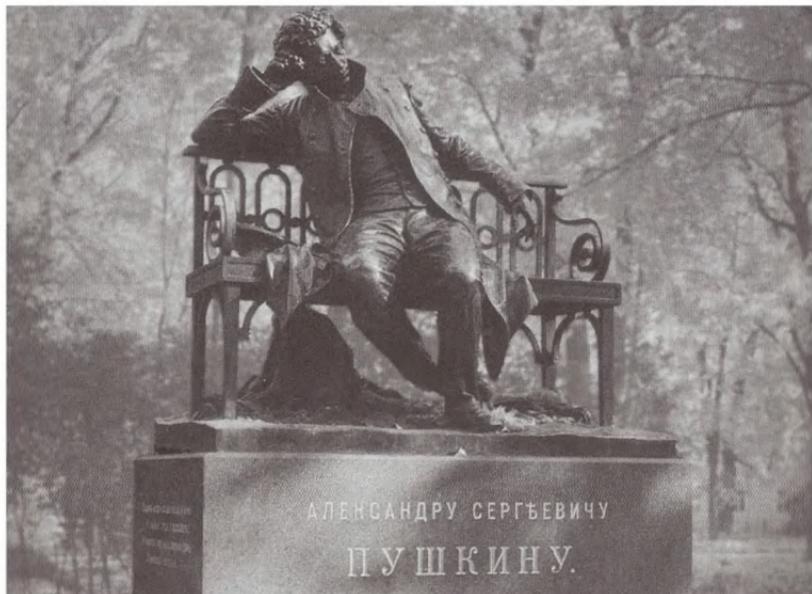
Новелла с отцом Николаем
Николаевичем Матвеевым-
Бодрым. Конец 1930-х гг.

Н. Т. Матвеева-Орленева у ивы.
Посёлок Юная Республика в Подмоскowie. 1960-е гг.





Николай Николаевич с Новеллой (в центре),
Надежда Тимофеевна (справа от них),
сестра будущей поэтессы Роза-Лиана (вторая слева)
и друзья семьи на прогулке в лесу. Конец 1930-х гг.



Царскосельский памятник А. С. Пушкину.
(«Родилась я в Царском Селе. И это было с моей стороны уже нескромно...
Таким образом, сама судьба позволяет мне повторить за великим поэтом:
“Отечество нам — Царское Село”»).

Александровский дворец в Царском Селе.



Новелла
с веткой черёмухи.
Вторая половина
1930-х гг.



«Мой костёр
в тумане светит...».
Рисунок
Н. Матвеевой.





Роальд Николаевич Матвеев —
брат поэтессы.
Североморский флот. 1959.



Дядя Ваня,
брат Н. Т. Матвеевой-Орленовой.

«Яхты и пароходы ушли куда-то...». *Рисунок Н. Матвеевой.*

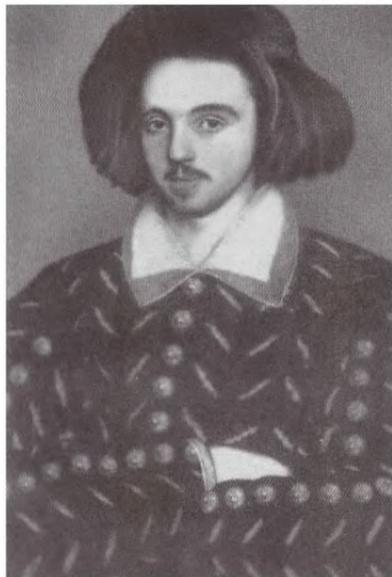




Мать и дочь. Посёлок МИДа в Подмосковье. 1960-е гг.



С любимыми книгами. 1960-е гг.

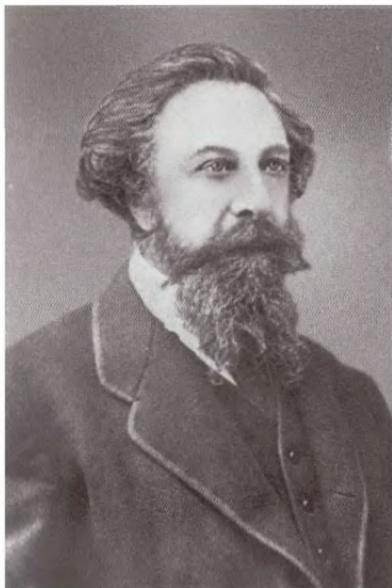


Кристофер Марло.
Предполагаемый портрет.



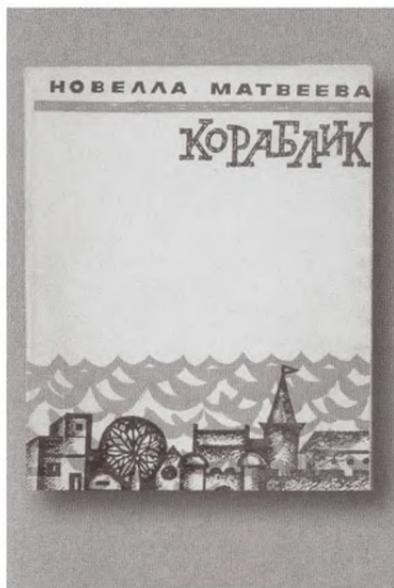
Эдмон Ростан в мундире члена
Французской академии.

Алексей Константинович
Толстой.



Самуил Яковлевич
Маршак.





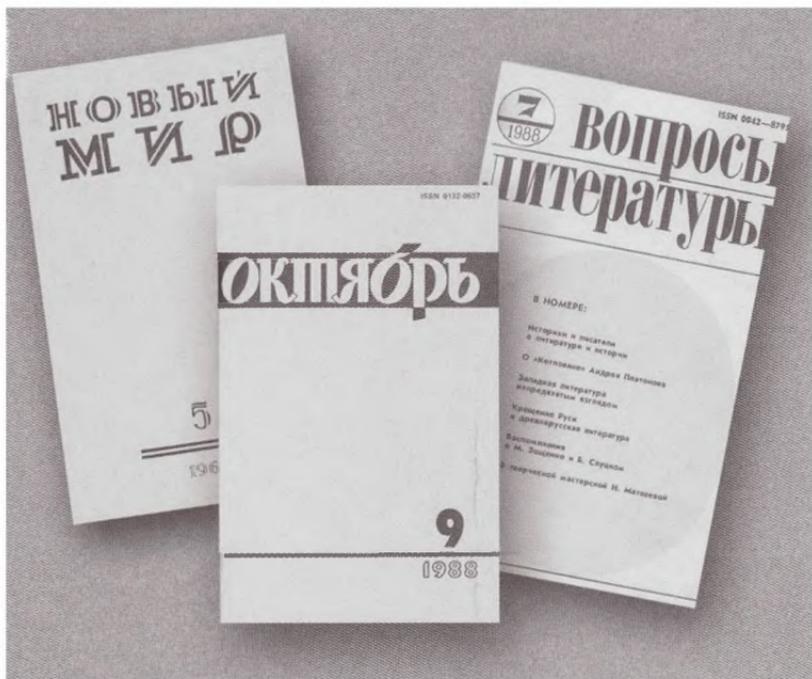
Второй поэтический сборник.
1961.



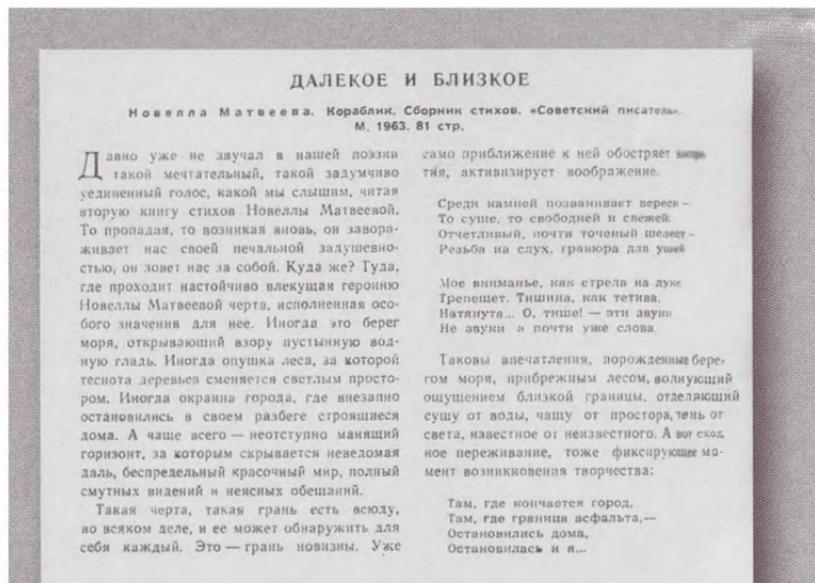
Новелла Матвеева
в период сотрудничества
с «Комсомольской правдой». *1959.*

Литературный институт им. А. М. Горького. *Москва.*





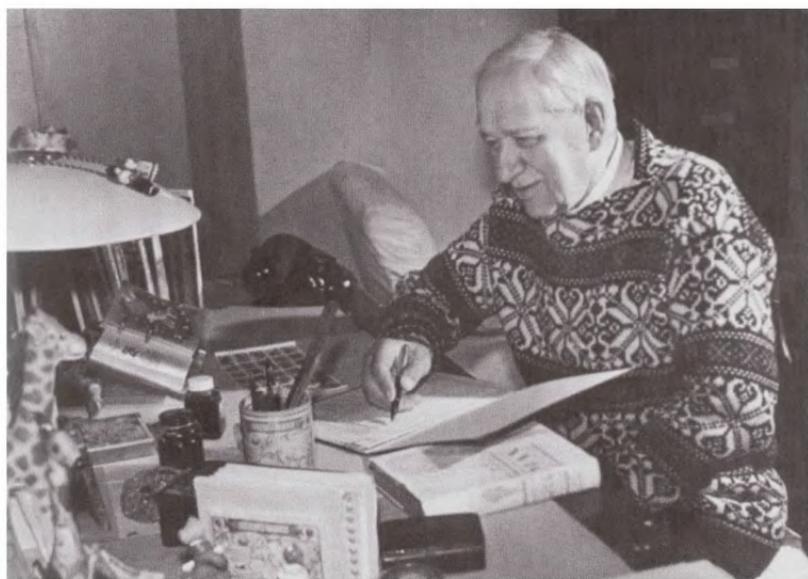
Журналы с рецензиями на книги и публикации Н. Матвеевой.



Леонид Угёсов.



Корней Чуковский.





«У неё в руках гитара, гитара, гитара...». Начало 1960-х гг.

БЛИЗКОЕ ПРОШЛОЕ

Песня певца за сценой



Пастушеский дневник

1954 209

*Прощайте, прощайте, зелёные долины!
Уходит пастух: ведь лето прошло...*

Шиллер

В ночь на 21 октября, среда.

Вот за долгое-долгое время первый вечер, первая ночь, когда я могу спокойно спать или спокойно не спать по своему усмотрению. Когда не угнетает перспектива подняться рано и гонять коров под ветром, дождём и градом.

Вспоминаю своё сентябрьское стихотворение:

Когда же на бледность опавшей листвы,
На бусины поздних ягод,
На жёсткую шкуру последней травы
Снежинки первые лягут?

И в белое утро, проснувшись вдруг,
Я вспомню, что в стойле стадо,
Что спас меня снег — мой холодный друг,
Что больше пасти не надо!

Сегодня утром наконец явился долгожданный «холодный друг».

Жить в нашем доме, в нашей холодной комнате — и радоваться снегу! Какие только метаморфозы не совершает жизнь! Снег выпал утром, но, как следовало и ожидать, укрепился не надолго. Теперь он тает, почти растаял. На улице туман, тишина и какой-то полудождь. Тепло, с крыши каплет.

Весь наш дом только что заснул, только за одной из дверей кто-то ещё возится, не спит.

Неизвестно, сколько пройдёт времени, прежде чем снег

укрепится окончательно, но одно мне ясно: пастьба закончена.

Обычно при последних лучах лета и первых дуновениях зимы принято говорить: «Последние улыбки лета... Первые угрозы зимы...» Я же, вынужденная подчиняться самым противоречивым обстоятельствам, могу сказать наоборот:

— Прошла последняя угроза лета: вот они, первые улыбки зимы!..

Утро 21-го октября, четверг.

Вряд ли это верно: среда и четверг не могли состояться в один день. Нет, этого, по-моему, никак быть не могло. Вероятно, речь идёт уже о 22-м октября.

(Подача голоса из «будущего». — Н. М.)

Серое бушующее утро. Снега нет, и — кто знает? — не возьми я вчера расчёт, может быть, опять пришлось бы пасти, а я — в больном виде.

А между тем — не смотрите, что снега нет — на улице уже настоящая зима! Свирепствует страшный холодный ветер, о, мои «добрые друзья»!

Но меня теперь для них нет, и я совершенно убеждена, что среди этих замечательных (в смысле языка) работников не найдётся ни одного дурака, что согласился бы сейчас пасти.

Мою дурацкую безропотность оценили только вчера, когда я пришла к начальникам с просьбой освободить меня от работы. Они сразу же заговорили другими голосами, и даже у директорши — этого неприступного утёса в юбке — нашлись для меня живые человеческие речи.

«Поэзия и экономика!» — воскликнул Джек Лондон. Как сильна экономика там, где поэзия бессильна!

Здесь налицо, конечно, случай юного недомыслия: видимо, под «экономикой» я разумела тогда практицизм. (Цитировала же или неточно, или некстати.) Но если спросят — при чём вообще тут ПОЭЗИЯ? — отвечу:

в те годы я давно уже могла считать себя увязнувшей в этом промысле. Чему доказательством — хотя бы стишок из административно-приютской жизни, сочинённый в период моего пастушества:

Наш бух

Наш бух непогрешим и в гневе невменяем.
У нас пред бухом аж захватывает дух!
И, если сильно мы чего-нибудь желаем,
Не говорим «дай Бог!», а говорим «дай бух!».

Но ничего! Пускай поизрасходуют сено, а я очень нездорова. Нужно немножко отдохнуть, хотя жить в нашем доме и в нашей комнате уже само по себе — адский труд.

Мы, наша семья, жили вчетвером в шестиметровке и без отопления.

Два завхоза

Сейчас как раз был завхоз — звал меня к директору для переговоров. (Я не ошиблась: снег растает — опять позовут пасти, — хорошо, что взяла расчёт!)

Я теперь не связана с их организацией, и всё равно завхоз пригласил меня тоном приказа — а если бы ещё была связана?! Смогла ли бы я отказаться, даже имея право на отдых? Ведь я работала БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

Завхоз у нас теперь новый. Молочника сняли: была ре-визия из Москвы и нашла в её, Молочника, хозяйстве неизлечимые прорехи. Того и следовало ожидать от нашего свирепого Молочника.

Несомненно, она была энергична и сильна в своём вечном гневе. Но на что нужен гнев в мирном хозяйстве? Она — Молочник — была сильна и энергична, но её сила была разрушительной, энергия — прямо атомной!

Кстати, наука и техника добились того, чтобы использовать атомную энергию в мирных целях. Вот использовать бы в мирных целях атомную энергию Молочника, нашей

завхозихи! Как зацвело бы и засверкало детдомовское хозяйство! Как бы всё было прекрасно, если бы прежний завхоз наш (Молочник) ставил перед собой задачу: сделать, создать, приобрести, починить, возместить, наверстать, оплатить, исправить, поправить... Но наша Молочник задавалась круто-противоположной целью, а именно: разрушить, изломать, разорить, выбросить, украсть, проклясть, оклеветать, с работы снять, выкорчевать, вытравить, выселить, сжечь, испепелить!

«Боевой», «боевая» — были излюбленными словами Молочника и высшим комплиментом в её устах.

Несомненно, на войне, в бою она получила бы немало наград за доблесть, храбрость, хитрость, ловкость, жестокость, непреклонность...

Насчёт «доблести» и «храбрости», впрочем, сомнительно — думаю я ТЕПЕРЬ. Ловкость и непреклонность же могут быть и плохими, и хорошими. Что же до хитрости и жестокости, то они как раз редко согласуются с храбростью, а к доблести (или доблестям) вообще не относятся.

Но качества, полезные Отечеству и прямо незаменимые на войне, не только не нужны, но и вредны в мирном хозяйстве.

Для процветания хозяйства нужен завхоз, а не солдат. А даже если бы он был солдатом, в мирной обстановке строительства ему придётся забыть свои боевые навыки, особенно — если он в Детском доме! Ведь перед ним не укрепления, которые нужно взять штурмом, а мирный мирок, устои которого надо укрепить. Перед ним не враги, которых истребить надо, а пострадавшие от врагов сироты, которым надо создать спокойные условия жизни.

25 октября, понедельник, утром.

Словом, не удивительно, что боевая Молочник, несмотря на все её старания, всё же не получила награды за боевые заслуги. Наоборот, ей пришлось расплачиваться тяжё-

лой ценой, когда ревизия обнаружила в доверенном ей детдомовском хозяйстве страшные дыры, словно проделанные минами, бомбами: глубокие воронки, — много разорванного, взорванного, изрытого «боевыми» снарядами... Но... —

Здесь идёт ЧЁРНОЕ СЛОВО, из тех, что я давно уже не произношу! Анастасия Цветаева обозначала его буквой «ч».

с ней, с Молочником и с другой подобной посудой. Теперь здесь новый завхоз — полная противоположность прежнему.

Если М. В. Рекрутова (Молочник!) была мужчиной-солдатом в женском платье, то Фёдор Алексеевич является женщиной в военной форме.

Ещё Ильф и Петров удачно подметили, что у всех завхозов почему-то привычка «облекать свои гражданские чресла в военную форму»... (Могу с уверенностью сказать, что новый завхоз не читал не только Ильфа и Петрова, но и вообще ничего, кроме документов.)

Это пожилой человек с испуганным взглядом, с большим носом и в галифе. Фамилия у него какая-то очень умная и замысловатая. Говорит быстро, сбиваясь, и с резким акцентом.

Помнится, он был узбек, во всяком случае, наполовину.

Бегаёт (не ходит, а именно бегаёт) «быстрее, чем заяц от орла», и именно с таким видом, словно за ним погоня.

Запись без чисел.

Помнится, это потому, что был уже ноябрь, а со- бытия приходилось дописывать всё ещё октябрьские.

Вообще весь вид у него был такой, будто он вот-вот замашет руками, замигает глазами и закричит: «Я не браль! Не браль!» (ничего не крал, то есть).

В то же время видно, что человек этот, в общем, неплохой и, может быть, честный, но его нервность действует на нервы, и говорить с ним очень трудно: при первом возражении, несогласии он сразу начинает кричать на вас. И да-

же не для того, чтобы испугать, а оттого, что сам перепуган вашими возражениями.

Работать с ним было бы и легко, и трудно. Он не придирался бы к пустякам, но зато любое самое обычное поручение давал бы так, словно сейчас с ним сделается нервный припадок! Говоря с вами, он пребывает словно в каком-то ужасе: глаза его безумно таращатся и слезятся, большой, словно всегда замёрзший, нос скрипит, вся фигура выражает готовность бежать, бежать дальше, а куда? — Бог его знает!..

Подлая Липа ещё в начале октября, когда он только что вступил в должность, не упустила случая пожаловаться на меня, но он, веря ей, как бы не решался пойти войною против меня. Как бы и сам боялся столкновения. Разумеется, от этого мне ничуть не было легче и спокойнее, тем более что я ни в чём не была виновата.

И всё же — какая огромная разница: новый завхоз и — дед-агроном! Гнусный дед! Одно воспоминание о нём приводит меня в ужас!

Дед! Откуда и куда идёшь ты?
И зачем суровую клюкой
На ходу с такою злобой бьёшь ты
Землю, что сулит тебе покой?

Или сердят эти ароматы?
Раздражает яблонь белизна?
Эх, старик! Цветы не виноваты,
Что сегодня не твоя весна!

Но идёшь ты, вдев цветок в петлицу,
И, кусая в ярости губу,
Бьёшь наотмашь матушку-землицу,
Как надсмотрщик — чёрную рабу.

Надо же мне быть такой злосчастной, что время моей работы всегда совпадает с самой тиранической династией! И ухожу я именно тогда, когда в детдоме начинаются более лёгкие времена.

Кто знает! Может быть, с новым завхозом и очень трудно было бы работать, но уверенно скажу: конечно, не так трудно, как с дедом!

Муки пастьбы и совести

Однажды вечером завхоз прилетел опять. Директор вызывает меня — сказал он таким тоном, будто я не вправе ослушаться.

— Приду, если смогу, — сказала я.

— Не «если смогу», но обязательно! — в смятении и ужасе возопил он. — Рабочих нет, — возмущался он мной, — пасты некому, погода опять хорошая, пасты можно, а при первом снеге меня, так уж и быть, отпустят.

При этом он добавил, что «скоро один коров будем резайт», что это облегчит пастьбу и что — неужели я не пойду навстречу?!

Не будь этих последних слов, я так и не догадалась бы, что ко мне обращаются с просьбой, а не с повелением! — настолько оригинальная манера говорить у этого человека. Но в общем его речи усовестили меня.

В Дневнике следующих соображений нет, но, как сейчас помню, особенно резануло по нервам сообщение, что «один коров будем резайт»! Утешил! Надеюсь, хотя бы не для того они корову резать решили, чтобы сделать мне приятное? — испугалась я. Если именно с этого они (начальство) решили начинать делать мне одолжения, то лучше пусть уж не считаются со мной и дальше, как не считались до сих пор! «Легче будет пасты»? Этак они и остальных коров перережут — чтобы ещё легче было! А я-то ведь ЭТОГО с них не требовала — пусть не при-творяются! Я ведь не говядину нанималась пасты, а живую скотину. На том, чтобы пасты говядину, я никак не настаивала! Но эти мысли свои я не огласила и даже не записала. Так суеверный человек опасается рассказывать страшный сон, чтобы — часом не сбьлся! К тому же я, возможно, подсознанием понимала, что не следует заострять внимание самих убойщиков на их, быть может, ещё и не очень твёрдых намерениях. Это — по части подсознания. СОЗНАНИЕМ же я знала и другое, а именно то, что ни РАДИ меня и ни даже НА ЗЛО мне

детдомовские власти ничего не предпримут и, с другой стороны, ни от чего не откажутся. Что всего для них важнее — это их собственные решения или отсутствие таких — тоже СОБСТВЕННОЕ.

Продолжаю, однако, переписывать свой старый Дневник.

Помочь было — нужно (в пастьбе, конечно, а не в чём-то нелепом!), хотя этот странный человек опять наговорил лишнего: в частности, то, что директор зря «даль» мне расчёт.

Как раз до этого, по дороге в анискинский магазин, я встретила за курганами МОИХ коров.

Я узнала их не столько по расцветке шерсти, сколько по... худобе.

Коровы паслись одни, с ними не было их пастушки — этой отъявленной негодяйки, которая — если верить словам тёти Липы — «нарочно» морила их голодом.

Олимпиада числилась в Детдоме в качестве скотницы.

Теперь их никто не морит, больше того: они сами выбирают, где им пастись, и всё-таки они такие же тощие, как прежде. Что бы всё это значило, уважаемая тётя Липа?

А то и значило, что уже начиналась зима, и трава была кругом жёлтая, как солома, не очень густая, и — как записала я тогда в свой блокнот — ПРИЗРАЧНАЯ.

Коровам давно уже нужен какой-то ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФУНДАМЕНТ. А подобный подножный «корм» теперь годился бы им только на десерт! Ведь это же крупные животные, а не какие-нибудь корненожки: помимо десертных пастбищ, помимо этой бестелесной, бесплотной травы им требуется что-нибудь поосновательнее — сено и комбикорм! А этой мёртвой травы я ведь у них не отнимаю и не отнимала. Но не могла же я ПРИДУМАТЬ для них новые пастбища, если даже за опасным шоссе — их нет! И не могла же я КРАСТЬ для них сено — как тётя Липа КРАЛА У НИХ САМИХ для своего личного козлятника! А куда девали истинный корм остальные власти? Прятали они его, тоже крали, как Липа, или не имели и не имеют — неизвестно...

Ясно только, что я-то, пастух, не обязана была терпеть гонение ещё и за эту чужую вину. Я делала что могла.

День встречи коров с их прежней пастушкой был как раз очень тихим и солнечным. Они мирно жевали выцветшую последнюю траву и — неблагоприятные! — совсем не обратили внимания на меня, проходившую мимо! А я, глядя на них и на мирный солнечный пейзаж, расстилавшийся вокруг, подумала, что теперь пасти было бы не так трудно. И распогодилось, и я почти выздоровела, и... я готова была почти поверить Липе, что трава на курганах (коричневая, как мокрая махорка!) «лучше», чем всюду (хотя говорила она это лишь потому, что на курганах я ещё не пасла, то есть — мне назло)! Теперь я только бы читала, а стадо паслось бы само.

Мечта лентяя о райской жизни? Не совсем так. Скорее — человека, обуянного творчеством. В книгах было для меня всё спасение. Поэтому-то — даже если коровы, лёжа, дремали, а Милка не вырывалась на шоссе и не мутила стадо — поэтому-то мне и не разрешалось читать, а сразу БЕЖАЛОСЬ в дирекцию и ГОВОРИЛОСЬ там, что «она», дескать, «не работает! Стоит — книжку читаеть!..». Не представляю себе — что же я должна была делать при стаде, когда оно спит? Колодцы копать, что ли, вокруг? Или деревья подпиливать? Ещё успею набегаться. Ведь так-то стадо редко «паслось само», а весенне-летние земледельческие работы — те и подавно никогда не делались САМИ!

А потом приходилось почти
По ноябрьскому снегу пасти.

Но Олимпиада и Шура всё равно были недовольны мной.

...Чем хворостиной тыкать в арабески
Зимы, что застеклила в лужах грязь,
И день-деньской позировать для фрески
В дырявых ботах и за зуб держась;

Чем повод к сплетням подавать опасным,
Когда Борей безжалостно суров, —

Он мог бы к пышным пастбищам аркадским,
К долинам райским перегнать коров!

«ОН» — *имеется в виду ПАСТУХ.*

Среди зимы там лето зеленеет,
В снегах фиалка с крокусом цветёт...
А ЭТОТ?! Лучше сам заоченеет,
Чем летний корм зимой скоту найдёт!

А высший результат его стараний —
Среди карандашей да жёлудей —
«Идиллии» его и «пасторали»
В карманах размокают от дождей!

А вообще-то это верно, что пастушество даёт человеку больше досуга, чем почти всякая другая деревенская должность.

Застывшая поза чабана где-нибудь в закатных горах, силуэтом — это ведь ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ поза, а вовсе не какая-нибудь саботажная. Так вот и я не могла порой эту позу изменить, заменить её на какую-нибудь там взметённую — даже для удовольствия замечательных таких зрителей, как Шура Б., Липа А., многие другие... Не могла я — да и только! — взломать многотысячелетнюю традицию даже для всей дирекции, для всей приютской страшной администрации и посёлка — для всей колонии Ланфиер!

Право же, они требовали от меня невозможного! Так что, если бы не дождь, не снег, не град, не бури небесные со страшнейшими молниями и треском деревьев над головой (ведь я, точно король Лир, много недель провела под открытым небом), да кабы ещё не простуды из-за плохой амуниции, да не норовистая корова в стаде, да не непрерывные вылазки врага (в лице всё тех же Шуры Б., Олимпиады А., и всей дирекции, и всей приютской администрации, и всей колонии Ланфиер), в пастухах можно было бы и вправду жить припеваючи.

Потому-то и придумывались для меня самые изощрённые пытки, что ТЕОРИЯ именно такова. По ТЕОРИИ я должна была блаженствовать, вкушая отдых

в холодке или на припёке, как пастушка Ватто. (Отсюда был и иронический замысел цикла «Идиллии и пасторали».) А как только, бывало, распогодится и стадо поведёт себя мирно (в чём никто из моих боссов, похоже, не был заинтересован!), и я действительно, а не только ПО ТЕОРИИ, начну отдыхать, — так сразу же летят разные типы доносить начальству, что у меня силуэт не взметённый, поза не работающая, а тунейдская или что-нибудь в этом роде... Того было хуже, когда, кинувши мостом-радугой взгляд через всю плантацию, издали замечали они, что я, стоя у берёз или сидя на пне, позирую для фрески ещё и... с книгой в руках! Как я уже обмолвилась выше, это было для них самое невыносимое. Частенько приходилось прятать книгу. Но это было единственное, что я могла сделать для моих соглядатаев и — в пользу их новаторски-смелого пересмотра задач мирового пастушества. Ведь на весь этот пересмотр они пошли ДЛЯ МЕНЯ!

Но вовсе отказаться от чтения — даже для них! — я не могла бы. Меня осаждали тогда образы Джека Лондона: Мартин Иден, профсоюзы, скэбы, рабочая борьба за права, стачки в Окленде из «Лунной долины»... Не без влияния этих американских теней я и стала в рисуемые дни много воображать о себе, как РАБОЧАЯ СИЛА (одна из сорока лошадиных сил старинного паровоза)! Помня и о своих летних трудах, куда более тяжёлых, чем пастьба, я преисполнялась гордостью, задором и презрением к моим гонителям.

Возвращаюсь, однако же, к выпискам из самого Дневника.

...Пойти им навстречу? Но оскорблял тон завхоза. Конечно, я только пастух (сознаю свой страшный «порок!»). Но с каких пор овцы стали командовать пастухами? Если бы разоралась Молочник, я не так удивилась бы: ведь наш Молочник без гнева и яда то же, что настоящий фарфоровый молочник — без молока. А этот! Он ведь, по всей видимости, сам боится всего на свете.



*«Сие лицо (к моей большой крчине)
От нас дарами кормится. С даров же
Оно, чем здравше, тем неизлечимей.
А чем неизлечимей — тем здоровше».*

Пошлость.

Рисунок Новеллы Матвеевой. Конец 1940-х гг.

А мне он в своём безапелляционном крике принёс обломок Детдома, от которого я так мечтала отделаться, забыв об этой территории за чтением и домашними хлопотами. Он мне напомнил, что страшный сон не был только сном. Хотя в море его окриков и приказаний плавали иногда отдельные просьбы.

Как только за новым завхозом закрылась дверь, передо мной прошли вереницы «приятных» образов.

Гнусная тётя Липа, багровая от злости, с выскакивающими из орбит глазами, с разинутой пастью, изрыгающей грязнейшую матерщину. Не менее гнусная тётя Шура Б. с кошмарно-холодным совиным взглядом, с упорной, равномерной, неуклонной, неизбежной клеветой на языке, с пальцем, многозначительно поднятым и в ритм ворчанию рассекающим воздух. Новая директорша — бронированный утёс — лицо со взглядом, тяжёлым, как копыто. Длинный, как жердь с глазами, и словно всегда готовый в драку старик Е. И., изрыгающий свирепую, жёсткую, трескучую матерщину. Дядя Б. В., равнодушный ко всему на свете, кроме чужой собственности, и тоже весь начинённый веской, злой, волевой, так сказать, матерщиной. Дядя И. — подлиза и шкурник, похожий на бритого сатира, — с его клейкой, вялой, самую отвратительной матерщиной. Детдомовские сироты, стреляющие матерщиной при всяком удобном и неудобном случае. Неприветливая, неудобная, осыпанная матом и щепками детдомовская территория; интернаты — жилища сирот, где так и гуляет, бродит нежилой дух; интернаты, всегда тесно населённые, но так и не обжитые за множество лет.

Младшие воспитанники, по-арестантски одетые в серое (с гладко выбритыми, словно у новобранцев царской армии, головами), бегающие под дождём по лужам — без галош, без пальто, без шапок... С носами — всех цветов радуги; с синими, сиреневыми, белыми, голубыми от холода губами.

Кухня, полная воров и жуликов, запихивающих куски под халаты и фартуки, — кухня, обращённая к сиротам своей наиболее невкусной стороной. Кастелянная с решёткой

на окне, напоминающей тюремную, — кастелянняя, откуда сироты получают свои шапки и пальто не тогда, когда им холодно, а — когда это будет разрешено начальством и подписано его холодной рукой. Кастелянняя, где, в тени тюремной решётки, на все приютские воротники ставятся клейма — то есть имена и фамилии обвиняемых в сиротстве, уличённых в беззащитности.

Контора, похожая на холодильник, где, под взорами администрации, можно бы делать мороженое! И где кое-кто, однако, ухитряется нагревать руки. Контора, куда за собственным честным заработком идёшь, как за смертным приговором.

Холодные коридоры с безнадёжно длинными половицами. Холодный вестибюль, где с боков тяжёлого старинного зеркала всё, как прежде, сидят две бесстрастные деревянные совы. Только раньше они были чёрные, а теперь перекрашены в казённую светло-коричневую краску, какой красят двери.

В Детдоме произошло множество перемен. Одни начальники полетели вниз, другие взобрались наверх. Но сироты всё-таки остались на прежней точке — без шапок, без пальто в непогоду. Без хороших руководителей. И при одном взгляде на двух перекрашенных сов, мрачно сидящих на прежнем месте и по-прежнему бесстрастных, вам невольно напрашивается мысль, что у этого мирка переменилась лишь поверхность, дно же осталось нетронутым: никто не попытался проникнуть в глубину. Система управления перекрасилась в другую краску — только и всего!

Впрочем, не будь даже всего вышеописанного, для сомнения мне хватило бы одной только мысли: пойдя я им всем навстречу — и опять придётся видеться с подлой Олимпиадой! Может быть, как раз перед моим уходом она готовила мне очередной номер и никак не ожидала, что я от него вернусь! Может быть, вернувшись на работу хотя бы на несколько дней, я ещё испытаю весь яд прощального «привета».

Конечно, их организация теперь не устроит мне сцены НИПОЧЕМУ: «отошла коту масленица». Но ведь Л. поста-

рается возложить на меня СЕРЬЁЗНУЮ вину! — сделает что-нибудь, уморит корову... Да мало ли что! Со стороны такие опасения могут показаться смешными, но хорошо смеяться тому, кто не знает подлой тёти Л.!

Пойти им навстречу? А они — шли мне навстречу? Когда у меня болел зуб, дали они мне хоть один выходной? Мой законный выходной, уж не говоря ни о чём другом?

Ранней осенью я работала по девять, по десять часов. А когда дни стали короче и перерабатывать уже стало невозможно, допустили ли они, чтобы я недоработала на десять, на пять минут? Пошли ли они мне навстречу?

Нет, не пойду пасти!

И в то же время... помочь нужно. Если в общественном порядке — почему не помочь?

В таких-то колебаниях прошёл вечер. Я была уже готова к новому испытанию. Но, во-первых, проснулась на следующий день поздно, а во-вторых — у нас днём была основательная стирка. Долго меня потом мучила совесть, но — с уверенностью скажу: как бы ни было, а коровы не будут в стойле стоять. Найти для них если не пастуха, то хороший корм — обязанность завхоза. Потому он так и мечется!

(Он метался ещё и потому, что не мог ИЛИ НЕ СМЕЛ прекратить растаскивание казённых кормов тётей Л. и другими сотрудниками для нужд их личной скотины.)

Ложь в обход и напрямик

*Что без страданий жизнь поэта
И что без бури океан?*

Лермонтов

...Это было в первый день октября, а может быть, и во второй. Не могу теперь вспомнить и того, по какой причине тогда на меня напала тётя Л. Причины, главным образом, всегда были только две: либо я слишком «поздно» загнала коров в стойло, либо слишком «рано».

Быть может, я и впрямь плохо угадывала время. Но ведь, как говаривала героиня одной моей длинной сказки, — у меня не было часов ни на руке, ни на башне! Зато у меня как большой поклонницы старинных английских и шотландских баллад частенько вертелись в памяти остерегающие стихи:

О Мери! Поскорей
Гони коров домой,
Гони коров домой,
Гони коров домой,
Они на дюнах Ди!

Она пошла одна,
И ветер под горой
Был холоден и дик...

К слову, мне вообще нравилось — очень! — сравнивать себя с разными персонажами, мысленно погружаясь в другие века и переносясь в другие местности. Почему-то это помогало преодолевать напасти! Но возвращаюсь к моему Дневнику.

Если уж тётя Л. начинала орать, то попутно извлекала ещё одну запасную ложь: будто я опять «заморила коров голодом». А как я их могла заморить? Ведь не я же, а как раз сама тётя Л. расхищала у них корма! И чем я могла накормить их в полях, кроме того, что они находили сами?

Бить тётю Л. «её оружием»? Но ведь это значило бы — отпускать ей такую же матерщину, так же гнусно, по-свински, визжать, так же выкатывать глаза — с выходом их из орбит на полметра вперёд, как бы у чудовищной лягушки.

К тому же — хотя, по причине зубной боли, я повязывала платок чуть ни до самых глаз (что придавало мне сходство с немецким средневековым рыцарем, до глаз закованным в броню!) — мои боевые доспехи только вредили мне: ведь не было у меня ни меча, ни палаша, могущих подтвердить моё рыцарское звание.

В жаркий полдень на площадку замка
На турнир два рыцаря явились
И сошлись для страшного сраженья:

Мрачный рыцарь Чёрного Забрала
И горячий рыцарь Красной Розы.

В душном зное и в тяжёлых латах
Рыцари совсем изнемогали,
Пот катился с лиц... Но лишь друг друга
Хмурые противники узнали —
Ненавистью вспыхнули смертельной.

Рыцари приподняли забрала,
Поклонились сборищу учтиво,
Мрачно обменялись именами.

Было жарко, нестерпимо жарко!
Жарко от доспехов перегретых,
Жарко от убийственного зноя,
От взаимной ненависти жгучей!

Только шёпот стихшего народа,
Шелестящий шёпот одобренья,
Только свежий шум рукоглексаний
Рыцарей горячих остужали,
Словно в зное — листьев мириады.

Толпы стихли. Брошена перчатка!
Два щита приподнялись, блеснули,
Два меча зажглись ужасным светом.
Стал ещё надменнее, бледнее
Мрачный рыцарь Чёрного Забрала,
И под сталью вспыхнул раскалённо
Справедливый рыцарь Красной Розы:
Что костёр (закованный морозом
В ледяные латы) — запыхал он!

...А за что те рыцари сражались —
Не узнал никто и не узнает:
Долго люди поединков этот
«Поединком тайны» называли...

*На деле всё обстояло конечно же немножко не так!
И площадкой перед замком был всего лишь двор перед ко-
нюшней и стойлами, где всечасно звучало самое, можно
сказать, избранное из брани, истинная конюшенная
классика! Рыцарями же являлись — кто и кто? Да не
кто иные, как Свинарка и Пастух — прямо по названию
знаменитого в те годы совбурского фильма! И Свинарка
(то есть, Л.) жестикулировала у закутов. И Пастух
(то есть я), физиономию закутав ради большого зуба, —*

подгонял коров к стойлу и задавал им поило, не отвечая на брань. И оба работника легко могли бы, видимо, отснять тогда для рекламы «Свинарки и пастуха», дабы дополнительно высветить всю правдивость и весь реализм этого документа эпохи!

Поведать ли о сомнениях, что одолевали меня на том поприще дальше?

Таким образом, «защищённым» оставался только мой язык: единственное моё оружие — он должен был печально ржаветь в ножнах под свист враждебной стали! Жалкое тряпичное забрало! Оно не спасало ни от внутреннего врага (больного зуба), ни от внешнего — тёти Л. Наоборот, оно обезоруживало меня, лишая языка, верного меча моего. Собственно, меня побеждала мельница! Впрочем, способная измолотить в муку любые доспехи! Знай моя преследовательница мысли мои, она, вероятно, осталась бы ими довольна. Но её глаза, вырывающиеся на полметра дальше носа, всё-таки дальше носа не видели, и моё наружное презрительное спокойствие — в чём-то намеренное, а в чём-то и вынужденное — она принимала за чистую монету, и это только подливало масла в огонь...

До этого случая если я и спорила с ней, то мои возражения были сурово-сдержанны. Я не знала, что, игнорируя своего врага, этим-то и довожу его до наивысшего остервенения! А каково ей теперь, когда я **ДЕЙСТВИТЕЛЬНО** не могу ей ответить ни слова? Когда я вообще молчу? Это так разнуздало тетю Л., что, в упоении неограниченной властью, она уж совсем забылась! Напустилась на меня с удвоенной лютостью, но, понятно, отнюдь не по-рыцарски.

Обычно в таких случаях я уходила домой, вся увешанная матом, думая под ненастьем только о том, как бы поскорее попасть под крышу. И предоставляя противнику праздновать матёрную свою победу на освободившемся поле битвы. Как раз сюда подошли бы мамыны и мои вариации!

МАМА:

И, не имея к тому мат-знаний,
Позорно пал на поле брани.

Я:

И, не имев матёрных знаний,
Пал на поле матёрной брани.

«И растерял при общем смехе / Матёрно-бранные до-
спехи», / «На поле брани пал матёрно». И так далее. Но тут
мне наконец надоело моё преступное молчание (принимае-
мое врагом, наверно, за «знак согласия!»), и я решила ос-
вободить Л. от этого крупного заблуждения во что бы то ни
стало! Больше не думая о больном зубе, не сносящем хо-
лодного воздуха, я отвела «забрало» (или — как там называ-
ется штука, закрывающая рыцарю рот?) и сипящим от про-
студы голосом с возмущением отпарировала удар.

В ответ на ливень словесных помоев, в приступе злости
и отчаяния, я назвала-таки Л. «пузатым князем тьмы».

*«Не ругайтесь чёрным словом, — со страхом говори-
ла мама. — Вы накликаете ЕГО, — а ОН и так всегда
близко! Но — оттого ли, что «он» (в лице тёти Л.) при-
близился теперь ко мне уж совсем почти вплотную или
оттого, что наказания родителей вообще долго не доходят
до слуха детей — я употребила-таки, защищаясь, чёр-
ноё слово. Утешаясь тем, что зато оно якобы не похаб-
ное, я двинула его, конечно, прямым кратким текстом,
безо всяких «князей». Но теперь, когда мой взгляд на ве-
щи переменился в пользу родительских старых преду-
преждений, я — ничего в дневнике не меняя — всё же за-
менила (в виде исключения) «князем» словцо, которое
Анастасия Цветаева заменяла буквой «ч». Тоже, видно,
не зря!*

Не правда ли? Учитывая все обстоятельства, я могла
позволить себе такую роскошь! Это ведь не матерщина, хо-
тя и не строка из «Песни песней». Конечно, у Л. передо
мною то преимущество, что её словарь гораздо богаче. Но
там, где у неё был выигрыш по богатству, я брала убедительнейшим постоянством. Она награждала меня гнусней-
шими прозвищами. «Князь тьмы пузатый», — отвечала я.
Она свободно перебирала весь жаргон. «Князь тьмы пуза-
тый», — слышалось в ответ. Новое мерзкое прозвище шлё-

палось с неприятельского языка. «Князь тьмы пузатый» — только и всего. Никаких доводов, опровергающих обвинения и разоблачающих ложь: «Князь тьмы пузатый! пузатый князь...»

Было бы ошибочным думать, будто я специально остановилась возле Л.: война шла лишь до тех пор, покуда коровы не были загнаны в стойло и привязаны. А лязг оружия лишь сопровождал эту мирную церемонию.

Я не здесь, не здесь!
Я вас не знаю.
Я на дне растаявших столетий,
В тёмной глубине Средневековья.

Больше не хочу я к вам подняться —
Я хочу остаться здесь навеки.
Я не знаю вас, не вижу и не слышу,
Только слышу чей-то голос нежный,
Голос, от волнения дрожащий:
«Плачут потускневшие виолы».

Сцена у конюшен будет неполной, если я умолчу о приютских детях, присутствовавших на турнире. Л. постоянно собирала их возле конюшен и стойл, дабы подтянуть их «на счёт словесности», а заодно обучить их всему, чего сама она не умела, то есть: запрягать, распрягать, седлать и рассёдлывать... И, делая вид, будто «учит», незаметно всю работу она переваливала на детей. (НЕЗАМЕТНО — это значит с помощью мата.)

Таким образом, ребяташки в прямом смысле ВОСПИТЫВАЛИСЬ НА КОНЮШНЕ.

В виде гонорара они получали от добренькой тётки позволение курить, плевать с цыканьем сквозь зубы на большие расстояния — чуть ли не на противоположный берег и, как я уже намекала, развивать язык соответственно близости свинарника и конюшен (свинарника же в особенности!).

Пройти мимо этого Кембриджа немислимо было, не вспомнив о топорах, что обыкновенно развешивают-

ся в спёртом (то есть украденном, то есть от слова «спереть») воздухе. В воздухе, который приютские бидлы (рифма — быдло) всегда, в крайнем случае, успевают заменить АТМОСФЕРОЙ.

Л. получала две зарплаты: и как свиляр, и в качестве конюха. И это было, пожалуй что, справедливо, потому что визжала она, как свинья, а ругалась, точно конюх. В чём-в чём, а в этом она обе должности оправдывала с лихвой.

Натурально — ребятишкам льстила обстановка свободы нравов. К тому же, обучаясь «языку» у конюха, не умеющего запрягать, они ощущали себя великодушными защитниками слабых и (в промежутках между бранью) презрительно охающих. Им было даже выгодно глядеть сквозь пальцы на неумелость Л. — умелые-то, возможно, не дали бы им ни запрячь, ни выругаться!

Одного Л. никак не могла своим верным ученикам втемешить, одного они не понимали: за что они должны ненавидеть местного пастуха? И открыто пренебрегали этой дополнительною обязанностью, как самой неинтересной.

Но я остановилась на том, как — «Лязг оружия лишь сопровождал эту мирную церемонию».

И когда всё необходимое мною было сделано, я не держалась у стойла ни одной лишней секунды.

Уходя в надвигающуюся холодную ночь, я ещё долго слышала позади себя дикие задыхающиеся крики.

Проходили дни. И каждый день я думала: «Завтра я сама приду пасти». Но пасти не пришлось.

Как-то поздно вечером, возвращаясь домой через территорию Детдома, мама встретила там вечно бодрствующего завхоза и говорила с ним о моей пастьбе. Оказывается, мои услуги уже не требовались: завхоз сдал стадо колхозному анискинскому пастуху.

Не говорила ли я, что коровы не останутся в стойлах?!

А всё-таки — что наделал безвременный снег! Выпал — и тут же растаял, а всех обманул, всё переиначил!

На этом и закончилась моя аркадская идиллия.

Сентябрь и октябрь 1954

Послесловие

Да, нелегко бывало. Но ведь было не только плохое. Ведь кроме хищных молочников и прочих уголовных паяльников; кроме самодовольных растратчиков и хитителей, вечно безнаказанных; кроме страшных рецидивистов, диккенсовских приходских бидлей и распушенных колчеданских фурий, под видом грубоватого, но честного «простонародья» навалившихся на сиротский приют; кроме всегдашнего напряжения, вечного — и вечно бесполезного! — бунта, конюшенного классицизма и «турниров» — было ведь и другое. Была молодость! Были наброски стихов и прозы, рассованные по карманам. Была пленительная цветущая местность Молодой Колонии! И, наконец, великие планы! Я собиралась, например, поступить в мастерскую вывески или сделаться надомницей — разрисовывать рожицы куклам для игрушечной фабрики. Мечты, мечты! Этим непомерным притязаниям не суждено было сбыться. «Пойди туда, — не знаем куда, и принеси то, — сами не знаем — что», — говорили мне самые разные люди. И власти Детдома (потом ещё некоторое время) не отпускали меня восвояси.

— И всё-таки хорошо, что ты в коллективе! — говорил отец.

— Па, какой же это «коллектив», если это шайка разбойников?

Как тут не вспомнить и кое-что из испанской классики: «Это не волшебники, о сеньор, это стадо баранов!» Но отца невозможно было переубедить. Это был тот же Дон Кихот! — один из последних романтиков нашего трудного времени.



Дама-бродяга

Повесть

I

*Но сей пожар в груди — тому залог,
Что некий Карл тебя услышит, Рог!*

Марина Цветаева

Как ни старайся автор быть суровым, свободным и пересмешливым, всё равно, — если рассказывает о детстве, — нет-нет да и увязнет в умиительностях, нет-нет — и запутается в ползунках телячьих нежностей, не тех, так других. Что до читателя, то ведь и он наверняка устаёт от этого безостановочного пряничного бильярда с непрерывно катающимися в его (читателя!) глазах колобками чистого ребячества. К тому же и улыбающимися, если так можно выразиться, одинаково пеклеванно и — с ямочками на щеках... Никакого разнообразия! И хотя простодушнейшие колобки эти, то направляемые кием биллиардера, то вновь ускользающие от всякого умозрения, на поверку оказываются подчас глубокомысленнее, чем от них ждали, и даже, как заметил о других героях Иван Киуру, «хитрее, умнее, —

Могло ли — что видно ими — хитрому греку
Даже присниться?» —

всё же мне захотелось приостановить нахлынувшие образы детства, отшагнуть временно в сторону от их колобковых позиций и от их пеклеванных улыбок, дабы затем, оборотиться и воротиться, взяться за старое с новыми силами.

Итак, беру себе отпуск от непрошенных воспоминаний полумладенчества, признаюсь, осаждавших меня в последнее время, а в качестве законного отдыха от них избираю пока что путь по ограниченным пространствам взрослой

жизни... Хотя, впрочем, и то верно, что в трудовых буднях человек (иной раз) — что сыр в масле! А на отдыхе-то, на курорте — ему, наоборот, — денно и ночью тачку с камнями толкать приходится, подвергаясь к тому же издевательствам доброго десятка надсмотрщиков! Нарочно кем-то подобранных по признаку самой что ни на есть изобретательной лютости и почти что ненатуральной беспощадности!

Во всяком случае именно такой сюжет подсказывали мне всегда мои сны (разве сон не сокровищница сюжетов?), но, как это ни странно, в точности так же было с нами и наяву... О сновидении, странно-последовательном сновидении из взрослой жизни и пойдёт здесь, если позволите, разговор. Но сначала — два слова о той действительности, что навеивает сны, каковые бы наверняка не могли «хитрому» (древнему?) «греку даже присниться»!

В доме отдыха злейшие надсмотрщики это те, которые вам отдыхать не дают. А в Доме творчества лютейший тот, который, наоборот, надсматривает, чтобы вы ни в коем случае не поработали. Чтобы вам работать даже в голову не пришло. Нюжды нет, что вы за это вперед заплатили и даже, никак, приехали специально для этой цели?

У нас с Иваном Семёновичем в распоряжении одних только основных брежневистских соглядатаев (мелких и рассыпчатых я уж и не считаю) — всегда было до дюжины голов на сезон. «Богат и славен Кочубей!..»

(Не забудем, кстати, что действие происходит всё ещё наяву — я просигнализирую, когда сон начнется.)

Не будем (также) ни на кого пальцем указывать и дадим нашим принуддобрвольцам условные клички.

Господин Грегор Идельфонсе Отребьев (от слова «отребье», а не «тряпье», потому — с тряпьем у нувориша всегда всё в порядке), держатель подпольных гаремов и воспитатель подрастающих поколений (подросли уже!), возглавлял благородное движение боевых дружин против меня и моего мужа.

Верный ленинец и сталинист-хрущёвец по брежневизму, подобно новому Ариону, всплывший, взлетевший

(правда, никогда не тонув!) на гребне новых дней и, с возгласом «Наконец-то!», радостно шлёпнувшийся в самую середку реки Перестройка, этот-то вот Отребьев (он же — князь Тьмышкин) производил те взлёты свои буквально из-под земли! — подобный причудливой череде нефтяных фонтанов, и неожиданный, точно оклахомская скважина... А ведь так-то — весь век ползком: от большевистского подполья и до подпольного бизнеса с примыкающими сюда же личными подземными домами свиданий, о которых мы здесь уже сказывали, и, — как подытожил впоследствии Иван Семёнович, «с личными подпольными курортами»... Но то-то я и дивлюсь: да неужто же там, под большими почвами, не нашёл этот бедный ребёнок Подземелья ничего лучшего для своих наблюдений и — политически — ничего подозрительнее, чем такие легко обозреваемые «объекты», как мы? К тому же ведь и ходили-то мы всегда по земной поверхности, а не под нею, почему и подземельщикам с нами бы не должно было быть интересно!

(Всё это странно? О, понимаю. Но нет: это ещё не сон. Это всё ещё ЯВЬ продолжается. Когда будет сон, — я свистну, себя не заставлю я ждать!)

Приспешники Гришки Отребьева, коим характеры, кажется, заменяла их святая общая цель, были под стать своему начальнику, и что ни должность, то синекура! Теперь они дружно изображают существ и созданий, якобы пертерпевших от всех режимов. Они сделались вдруг так мило аполитичны, что и не вспомнят небось: а по какой же это такой политстатье (совсем почти что ещё на днях!) вели они охоту на человеков? И так преданы капитализму (тут они, впрочем, впервые правдивы), что и сказать невозможно. Но если наживаться вдруг почему-нибудь станет невыгодно, они и этому своему кумиру, — знаю! — изменят, потому — им не привыкать-стать!

Ах, боюсь: меня опять посчитают злою! Что, по мнению некоторых людей, слишком не соответствует моему, творчески-беззащитному, облику и нежной, как фиалки, манере письма... Что ж. Если я так беззащитна, как это кажет-

Так как же они всё-таки догадались, что за меня им ничего не будет?!

Впрочем, они уж постарались убавить и шум, производимый лилипутскими тиражами небольших книжек моих. А Ивана Киуру — и вовсе не допустить до печати с её спасительной гласностью. Теперь никакая наша жалоба на завистливых проходимцев не прозвучала бы авторитетно. Так, заведомо приготовив нам отнюдь не такие места, где нас будут выслушивать, они заранее давились от смеха.

И вместе с тем... они явно боялись нас! Казалось, они нутром чуяли, что мы разгадали бы их в любом случае. Ну, так ведь и то сказать!

За одно лишь выраженьё
на лице его, — под стражей
Продержала бы я шельму
всё оставшееся лето!
Пусть он лучше не выходит,
пусть не портит мне пейзажей...
(«В том лесу...», 1980-е гг.)

И однажды отребьевцы вкупе со своими аляповатыми мамзелями и трепетными прихлебателями заплели против нас с мужем здоровеннейшую кознь, — очередную, не первую и не последнюю, но тоже очень внушительную. Им, должно быть, опостылело наблюдать, как мы, даже на ходу, на прогулках, всё что-то сочиняем! Статочное ли дело — для Дома творчества?! И на этот раз захотелось им (для разнообразия) на веки вечные лишить нас путёвок — сразу во все Дома творчества, сколько их ни есть.

Сказано — почти сделано. Для начала по кругам и округам был пущен слух о наших с Иваном Семёновичем якобы широких буйствах на почве пьянства и наркомании! А लेकर (для отребьевцев свои в стельку) сидя в Москве и радостно потирая ладшки, заведомо поддержали эту удачную мысль странствующего туда-сюда клуба «весёлых и находчивых». Для этого предприимчивым эскулапам даже не

обязательно было встречаться с нами. И — «пошла писать губерния»! Тут впрору было последнего юмора лишиться, а не то что сна, аппетита и охоты к творчеству! Но —

Не поддавайся опасным бредням;
 Спи ты, спи, неусыпный страж!
 Двери же старые
 Утром бледным,
 Чтоб не скрипели, —
 Смажь!

В жизни, пожалуй, не видывала такого мужского типа, который бы выпивал меньше, чем Иван Семёнович! Ведь же любой на его месте запил бы, как лошадь Мюнхгаузена! И осудил бы зафлажкованного человека за это разве что распоследний палач. Вообще-то и мне полагалось бы давно уже спиться с кругу! Но моя транспортная болезнь с её неизбежными укачиванием и пльвучестью заведомо исключает всякую возможность (к тому же и неприличного для нашей сестры!) поклонения Бахусу. И, кстати сказать, антивакхическую природу болезни Меньер (*моей* болезни!) лучше всех должны были знать развесёлые обманщики Гиппократы, — те, в стельку свои для отребьевцев, медики, что так смешливо согласились увязать и меня с «Пьяной горечью Фалерна»! Как всегда, плуты скрыли от общества, что именно им, а не мне «председательница оргий» Постумия что-то такое «велела»! И ведь это именно о них, — в стельку-стёклышках, стеклянных огурцах и непробудных трезвенниках, — я даже стих в ту пору составила:

Возвращаясь в родные шпинаты,
 Не пинай в огородах томаты!

Что же до Ивана Семёновича, нервы его были уже настолько расшатаны, что даже маленькая рюмка коньяку или пива могла бы привести его к срыву, коего от него и так слишком нетерпеливо ждали. И даже, можно сказать, требовали! О, ему никак нельзя было пойти навстречу этому скромному соцзаказу или, так сказать, пожеланиям трудящихся! К тому же, если бы загнанный человек съездил ко-

го-нибудь из них по физиономии (хорошо, что этого не случилось!), никто не поверил бы, что это от маленькой рюмочки и великой травли (а не от маленькой травли и полуведра!), и клевета полностью восторжествовала бы под лозунгом: «Ага?! Что мы вам говорили?!»

Нерв звенящей натянут тугою струною
И дрожат на нём горькие слёзы, —

записывал тогда Иван Семёнович (разумеется, по другому поводу, так как презренные поводы его перо не обслуживало).

...То не Лорки ли песню они отразили
И трепещут, сорваться готовы?
Не сорвутся. Вы соли их не раскусили.
И подумали вовсе не то вы.

Срывы бывали. Но, конечно, значительно реже, чем их малевали. Я могла бы пересчитать их — за долгие времена — по пальцам одной руки. Но они были очень *страшны*, так как вызывались каким-то совсем особенным случаем... Так было, когда мою книгу «Река» отпечатали мелким комментаторским шрифтом. (Тщетно я заверяла Ивана Семёновича, что это не есть ещё *шрифт расправ*, что это случайность!) Так было, когда в уютном домотворческом клубе мы просмотрели с ним американский фильм «Лихорадка на белой полосе» и когда он справедливо углядел в этой киноистории разительное сходство с нашими с ним обстоятельствами.

...Боссы-коррупторы и разложенцы по ходу сюжета фильма всей кодлой преследовали двоих ни в чём не повинных молодожёнов. (Вот только в *честности*, правда, повинных: что было, то было!) По окончании фильма Иван Семёнович встал и, не думая об опасности, с этим связанной, степенно, большими, графически чёткими шагами направился прямо в презренный (потому что отребьевский!) бар. Лицо его было бело как мел. Я никогда не забуду *ужаса* этой минуты.



«Инвалида посетил
Во саду я:
Отсидил его костыль
По саду я».

Клевета.
Рисунок Новеллы Матвеевой. 1950-е гг.

II

*А будете слишком строптивы, —
 Ну что ж? —
 Произведем нажим!
 ...И прямо на этом слове
 Кончился тот режим.*

Разумеется, мы периодически и возмущённо жаловались на террор в разные писательские инстанции.

Но не было в мире такого угла,
 Где жизнь их удачно сложиться могла,

потому что «от Москвы до Бреста» не было «такого места», где неугомонные кафкианские Проходимцы не побывали бы раньше нас...

Нескрываемо надвигалось на нас выселение (а лучше сказать, так целое *выдворение!*) — ни с того ни с сего и ни за что ни про что! — из Дома творчества; только потому, что гласно-чиновным (а негласно — уголовным) типам, расстреливающим поселковых собак и считающим всякую территорию своей, требовалась новая развлекаловка.

Встречая нас (без свидетелей) на дорожках писательского сада, тьмышкинцы неинтересно, негибко паясничали, шутовски-близко засматривали нам в лицо, почти профессионально играли на губе и чуть только язык не выказывали (о, милые крошки!), чтобы, миновав нас и обернувшись, заготовить нам вслед громко и нагло. «Не вздумай с ними связаться, — потихоньку предупреждала я Ивана Семёновича при их приближении. — Им ведь того и надо!» «Выпрямись! — отвечал мне он. — И не вздумай уступать им дорогу!» Их же — одаривал таким взглядом, что (надобно отдать им должное!), не выдержав, они отводили взоры...

А жизнь в Доме творчества текла своим чередом. Все здесь видели нас постоянно, — никому и в помысел бы не вошло, что мы какие-то «буйные»... (Разве про себя «буйные»? Мысленно? По секрету от всех?) Повторяю: кроме преступно упорного желания работать, мы ни в чём не бы-

ли виноваты. А вместе с тем в нашей истории было что-то болезненно препятствующее жалобе и огласке.

Общий, жеманно интонированный, гул в столовой за трапезой не впускал в себя истинную реальность с её возможным неожиданным ропотом. Возмущение, негодование (если по живому, а не по книжному поводу) воспринимались как бестактность. Люди так боялись уронить своё достоинство, словно оно у них было стеклянное! При том, что непристойность какая-нибудь вовсе не считалась у них нарушением правил светскости; даже дамы (очень многие!) встречали явную сальность воркующим благосклонным смешком... При случае же и сами не прочь были запустить в оппонента увесистым утыгом матюга! ...Словом, наше положение походило на один из тех сиротливых кошмаров, в которых вы вроде бы и на людях находитесь и в то же время одни.

И вдруг... нас с Иваном Семёновичем осенила идея! Господи! Да ведь не все же такие, как Тьфу-Кха-пхчинг или Аделаида Секир-Башка! Даже здесь, в писательской среде, обретались всё же и порядочные люди! Так почему же мы не обращаемся к ним? В «Лихорадке на белой полосе» за тех двоих вступился наконец Профсоюз, — долой же страх последнего отвержения! Правда, я давно поняла: чтобы тебе помогли, надо делать вид, что тебе хорошо... Или, хотя бы, не до конца плохо. (Кто станет помогать, например, бродяге, замерзающему на мостовой? Никто!) И всё-таки огласка наших бед — назрела! И где же «наша не пропадала»?! Как шутил (цитатно) Иван Семёнович: «Пролетариату нечего терять, кроме своих цепей».

И вот мы с ним создали специальный лист (по его слову — «Да-цзы-бао»), вопрошающий напрямик: замечались ли за нами когда — наркомания, пьянство, буянство? А так же другие какие поступки, несовместимые с нашим пребыванием в государственных учреждениях? И что же? Документ этот, подкреплённый множеством подписей изумлённых, возмущённых, негодующих, гневных; подписей, почти восхищённых неожиданностью абсурда, происхо-

дившего с нами; подписей, порою снабжённых смешливыми и развёрнутыми комментариями, — документ этот, будучи подан в Союз писателей, — вдруг развеял параноидальные мифы, разбил злые чары. И, глядишь, поотстал от нас наш неустанный, перемигивающийся и пересмеивающийся, непрощеный и кривоногий конвой.

Но долго воздухом свободы нам дышать не пришлось. «Правда неправдоподобна», — сказал Мопассан. И для нас продолжалась реальность, которая зыбче, но и шибче, уродливее, дичее и невероятнее всякого сновидения.

В недрах брежневизма люди, видевшие и фашизм, почему-то перестали верить, что на неудобных-то и теперь можно наезжать, что можно сталкивать их (упаси Бог!) на полном ходу с поездов или, на «слабó» заманивая за углы, устраивать им «тёмную» (после которой *светлой* уже не бывает). А ведь с человеком уже и тогда что угодно могли проделать, например, *покончить его с собой!* Потому — «не возникай!»

Таким сюрреалистом будь,
 Таким кубистом,
 Чтоб не покончили тебя
 Самоубийством!
 («Выбор профессии», 1971)

В моём истерзанном воображении Иван Семёнович, — как человек бесстрашный и слишком неосторожный, — при всякой его отлучке из дома погибал тысячу раз! Всего не обскажешь и всего не обхватишь, но дело усугублялось тем, что, по отсылке письма, здесь названного, в Союз писателей нам с Иваном Семёновичем дали *беспрепятственное продление любых путёвок в любые дома творчества!* Недолго же довелось нам пользоваться и этой льготой, — за нами она осталась лишь на бумаге. Но весть о ней пребольно ударила по головам весь всполошившийся отребьевский стан. Она не могла не задеть Проходимцев, не подлить масла в огонь их ярости. Как?! Всем коллективом, усерднейше пробиваться к единой цели, а прийти — к другой, и даже к совсем противоположной?! Куда в прорву ухлопали столь-

ко трудолюбия?! И других добродетелей? Словом, я не могла не знать, насколько опаснее против прежнего сделалось для нас ожесточение негодяев, потерпевших фиаско, но остающихся на свободе...

Вот почему — из Москвы ли на Сходню, из Сходни ли в Москву, или в Дом творчества, или из Дома творчества, или — куда бы то ни было, я — в мирное для всех время — провожала Ивана Семёновича как на фронт! Как на войну, видную, казалось, *нам одним, слышную — нам одним*, тайно объявленную — *для нас для одних*. Я боялась, что его... *покончат с собой!*

Вандалитет «уходит в горы»? Как бы не так! — вандалитет разделяется. Одна половина его всё ещё усмехалась, — все ещё знала, что лжёт. Другая — уже не совсем осознавала это. Почти верила уже и сама в собственные басни. Потяжелевшим взором следила за нами. И, помрачнев, более не усмехалась.

Вот как бояться маленькой струйки
Мощные воды!..

...— ОНИ ИЩУТ МОЕЙ ПОГИБЕЛИ, — так всё-таки признался однажды вслух долго беспечный (или... долго молчавший?) Иван Семёнович.

3 октября 1996 г.

И странный же сон привиделся мне однажды в 1983 году! Сон, который записать мне удалось — в два приёма — только в 86-м и — окончательно — в 89-м. В чём-то был он, конечно, совсем ни на что не похож, но в чём-то причудливо-обобщённо напоминал мои обстоятельства. Ну так, —

Неужто ускользнуть дозволим мы ему?
Ну нет! Как протокол, мы разбираем сказку
И страшным снам даём такую же огласку,
Как преступлениям, свершённым наяву.

(Из сонета «Эдгар По»)

Ноябрь 1996

III

*Я всеми принят,
изгнан отовсюду.*

Франсуа Вийон

Снилось мне, будто — неведомыми судьбами — оказалась я на улицах города, где с той минуты мне и жить предстояло.

Для первого обзаведения я спрятала в коричневую тумбочку с плохо затворяющейся дверцей какие-то деньги.

(Деньги? К чему бы это? Или *после чего!* Было, правда, что на заснеженной Беговой лица, пожелавшие остаться неизвестными, стянули у меня ридикюль. Но это было так давно, что, не отснимшись вовремя, теперь-то уж могло бы и не сниться!)

Тумбочка, стоявшая на тесном, начинающем заворачивать куда-то влево, тротуаре одной из улочек, по условию этого сна тоже была моей и когда-то стояла в моей комнате, как привычная вещь обихода.

Спящие — что пропащие: «сраму неймут», и прятала я деньги (правда, свои, — не чужие ведь!) без угрызений за этот вульгарный жест, а только со страхом за день грядущий. Так что позору не было, но была нелепость; она состояла в том, что я пробовала спрятать сбережения в столь ненадёжном месте. (Хотя, впрочем, не выстроена ещё такая тумбочка, из которой любую сумму не сумела бы выудить первая же инфляция или замена денежных знаков!)

Улочка, к моему счастью, была именно улочкой: было бы слишком трудно начинать приручать сразу проспект или — одной обживать городскую площадь! Выказывая только один поворот-изгиб, она (улочка то есть) вся пропадала, как было уже сказано, где-то впереди; в громоздящейся по-китайски пестро́ и лоскутно, в беспорядочно тесной и ржавой, но не лишённой своих уютёмокостей перспективе. В перспективе, где этажи (не то — маленькие ярко захламлённые балконы) казались полувыдвинутыми ящиками старых комодов.

Прямая помесь Шанхая с Генуей!

Назад же, на исток улицы и оглядываться лишний раз не хотелось, ибо там слишком знакомо угадывалась Москва с её не лучшими (в этом сне) местами, с её растеканием «мышью по древу»*, со множествами уходов её в неприютницу размаха, в «размах» обыденности; в «модность» и в серость, в безобразии их возмутительной и необъяснимой круговой поруки...

И ведь там, в Москве, начинавшейся почти сразу же за спиной, зачин моего бездомного обитания мог броситься в глаза каким-нибудь знакомым, гораздым на мстительное злорадство! А в этом вот, — правда, тоже не закрытом от вторжений, — проулочном рукаве, как ржавая самоварная труба, изогнутом, было как-то всё же укромней.

Мне хотелось бы дойти
До каких-нибудь мостков
И в Голландию, — страну окороков,
Через серенькую Клязьму перейти, —

сочиняла я ещё в конце пятидесятых, потому что пейзаж-монтаж из нескольких разных (иногда взаимоисключающих!) местностей всегда был моим коньком. (Не зря Берестов** приписал мне даже некий «пейзаж земного шара!»)

По счастливому совпадению и у Медведя*** в стихах то и дело встречается составной, так сказать, пейзаж! — и как раз на днях мы с ним обсуждали этот наш общий «заскок». Что же до городских видов моего сновидения, — были в этих, громоздящихся над самоварным локтем моего убежища, массивах не только гибриды Шанхая с какой-то сухопутной Венецией; не только Москва-Пекин здесь шли вперемешку, но и некое общестаринное, западно-европейское общежитие горожан здесь мелькало, да жаль, что мало...

Недоставало чего-то существенного, чтобы ярче прорезалась в чертах домов, например, Франция, — а ведь это бы

* Мышь — то есть белка (*ст.-слав.*).

** Валентин Дмитриевич Берестов, известный поэт и историк.

*** «Партийная», так сказать, кличка мужа в нашем быту.

могло обеспечить мне безопасность житья на улице! Небось для того и не прорезáлось, чтобы не обеспечивать! — знаю я эти сны... Наволочки, чулки и рубашки были просто *обязаны* сушиться здесь на верёвках над ветхими шкатулочными балконами... Ах, это наваяло бы мне свободу! Как видно (знаю я эти сны!), — для того и не сушилось, чтобы не навевать.

Словно бы забавляясь недоверчивостью безочарования во мне, мой сон дерзил мне и вредничал. И, не являя ни в чём завершающего штриха, дышал холодом — увы! — бытового, а не приключенческого неустройства. Ведь если и надобны ему были для чего-то те шанхайские городские теснины, те полудома-комоды с полоумной резьбой и с лестницами, ныряющими промеж них, как выдры; если и устраивало его это забавное сходство по-японски полуоткрытых жилищ со смешанными посудно-книжными полками, то ещё пуще ему (то есть сну моему) требовалась моя неприютность. Это-то уж было жёстко запланировано! И не стоило привередничать, и ни к чему было спящему человеку сетовать, что ему показывают *не то!*

Благо, скоро я и сама догадалась не держать в этом сне даже *курса* на радость.

Не к лицу бродяге капризы туриста!

Спрятав деньги и уныло решив, что «здесь я теперь жить буду», я направилась было уж по другим делам моего устройства на улицах (и в чём-то это было вроде игры, ребячества, а в чём-то и не было!), но тут мне пришлось поспешно вернуться.

Я увидела, что какая-то очень сутулая баба (не то в платочке московском, не то в чепце европейском — явно где-то за мельницами далёкими выуженном из жижи) присевши, выхватила из тумбочки мои капиталовложения! Полмига назад, собираясь уйти, я только и успела заметить, как эта карга — в переднике аж до мостовой! — переметнулась вдруг по-мышинному с противоположного тротуарчика на «мой», — как тут же она скрючилась возле тумбочки и жестом ненавистнического остервенения и превосходства,

глядишь, обокрала меня до нитки! Да, да! — она проделала это с видом даже *наставительным*; а чего я, дескать, ждала? «Так в высшем решено совете!» Историей самой предрешено, что всё к «народу» перейти должно! (Хотя воровка из городского отребья к народу никак не относится, если, конечно, не считать домашнюю стирку на самоё себя — за *народный промысел*.)

Я! — вот именно я теперь — из настоящих низов, — так могла бы я подумать, не будь самая мысль моя в параличе от бессильного гнева. Было от чего и в паралич войти! *Взгляды воровки*, видимо, в аккурат совпадали с её нуждами, а убеждения — с потребностями, и потому свою вылазку она рассматривала, как подвиг. Собственная подлость в её глазках-точках выглядела, конечно, как бичующая сатира в действии! То есть революционно. То есть почти величаво. Нүжды нет, что сама почтенная мятежница была похожа на крысу и только-то. Главное, что, обкрадывая меня, она вроде бы *выводила меня же на чистую воду* (ах, если бы ещё и на хлеб!), как зарвавшегося прислужника Чистогана или, лучше, как родную племянницу заокеанского дяди Сэма. Пафос воровства заключался, одним словом, в том, что надо мной, так сказать, склонилась Немезида¹⁸, верша революционную казнь через маленькую национализацию моих примерно ста пятидесяти р. — и пусть я только попробую что-нибудь в этом нарушить!

— Зачем, — спросили бы у меня герои моего «*Союза Действительных*», — зачем с приснившимися связываться, как с настоящими?

А я и не связывалась. То есть бросила их, как только заметила, что они — снятся. Но, может быть, находясь где-то на грани пробуждения, а то и почти наяву, я не удержалась, — чтобы не застенографировать всего, что могла уловить из мелькающих смыслов сна. И всё-таки в руках у меня осталась уж слишком беглая летопись *чего-то!* сводящегося всего лишь к *чему-то*. Вроде крысьего согбенного улепётывания с ношей, о коем не бывает ведь ни трактатов, ни стихов, — разве в два стишка уложиться? —

Свершилось:
Я кошелька решилась!

Но, кроме шуток, — ведь я не об этом! Да: вслед мегерушке, вновь мелко перебежавшей на свою сторону улицы, я готова была послать множество страшных античных проклятий, но ведь только потому, что во сне и сам бываешь смешон, — смешней, может быть, всего, что тебе же и пригрезится... Но и не об этом я! И пусть — во избежание путаницы — наяву останется (наяву авось и пригодится) мысль, что все попутные внушения зряшны; что состоялось всё-таки *воровство*, а не что-то другое, присочинённое сбоку. И что убегание с награбленным — оно и есть убегание с награбленным, как ты его там ни вращай и как ни пытайся найти солнечную сторону у несколько мрачноватого этого явления.

Несмотря и не глядя на всевозможную гордыню присвоений (а ненормальные, составляющие, видимо, основную массу землян, *воруют из гордости*, — я это давно заметила!) — непоследовательные гордецы эти всё же всегда *убегают*; и убегают, с нежностью прижав к себе похищенное барахло, — а не застывают же они на месте в позе бронзовых статуй! И убегают-то всегда *согнувшись*, а вовсе не выпрямив с вызовом стан, — как можно было бы ожидать от таких выдающихся личностей! (А ведь очень следовало бы ожидать! Особенно после того, как сами хитители и властные их суверены-скупщики краденого придумали этому делу столько кривоблестящих философических оправданий!)

Ну что же мне теперь было делать? Видя, как быстро уносится, взвившись и воспарив по лесенке, всё моё благополучие, — а унеслось оно, воистину, как на крыльях! — я всерьёз приуныла. Ожесточение сдавило мне горло! Но желание догнать воровку и отбить у неё свои кровные не было долгим и прочным. Конечно, в деньгах иногда таится спасение от некоторых невзгод. (Любопытно! — чтобы наконец догадаться об этом, мне понадобилось сонное, — сновидческое, то есть, — прозрение!) Но я слишком хоро-

шо видела, как надёжно защищена от взысканий отвратительная соседка! А чем — от неё и не только — защищена я сама? Разве тем, что с меня больше взять нечего?

Я бросила взгляд направо, за изгиб мостовой, на красноватое нагромождение построек затейливой архитектуры. Слепленный из неправильных ярусов, сплетнический массив уже наперёд грозил мне чем-то давно знакомым. Повеяло памятью детства, идеей всех так называемых *красных домов*, витающей неуловимо-насмешливо теперь и над этими развалинами. Кто притаился там? Что им всем нужно от меня?! В каждой местности, где жила когда-либо наша семья, тоже непременно был *красный дом* — обязательно, как перчатка взрывчаткой, начинённый враждою и сплетнями. Отсюда была мне даже идея нового цвета радуги; сплетнически-красного! Но, конечно, в радугу бы я его помещать не стала. Впрочем, цвет сам по себе живописный: старого, рябинового с сизым, иногда малинового с копотью, кирпича! Но под этим великолепным констеблевским* цветом, — повторю, — непременно почему-то скрывалась угроза гонения, страдания для нашей семьи. Навсегда памятной редкостью, изысканнейшей диковиной всех *красных домов* являлись люди, питавшие к нам симпатию.

Бывает, что сновидение как бы листаешь назад. В слабой надежде успеть в нём что-то поправить. В свете упорствующего воображения лестничный взлёт воровки, вроде бы уже законченный, теперь сызнова был виден мне, как новый. Догадливые и многоопытные люди из моего «Союза Действительных» давно бы уж постарались вернуть и замедлить кадр! Видно, их наука пошла мне не впрок... Впрочем, сейчас я лишь смутно помнила о них, о их удивительной кинотехнике, но, подсознательно руководимая ими, стремилась — по удержанному пунктиру собственных мыслей — вновь проследить траекторию того воровского взлёта.

Узкая лестница, коленчатой молнией пронизывающая

* Джон Констебль (1776—1837) — выдающийся английский художник-пейзажист. — Ред.

розоватый мусорный сумбур условных домов-наплывов, домов-черновиков и домов-дописок; домов, как бы материальных и домов рисованных, стремившихся составиться в целостный опёнковый пень или замо́к-улей, — лестница эта, ныряя и выныривая, видна была — сразу — и внутри и снаружи массива. И опять я увидела, как воровка сутуло возносится по её наружному отрезку, минуя ступени, перед тем, как сызнава скрыться в одной из буреньких дверец, подобно бутылке скверной наливки, убравшейся в поставец. Я вновь увидела, крутя рукоятку сна назад, как, ещё до этого, ещё у подножия лестницы она движением неподкупной ненависти спрятала краденое в карман длинного фартука и, дерзко окрысившись на меня через плечо при помощи быстрой оглядки, послала мне молчаливую угрозу. После чего и нырнула, грозно удирая, в эту свою *квинтэссенцию красных домов*; в этот свой красный соус моих тревог; в этот, достигающий мощи символа, архитектурный экстракт склочности...

Ну что ж? Можно было бы и дальше крутить картину назад, чтобы узнать, к примеру, как я оказалась на улице. Но зачем? Ведь я поняла уже главное: я поняла не только всю безнадежность, но даже наказуемость, но даже опасность возможной погони своей за исчезнувшим «капиталом».

Если бы и во сне классификаторский жар был мне свойственен, как наяву, я сказала бы: *итак*.

Итак, в этих руинах, — явно злостно и специально, заведомо и изначально построенных в виде руин — для того, чтобы притаить всех кряду скупщиков краденого, — воровка была защищена от меня стенами с грозно присевшими там, за ними, сплетническими кланами, — пальцем за день — и хор грянет, — грянет по всем регистрам!

Итак, за одну только мысль бездомного бродяги отвоевать свои кровные ему самому же здесь и отмстят, как единственному виноватому. Ибо в Сплетническом массиве все Красные Дома всех времён и народов воплотились как в фокусе. И даже со всеми, встарь так болезненно мне изве-

стными, мегерами внутри (которые прежде были всё-таки разрознены, и в этом заключалась их единственная добродетель)!

Итак, всего этого было бы предостаточно для отказа от погони за «наживой». А тут ещё — внезапная мысль о каком-то *административном гонении* за неуместную бродяжью строптивость заставила меня остановиться прямо на середине узенькой мостовой!

Во сне *тень* угрозы уже и есть угроза. И я даже на воровкин тротуар переходить не стала. Я только и успела, что заплакать!

О срам! Я плакала, «как дитя, у которого отняли любимую игрушку», или как загребущий человек Чистогана!

Прав Гойя: «Сон разума рождает чудовищ». Но как, — хотя бы и во сне, — могла я докатиться до такой низости, как слёзы из-за денег?! Уже и то подлость, что они мне вообще приснились. И оправдать меня... разве только то может, что и во сне деньги явились мне — сразу! — в форме безденежья. Конечно, безденежье тоже — какая-то сторона денег, но, уж скорее, сумеречная, а не солнечная их сторона. Теневая, так сказать, экономика!

И ещё одно самооправдание. Не так досадила мне, надеюсь, пропажа денег (правда, необходимых мне для первого обустройства), как возмутительные жесты и позы, с какими было произведено это дерзкое хищение! На каком дне жизни я очутилась, если меня даже обворовывают высокопарно и назидательными движениями рук! Если же в потоках, мчавшихся из глаз моих, и таилась одна какая-то капля, посвящённая истинной меркантильности, то не следует ли даже это простить человеку, которому предстояло, может быть, голодать? Голодать же хотелось начинать не сразу; голодать хотелось начинать постепенно, — а тут получалось, что начинать надо уже сейчас! И даже если я по всем этим подлым причинам заплакала, — согласитесь; ведь это *причины подлые, а не я!*

Всё равно из-за подлостей плакать не стоило? Верно. Но ведь мало ли чего ещё не стоило предпринимать! Не

стоило, например, проживать на улице, когда другие живут в домах. Не стоило сберегать сбережения в слабой тумбочке без замка. А там, далеко наяву (или это не очень далеко?) не стоило подвергаться глумлению завистливых *проходимцев*, которые, правда, что-то никак *не проходят*...

Всхлипывая, брела я теперь куда-то дальше по городу, — кажется, на восток, — по проулку Тумбочки, загибавшемуся влево.

Теперь я ни о чём не думала. Даже о кассетах снов, когда-то снятых мной (неожиданно не криво!) для «*Союза Действительных*» (который сочинился и остался давно уже весь наяву); о кассетах снов, которые, помнится, тоже должны были (в количестве двенадцати кассет и одиннадцати катушек) храниться в нижнем отделении той же уличной тумбочки. Их, наверное, даже ещё раньше, чем деньги, украли, но я смутно надеялась, что всё-таки не пропали они, а спрятаны мною наяву в более надёжном месте. (Скорее всего даже в этой же тумбочке, потому что, как я уже обмолвилась выше, она ведь и наяву должна была стоять в нашей старой комнате в качестве старшего двойника или полномочного представителя.) Ибо, как гласят мои заветные «*Вещи в доме*» (в книге «*Страна прибой*», вышедшей в 1983 году): «Сам хлыстик наяву, / А рукоятка — снится». (По совпадению, страница — тоже «83», как год!) Это, то есть там же, где «Наполовину есть — наполовину снится». И там же, где «действительный рисунок нанесён / Не на действительную вазу, а на сон». И другие, тому подобные, экскурсии в свой же — (десятилетиями целыми, увы, — невостребованный!) «*Союз Действительных*»...

— Как летит время! — сказала бы я наяву. Однако во сне время кажется неподвижным, а потому и проблемы наши выглядят непреодолимыми. Тем более странным является отчаянное борение спящих с окаменелыми невзгодами. Но, может быть, ещё удивительней была моя унылая бесшабашность в летописуемом сновидении. Не только забота о хлебе насущном, не только всегдашняя тревога о кассетах (катушках) снов, но и постоянная горькая мысль

о многолетнем растаскивании плагиаторами моего романа в целом и моих (тайно известных, по закуткам прошумевших) пьес вдруг испарилась, улетучилась из моего обихода и растворилась в каких-то особо горячих слезах-вообще. Обо всём сразу! О да: «Тетради выкрали, находки захватили / И в свалку общих мест мой метод обратили», — могла бы и сейчас воскликнуть странствующая Третья Коринна*. Однако, не думая более о напастьях, не помнишь ведь и об утешительностях, вроде: «Верный черновик нам будет помогать, — / Старые чернила не дадут солгать». Да. И все остаточные недоразумения выяснятся, и всё уладится в том мире, которого мы не знаем, но о котором догадываемся. И получают мзду свою, исходя из юдоли, все открытые и сокрытые виды зла. И не отвергнет Господь обездоленных и обманутых!

Боюсь, впрочем, что миг, переживаемый мной, был почти святотатственный по своей безнадёжности. Шагая вперёд, наугад, вдоль низенького заборчика, не помышляя я, повторяю, ни о гибели, ни о спасении. А просто шла и шла, омывая собственную физиономию при помощи двух безотказных ключей — собственных глаз моих. Из которых все изливалась и изливалась холодная безнадежная влага...

IV

*Видали многое глаза мои, де-Во;
Уже их удивить не может ничего.*

Дю Белле
(перевод с французского В. Левика)

В подобном неправильном состоянии духа можно бы и не замечать ничего кругом. Но всё же я заметила, например, что заборчик, сопровождавший меня слева, был лишь намёточный, поставленный явно какими-то шабашниками, причём прямо среди и вдоль узкого тротуарчика, — (это чтобы то есть ходить было неудобно. А то — ходят тут

* Название и цикла стихов, и замысла прозы.

всякие!)... Вообще же это место напоминало мне одну из сторон Тишинского рынка, — все остальные стороны которого, впрочем, всегда казались мне тоже обратными, тыльными! Должными бы выходить на обширные пустыри, но, по заведённому недоразумению, упирающиеся как раз в самые многопроездные улицы.

И тут остановилась я на углу какой-то площади. Сумеречной, как — я не знаю что, и серой, как безобразие!

Если я скажу, что на открывшемся моим глазам пространстве танцующие части большой толпы, — не попадающей почему-то на площадь, но обрамляющей, обтекающей площадь, порой выпрыгивали из нетанцующей массы вверх, как пружинки форелей, подбрасываясь над ней и снова в неё заваливаясь; если я скажу, что по краям площади перед толпой ходили какие-то распорядители с авторитетными взмахами рук и что в полумгле припозднённого дня шли какие-то съёмки — не съёмки, а большие приготовления к действию, — наверно это будет неточно. Но нечто подобное несомненно происходило и не только здесь, но и дальше, — много дальше; аж за окраины и во все стороны — расходящимися кругами...

Бог весть кто мне успел шепнуть об этом на беззвучном наречии снов, но теперь я знала, что мглистое движение (вкруг площади и по всему городу) происходит по случаю репетиции оперы «Ясон»¹⁹, которая ставится почему-то прямо на улицах! Но улиц, проулков и площадей было ей, этой опере, мало, и, разливаясь, она перекидывалась уже на окраины и перехлёстывала за окраины, — дальше их... (До меня донеслось, что дальше «Ясон» идёт уже и по деревьям, с той разницей, что там, по пути, он превращается уже в «Оперу нищих»!) Вот ведь какого размаха, выйдя вдали из-под контроля, достигал режиссерский замысел! И, не знаю — как в провинции, а в городе, сказывали, уже не было места для не-устроителей и не-артистов (вроде меня).

Дерзко-неряшливое изделие лжестроителей — небрежный заборчик вышел теперь, ковыляя, почти на самую площадь и, клюнув асфальт, оборвался. Я тоже остановилась.

И стала шагов за двадцать-за тридцать от поучительнейшего зрелища!

Где кисть Франсиско Гойи?! Где перо Лескова?! Слишком уж много воздуха набрать нужно в лёгкие, слишком уж издалека разбежаться надо, чтобы приступить к живописанию; до такой степени диким и перепутанным было существо, видневшееся передо мной на площади.

Начнём же издалека. Прежде всего там передо мной находилась (примелькавшаяся каждому, конечно, и наяву) железная крышка люка подземной — не побоюсь этого слова! — канализации. Никогда, между прочим, не могла понять: для чего на таких канализационных дисках так отчётливо, — прямо, как на гравюрах, бывают вырезаны даты тех годов, когда тот или другой люк был создан? «Труд всякий, труд любой / Полезен нам с тобой и нами уважаем». Но ведь во всяком разумном действии должен быть смысл! И как часто, с невольной грустью глядя на эти изделия, мы недоумеваем: *что* именно мы должны — на их счёт — запомнить себе в назидание?

Что мне
Тут надо вспомнить, а что забыть?
Нет воспоминаний у меня...

Не знаем мы и того — что же, так сказать (не побоюсь и этого слова!), провалилось в них столь несправедливо-безвозвратно, если теперь даже даты проставить понадобилось? Или я тут просто чего-то не понимаю и не должна говорить за всех? Особенно, если на этих люках бывают записаны *не их* (не люковы) именины? Но тогда... что это за непонятные, вообще, календари? Почему так немногословны? И где у них находятся комментарии? И как далеко? И, главное, с какой стати мы должны глядеть на них, как на непреходящую ценность? А разве не к этому нас призывают чёткие даты?

Но ещё больше меня (как бродягу) интересует: для чего эти железные крышки так часто бывают предательски полукрыты и *хлябают* у прохожих под ногами? Не в силах

будучи ответить ни на один из этих проклятых (не побоюсь вообще никакого слова!) и вечных вопросов, я только добавила бы, что такие добродетели, как тщание, прилежание, усердие и рачение, благодарную память и увековечение, хочется мне встречать — хотя бы изредка, — и в других местах тоже, а не только во внешней отделке клоак и в художественно-филигранно выполненной датировке чего-то на клоачных люках, — достойной дат коронаций и величайших сражений. Ведь если я (чего я добиваться, конечно, не стану!), если я туда, чего доброго, провалюсь (имею в виду — в клоаку, а не в коронацию и не в сражение), то дата моей гибели может ведь и не совпасть в чём-то с числом, неподвижно выставленным на железной заслонке!

И всё же — не сам люк и не задвижка его приковали на сей раз к себе мою любознательность. А тот, кто с непонятной целью, вдали от толпы, — обтекающей площадь кругом, как заколдованную землю Тома Тидлера, — одиноко сидел на этой ржавой, если можно так выразиться, скрижали.

То был зрелый молодой человек, — не то чтобы статный, но плечистый и не хлипкий, однако же сидел он как-то странно; по-детски ёжась, по-стариковски горбясь, по-сиротливому подвернув ноги и, вдобавок, накрывшись какою-то идиотической мешковиной!

Тогда как мог бы разом
Накрыться медным тазом!*

Сидел он боком ко мне, — ах, уж на том ли ржавом, почему-то полуразинутом сейчас, люке! И рот его, довольно большой, был тоже — странно, невесело разинут, точно у великовозрастного некормленного птенца мифологической птицы Рок. Сидел, как бы не имея шеи и пытаюсь — откинутым резко назад затылком вытереть — что ли? — до блеска собственную спину! А кисти редких, но жирных фи-

* Из старого стихотворения «Порицание скромности».

олетовых волос его напоздали сзади на мешковинную драпировку, и весь вид у него был невыразимо страдающий и самоотречённый.

(Нарочно не придумаешь!)

Можно было бы и посочувствовать ему, как всякому изовравшемуся до муки и слабому человеку, если бы не дюжесть его, если бы не *совершенно исправное*, повторяю, здоровье незнакомца. При такой крепости всей комплекции другие бы наверно постеснялись сидеть в столь разбитой позе, изображая какую-то возвышенно-скорбную канализационную улитку! Но мошенник, похоже было, твёрдо вознамерился напроситься на самое деятельное народно-общественное сочувствие, силясь ещё и ужаться телесно до карликового состояния! Частично, осколочно — это ему почти даже удавалось. Но было откуда-то ясно, что всё ж таки он не гном, не калека и не урод (в обычном смысле этого слова), а просто — сидит на своих ногах таким хитроумно-изобретательным образом, чтобы выходило на карликовость и на юродивость — вместе.

Наяву — к чему только не привыкнешь! Однако же сон одаряет человека новой способностью: тихо, беззвучно, таинственно поражаться, приковываясь надолго к месту и видя в охапке даже обыкновенных незадачливых хитростей явление непостижимой природы... Но и то ведь непостижимо, — в самом деле непостижимо; как мог сей неизвестный страждущий держать голову заломленной назад так безшейно, раз шея у него была в полном порядке? Непостижимо, как это можно, осев назад (полный назад!), податься в то же время вперёд (полный вперёд!), да ещё и как-то вбок, что ли! Это как возможно? — завязавшись морским узлом (он же гордиев!), одновременно изображать разбитую — на тысячи осколков — вазу! Как может получиться у человека такая манипуляция с собственным естеством — ума не приложу! Или это из-за кистей (когтей!) волос на затылке мнилось, что голова откинута дальше, чем доступно смертному? Или — из-за того, что во-

прос шеи был нарочито скомкан и затуманен, казалось, что шеи нет, а в то же время — она... вытянута вперёд, и вдобавок — совершенно наподобие гусиной? Хотя... — как же это? Шея вперёд, а голова — назад? Казнённый он, что ли? Словом, ну его! Он меня совсем запутал! Ведь язык сломашь — его описывать, — не то отшельник, не то акробат!

Кстати же, не всякий неопикуемый, по-моему, вправе этой неопикуемостью гордиться. Гордиться, что вы́, лова его главное очертание и сильно застряв на этиодах, изломали об него копыа всех кистей, карандашей, перьев?..

Не всякая неопикуемость от добродетели, — подчас она от порока и даже от невменяемости происходит может.

Берясь пересказать значенье их прямое,
Не наломать бы дров! —

говарит, например, Медведь. Но что если у них (у явлений иных и созданий) вообще прямого значения нет? (Хотя ко-свенного, может быть, — даже сколько угодно!)

Тьме колдовства
Поэзию
Ни в коем разе
Не уподоблю я однако... *

По цвету лица и тряпиц ловкач был выполнен (именно *выполнены* были и голландские купцы из пропавшей тетради моего «*Союза действительных*»!) — купцы, как сейчас помню, «всюду таскавшие с собой, наподобие сложенных за спиною крыльев, живописный колорит своего государства»); так вот: ловкач был *выполнен* в бурых, серых, чёрных и лиловатых тонах. На этом я... Но не тут-то было! Нелегко, оказывается, отделаться от прошельги с его портретом! Нельзя не вернуться хотя бы раз к отдельному отображению широкого рта его! Я и заметила-то его, я и порази-лась-то — сразу, с угла площади — на него, молчаливо-из-

* Из стихотворения Ивана Киуру «Творчество» (книга стихов «Каштановые тропы»).

нывающим пнём сидевшего на ржавой крышке люка, — начиная не с фигуры его в целом, а начиная с его рта, разинутого безотрадно... Рта, грубая щель которого, образующая унылый просвет в площадь, сбоку напоминала серп концом вниз.

И эта-то, грубо-изнемогающая, серповидность пасти; и этот-то древесно-тёмный зевающий расщеп — всё это получалось как бы в результате подавляемого неслышного детского рёва!

Как возмутила бы меня наяву подобная непозволительная слабость в таком взрослом и здоровенном борове! Но здесь, во сне...

Томительно, беззвучно протекало неподвижное зрелище. Пытливо, тихо и напряжённо вглядывалась я. Посновиденчески простодушно дивилась на этот, столь беспомощно разинутый, зев, действительно — так похожий в профиль на диковинный расщеп извиристо-сложного пня! И явная приписка себе — этим заматерело-недоразвитым существом — какого-то вундеркиндства, беззащитности, мировой скорби и (абсолютно никем у него не прошенного) всепрощения, — должны бы не на шутку разозлить меня наяву; и нетрудная бы *для яви* догадка — что такой большой, взрослый и широкий рот как-то даже нехорошо держать так долго открытым, — всё это (здесь и сейчас) было для меня, повторяю, непосильно. И я глядела на дремучего притворягу доверчиво, как на витрину реальных редкостей, — как на засушенное морское чудовище, которое скорее уж странно, чем возмутительно.

Я, конечно, понимала, что вкуса у него нет. (У кого? И у морского чудища и у раззявы прожжённого!) Но удивительное простодушие сна (гораздо в другой раз и на прозрения!) заставляло меня *сейчас* принимать за чистую монету любое кривляние.

Конечно, озадачивала и манера некоторых сидеть над железными люками с таким гениальным и самоотверженным видом! Но критического чувства не было. И я, скорее,

сочувствовала, чем наоборот, всем угнетённым должностям при испорченной технике.

«А может быть, его сюда усадили стеречь канализацию?» — глухо подумалось мне.

Работа, конечно, не из приятных, а всё ж не причина для космической тоски! — могла бы добавить я. Но не добавила.

Так стояла я и взирала на него с некоторого расстояния; настоящая бродяга — на бродягу искусственного.

Я так и не успела разработать какое-либо отношение к этой унылой подделке. Да и к самому виду на это многозначительное недоразумение, открывшемуся мне как бы из неожиданного окна. Я просто не понимала; что бы всё это могло значить?

И вдруг до меня каким-то образом донеслось, что сидящий на люке есть не кто иной, как... Ясон! Не совсем, конечно, Ясон, но актёр на роль Ясона! Недаром же ставилась тут — прямо на улицах — и одноимённая опера, уходящая аж за окраины и там обретающая уже название «Оперы нищих»! Теперь, вроде бы, всё становилось на свои места, непонятные, но ясные. Однако человек (из бродяг даже который, а значит, не избалованный) никогда не бывает доволен. «И эта железная тюря — Ясон? — вдруг обретая сознательность бодрствования (и почти такими словами!), подумала я. — Эта непостижимая клёцка (непостижимая потому, что и постигать в ней нечего) — Ясон? Кто же тогда, спрашивается, не Ясон? И неужели постановщики хуже найти не могли?!»

Пускай сначала сыграет артиста,
Который сыграет.. артиста,
Который сыграл бы артиста,
Умеющего играть,

а то пока что он в силах только *отсимулировать* героя, но — никак не *сыграть* его! А режиссёры — пускай себе «переосмысляют» древние мифы, но всё же не опрокидывают их вперёд замыслу! И это-то у них — Ясон? Значит, истинной той Медее в древности не повезло. Будь её

Ясон таким вот, как этот оперный пень, — это бы спасло её от безумств и удержало бы от ходьбы на великие преступления.

Гм... Конечно же я немного жульничаю... Я не посягала во сне на столь воинственное и почти последовательное красноречие, — да ведь и никакое реалистическое «красное словцо» не заменит тех изощрённейших, изящнейших ходов мысли, какие бывают только во сне и остаются там навсегда. И всё же одной ногой в тот миг я стояла наверное наяву, потому как рассуждала уже критически.

И одного — там, во сне, я понять не могла: чем так притягивал оперно-театрального деятеля холодный (и наверное даже склизкий!) железный люк? А ведь лучшего местонахождения он и сыскать, вероятно, не мог; отсюда ему не надо было далеко ходить за осуществлением актерского *провала!* Здесь можно было оформить его на месте; в прямом смысле и «не отходя от кассы».

А постановщикам современным был бы урок: впредь выбирайте актёров как-нибудь посообразнее. Но разве вы им втолкуете, что *сама по себе нелепость* какой-либо фигуры ещё никак не доказывает её гениальности.

И, одним словом, прояснение вопроса должности незнакомца как-то развеяло в моих мыслях дурман непонятого лжемистерийного благоговения перед ним. Ну и ещё кое в чём я оставалась (как выражается Медведь — и, к счастью, не обо мне!) «недоумённым человеком». Например, мне ни разу не вспомнилось, что в опере ещё и... *поют!* (Догадывались ли об этом сами постановщики?) Во всяком разе — в этом беззвучном сне — я арий не слышала. Нет, не взревели нигде белуги вислоуглыми ртами. Не повернулся из них никто лицевой стороной к возможному зрителю. Не помню и зрителя. А только помню, что и сама вдруг решила покинуть площадь. На кой мне хитрые рохли и чья-то оперная неприкаянность, когда у меня своей — вон сколько! И не оперной, а настоящей.

* * *

*Бобину киноплёнки сносной
Я прячу — на ночь — под подушку.
Сплю. И во сне мотаю сон свой
На эту верную катушку,*

*Как нескончаемую стружку
Большого фильма! Постпособствуй
Мне в этом, ночь! Не дай мне лоб свой —
Разбить! Погоням за полушку*

*Не выдай! Подскажи украдкой:
Как мне прокрасться в явь с укладкой
Снов (красочных и небезмолвных),
Их откровеньями пылая?
Чтоб наяву — для залов полных —
Свой сон раскручивать могла я!*

3—5 сентября 1963

Сонет этот наверно настолько же слаб*, насколько сама я была молода, сочиняя его в шестидесятые годы. Зато он есть один из тех немногих сонетов, кои слегка приоткрывают завесу, за которой... здоровым богатырским двадцатишестилетним** сном (я-чай, на зависть самому Рипу ван Винклю, проспавшему всего каких-то жалких двадцать лет!) спит-почивает мой роман «Союз Действительных». И во сне продолжает претерпевать всё то же здоровое, богатырское, двадцатишестилетнее** разворовывание, — пиратское разграбление моего и поднесь невостребованного метода. (Наверно не очень плохого: двадцать шесть лет растаскивают — никак растаскать не могут!)

Господи, защити!

На так называемые «катушки» в стане *Действительных* издавна навёртывалась в основном изобразительная сторона сновидений (как частных, так и коллективных. «В дивный / Вступила я сон коллективный...»***). К семидесятым годам к катушкам прибавились и *кассеты*, на которые мои

* Особенно по кинотехническим терминам.

** Теперь уже тридцатидвухлетним.

*** Поэма «Вещи в доме»; выходом — 1983 и 1991 годы.

герои пустились записывать главным образом звуки, *голоса снов*. Сии съёмочно-записывающие устройства *Действительные* могли перетаскивать в явь только лишь контрабандой, обманывая посты (так же, как вещи из яви — в сон).

И вот катушки и кассеты снов начали мне уже сниться! — притом в настоящих снах (не литературно-вымышленных!). И — словно бы — они переброшены уже, — но только мне негде их спрятать. То были мне, конечно, болезненные отражения пропажи наяву нескольких тетрадей «Союза». Поэтому в снах я эти катушки и кассеты то и дело теряла, искала, недосчитывалась их, прятала и перепрятывала... Особенно боясь за катушки! Которые вдруг в моих руках превращались в тетради, — но уже осквернённые, перепачканные в глине, в грязи, и я уже не могла разобрать в них свой почерк, а некто уже успел «украсить» их гнусными непристойными изображениями!..

Но этот вот сон, сон о Ясоне, был какой-то странный и, во всех моих сериях, — *новый!* Лишь *единожды* вспомнила я в нём о спрятанном кладе, да и то — с дотоле небывальыми в моей практике снов беспечностью, беззаботностью. Другое, иное, какое-то обобщённое *всё вместе* взятое донимало меня теперь.

Я уже об этом говорила, но не повторить не могу.

Через некое условное «время» сна я увидела себя направляющейся по уже знакомому тротуарчику — назад — от невиданной площади.

Уже заметнее вечерело.

Я знала, что постепенный изгиб пути вёл туда, где я уже днём побывала, где горделиво мнила устроиться на улицах поуютней и откуда взяла разбег.

Расставшись теперь и с этой мечтой, я не сильно спешила, а просто брела, уставившись вперёд, — в сумрак, преисполненный всяческой неизвестности, и от нечего делать... вновь начинала всхлипывать!

Каюсь! Кажется, по плаксивости, проявленной мной в течение всей этой истории, я могла бы уже опередить само-

го диккенсовского Джоба Троттера, которого изумлённый Сэм Уэллер²⁰ назвал «пожарным насосом»! Но разве не отличает меня от мистера Троттера то, что мистер Троттер плакал от ханжества, навязанного ему природой, а я — от нервов и от невзгод?

О, понимаю! Такая потеря бодрости всё равно предосудительна. Но разве не падал духом иногда и сам Франсуа Вийон? С которым я теперь — заметьте! — почти сравнялась! Если уж не по стихам, то по *жилищным условиям*.

Отчаявшийся, опустившийся,
В ругне, в осквернениях уст...
На злато чужое польстившийся?
Так что же карман его пуст?

Он был, говорите, стяжателем?
Но суд ему «дал по рукам»?
Зачем же сложил он, — не скажете ли, —
Анафему «Клеветникам»?

Не верьте суду современников:
Ему справедливость — пустяк!
Он славит вельможных мошенников,
Но травит он нищих бродяг!

Простится предательство,
Скряжничество,
Убийств и палачества смрад,
Но гиблое дело — бродяжничество.
Его и в веках
Не простят.

(«Франсуа Вийон», 1964—1978)

— Что ещё может ждать меня впереди? — тихо шагая и проливая слёзы, думала я. А сумерки становились всё мрачнее, мрачней... Они, эти устроители празднеств, — мысленно продолжала я, — конечно, тоже находятся у меня в недругах и эту оперу «Ясон» (в далях постепенно переходящую в «Оперу нищих») — тоже обязательно направят против меня. (Мания преследованья? Просьба не тревожиться. Было бы преследованье — мания приложится!) Разве не затем, — силами якобы одного лишь художества, — оцепили и обхватили они уже весь город, чтобы че-

ловеку бездомному и к постановке оперы непричастному не только «голову преклонить», но и ногой ступить было негде?!

Ну, что я говорила? — вот оно уже и оцепление! Вот уже и начинается опера-мятеж! — так мысленно заключила я, потому что впереди, в надвигающейся мгле, уже стояло несколько фигур с отталкивающе набелёнными — почти серебряными! — лицами и пакостническими красными ртами! То были, — и я это знала! — так сказать, *естествоиспытатели*, точнее — пыталели естества людского, а ещё точнее — убийцы, загримированные под жрецов богини Кали! — усердных прислужников страшного Джагернаута!²¹

Во всё убыстряющихся сумерках от их личин, ненормально продолговатых, да ещё с длинными подбородками; от их, почти синеватых, масок с кровавыми, как шрамы, ртами, уже явственно несло беззаконным артистизмом истязательства и расправ и разило неумолимостью, точно от известковой стены, безмолвно участвующей в кошмаре. Казалось, пока они просто совещаются, — как бы о мизансценах и декорациях. Но они были так отвратительны, что я... ещё горше заплакала!

Свернуть бы? Да было некуда. Промедлить? Не имело смысла. У меня уже выработалась походка бродяг — людей, которым спешить некуда, но и остановиться нельзя. И вот — походка эта теперь планомерно несла меня прямо к тигру в пасть! Потому что и архитектурно этот сон мне выходов не подсказывал.

Меня и наяву порой не шутя занимает устройство (пока ещё не спасение, а только *устройство!*) души человека (того или иного), воздвигшего для нас дома, слившиеся в монолит, — без единого зазора меж ними! И остроумнейшие постройки — об одном выходе в одну сторону.. И улицы, которые, находчиво предполагая погоню, заведомо исключают побег. Где вы — дышащие, сквозные, — не угрожающие, а прекрасные! — перспективы с выходами на просторы или высоты? Или все они теперь превратились в одну сплошную «проезжую часть», то бишь в объединённое

«ни проехать, ни пройти»? Москва моего сна с её системой незащищающих тупиков и безвыходных «выходов» была уже и яви под стать и под стать «душе» строителя *позднейшего*, строителя «чудотворного», — не один строил, а, как всё одно, один! И тот неменяемый! И что сны, коли и наяву то и дело набредаешь на улицу, из которой не выйти, пока — с перепуганной административной исполнительностью — не пройдёшь её всю до конца! Ибо арки боковые, если и есть они, страшны, как ворота в Аид, и чаще всего никуда не выводят. Ибо дом, который ты мирно рассчитывал обойти, вообще-то уже не является домом в традиционном смысле этого слова, а является, собственно, лишь продолжением предыдущего «строения» и началом следующего. Такие, с позволения сказать, «дома» пешеход или оптом бери или от всех сразу отказывайся!

Такова действительность.

Вот и здесь, во сне, ни отступить было, ни свернуть... Даром, что знакомый по яви Грузинский вал позади начинался с... Лондонского Двора Объедков! Конечно, и то было благо, что *неопознанные*, так сказать, *Летающие Объедки*, не были запущены вслед мне, когда я там проходила, но теперь сей отрадный факт грозил стать моим последним утешением... «Везде бичи, везде железы!» Опера «Ясон», как гроза, обложила уже кругом всю Москву, — и ничего тебе — чтобы «из другой оперы».

Остановиться всё же и чего-нибудь подождать? Но — *чего?* «На время — не стоит труда; а вечно (стоять) невозможно». Вот и шла я «куда глаза глядели», куда ноги несли вместе с несущим течением улицы, да и... слёзы из глаз, как это ни глупо, действовали почему-то как мотор, не дающий остановиться... Парусник работает на ветру, паровоз — на пару́, экспресс — на электричестве, прогресс — на пощёчинах, раздаваемых пошлякам (все задержки за тем, что пощёчин мало, а пошляков много), меня же неодолимо влекло вперёд дерзновенной энергией слёз! Но... вместе с тем, что-то и удерживало меня здесь, на серповидном лихом повороте, — неужто я уже успела его до такой степени *обжить*?!

Ведь *географически* это была та самая горловина, где давеча я учредила тумбочку для кассы и кассет и откуда, обкраденная, ринулась в погоню за «чистоганом»... Однако, при всей её внешней скромности, улочка тоже была из тех, чьи «выходы» безвыходней тупиков, ибо нагромождения по бокам — в три месяца не объедешь... Вот, наверное, почему, «обойдя дом» в сновидении, я так часто оказываюсь... в другом государстве! Иногда даже не в смежном и не в соседнем, а... через океаны! (Между прочим, *в этом сне* — и неплохо бы. Оказаться бы — вот именно сейчас! — как можно дальше от мерзких масок в конце серповидного поворота!) Но некогда мне было *обходить дома кругом* — то есть *путешествовать!* «Скользенье по обрыву не полёт»*, — как сказал Медведь. А улочка, обжитая давеча на бегу и ставшая мне почти домом, так и не стала *моей крепостью*.

И опять повело меня вперёд — как бы самим течением улицы — на двигателе слёз. Настоящего страха (этакая молодцеватая плакса!) я более не испытывала. Где наша не пропадала?! Как вдруг одна мысль заставила меня спохватиться и опомниться; ведь люди Джагернауга не просто палачи: это же *истязатели!* — донеслось вновь...

И вот то, что называется нынче «потокосом сознания» (а Медведь переименовал это в «потоп сознания»), устремилось в моей бедной голове по новому руслу.

V

*Вырваться в наполовину реальный,
Наполовину приснившийся сад.*

Язык детства**, 1985

Известное *самоистязательство* жрецов богини Кали так мало относилось к истинным планам ряженных, совещавшихся в устье улочки на фоне наступления ночи, что я

* Из стихотворения Ивана Киуру «Чулым» (книга «Каштановые тропы»).

** Из книги стихов «Хвала работе» (1987).

о нём ни разу даже не вспомнила. «Как плохо, что Медведя нет дома!» — только и подумала я, — забыв, что и сама — не дома.

Или там, далеко наяву,
Я чуть-чуть по-другому живу? —

как сказала бы моя персонажица Веста в пьесе «Трактир “Четвереньки”»...

Было мгновение, когда я готова уже была вернуться и попытаться обойти Красный дом, — даже если окажется, что одной стеной он выходит в Сукманиху, другой — на станцию Соколовскую, а задним фасадом — в Северный Ледовитый океан. Но... Могла ли я знать: с какой стороны и когда будет возвращаться в город Медведь?! Ах, как бы не напрямую мимо «жрецов»!

Будь он сейчас «дома» — он и насчёт беззаконности нашего выселения на улицу и насчёт всего — обязательно бы обратился к Пустынину, к участковому! Я не сумею, — расстроилась бы и всё перепутала, — а Медведь сумеет!

Он, участковый-то, конечно, немного жавер*, и жар веры часто посвящает клеветникам анафемским! Его тоже уже натравливали на нас. Но Медведь ему всё объяснит...

Появился ли степенно зашагавший Пустынин от этих моих мыслей или, наоборот, — эти мысли явились, когда я его заметила, — трудно сказать. Но это именно он неспешно шёл теперь по другой стороне улицы, — видный со спины и одетый в синюю форменную шинель. На довольно большом расстоянии от меня он двигался в кирпичной тени вала при зажигавшихся уже вдаль отдельных фонарях — встречу группе жрецов-неформалов. (Очевидно, не догадываясь, что их не мешало бы арестовать!) А я — не близко и не прямо, но — следовала за ним, колеблясь, приостанавливаясь и заливаясь слезами...

Да, да! Медведь бы с ним сейчас толково переговорил! И о «жрецах» здесь, во сне, и о Проходимцах князя Тьмышкина наяву, и о сговоре тех и других против нас — на грани

* Жавер — полицейский инспектор из романа В. Гюго «Отверженные».

сна и действительности. И Пустынин, если он сам не иллюзия в ряду других иллюзий (*сейчас-то* он только *мысль*, я это знала), *обязан* будет разобраться в этих вопросах, и, в частности, в том — кто тут призрак, а кто — человек...

Мечтая таким образом о защите со стороны участкового, я могла бы снова поймать себя на лёгком жульничестве! *Мне*, дескать, *мне* самой нужна защита! — но это была, если так можно выразиться, верхняя мысль — над нижней, даже и от себя спрятанной. Нижняя же, спрятанная же — гласила: нет, не мне одной! — нам *обоим* нужна защита! Медведю — даже ещё нужнее! Его положение даже ещё страшней моего!

Мне казалось, однако, что страх за Медведя даже от себя мне надо скрывать, — так скорее придут к нам на помощь...

Но где же он? Уже наступила ночь, а его отсутствие угрожающе затягивалось... А вдруг его и подстерегли уже?! В совершенном отчаянии, в ослеплении страхом я даже и не заметила, что Пустынин и Медведь, о серьёзном разговоре которых я мечтала, как бы о высшем уюте, — с некоторых пор уже идут рядом, — впереди меня, вдоль по вечеревшему крепостного вала, и Медведь ему что-то рассказывает, говорит... Не отличая своих упований от того, что вижу «на самом деле», передумав жаловаться участковому на притеснения от злых духов и «сном разума» порождаемых чудовищ*, озверев от слёз, я глядела на двоих, шагавших впереди, всё ещё как на свою мечту, на свою мысль и пожелание... И не верила, что вижу их *вправду*, пока не проснулась.

Чересчур много слёз и восклицательных знаков. Но уж пусть будет, как было.

Был поэт. Ночь была.
 Да разверзся рассвет.
 (Как не быть над Севильей рассвету?!)
 А кого — за обочиной — ищет рассвет —
 Уж того под рассветами — нет.

* Франсиско Гойя: «Сон разума рождает чудовищ».



Алиса в Закулисье

О пьесе «Трактир “Четвереньки”»

Очень сложную судьбу пьесы «Предсказание Эгля» чрезвычайно близко принимал к сердцу мой муж — поэт Иван Киуру, и, кстати, во многом благодаря его героическим усилиям она была поставлена на сцене Московского Центрального детского театра. Правда, несмотря на очень большой успех (не знаю: если уж не пьесы, то, значит, постановки?) её вскоре столкнули с подмостков разные ревнивцы от Мельпомены, Талии и прочих муз, а предлог — тогдашний сухой закон; ведь некоторые картины в пьесе — о страх! — происходят в трактире! И всё же так называемый «свет рампы» успел перед этой пьесой мелькнуть... Тогда как с «Трактиром “Четвереньки”», — первым моим драматургическим опытом, — и того не бывало.

Возвращаясь к «Предсказанию Эгля», напомним, что, при всей дикой свободе сочинения этой вещи мною, всё же она восходит к *мотивам*: к Александру Грину со знаменитыми его «Алыми парусами».

Тогда как «Трактир “Четвереньки”» ровно ни к чему и ни к кому не восходит, являясь уже совершенно единоличной и самовольной выдумкой лица, пишущего и эти строки тоже. Если угодно, «Трактир» — это собрание досужих бредней трудящегося человека!

И всё это побуждает меня посвятить «Трактиру “Четвереньки”» несколько более обстоятельный рассказ, нежели «Предсказанию Эгля».

Вообще-то некий протообраз у «Трактира “Четвереньки”» был. Выражаясь ещё дичей, — ПРОТОВЕЩЬ — была. Но то была тоже досужая! фантазия, а точнее — рукопись собственного моего романа «Союз Действительных». Рукопись эта — в свою очередь — претерпела множество и, кажется, совсем не заслуженных, горестей, потому что, не будучи никогда и нигде напечатана, она не успела и провиниться.

Перевозки её и переброски, подачи её (в надежде на лучшее!) различным лицам в виде отдельных глав и друзьям — в виде целых пачек листов («друзьям», впоследствии оказавшимся жгучими ревнивцами от Феба!) — вот далеко, далеко не полный список её мытарств! В результате коих многие листы, охапки листов и целые тетради моего заветного сочинения были мною навсегда утрачены. Впрочем, некоторые его образы, фразы, большие сколки метода в целом, фабульные ходы и прочая, по закону превращения веществ, пропав в одном (тоже, конечно, не в одном!) месте, неожиданно всплывали в других местах... И под чужими уже именами... Но если бы это могло истинного автора как-то утешить, истинный автор бы не роптал!

«Есть от чего в отчаянье прийти!» — как сказал бы Ростан. Фактически готовая (в 1958 году начатая, а к семидесятым завершённая) книга вновь лежала в развалинах!

Убивало даже не столько исчезновение материалов, пошедших (пользуясь образным выражением Екатерины Второй) на «усушку, утруску и мышеед», сколько покража у меня тетрадью с большими фрагментами романа. Но, собравшись с духом, я решилась... всю рукопись восстановить! По черновикам — пусть бледным, по отдельным уцелевшим тетрадям...

Независимо от качеств романа (я ведь так и не знаю, на что он похож, — критики не было) сама работа эта сильно напоминает собирание рассыпавшейся мозаики в пользу воссоздания разрушенной варварами фрески! Бог весть — закончится ли когда этот, почти каторжный, труд... Но, по счастью для меня (а как для читателя — не могу знать), су-

ществует «Трактир “Четвереньки”» — вещь, в которой, как в Ноевом ковчеге, СПАСЛОСЬ несколько важных линий романа.

Предлагаемый вариант пьесы является первым и, думаю, самым верным. А ведь было время, когда под влиянием людей (связанных если уж не с Огнями Рампы, то с Занавесом Милосердия, но — казавшихся мне почти исполинами театральной мысли) я шла и на доработки и на смелые переработки её. Ибо они клялись поставить её, но многое в ней их не устраивало; к примеру, то, что в ней фигурирует только одна женщина: Веста! «Почему?» — удивлялись они, причём я была пожалована быстрым взглядом искоса (разумеется, — страсть до чего «проницательным!»)... Вот тогда-то, — испугавшись ли кривотолка или (на самом деле!) пожалев премногих актрис, остававшихся-де по моей милости без работы и куска хлеба («чёрствого» куска! обязательно — «чёрствого!»), я и пересмотрела своё поведение.

(Боже мой! Можно было подумать, что вот сейчас «Трактир “Четвереньки”» в ста театрах поставят! А ТРИДЦАТЬ ЛЕТ с тех пор прошло — и ничего; все «умиравшие» по моей вине артистки — живы! Если, конечно, ничего с ними не сделалось от совершенно иных причин. Зато пьеса — ни с места.)

Итак, согласившись на усиление женского персонала в пьесе, я опять потревожила тени «Союза Действительных»; вызвала из его недр, так и быть! — дополнительные женские образы. На «сцену» одна за другой вырулили тогда: и Анна Карловна (врач-психиатр), и Двоюродная Сестра Милосердия (уже не только в упоминании, а живьём), и заветная моя романическая находка — Женщина-Вышибало (которой людей вышибать некуда!). Это такая толстая дама в красном коротком платье, с метлою и в шляпе со страусовыми перьями. На руке у неё красуются часики — не часики, а своего рода башенные куранты на ремешке! Чуть только не сам Большой Бен с устрашающим по таинственности и силе башенным полуночным боем, при каж-

дом ударе которого дама высоко подпрыгивала. И не только она! — весь Трактир.

(Тогда, к концу 1960-х годов, — когда с так называемой «вечной» женственностью ещё не до конца расквитались, — моя второстепенная персонажица Дама-Вышибало должна была — по моим предположениям, — показаться зрителю в диковинку...)

Словом, дописки «Трактира», вроде бы столь кому-то необходимые, увлекли меня самоё. В пьесе наряду с новыми лицами возникали новые диалоги, сцены, стихи... Скит у меня, к примеру, говорил:

Возьмём генетику; без дружеской руки —
 Всё Мироздание наклонится к закату:
 Людскими генами займутся дураки
 И станут их распределять... по блату!

Зная слово «генетика», я тогда и не слыхивала таких слов, как «клонирование». Не было ли в слове «наклони́тся» некоторого предчувствия будущности генетики и предхарактеристики слова «клонирование»? «Клонировать» — «клонить»? Правда, и сюда примешивались варианты: «Всё Мироздание она *пригнёт* к закату»...

Другими словами — пьеса моя уже выкипала из своих прежних размеров: выросстал — с неизбежностью! — замысел продолжения под названием «Сон с продолжением» (или «Алонсо Бессмертный»). Сохранились и заготовки. Как вдруг мою разбежавшуюся руку остановило нечто. Я поняла вдруг, что вечный голод театров по «материалу», вечный крик режиссёров: «Где пьеса? Даёшь новую пьесу!» — ко мне не относится. Тому ли интересоваться моими «продолжениями», кому и начала-то не нужны?! Я в этом успела уже убедиться. О моём-то, правда, материале и кричали тогда: «Это *новый* театр!» Но кричали шёпотом и на кухне. Или опасались чего?

И вот я восстановила «Трактир “Четвереньки”» в его прежних правах и обязанностях, то есть — в этом первоначальном виде.

Одна за другой, понурясь, вернулись в родную стихию «Союза Действительных» и Анна Карловна, и Двоюродная Сестра Милосердия, и Женщина-Вышибало. Никаких суфражистских собраний! — Веста снова осталась одна. Впрочем... одна ли? Самое интересное как раз в том, что женские роли, невидимые дотолё, уже и с самого начала — находились в пьесе. Да: в этом вот — первом её, изначально-нейшем варианте! А разглядеть их, очевидно, мог лишь тот, кто хотя единожды подошёл бы к «Трактиру “Четвереньки”» с честными (для разнообразия!) намерениями.

Веста — одна? Не совсем так. А кто же, если не женщина, будет играть, например, Юнгу?

Вот вам и Вторая, не такая уж малая, роль!

А когда Скит (хлопнув, наверно, в ладоши) зовёт: «Фея Берилюна, Фея Мелузина!» — неужели на зов должны прикослапать... двое дюжих бородачей? Будь режиссёром — я, конечно, так бы и сделала эту сцену! (Впрочем, феи у меня как персонажи не обозначены и простому глазу не видны.) Но тот, кому так сильно не хватало женских ролей, что и сказать невозможно, волен был вывести и *обеих фей* (оба раза) в виде двух таинственных женщин! Разве не так? Вдобавок — уже чисто режиссёрски развить их роли и участить выходы...

И, наконец — *Голос!* Голос, говорящий стихи «Всё неясное днём разъяснилось» и стихи «Одни ли книги их усыпляли» — ведь же у режиссёра (не у меня) это бы мог быть не обязательно Голос, а целый человек! *Женщина! Ведущая!* Перед началами действий она могла бы стоять у складки занавеса или вышагивать по авансцене, читая эти (и не только эти) стихи...

Конечно, всё это не такие большие женские роли, как Первая и Вторая, но ведь больших ролей и нигде не бывает в избытке. Что? Взять да нагнать их в пьесу откуда-нибудь *просто так*? Без определённой надобности?

«Женщина на корабле завсегда к погибели», — оглашает старинную примету один из моих героев. Так сколько же, — если послушать моих благодетелей из шестидесятых

годов, моих меценатов, довольно многочисленных и без зазрения совести заставлявших меня работать впустую, — сколько же следовало мне сочинить кораблей и сколько соответствующих «погибелей», чтобы хватило их на все женские роли, требуемые кому-то там по ранжиру? «Десяток женщин на десяти кораблях — к десяти погибелям?» — так, что ли, должен был высказаться мой суеверный пират? Одно же судно десять раз потонуть не может. (Тем более что в предлагаемой пьесе и одного-то утлого судёнышка не будет: все — на ремонте в доках стоят!)

Как видим (относительно прочих женских присутствий), подчёркнутое одиночество Весты на сцене было вызвано некоторой необходимостью.

Декабрь 1997

БЛИЗКОЕ ПРОШЛОЕ

Именем короля!..



«Именем короля!...»

«Трех мушкетёров» мы с сестрой прочли ещё в ребячестве, когда для восхищения книгой нам было довольно и того, что она приключенческая. А то, чего в ней, может быть, не доставало, полностью возмещал (сотрудничая с Дюма!) сам утренний свет детства.

Как ни странно, некую верность «приключениям» я сохранила... до сих пор! Но если «Остров сокровищ», например, остался в моих глазах на прежней недосыгаемой высоте искусства, то «Три мушкетера» как бы спустились на ступеньку ниже — с тех пор, как я с ними не виделась. Стало заметно, что книге не хватает той глубины и тени, какими пленяет, к примеру, «Оливер Твист», что нет в ней и прозрачности «Тома Сойера»... Описания стали казаться немного сухими, а нагромождение событий — чрезмерным, тем более когда уже знаешь концовку! Наверно, эту книгу должен прочесть каждый, но — только один раз и лучше уж в детстве.

При всей смелости отдельных описаний (любовных походов героев) детей эта книга не портит. (Детей портит — не она!) Дюма ведь не делает каких-то порноподсказок и до-объяснений — СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ДЕТЕЙ (в духе усердной нынешней литературы). Не оттого ли именно дети — оставаясь на хорошем уровне нормального ДЕТСКОГО неведения — так любят его? И понимают его книгу (в целом) — правильно? Хотя вообще-то... благород-

ство некоторых мушкетёрских поступков вовсе не безупречно...

Обществу тех мушкетёрских времен было ясно: если уж королевская власть плоха, то церковно-иезуитская (самому королю страшная!) ещё хуже. Но ведь что делают наши герои? Они выбирают даже не между кардиналом и королём, но... между кардиналом, королём и — королевой. В пользу этой последней и в помощь её супружеской дамской неверности!

Понимаю, это тоже нужно было мушкетёрам для политики; для выравнивания баланса дел, сил в стране и всё такое... Но для РОМАНА ЧЕСТИ (не могу иначе назвать ЖАНР, созданный Дюма!) это всё же как-то нехорошо!

Что может оправдать королеву? То, что и король не без греха? Возможно. Но вот ведь и её лучшая фрейлина оправдана (в том же грехе) тем, что у неё супруг — негодяй. Словом, куда ни ступи — везде одинаковые удобства. Был бы грех — оправдание сыщется. Не привыкать нам, слабым людям-то. И — да здравствует королева! Но...

Но отчего же всё-таки цокот копыт мушкетёрских коней (с каждой новой вылазкой всадников) так волнует нас, пробуждая мысли ИМЕННО О БЛАГОРОДСТВЕ? Почему к пожеланию: «Прочти о них только раз» — так и хочется добавить: «Только раз, но — непременно!»? Почему, несмотря ни на что, главным словом уст их так и кажется (почти уже нетелесное, почти надмирное) — «ИМЕНЕМ КОРОЛЯ!»?..

Видимо, тайну эту Дюма унес с собою. Тайну, перед которой нельзя не робеть... Но, «от страха сделавшись храбрыми» (как говорил сам Дюма устами д'Артаньяна), всё же выскажем робеющую догадку: благородство, даже испорченное легкомыслием, даже не во всех точностях в себе уточнённое, но ИСКРЕННЕЕ И ПЫЛКОЕ, тоже может одерживать блестящие победы над временем.

Странный роман!

О нём можно вообще не думать, но почему-то необходимо знать, что он ЕСТЬ. Что его не может не быть! — как не может не быть Европы, наших воспоминаний, смены

поколений, с детским приходом каждого из которых возобновляется топот тех лошадей...

...Каюсь: никогда не могла путем отличить Атоса от Портоса, а вкрадчивость Арамиса мне не очень нравилась. Помню, в нашей семье обсуждался вопрос: почему «Три мушкетёра», когда — четыре? (Теперь догадываюсь: «Бог троицу любит!») Вообще же читали, не рассуждая. (Упоеание — враг анализа, сказала бы я!) Но подсознательно не могли не понять, что главных героев не бывает по трое да по четверо, и, подобно всем детям света (и подобно самому автору — этому большому ребенку!), сразу выбрали в главные — д'Артаньяна. Так ловок, что вроде бы и добрым быть не обязан? А он ещё и самый добрый, самый храбрый, самый весёлый! И первым вскакивает в седло — скакать, спасать!.. Скорее! Скорее! **ИМЕНЕМ КОРОЛЯ!**

И, наверное, для всех нас необходимо, чтобы где-то на облачных подмостках, в заоблачной перспективе всегда стоял, отовсюду зримый, весёлый, решительный и бесстрашный (внешне чем-то похожий на великого Кота в сапогах с гравюры Доре) человек из книги, в которой «именем короля» запрещается зло.

1994



Мысли о Ростане

...«Искусство для искусства» — всё ещё (устарелыми вот этими словами) ругаются многие. Но почему-то не столько перед публицистикой у них, у этих людей, страх, сколько как раз перед художеством, по их мнению, «чистым». В искусстве эти люди ищут главным образом расстройств и тенденций. Расстройство как будто утешает их, а тенденции возвышают их душу. Но художество, вроде бы ЧИСТОЕ, повторю: отчего-то всё-таки пугает, устрашает их, а не смешит, как можно подумать. Как если бы именно в пресловутой «башне из слоновой кости» (которую они клянут почему-то как форпост РОМАНТИЗМА, забыв, что выстроена-то она СИМВОЛИСТАМИ!), — как если бы именно в ней, в превратно понятой, и хранилось всё то, что нанесёт когда-нибудь сокрушительный удар их собственному лукавству.

Бог Судья — судьям самозванным. Но я-то считаю так: расстраивает? — значит, не искусство; руки у людей опускаются? — значит, не искусство. Радует? — значит, искусство.

Древние греки ведь не зря «придумали», а лучше сказать, выстрадали, катарсис: очищение то есть, а не мутные разводы тоски.

У знаменитого автора «Сирано де Бержерака» есть, как мы знаем, и другие, тоже совсем недурные, пьесы. Среди них имеется и скромно-блестящая «ДВА ПЬЕРО, или БЕ-

ЛЫЙ УЖИН». Человек, интуитивно недоброжелательный к правде творчества, к правде, которая, очевидно, и его грозит в чём-то изобличить (иначе бы он так не беспокоился!), — обычно, чтобы успешней напасть на произведение, заправски путает его форму с содержанием. А перепутав, объявляет: «Глядите, какие телячьи нежности! Деликатесы какие; какие слоновые башни уже в названии: “Два Пьеро, или Белый ужин”! Ха! — у бедняков тут и чёрствого чёрного куса в котомке не сыщется, а у них, видите ли, “Белые ужины”!» (Имеется, конечно, в виду отсутствие чёрствого куса у самого ругающегося, хотя на поверку именно он всегда, как на грех, оказывается на редкость материально благополучным и процветающим «революционером»!*) Этаким карбонарием от алмазных копей, угольщиком без пятнышка на манишке, взыскательно «снизу» наставляющим чересчур высоко воспарившие и вконец зарвавшиеся нищенские чердаки!»

Правда, я не слышала подобного типа критики **ИМЕННО** по адресу «Двух Пьеро». Но зная её и по своему (более скромному) опыту, будучи и сама отчасти жертвою таковых изысканий, легко представляла себе: **КАК** должны были бы наши критики 50-х, 60-х годов напуститься на изящную французскую пьесу начала столетия, — кабы сами же допустили её до печати.

«Два Пьеро, или Белый ужин» — вещь эта была излюбленным чтением моего отрочества. Несмотря на утончённость её формы, я не воспринимала её в качестве «искусства для искусства». Потому, наверное, что искала в ней — прежде всего — содержание, которое быстро нашла. А утонченность формы? (В общем-то, очень простой!) А несколько подчёркнутое поклонение Красоте, сквозящее и в этой пьесе Ростана? Противиться ли этому взгляду? Опасаться ли нечаянно разделить его? А, собственно говоря, зачем? Не безобразью же нам кланяться велят!

* Эссе было написано в основном в 1988 году. С тех пор кое-что в общих взглядах переменялось, но, по-моему, не очень существенно.

Довольно рано (и не без влияния Ростана, конечно!) я научилась отличать аристократизм честной бедности и вызывающий эстетизм бедняцкого класса актеров (от которых, несомненно, и шёл во многих своих амбициях Ростан) от поневоле вульгарного тяжкого *эстетства* тех выскочек-буржуа, которых он так ненавидел. Мать рассказала мне — в моём детстве — эпизод из какой-то оперетты, особенно запомнившийся ей. Бедные, чтобы не сказать — нищенствующие, мать и дочь приходят в фешенебельный ресторан. Их первая забота — скрыть от присутствующих тот факт, что у них, родовых аристократок, нет средств на хороший ужин. «Принесите мне американский фрукт картофэль и стакан чистой, безукоризненной, ключевой воды», — говорит тогда официанту старшая с капризными модуляциями в голосе, но с явным однако же наслаждением и с подчеркнутой внятностью называя эти деликатесы...

— Гордость, — мне скажут, — ложная?

— Совершенно верно. Но ведь и то, в какой чистоте сохранил свой воротничок чаплинский Бродяга, в то же время облачённый в рваные, сползающие на каждом шагу, панталоны, — тоже от гордости ложной. Однако менее всё-таки ложной, нежели чванство бесчестно преуспевающих дельцов и детей деляческих — просаживателей больших капиталов.

Слишком многие виды гордости, как видим, прямо-таки обречены быть ложными. Так же, как, впрочем, обречены быть наигранными и многие виды беспечности, — каковы всё-таки, — даже приближаясь к безалаберности, — гораздо, гораздо лучше «ПРАЗДНОСТИ МЕЩАНСТВА СЫТОЙ». Правда, Ростан записал эти слова тогда, когда они еще не были общим местом и пустым звуком. Это уже *теперь* они почти потеряли свой первоначальный смысл, а «праздность мещанства сытая» — вот она! Никуда не делась и ничего с ней не сделалось. Она обманула все слова, когда-либо ей грозившие; все длинные речи, некогда всерьёз, а не в шутку было призванные развенчать, изобличить её. И теперь уже сама эта ПРАЗДНОСТЬ МЕЩАНСТВА

СЫТАЯ сварливо бормочет там что-то о «праздности мещанства сытой», относя её, разумеется, не к себе... Или — того хуже: не без личного злорадства напоминает нам, что слова-то эти устарели. Новые! Давайте новые! И тогда она их тоже обманет.

Доброму автору свойственно заботиться даже о материальном благе своих героев! Если это, конечно, не идет во вред общему замыслу сочинения. Вот я и думаю: а была ли, **МОГЛА ЛИ** быть в **ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ**, богата ростановская Коломбина из «Двух Пьеро»? Вряд ли. Скорее всего её обступали всего лишь **БУТАФОРСКИЕ** блага, **ЭМБЛЕМЫ** покоя и **СИМВОЛЫ** безмятежности, а вовсе не они сами. Так было бы с ней, безусловно, в самой жизни, — потому-то и театральный Белый ужин неотвязно кажется мне всё-таки сугубо кукольным угощением, собранным на балаганские медяки. Подобно героям Александра Грина, ростановские люди (и куклы, и маски) редко ставят материальное процветание во главу угла, а потому они так же легко выносят испытания богатством, как и проверку бедностью. Во всяком разе Коломбине и Пьеро 1-му, кажется, было бы совсем не страшно утратить кукольное свое преуспеяние и нужда так же бы не могла выбить их из колеи, как Пьеро 2-му не помогло бы войти в колею никакое богатство.

Итак, легкость, с какою герои Ростана терпят свою обеспеченность, — она с лихвой окупается **СТОЙКОСТЬЮ**, с какою они (в других пьесах и стихотворениях) — сносят нужду. Тщательная **ОБСТАНОВОЧНОСТЬ** пьес Ростана частенько входит в забавное противоречие с гордой внутренней **СВОБОДОЙ** действующих лиц, — людей, как бы нарочно созданных поклоняться Красоте и — одновременно — не замечать обстановки. Но не все противоречия Ростана так забавны и так поэтичны. И сочинения его, конечно, неравноценны.

Это-то и давало повод различным деятелям вроде как плутать и путать; но плутать — руководяще, но путать — сурово и целенаправленно, и заминать самого «Сирано де Бержерака» наравне — и ведь **СОВЕРШЕННО** притом на-

равне! — с каким-нибудь «Днём причудницы»... Такою вот путаницей оценок, во многом нарочитой, как буреломом были завалены многие сюжетные ходы не одной творческой судьбы. А! Ростан! Тонный и томный автор «причудниц» там всяких да изысканного «Орлёнка»? И вот, гениального «Сирано» начинают «счастливо» избегать не только наши издательства, но и наши театры. В этой связи вспоминается мне где-то прочитанная старая пародия (не то фельетон) с такими словами:

Полны жуанами, эльмирами,
 Де бержераками полны,
 Театры звякают рапирами,
 Надев короткие штаны.

Трудно сказать, где автор почерпнул такие богатые сведения, но, по-моему, театры были «полны» не столько де бержераками, сколько булгаковскими менежраками, и как были «полны» ЭТИМИ ПОСЛЕДНИМИ, так и остались. Конечно, мне бывать в театрах почти не приходилось (а мои визиты к менежракам, навсегда тайно запретившим две мои пьесы, — не в счет). Но ведь, судя по критике, письменной и звучащей, легендарного Сирано никто, кроме Рубена Симонова, вроде, так и не сыграл, ибо, кроме театра им. Вахтангова, эту великую вещь Ростана никто, кажется, и не ставил? Во все известные мне ГОДЫ и на всём известном мне ПРОСТРАНСТВЕ — во всяком разе*.

— Зато Ростана у нас неплохо печатают, — говорили мне иные люди. Хочется спросить: ГДЕ? ГДЕ и КОГДА — хотя бы каждый СОТЫЙ читатель мог, — может — ещё у киоска раскрыть и прочесть яркое, внятное, по самой природе своей хрестоматийное, строчечное упоение моего детства? —

Танцуйте, танцуйте, широкие барки,
 Названия ваши, и смелы и ярки,
 Как возгласы гордого сердца, звучат!
 «Акула» из Нанта, «Дельфин» из Пемполя,
 На время у вас отнята ваша воля,
 Вас держит канат.

* В этом я, правда, ошибалась, но не слишком сильно.

Прочсть — в приятно-крупном шрифте букварей, в шрифте, в котором (рядом с БИСЕРНЫМ Расином, БИСЕРНЫМ Бомарше, БИСЕРНЫМ Крыловым!) выходят в свет столь безобразные тексты (но очень крупно отпечатанные), что невольно напрашивается мысль о некоем нарочито-слепом ШРИФТЕ РАСПРАВ, навязанном именно КЛАССИКЕ! за то, что свободолюбива на свой — классически-человеческий, — а не на пошлый лад... Но нет. Всё же не хочется так плохо думать о «ближних». Расправы? Нет. Как-то больше хочется надеяться всё же на их невежество, уповать на их слепоту, а рассчитывать — на серость и недалекость... Как на маяки почти нравственности! исключая угрозу подумать о людях-человеках уж совсем плохо. Ещё хуже!

Так или иначе, а на единственном, — мною виденном за жизнь, — издании Ростана ещё красуются старинные твердые знаки. Первое же (здешнее) за весь наш век, если не ошибаюсь, переиздание поэта, сделанное лишь в позапрошлом году, опять-таки награждено столь мелким шрифтом, что досаду свою на неудобоваримый шрифт читатель поневоле перенесёт на качество пьес...

Бог да рассудит всех, сидящих у пульта удач и невзгод наших. Мы же — да не впадём в — и без того уже всем наскучившую — ЯРОСТЬ ОБЪЕКТИВНОСТИ! Которая «объективность» — (преимущество как раз сидящих у пульта) — по самой природе вещей — яростной быть не должна. Признаём же, как люди пристрастные, что и у наших любимых поэтов есть недостатки.

Некоторый уклон — если не сплошь к декадентству, то к определенной эксцентричности, свойственен был *всей* недолгой ростановской эпохе. Но в лучших образцах исполнившегося творчества то не был эксцентризм, сколько-нибудь серьезно-обидный для *натуральности* того же творчества. Метерлинк создавал свои пьесы в настоящем средневековом замке (точнее — в аббатстве), что, может быть, и отразилось на жутковатой и безотрадной «Принцессе Мален», но ничуть не сказалось на неувыдаемой «Синей пти-

це!»! Сара Бернар, доводившая утонченность игры до паутинчатости, а значит, в чём-то уже и до ненужности (кому нужна паутина?), всё ж таки блистала на сцене и, в частности, в роли роستانовского герцога Рейхштадского. (Героя, — кто бы что ни утверждал, — не декадентского ни капельки!) Невольный глава всякой тонкописи, Уайльд, аристократничая напропалую, НИКОГДА (если взглядеться) не разрабатывал тему избранничества и он же осудил утонченность.. Вообще — крайний эксцентризм, высокомерие, упадничество и эстетство никогда не могли быть и не были ЦЕЛЬЮ настоящих художников, но порою эти последние надевали их на себя в качестве личины или новомодного платья.

Авторы рисуемого периода, вероятно, остро предчувствовали надвигавшееся разрушение всего и вся... Может показаться, что именно поэтому они словно бы пробовали, — пытались укрепить устои мира при помощи цветных металлов и драгоценных камней в их образном выражении*. Тогда-то и хлынули в стихи и прозу наивными потоками золото, серебро, яшма, сапфиры, опалы... Конечно, в практике авторов, какие помельче, подобный отбор поэтических средств и приёмов наверняка был всего лишь косвенным выражением тревожной и нарастающей алчности. Но не таков Эдмонд Ростан! Верный сын в чём-то и своего времени, не ушёл-таки, конечно, и он от распространённого поветрия: от стараний по обработке тех же, не столько прочных в искусстве, сколько *общезаклинательных*, материалов:

Вон — улыбнись скорей бриллиантовой звезде,
Зажёгшейся вверху в бледно-зелёной дали.
Взгляни, как сотни искр мерцают на воде
Из серых жемчугов и голубой эмали.

Блестящий блестящ во всем! Но, по-моему, лишь разгрузившись от самоцветов, роستانовская образность становится воистину благодатной:

* Цветной металл в голосе лучше простого, — как бы решили они, — а краугольные камни мира должны быть драгоценными. Ибо... не о красоте ли сказано, что КРАСОТА СПАСЁТ МИР?

Смотри, как солнца шар, лучами обагрив
 Вершины стройные и тёмный бархат пиний,
 Скрывается в своей купели светло-синей;
 Ты слышишь голоса и пение вдали?
 То люди из лесу весеннего пришли
 И с песнями идут, нагружены сиренью...*

Хочется сказать: вот поэт, француз, который ЗАМЕТИЛ ФРАНЦИЮ! Не только её легкость и проблемы её, но САМОЁ Францию. В отличие от многих других, поймав её на мгновениях, может быть, уже неповторимых. Самых погожих...

Возвращаясь к вечно поносимому у нас (за изысканность) «ОРЛЁНКУ», — к герцогу Рейхштадтскому, скажу: да, действительно он окружён был музыкой, гербариями, обожанием дворцовых дам. Но зачем же забывать, что это был человек в ПЛЕНУ, НЕНАВИДЕВШИЙ СВОЮ ЗОЛОЧЁНУЮ КЛЕТКУ и... мечтавший ПОГИБНУТЬ НА ПОЛЕ БОЯ ЗА ФРАНЦИЮ, за тень своего отца — Бонапарта? В том-то и весь пафос пьесы!

Зачем же всё передёргивать? И *силой* подтаскивать «Орлёнка» к разным «причудницам», если именно в «Орлёнке», как нигде, пылко, но и последовательно утверждается и прослеживается борьба героического с упадническим, натурального с претенциозным, чистого и здорового — с болезненным! Борьба не на жизнь, а на смерть — меж двух эпох, — и на краю обрыва...

1988—1989

* Оба отрывка из пьесы «Два Пьеро, или Белый ужин» Э. Ростана (в переводе Т. Л. Шепкиной-Куперник).



Опыт грёз

*Из красных блях, цветов и янтаря с соломой
Он пояс обещал своей любимой сплесть.
Как яркоцветна вязь! А в ней — какой знакомый
Дух непрактичности и преданности есть!
Тот будет поступать всегда неосторожно,
И вечно цепи рвать, и вечно влечь ярём,
Кто верит, что сдержать в одной гирлянде можно
Солому с бляхами и розы — с янтарём.
От тренья янтарей соломка распадётся,
Цветы не выдержат соседства жёстких блях,
Тому же, кто сдружить их чаял, — век придётся
У инквизиторов цегрушкой быть в руках
И где-то в кабаке, Бог весть о чём радея,
Погибнуть под ножом наёмного злодея.*

Кристофер Марло, или Гадание на цветах

В рассветный час, додумав этот сонет (начатый ночью, когда, по завершении многосонетной своей «Шекспириады», я — с опасностью для завершения! — как в задачник, заглянула вдруг в комментарии Аникста к восьмому тому Шекспира), я хотела, конечно, снова заснуть. И уже в дрёме, в почти полном сне — мне вдруг — предрассветная грёза! Вдруг — женский горестно-музыкальный вскрик, со всхлипом, вырвавшийся жалобно среди плача. Плача, который честно хотят подавить, но подавить не могут.

В широкой, квадратной и сумрачной комнате с низким бревенчатым потолком плакала — всё ещё грациозная, но, кажется, немного невзрачная — женщина. В сером платье, с бледным продолговатым лицом и в прилегающем к голове полупрозрачно-белом чепце, завязанном тесёмками под подбородком.

— Тихо! — резко крикнул мужчина: он быстро собирался куда-то. Но он крикнул не с тем, чтобы её обидеть, а потому что боялся: плач кем-то будет подслушан...

Однако же и она плакала не от обиды, но лишь от бесилия удержать его, так как предчувствовала, что оттуда, куда он спешит, он больше уж не вернётся. Но он (а этот стремительный человек в белой голландской рубашке со свободным воротом был Кристофер Марло!²²) не мог остаться дома никак; ему надо было срочно скакать верхом — выручать какого-то друга.

Ибо несколько часов назад его предупредил о грозящей — и ему, Кристоферу*, и какому-то Джону, и всем — опасности некий вельможный и дюжий почти старик.

— У них коалиция, — сказал он молодому человеку о каких-то людях, только что вероломно объединившихся с их врагами. Сказал (разумеется, очень секретно) этот Холёный тайный наставник с жирным и сиплым голосом, и слово «коалиция» прозвучало очень страшно. Но Холёный лгал. Враждующие стороны, одной из которых самозабвенно служил поэт Марло, пока и не думали объединяться, — свидетельствовало моё сновидение. Во всяком случае, всё здесь обстояло как-то сложнее. Но, конечно, если бы объединились, то одна сторона другой стороне скоро выдала бы всех своих наиболее верных людей и всех (пусть, может быть, не таких верных, но влиятельных) представителей. Старик предводитель опасался очень уж за себя! В страхе за себя (если верить показаниям сна) опережал события. Он боялся (а это-то уже не из сна, это — из комментария), что Марло выдаст его, коли дело дойдёт до пытки. Поэтому (и здесь опять выступает сон) Холёный решил сгустить краски, усилить в глазах Марло степень опасности. И о предательстве чьём-то, даже ещё не свершённом, сказать ему как бы об уже свершившемся.

— Проклятье! — вскричал поэт, отличавшийся, думается, как подозрительностью, так и великой в иных случаях доверчивостью. — Это ведь не одних нас заденет! Это заденет также и... — И тут он произнёс какое-то имя, больше всего похожее на имя «Джон».

* Известно, что Марло состоял в тайном антиклерикальном сообществе.

— О Джоне, друг мой, я и подумал прежде всего, — сказал Холёный, — но сам Джон, по причинам, которые тебе известны, не должен сейчас появляться на сцене... Однако же в трактире (таком-то; это место в речах Холёного осталось неясным, но Марло действительно был заколот в трактире) ждать будет тебя человек от Джона. Через этого человека и передашь Джону: он должен держать ухо востро и срочно покинуть Англию.

— Да, но как я его узнаю, этого человека — посланца от Джона?

И тут Холёный протянул Кристоферу тусклое кольцо с водянистым искусственным камнем. (Среди многих неясностей это был очень внезапный и очень ясный, многозначительно ясный кадр. И притом — крупным планом!)

— Верти кольцо перед каждым, кто к тебе в трактире приблизится или подсядет. Играй кольцом этим как будто не нарочно. На такое навряд кто позарится, а кому надо — тебя по нему узнает.

Разумеется, в трактире могли узнать Марло и без кольца. И отнюдь не только друзья! Не потому, возможно, что такие начитанные, а потому что Рэли (ведь Холёный был — по моему сновидению — Рэли, а если неверен сон, то прости меня Боже!), потому что этот условный Рэли тщательнейше описал внешность поэта наёмному душегубцу. (Для веков бы, а не для наёмников этак!)

— Если по виду не узнаешь его, то по кольцу узнаешь, — пояснил Холёный головорезу..

Был ли Кристофер Марло — человек, так сильно повлиявший на самого Шекспира и, очевидно, очень к нему расположенный, — был ли он убит сразу в злосчастной той харчевне или же для начала с ним затеяли ссору, что, вероятно, не составило большого труда?

Дабы не увидеть ненароком ещё и сцену убийства поэта, я почла за лучшее поскорее проснуться! Несмотря на то, что была сильно заинтригована своим столь подробным сновидением, быть может (всё бывает!), содержащим мелкие открытия, конец-то я всё-таки уже знала и при всём

желании не могла его изменить. Должна, однако, честно признаться, что всю неизвестную мне часть истории я не только видела во сне и узнавала из сна, но и жульнически додумывала её, так сказать, от себя. Той стороной сознания, которая, должно быть, и не думала спать. Что же именно из увиденного было во сне, и только во сне, — то есть ближе к верной догадке? А что — из подсказок яви?

Самым верным, близким к прозрению могло быть, разумеется, всё *внезапное*. Внезапных картин я никак не могла спровоцировать, я сама была ими поражена, — они и доли мгновения не предоставили мне на сочинительство и подделку! *Внезапен* для меня был женский плач, с которого всё и началось; плач этот вызвал женщину из небытия и обрисовал её, как свет молнии, но в последовательности: сначала плач, потом — женщина. (Женщина начинается с плача?) *Внезапно* явилась мне и небогатая комната с низким потолком из елизаветинских почернелых балок и стропил. *Внезапен* был окрик: «Тихо!» И опять же — сначала окрик, а потом мужчина, возникший из своего голоса как по мановению волшебного жезла. (Мужчина начинается с окрика? Неужели?) *Внезапна* была догадка, что это Марло, *внезапны* были его быстрые сборы куда-то, белизна его рубашки и взмах руки вверх — там, где, собираясь, он поспешно доставал что-то с высоких полок в углу под потолком. (А я уже знала, что это — оружие!) Быть может, какие-то частности сна и уступали — в своей *внезапности* — главному: то есть появлению Марло там, где его только что не было. Но неожиданными — такими, которых тоже только что не было, — были и (вообще все) голоса. Например, голос Холёного. И все слова. И... невольно я начинаю призадумываться: что же тогда в этом сне не было *внезапным*? Наверное, только то, что забылось?

Не забылись: видение кольца, видение чепца, видение, как я уже говорила, большой квадратной мрачноватой расцветной комнаты.

Станный сон! Откуда он взялся? Или кто-то хотел показать мне, как всё было в наглядности: в деталях, в карти-

нах, имевших место, но которых никто не видел? Или это был только сложный отблеск моих реальных предположений? Ведь ещё, например, до знакомства с добросовестнейшими, превосходными комментариями Аникста, которые могли наваять мне эту версию, я видела где-то портрет Уолтера Рэли и почему-то подумала, что он мог предать Марло! Или потому я увидела этот сон, что великое горе леди Марло, никому впоследствии и не снившееся (так же, впрочем, как сама она!), должно же было наконец кому-нибудь да присниться? А не потому ли, между прочим, с неё всё и началось, что, возможно, именно ей поэт посвятил стихи о цветочном поясе?

Вплету в солону ряд цветов —
И пояс для тебя готов
С застёжками из янтаря
И в бляшках алых, как заря.

(«Песни для музыки». Перевод В. Левика)

Или так неожиданно явилась мне вовсе не та, которой были посвящены эти строки? Но казалось, что сама история — голосом сновидения — сообщила мне: «Это она!»*

Однако же какая подлая вещь произошла на моих глазах! «Верти кольцо — и тебя по нему узнает человек от Джона, — сказал Холёный поэту, — тебя узнает посланный от друзей...» «Увидишь того, кто вращает кольцо, — вот и кончай с ним!» — сказал тот же Холёный убийце-наёмнику. Да! Фокус необыкновенно подлый и при всей простоте беспредельно коварный. Неужели же таковой был проделан в самой реальности? Или он явился мне только в ложноисторической грёзе?

Я оформила для себя этот сон под профилем грёзы — даже и не знаю почему. Быть может, потому, что, несмотря на развёрнутый и разветвлённый сюжет, он не был длителен и вязок, как сны, но поражал резкой мелькающей сжатостью и неожиданностью, присущей именно грёзам.

* У Марло несомненно была жена, которая потом его оплакивала. Это лишь подтвердил мой сон, если, конечно, сны хоть что-нибудь подтверждают.

Опыт грёз!

Что же до размышлений, предпринимаемых наяву (если, конечно, можно так выразиться!), то я уже давно пришла к выводу, что принц Гамлет отчасти вполне мог быть «списан» Шекспиром с фигуры Кристофера Марло, — я в этом даже уверена!

С отчаянья — свой горний чин
Ещё в долинах мытарь тратит.
Пав духом, сам Шекспир подхватит
Крамольный, Марло, твой почин.
И нрав твой, твой конец, твой принцип,
Быть может, вспомнит в «Датском принце».

25 февраля 1994



Сюжеты на манжетах

Ничего не происходит только в аду.

Г. К. Честертон

Есть люди, которым ужасно нравится думать, что у нас в России чего-то нет! Ну хоть чего-нибудь пусть в России не будет — и то уже им приятно... Канальство, — как же легко их сделать счастливыми! «Россия — родина слонов!» — иронизируют они — и гогочут своему, без конца воспроизводимому, «остроумию». (Украшенному ещё и невежеством!) «Россия не может быть родиной слонов», — имеют в виду, злорадствуя, эти пересмешники. А между прочим, почему бы и нет? Да будет сомневающимся известно, что именно на территории России, — как показывают, кстати, раскопки учёных, — было обнаружено САМОЕ БОЛЬШОЕ В МИРЕ количество останков мамонтов! Пересмешники не верят? — пусть проверят. (Если это для них так важно...) Археологи, палеонтологи солгать не дадут*. Так что, господа остроумцы, Россия не только родина слонов, но даже ещё и ПРАРОДИНА МАМОНТОВ!!! Знайте это на всякий случай. Если уж (повторю), — вы изволите придавать сему обстоятельству такое значение.

Меня же иногда занимает не столько проблема слона (и Моськи!), сколько вопрос: а является ли Россия Родиной (или законным странноприимным домом) наших доброжелателей? Тоже вроде бы здешних? Тонкие нату-

* Например, слышано в июле сего (2004) года по радио «Россия» в одной из научных передач.

ры, — они довольно-таки грубо иногда злорадствуют по тому, например, поводу, что в нашей литературе ЯКОБЫ нет (и никогда не водилось!) настоящего классика в жанре детектива. Отдельные вкрапления детектива в романах Достоевского (вообще не детективщика) готовы, правда, признать. Не отрицают и новичков жанра, — каковые себя ещё, возможно, покажут, как только что родившиеся первопроходцы. Но трудноватенько, видно, им придётся, не имея, дескать, истинной русской школы, русской традиции по названной части, чтобы на эту, мол, традицию опереться, и так, чтобы она уже КЛАССИЧЕСКАЯ была! Ах, вот как? Опереться, значит, не на что? А что же вы думаете (например) о Крестовском? С его знаменитыми «Петербургскими трущобами»? По которым не так давно был даже большой телесериал сделан! Думаю, что и за уши не оттащить было тогда от телевизора — наших скептиков и отрицателей очевидного. Каковые этот захватывающий фильм глядели ещё и вместе со всей страной, в которой — по их словам — никогда не бывало-де своих конан-дойлов!

Фантастический детектив

Само собой разумеется, что в девятнадцатом веке не один Крестовский представлял русскую детективную классику. Но не имея намерения превращать эту речь в специальное исследование (ни в разговор о великих замалчиваниях!), — сошлюсь теперь на двадцатый век. Ведь так недавно прошедший! Кажется, оклики — и вернётся, — до того недалеко он ещё находится-то от нас... Но стоит ли окликать? Желать ли возвращения времени (наряду с содержанием в нём и некоторых непреходящих ценностей) — столь перегруженного всякой дрянью: ложью, грязью, страданием... Нет, лучше поостеречься, потому что знаю: что угодно из перечисленных благ вернулось бы, и даже охотно, — только позови! (Вон-вон — и не звали, а уже возвращается! Да и уходило ли?) Но ведь никогда и ни за что

больше не вернулся бы выдающийся кудесник детектива (и просто кудесник) Александр Грин. Ещё один человек, которого (в его недавний юбилей) поспешили запечатлеть неблагодарные, — дерзко отрицающие детективный жанр на Руси.

Бедняги! Сколько же у них накопилось ОТРИЦАЕМОГО, из чистого золота отлитого! — ужé и «с корабля современности» сбрасывать — невподъём! Надорвёшься отрицаячи! Ибо воистину королевского жеста потребовали когда-то от дарителя: «Капитан Дюк», «Золотая цепь», «Сто вёрст по реке», «Блистающий мир», «Трагедия плоскогорья Суан», «Комендант порта», «Бегущая по волнам», «Дорога никуда», «Зурбаганский стрелок», «Убийство в Кунст-Фише», «Гостиница вечерних огней», «Джесси и Моргиана», «Колония Ланфиер», «Алые паруса», «Крысолов» и, — как теперь говорят, — далее везде... Да как же можно после всего этого толковать об отсутствии у нас: не токмо «собственных платонов / И быстрых разумом невтонов», не только о местном дефиците на куперов и майнридов, но также и о плачевной обездоленности нашей по части КЛАССИЧЕСКОГО детектива? Как можно, произнося всё это, пройти мимо Грина? — вот чего я никак не пойму. Что делать... Видать, папарацци в России больше, чем папарацци, и включает в широкий круг свой не только своего же брата псевдожурналиста — (быстрейшего разносчика мнений), но и множества более усидчивых должностей, как то: критика, литературоведа-исследователя, историка, и — ещё сонмища и сонмища забывчивых, но издавна создающих впечатление умньенького общественного мнения... Здесь мы их, однако, оставим.

Поляк по происхождению (к сведению новых наци — всё равно славянин!), полностью русский по языку и натуре, Александр Степанович Гриневский в молодом своём творчестве, кажется, чаще прибегал к приёмам чистого детектива (или, скажем так, — максимально чистого), чем в более зрелые годы, — когда по-русски безудержное вторжение ЧУДЕСНОГО в его рассказы (или, если по-учёному,

психолого-фантастическое начало) сделалось его прозы характерной приметой.

Детектив, но с примесью чудесного? Ну так что ж? Тем неубедительней в серии «Чего на Руси не хватает» звучит голословное утверждение, будто у нас ещё и фантастов нет! Опять же — речь не о новеньких, не о фантастах-обзаведенцах, так сказать (их, кажется, и так не дают в обиду), — но о фантастах-дарителях, основоположниках. Вот их-то папарацциозные круги и отрицают как факт. И всё это уже начинает напоминать пародию на известную бразильскую песенку:

Рио-де-Жанейро!
Чего-то в нём только нет?
Там нет водопровода,
И отключают свет.

Ну-ка, дружно, ещё раз: «Рио-де-Жанейро! Чего-то...» Ладно, хватит. Обрадовались! Воистину — заставь мудреца Богу молиться, — так он ещё грянет тебе опять и про слоновью отчизну.. А времени мало. А сказать ещё надо много. Предвижу, например, нарекания насчёт «смещения жанров» у (любимого нами особо) Гриневского и, может быть, у других... Эти исполнители заунывной песни про слонов таковы, что им лишь бы придираяться! А я тогда им вот что скажу: ежели при такой вот «риодежанейрской» нищете нашей (в то время, как «в Греции всё есть»), — у нас *одно и то же лицо* может являться сильнейшим детективщиком и не менее значительным фантастом — то ЧЕГО ЖЕ БОЛЕ? И какого ещё рожна?!

Но, может быть, отрицающие русскую фантастику имели в виду другое? Быть может, нам намекают, что это не голевского типа фантастики мы лишены, а это сугубо научной фантастики мы лишены? Ефремов и Александр Беляев, и Алексей Николаевич Толстой (с его знаменитым пророческим «Гиперболоидом инженера Гарина»), наверно, удивились бы подобному заявлению... Правда, эти русско-советские жули верны суть почти современники наши. Тогда как загадочная придирка могла относиться не

к современности, а более к старине? Скептики сверлят глубже? Их ведь и не поймёшь...

Не о современности, правда, мыслю и я, вспоминая горькую участь нашего Кулибина — даже в са́мóй науке. Что же и говорить о научной фантастике в русском писательстве — за прошлые, например, два века! О явлении, которое несомненно БЫЛО. Здесь угадывается великая искусственность вакуума; здесь, как всегда, налицо подстроенное отсутствие (не так ли на долгие времена было подстроено отсутствие великих русских композиторов восемнадцатого века, — Евстигнея Фомина, Бортнянского, некоторых других?). И то сказать: «Дурное дело не хитрое», а замалчивание вообще не работа. Зато сколь величественны результаты! «Не было» Крестовского. «Не было» Грина. Достоевский? Только сейчас родился. Что говорить, если у исследователей-ничегоков, если у историков-никогдаков и Гомера-то «не было», и Шекспира «не было», и даже такого, — менее великого, но очень заметного автора, как Шолохов, ужé «не было»...

Их не устраивает ни Душа, ни Материя.
 Выжженная дотла пустыня (даже не прерия)
 Их умиляет... Сегодня целые сутки я
 Думаю: а для чего им свобода?
 Зачем — права?
 Греет их вера, что Гомера
 якобы не было,
 Льстит им надежда, что и Шекспира
 якобы не было.
Их радуют чёрные дыры? Какие жуткие,
 Какие страшные, НЕПОНЯТНЫЕ существа!

«Не было» — вдруг! — и убиенной царской семьи? «Не было» — вдруг! — и героев-панфиловцев? (Удивительно: кто же тогда отстоял Москву? Может быть, «Взгляд и нечто»?) «Не было» у нас, оказывается, и национальностей никогда, — а спорить бесполезно (особенно ежели заглянуть в наши новые паспорта, где пункт национальности вообще вымаран)!.. «Не было! Не было! — как вопила горьковская Настя из пьесы «На дне». — Ничего не было!»

Кстати, историки, работающие с НИЧЕМ (и получающие от сего соответствующее, надеюсь, удовольствие!) в ничегочестве своём не остаются одинокими. Под шум их песен без слов, их истории без героев, их этнографии без народов (без НАРОДА — вот что главное-то для них!) внезапно, точно добродетельный человек из табакерки, выпрыгнуло лицо, уверяющее нас на полном серьёзе, что и новый-то сюжет выдумать якобы невозможно! И лицо это даже очень распространено сделалось по эфиру... «Сюжеты исчерпаны!» — жизнерадостно повторяют его представители и его невыразительные выразители. И уже опять говорят ОТ ЛИЦА ВРЕМЕНИ, гордо величая «нашим веком» детский четырёхлетний срок...

После них — хоть потом сознания!

Вот и приехали! Не успела опомниться от изумления, задаваясь вопросом: с чем же всё-таки работают уважаемые литературоведы и чьи-то биографы, если подлинного-то почти ничего и не было, — уж не с Новым ли Платьем Короля? — как появляется, глядишь, уже НОВАЯ «настя», — для которой не только в былом всё повыжжено, а уже до того дошло, что и впереди — пустыня! Вот как? Значит, и самостоятельный новый сюжет уже выдумать невозможно? Но почему бы не предположить? — это тебе невозможно, а другому возможно, да ещё как! Сюжеты не виноваты, что и здесь наткнулись всего лишь на ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, — пользователей чужого — и только. Фабула (бессмертная, как всегда) неповинна, что у кого-то там с воображением проблемы. Пусть этот кто-то ведёт себя в таком случае скромно, сидит тихо; слезами обливается пусть над Вымыслом, ему неподвластным, а не «высвечивается», не назидает... И не всему свету навязывает унылый свой недостаток в качестве великого откровения и тонкого всеобуча. (Рифма — буча). Пусть про себя наконец отметит всё же ту лёгкость и ту свободу, с коими создавали свои сюжеты, ска-

жем, Брет-Гарт, Акутагава, Карел Чапек, а на русской почве, — например, Куприн, Короленко, Станюкович (за непослушание кому-то или чему-то не впускаемые нынче в пантеоны частых упоминаний). Пусть вспомнит О. Генри и Честертон, Диккенс и Марка Твена с их удивительными, НА ДИВО САМОСТОЯТЕЛЬНЫМИ! — сюжетами. Или перечитает, к примеру, того же Александра Грина; писателя сугубо здешнего, который жил, кстати, тоже не так давно; надменными бессюжетниками не замечаемый, всяким ослом поучаемый, — вот прямо отсюда, прямо от нас — ушёл в свой Зурбаган, а при жизни никогда в чужой карман за сюжетом не лазил.

Новый сюжет выдумать нельзя? Да что вы говорите?! Это НЕ выдумать его — невозможно. (На что неизобретательна, — а даже мне это иногда удавалось.) И потом — что их выдумывать? Да вот они, сюжеты; вся жизнь из них состоит. Это надо же ведь ухитриться не разглядеть их и не расслышать! Не знаю почему, но тот, кто избегает сюжета, чем-то похож на свидетеля, уклоняющегося от правды. Сюжет держит прозу и правду прозы. Не оттого ли я никогда не верила так называемому «потoku сознания» (который Иваном Киуру не зря был переименован в «потоп сознания»!), и тем меньше я этот потоп уважала, чем нагляднее им подменялась конкретная задача, конкретно-несущий СЮЖЕТ.

Конечно же и сюжет, умеючи, можно испортить, да ещё как! Но это другой разговор. А всего не обхватишь, — как сказал медведь, когда ему предложили свалить три дерева кряду.

Спасибо, что вас нет!

Воспой, богиня, раннюю зарю времён, — весну времён, — когда поэты САМИ слагали свои напевы, на лирах свободно бряца. Или другую зарю воспой, — пусть не самую раннюю, но зато и не самую позднюю, когда в основу

свободно развивающегося творчества уже закладывались: первая Повесть, первый Роман. Послушать позднейших учёных — так подумаешь, будто народ собирался на площадях — чуть только не специально, чтобы гуртом составлять раннюю мировую классику! Ах! Чем не картина? — хор сочиняет, — Корифей подхватывает! Но так не бывает. Хором — только исполнять можно, но хором сочинять — вряд ли.

А может быть, я слишком обобщаю, огрубляю вопрос? Зато и кабинетные учёные слишком уж неточны. Конечно, если ты, скажем, композитор (к примеру, Михаил Глинка) — ты в полном праве сказать: «НАРОД создаёт музыку, а мы...» Но если ты скрупулёзный исследователь, историк-музыковед — специалист, филолог и прочая, — тогда уж ты и сам не забывай и нам почаще напоминай: сочиняет не столько народ, сколько его отдельные отпрыски. Это надо наверно подчёркивать. Ибо авторство по природе СОЛЬНО, по определению УЕДИНЕННО, чтобы не сказать — одиноко. (Даже сочинительство «на пару» — вещь сравнительно редкая; по пальцам считать, — так и пальцев у вас окажется избыточное количество!).

Пусть Поэты возникают из толпы. (Откуда же ещё?!) Но не забыть бы, что это ВСЕГДА — отдельные личности. Ведь же одно слово — Автор! Правда и то, что (насколько известно) авторы долго о своём авторстве не задумывались. А когда задумались, — было поздно; великое и тяжёлое обезьянничанье повсеместно увязалось по их следам... Орды и орды, легионы и легионы жгучих ревнивцев Художества, равно завистливых ко всем искусствам (равно не смыслящих ни в одном), с топотом ударились в погоню за незащищённой Первичностью.

— Моё! — вопили передовые когорты. — Наше! — неистовствовала следующая толпа. (Так — задолго до пресловутого «Государство — это я» — возникло — «Гомер — это мы!») Многие, почему-то не задумываясь — есть ли они сами, оскорбились фактом, что до них кто-то был. (Так — тоном «Только бы не война!» — зародилась тайная общая мысль: «Только бы не Первородство!») Многие почему-то

возжелали завладеть чужими, сугубо личными, достижениями как своими. Своими заведомо. (В «лучшем» случае — коллективными.) И с вопросом: «А ну-ка, чья у тебя кефара?» — кинулись, как это ни дико, именно к Поэтам сугубо внутренней, неповторимой «школы»! Больше всего почему-то — к Орфею! И к людям, всё ещё как-то на него похожим... И обратили эпигоны любимцев Орфея (и Феба) — в бегство. И, как положено, градом камней их потчевать стали... И сделали всё для того, чтобы каждый из них и помнить забыл — «Когда бряцал на удалой, на румелийской лире», — ибо если и упустили, — упустили кого из них восвоеси, то — больше никогда уже не давая им быть собой и считать свои песни своими. Но —

Когда бряцал на удалой на румелийской лире,
я пел героев и богов и всё, что свято в мире.
Я грудь больную оградил тройной кольчугой духа
и бросил песню, словно гром, толпе, лишённой слуха.
И старцы, юноши, мужи, как вспугнутые звери,
придя в невежественный гнев, вокруг меня ревели...
И, воздымаясь надо мной, неведомая сила
огромною рукой меня благословила*.

Сюжет и мелодия

Грехи на мне страшные, грехи на мне тяжкие! И всё же, в отличие от тех (см. выше), тех «страшных, непонятных» созданий, которым нравятся чёрные дыры, — мне всегда хотелось быть уверенной, что и до меня на свете кое-что было. Что нога моя изначально опиралась на какую-то палубу. Что не с подражания всё началось, а с самого эпоса. Даже если потом от него остались одни отголоски.

В доказательство, что не суррогат заложен в основу мира, я уже давно пытаюсь приводить разные доводы. К примеру, давно докучаю людям непрошеной речью о кровном сходстве и родстве: сюжета (в прозе) с мелодией (в музыке).

* Костис Паламас (перевод с новогреческого).

И по сей день считаю, что (минуя тему) мелодия — это СЮЖЕТ МУЗЫКИ, а сюжет — это МЕЛОДИЯ ПРОЗЫ. Ибо и то и это — самые насущные, стержневые силы и — несущие конструкции всех искусств. И самые перво-родные два начала! Этим в своё время я прожужжала уши интервьюерам, — но им-то оно зачем?! А в начале семидесятих годов некие воспеватели музобработок (именно обработок и аранжировок, — как центра сотворения мира!) довели меня аж до стихов! На тему песенки «Чай для двоих», которую они тогда обсуждали.

— «Таити трот», «Таити трот», —
Песенка пламенных широт!
Мой друг ОБРАБОТАЛ «Таити трот», —
Гениальную музыку подал!

— А, по-моему,
Гениален тот,
Кто сам придумал «Таити трот»,
Кто сам придумал «Таити трот»,
А не тот, кто его обработал.

Стихи, конечно, так себе. Но, учитывая, что от нас требовали вроде расписаться в получении гениальной милостыни, — очень уж захотелось тогда же её и отвергнуть. Пусть хотя бы и какими ни есть куплетами, но в быстрых темпах! И, принимая во внимание, что стихи среди прозы позволяют быстрее обычного обозреть пространство рассуждений, пожалуй, я ещё и продолжу:

«Таити трот», «Таити трот»,
Тебя придумал простой народ*.
Твоя мелодия в душу льёт
Нектар, — как сюжет романа!
А кто в цирюльне слегка завьёт
Тебя
И Автором назовёт
Себя, —
Тот чаю пускай не пьёт
Из твоего стакана!

* То есть лицо из народа. Примечание не-специалиста.

Если уж — о себе, «любимой» (хотя и не очень!), то, — кроме всяких пародий и рифмованных выпадов, — есть у меня и такое вот застарелое авторское выражение: УКРАСТЬ ПО ВОЗДУХУ. Вошедшее у меня в стихи и сонеты и означающее: «Украсть чужую мысль, выраженную изустно». (Окаянство! Опять не ахти что́, так ведь и это чуть ни украли! По «воздуху» одного интервью.) Вообще же эти эфирные и воздухоплавательные кражи повсеместны и необозримы. «Благо» — разговорный запас и не поддаётся учёту, — чем охотно пользуются люди умные (настолько, насколько им позволяет глупость) и честные (насколько им позволяет подлость). Остаётся лишь спрашивать себя: неужели беззастенчивым бездельникам впрямь принадлежат меткие высказывания, те или эти? Остаётся лишь догадываться: в какой мере их (НЕ ИХ?) литературные взлёты могут (ИЛИ НЕ МОГУТ) соответствовать их отталкивающей морали. (И выражению лица!) А что тут ЕЩЁ можно сделать?! Но когда кто-то из них, скривясь, вопрошает: «Шекспир? А что — Шекспир? В его время многие писали не хуже его!» — вас постигает невольная оторопелость. Боже! Сколько же у него, значит, ещё и по воздуху было растащено! И как же должен был вести беседу; как должен был говорить человек, который так писал! Как? — если его и письменная и, можно не сомневаться, изустная речь, столь заметно повлияв на китов Возрождения, отразилась не тускло и на мелком сочинительстве ренессансной плотвы, — на продукции вороватых пошляков Ренессанса, насчёт каждого из которых можно сказать одно:

Измерьте глубину его грехопадения:
Он был бездарностью эпохи Возрождения!

И сегодня, внимая ужасам бесконечных римейков (или как там называется, когда пьесу ставят сзади-наперёд или вверх ногами?), — впору вскричать, обращаясь к новоявленным знаменитостям: — Хватит пересказывать Шекспира *своими словами*: перескажите *своими словами... свои слова!*

Никто не желает трудиться самостоятельно, вот в чём грусть. Впрочем, если верить молве, в каждом человеке есть что-то хорошее. Что ж, и то верно. И надобно честно признать, что, веками обкрадывая Шекспира, ещё никто не покусился на его Гуманизм.

Урезанная пайка суперменов

Ах! Проявления совестливости всегда наблюдать приятно. Отраднo сознавать, что в мире хоть чего-нибудь да не украли! И только сам плагиат слегка потерпел убытки. Немножко меньше радуется, что уцелевшая часть мирового плагиата не очень хорошо действует на уцелевшую часть общественного сознания. К примеру, от мыслекрадов мягкого типа, — то есть — считающихся честными, знатными и распространяющими свет (а так-то тип у них, по-моему, жёсткий), и произошла легенда о какой-то якобы бесконечной безначальности искусства вообще. О прямо-таки ПРИРОДНОЙ несамостоятельности, а значит, и не подлежащей обсуждению ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ВСЕГО, что было когда-то *авторским, личным*. И в особенности это касается (см. выше) *мелодии в песне, сюжета в прозе*.

Впрочем, запущенный на орбиту миф о такой вот всеобщей собственности на всё — (прямо как в городе Солнца, этом утопическом колхозе имени Кампанеллы) — на поверку вовсе не призван служить к пользе кого ни попадая, а как раз рассчитан на отдельных персон, — на *чистых людей с верхней палубы* (как выразился один из героев моей пьесы, — много претерпевшей за то, что ваш преданный чичероне авторством своим ни с кем делиться не пожелал!). Словом, идёт неписаная, полунелегальная охота на всяк дюйм не только чужой личной классики, но и на всяк удачный пассаж более скромных работ, — однако ж не менее ЛИЧНЫХ. Осуществляется какая-то, не очень понятная, национализация чужих индивидуальностей, что ли... И вот

уже личного Авторства вроде как вообще больше не бывает на свете, — к тому во всяком случае всё идёт! То есть бывает, конечно, и авторство, да не про всякую честь. Всегда найдутся, как сказано выше, исключения для «исключительных»! Правда, самих исключений этих что-то набирается многовато. И вот мы уже стоим, глядишь, перед обыкновенным грабительством.

Неужто нам это нравится? Не-а. Давно стряхнули бы с себя эту канитель, но мы ведь не только перед грабительством стоим, а и перед плутнями, и перед недописанными (или неисполняемыми) законами, а вдобавок — явно ещё и под каким-то гипнозом! Мне так и хочется назвать его ГИПНОЗОМ НАХАЛЬСТВА (а если хочется назвать, так я, пожалуй, и назову? Кто мне помешает? Или я тоже в кого-то такого уже теперь превращена, кто не смеет даже ругаться, — причём и словами-то почти что комплиментарными по сравнению с теми, которые действительно просятся на язык?!). Так удивляться ли на коллективизацию или приватизацию авторств — у людей, поражённых «толерантностью», которую им почему-то вдруг стали навязывать; удивляться ли на непотворение Красных Шапочек — Волчьим Бабушкам, если даже национальность — и то у нас теперь на всех одна! (Вспомним знаменательное «На троих одни штаны», — старую песенную историю с портами, и новую — с нашими паспортами!.. А митингов-то всё равно по этому поводу не было. Насчёт чего угодно митинги, только не насчёт самого главного!) А коли так, то чего с нами церемониться? Почему наконец-то уже в открытую не сделать все авторства кряду (не сочинения, а именно авторства) народным достоянием? (Без самого народа, разумеется. А вы что подумали?)

Нет, я вовсе не утверждаю, что у замеченного безобразия уже есть система. Пока это скорее стихия. Но я знаю, что есть — кружочками — некие престижеобразующие пространства и в каждом кружочке сидит особый безнаказанный человек, защищённый внушениями достатка и должностями, и даже иногда импозантный, — тип, для которого Ав-

торское право — лишь слово среди слов (рука чиста, да на руку нечист!) и который всю музыку, ему слышную, заведомо считает *фольклором*. А фольклор, уж известно, — *собирают и не спрашивают!*

Начинают-то, и правда, не сразу. Как в материальном, так и в духовном (культурном) мире начинают не с латифундий, а с носовых платков. Но постепенно разрозненные замашки сползаются в священное правило.

«Что́ была бы (такая-то) песня — без моей обработки? — глядеть не на что!» — раз и навсегда решает распространённый среднеарифметический музыкант. Что́ *обрабатывал* бы он без самой песни — он у себя, правда, не спрашивает, а постановляет: сущность музыки — в её шлифовке; сила музыки — в непрошенных дополнениях со стороны. Мелодист? Ах, да! Он тоже в какой-то степени человек, но пусть и на том скажет спасибо, потому что обработка-де важнее мелодии!

И вот уже автора самой мелодии перестают называть. Делают вид, что забыли или — что никогда такого не знали. Под сурдинку обработок переписывают его вещь на другое имя. Более близкое кому-то из хозяев жизни и музыки, — по родству, свойству, клану. Ку-клукс-клану... (Престиж! Ты мне простишь? Нет, ты мне не простишь»*.)

Мы далеки от намерения унижать обработку, третировать аранжировку, отрицать всякую вообще отделку песен, — зачем? Местами и временами она бывает очень хороша. Изредка — пленительна. Разумеется, сами авторы композиций были бы и на этом поприще незаменимы, но, к сожалению, не всегда они удосуживаются навести на свою работу окончательный лоск, а римские-корсаковы, способные их впоследствии заменить, рождаются сравнительно редко. Во всяком случае никто не сказал, что обработчиком чужой музыки может быть каждый, кого не звали.

Впрочем, самозванцы-то и дерзки, и потому речь сейчас даже не о качествах обработок (тем более — не об из-

* «Ключи от клуба» (в книге «Страна прибой», 1983).

гнания их из рая), но о том, что в иерархии вещей они уже давно занимают не своё место, а узурпируют чужое.

«Куда ни кинь — всюду клин!» Клин — да не тот, где Чайковский живёт, а вернее сказать — жил. Редко-редко послышится добрая песня среди бесконечных компиляций и перепевов. А часто ли услышишь по радио имя Василия Ивановича Агапкина, автора знаменитого «Прощания славянки», — произведения, так долго находившегося под запретом?! Или имя Евгения Михайловича Дрезина, — непонятно-свирепый запрет на которое был задействован с 1916 года и далее... А ведь имя-то (в отличие от многих имён) честное и незапятнанное: героическое имя храброго воина, связанное с событиями Порт-Артура, с японским пленом, где Евгений Михайлович, имевший возможность бежать, предпочёл остаться вместе со своими солдатами. Уже одно это вроде бы заслуживает благодарной памяти потомков! Но Дрезин имел неосторожность ещё и создать музыку вальса «Берёзка», и похоже, что именно это подвигло «историков» и музполитиков (так увлечённо всегда бичующих «запретительство» в прошлом и в будущем!) — продолжить запрет, забыть незабвенное имя.

А что? Всё, как положено. Забудут историки — забудет и публика. (Спасибо исследователю Ю. Бирюкову — он, кажется, один не забыл!) А там — ноздрёвским рукавом — уже и нетрудно будет «незаметно» придвинуть музыку Дрезина (или другого прирождённого композитора) поближе к локтю другого автора, — более милого сборной музыкантской самоэлите, как было уже сказано.

Что за манера? Наряду со всеобщей историей — историю (неудобного кому-то) искусства вечно своим излюбленным склерозом завешивать; всегда — снова и снова начинать с белой страницы! Мы уже здесь приводили возглас горьковской Насти: «Не было! Не было! Ничего не было!» И намекали, что Настя погорячилась. Ибо «всё было во времена, бывшие до нас»; и ведь были же встарь даже у Барона свои выезды. Были и у Луки добрые намерения! (Даже ещё в детстве я отвергала предубеждение драматурга

против Луки!) И у самой Насти (реальной, ненарицательной Насти) была когда-то чистая юность. Недолго, может быть, но была. Можно считать порчу концом всего. Однако началом всего порчу считать я отказываюсь. Было кое-что на свете даже и для нигилистов святое (если с поправкой — на *почти святое* — мне будет позволен такой парадокс); даже и сейчас есть. Но только оно у них очень маленькое.

Просто нигилист (или завистник, или — как ещё называть этого мученика невыясненной идеи?) — он и сам не хочет, чтобы это кое-что — почти — святое было более крупным (если это, конечно, не капиталы), — широким, благородным, заповедным. Ему нестерпимо великое, — а МЕНЬШЕЕ в искусстве и в самой жизни — словно бы успокаивает его, спасает его самолюбие от каких-то травм, насмешек судьбы, что ли. Не отсюда ли его рвение всё устроить так, чтобы римейк стал важнее первоисточника, обработка песни — чуть ли не первичнее самой песни, копия — старше оригинала; реставрация «Данаи» (превратившая Данаю в гарпию!) — точнее и лучше «Данаи». (Вообще я не поклонница этого вида живописи, даже у Рембрандта. Та же Саския в виде Флоры мне более по душе. Но говорю о «Данае» потому, что именно после реставрационных «улучшений» черты её лица обрели почему-то х и щ н о с т ь, коей были НАПРОЧЬ лишены черты жены Рембрандта ван Рейна! Это ведь и видно по её остальным портретам! Так что «восстановители» её лица недалеко ушли, на мой взгляд, от серной кислоты, которую оно было вытравлено, и лишь придали повреждению чуть-чуть другую направленность!..)

Впрочем, самой картины я не видела — судить приходится по репродукциям. Но вопрос: не «репродукторы» ли так представляют Рембрандта? и вопрос: не становится ли и вся заангажированная часть искусства продолжением серной кислоты? — увели бы от темы ПУТЕЙ НА УМЕНЬШЕНИЕ к теме ПУТЕЙ НА УХУДШЕНИЕ. (Что, впрочем, кажется, одно и то же!) А коли так, — то мы не сильно

отклонились и теперь наблюдаем даже оба пути, коими пошли и продолжают всё мельче семенить нынче многие деятели культуры. То пути с дороги — на тропинку, а с тропинки... уж и не знамо куда (бывают ведь ещё и канавы!). От Достоевского — к Арцыбашеву, от Александра Островского — к Т. Уильямсу, от героев Александра Грина — к ведьмёнку Гарри Поттеру, летающему на метле; от «Капитанской дочки» — к мерзостям про девочку Лолиту (помоями политу); от честности — к непрошенной откровенности; от Галины Улановой к... .. От Михаила Плетнёва — к... .. И одним словом — уж обязательно от Моцарта — к Сальери! Вот эти-то пути на уменьшение и на ухудшение так почему-то льстят современному «интеллектуалу», как если бы он и сам понимал, что лучшего не заслуживает. Но странное дело: вместо того чтобы впасть от этого в скромность, в положенное смирение, современный тип, наоборот, впадает во ...жгучее суперменство! Почему? На каком основании? Не знаю. С отчаяния, должно. Другого ответа нет. Во всяком случае — у меня.

И вообще «Удивительное рядом». Удивительно, но факт: людей, повторяю, так и тянет, так и манит грозной силой — на меньшее и на худшее, но ведь несёт — ВЕЛИЧАВО! Именно низкопробное должно быть величаво, — почему-то полагают они (опять пересмотрев Пушкина и держа его книгу вверх ногами, как лакей Чичикова, описанный Гоголем). Словно и не видят, что именно из стремления к наименьшему и наихудшему происходит пошлость (которую почему-то считают неразгаданным феноменом!).

И тут поневоле приходит на память всё же опять великое: «Лесная песня» Леси Украинки. Ибо здесь, как нигде внятно, обрисована страсть человека к меньшему, сгубившая бессмертную любовь. И ничего поделывать было нельзя, потому что —

Как ни стремился б витязь наш
В балладу и в былинку,
Он Мавку бросит (как Лукаш)
И предпочтёт... Килину!

Я всегда утверждала, что Поэзия есть во всём; что нет её только в чёрных дырах да воздушных ямах. А если так, то, значит, и Поэзию и (праматерь Поэзии) — Музыку ищут не там.

Тройственное первородство

От испанца Тирсо де Молины²³ до деда Малины (кто не знает архангельского сказочника Степана Писахова!) прослеживается вереница так называемых БРОДЯЧИХ СЮЖЕТОВ. (Правда, деда Малину я тут приплела зря, — для красного или для малинового словца, потому что он тут даже совсем ни при чём...) Сказать же хотела только одно: не будем обманываться, думая, что эти кочующие истории повторяются из-за недостатка сюжетов на свете. Отнюдь! Выдающиеся и великие сочинители использовали бродячий сюжет не потому, что свой не могли придумать, а потому, что в чём-то не соглашались с предыдущими авторами и желали их дополнить или оспорить. (Это-то, впрочем, известно. Но мало ли известного в наши дни из виду исчезало и опять неизвестно стало?! Как это всё случилось, в какие вечера — вопрос другой... Но позволю себе продлить сей забавный, наверное, «культпросвет».)

Итак, надеюсь, и ежу ясно, что Моцарт, Пушкин, Гофман, А. К. Толстой — люди-то всё достаточно одарённые; что не было у них никакой необходимости у Тирсо или друг у друга одного и того же «Дон Жуана» — без конца списывать. Просто — должна повторить — каждому из них законно хотелось испытать этот сюжет по-своему, подойти к нему с новой какой-нибудь стороны... Да и можно ли (спросим, отвлекаясь от темы великих людей) — можно ли бродячий сюжет — украсть? А зачем, — когда кругом столько *лежачих? Плохо лежащих* то есть? И что же? Оказывается, можно! Потому техника шагнула сильно вперёд и наше время усовершенствовало приёмы. Приёмы крадения бродячих сюжетов я имею в виду. Скажут: они и так откры-

ты доступу! О да! Но ведь некоторым — лишь бы воровать! Ведь если уж человек прикипел душой к воровству, его от этого занятия не отдерёшь никакими силами; такой и у бродячего сюжета на ходу подмётки срежет — не броди попусту!

Скажут: — Насчёт подмёток слышали, но не надо и преувеличивать! (Правильно, не надо.) — Не так-то, — скажут, — легко подтибрить живой передвигающийся объект. — Верно: не так-то. А кто сказал, что будет легко? Как заметил (правда, по другому поводу) алтайский поэт Шатра́ Шатинов, —

Трудно было вчера,
Трудно будет сегодня и завтра,
Трудно будет всегда.

Кто бы спорил. Загвоздка однако же не в объекте воровством, а в (см. выше) субъекте воруящем. В этом совершенно особом типе человеческого существа, которому, несмотря на всю его «особость» — имя легион, и

Который может всё, ребята!
Но вместо клятвы Гиппократы
Даёт вам клятву Герострата,

никогда и нигде, ни в коем случае и ни под каким предлогом не упускать своё (а другими словами — чужое).

Но в этот чувствительный и довольно самолюбивый, колоссальный по-своему, тип, глобальный в своей ущербности, древнейший, но никогда не дремлющий и почти всёобъемлющий, — почему-то вовек не входили (и ужé, наверное, не взойдут) ни Пушкин, ни Лермонтов, ни Достоевский, ни Моцарт, ни Шуберт, ни Лорка, ни Честертон... Почему? «Лопухи» были? Не активные? Безынициативные? Не совсем так. Но ежели мы тут пустимся в развёрнутые истолкования сей загадки Сфинкса, — боюсь, это займёт (у вас и у нас) чересчур *мало* времени.

Чего только ни говорили о Диккенсе! И такой, и сякой, и преувеличения-то у него, и длинноты, и сантименты...

И уют, — «буржуазный» (вместо желанного хаоса и необходимой анархии!)... Но никто не сказал и (несмотря на известный «язык без костей») не скажет, что это именно у него в кармане были обнаружены чужие чайные ложки. Здесь, так сказать, «не дождётесь!». Писатель вообще не этим прославился. Вот кто и фабулу в долг не брал, и странствующих сюжетов не трогал, когда (к примеру) ПЕРВЫМ ИЗ ВСЕХ описал человека, привыкшего к заточению, а при выходе на волю — всей душой устремившегося опять за решётку. Так занимательнейшему из сюжетов было положено дивное начало. А если «плохо» было «положено», что ж! — кто угодно мог на это дело «глаз положить», только уж никак не О. Генри, — чьё каждое слово излучает отдельную мощную самостоятельность. И который (это же видно!) ни сном ни духом в заимствованиях замешан быть не мог, когда сочинял типично *свой* — *О. Генриевский!* — рассказ «*Фараон и хорал*». Про человека, рвавшегося тоже — в тюрьму (так как зимой там теплей, чем на улице, и даже дают поесть), но... угодившего туда, как раз... — когда передумал туда угождать!

Можно из полусырья, из фактически бросовых материалов создать шедевр, — что и делал Шекспир. Но невыполнимая задача, надломившая бы и Геркулеса — сотворить готовое из... готового; создать гениальное — из уже гениального. В лучшем случае получишь римейк, а так-то вообще — плагиат. Нельзя ещё раз написать картину «Охотники на снегу»²⁴ — получится или ХУЖЕ или ДРУГОЕ. Так что ничего конечно же не отразил из Неотразимого Диккенса и ничего не повторил из Неповторимого О. Генри и Анатоль Франс с его «Кренкбилем». Слишком БЕЗПОДОБНА (если так можно выразиться) и страшно ЖИВА вся эта вещь! Сюжет тот же самый, но невозможно и предположить, что взят из литературы, а не из реальности! Слишком естественна ирония, неподдельна горечь. Пламенно-блестяще ПОБЕДИТЕЛЬНОЕ своеобразие.

Кренкбиль, — быть может, самый трогательный из всех героев Бедности и мучеников Простодушия, тоже всеми

силами стремился в отсидку, — в парижскую каталажку, а причины те же, что и у О. Генриевского бродяги, только ещё хуже, но, в отличие от того горемыки, в каталажку, к сожалению, не попал, ибо земное счастье обманчиво... (Бедняга Кренкбилль, незадачливый зеленщик! Помнится, я в детстве даже нарисовала Второго Полицейского, который не захотел и арестовать-то его, — вот только где он, этот рисунок? Войска постояльцев прошли через дом...)

Итак, пора всё же разобраться: в чём дело? Неужто же такие люди, как О. Генри и Анатоль Франс, попросту говоря, «слизали» всё-таки этот сюжет у Диккенса? Или — один у другого? Как школяры за партой, — высунув кончик божественного языка и скрипя бессмертными перьями, взяли и «списали»? Да нет, непохоже. А на случай недостойных подозрений (коиными так богата наша действительность!) у них есть алиби.

Начать с того, что сюжет этот не бродячий. (За бродяжничество не схватишь! Да оно и не в правилах у названных гуманистов. Даром, что и сам сюжет о бродягах!) Но что я хочу сказать? Так или иначе — **ОН НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ФОЛЬКЛОРНЫМ**, и они не могли его использовать **КАК ФОЛЬКЛОР**.

По какой же ещё причине их опыт не похож на заимствование? Наверно, по той — что очень уж он в духе каждого из них! — этот сюжет. И каждому из них просто не мог не присниться отдельно. К тому же слишком уж он оказался **ЖИЗНЕННЫМ** — и уже тем самым не мог не потянуть на простейшее **СОВПАДЕНИЕ**. При котором ничего не требуется ни у кого занимать: Диккенс начал первый, но и те двое начали первые, — думаю я.

А в конце концов и Диккенс, и О. Генри, и Франс, — все трое могли и **САМИ** (каждый в отдельности) испытать нечто похожее на ситуацию, в которую поместили потом своих героев. О Диккенсе это даже известно: в пору его детства долговая тюрьма Маршалси, где отец его отбывал срок за долги, была и сыну, можно сказать, родным домом. (Как же было ему не заложить основу соответствующего пред-

ставления о тюрьме, — *почти отчизне*, откуда уходят и куда *возвращаются*?! Что же до мистера Портера²⁵ (О. Генри), то он даже самолично сидел в тюрьме! И однажды бежал оттуда, чтобы... *вернуться! Вернуться по доброй воле!* (Как же было и ему — и тоже *лично!* — не заложить основу соответствующего представления о тюрьме — словно бы о почти отчизне, откуда уходят и куда *возвращаются*?!)

И только об Анатоле Франсе я этот припев повторить не могу: просто я в этом отношении о нём ничего не знаю. (Но ужé интересуюсь!) При всём при том продолжаю считать, что пленительная естественность «Кренкбиля» — порукой самостоятельности Автора. Да. И естественность, и то, что я назвала бы языком неожиданностей, который, кстати, ни с чьим не путаешь.

Ещё в 1960-х годах я (в одном интервью) пробовала навязаться к людям со своими досужими домыслами касательно метода О. Генри. «У него всегда две неожиданности, — коряво набросала я. — Одна неожиданность ожидаемая, другая неожиданность — неожиданная». (Помню, я очень гордилась фразой: «Ожидаемая неожиданность» и даже собиралась так и назвать большую работу свою о мистере Портере, но увы! — первые наброски ушли в ту же степь, что и «Второй полицейский», ранее нарисованный мною по следам «Кренкбиля»!) Где наша не пропадала! Но вот к чему я об этом вспомнила. Будь «Кренкбиль» оттиском по трафарету, а «Фараон и хорал» перепевом, — они бы не излучали греющего впечатления: не только ОЖИДАЕМОЙ, но и НЕОЖИДАННОЙ НЕОЖИДАННОСТИ! Хоть где-нибудь, — а показали бы скучную трещинку (пускай даже самую тонкую!), хоть изредка — но выдали бы фальшивую или неуместно-фистульную ноту (вроде того простуженного писка, что вырвался у диккенсовской мисс Токс на студёном званом обеде у мистера Домби²⁶)! Но нет. Чего не было, того не было. И (не знаю сколь велика и тут опасность заблуждения — заблуждались и не такие, как мы!) остаюсь при убеждении (а также при повторе-припеве-рефрене), что ни Франс (которого не один же «Кренк-

биль» рекомендует, как лицо в литературе сугубо неслучайное!), ни мистер Портер (кого, кажется, пока никто ещё не превзошёл по сюжетной части!) ни сном ни духом в банальных заимствованиях неповинны.

Обходя вопрос влияния, — который здесь, по-моему, немножечко ни при чём, — можно, видимо, заключить, что перед нами явление ТРОЙНОЙ ПЕРВИЧНОСТИ или ОДНОВРЕМЕННОГО ПЕРВОРОДСТВА. На что мы уже робко намекали, а теперь пытаемся намекнуть не робея!

Но если среди первородных бывают ЕЩЁ ПЕРВОРОДНЕЕ, то, разумеется, это Чарлз Диккенс. Который, кстати, фактически первым призадумался и о нашем общем Авторском Праве; первым из всех вспомнил о необходимости поспрамления всемирного плагиата, не убоившись и личного сражения с этой гидрой, — ради чего предпринял даже опаснейшее по его временам путешествие через Атлантику. И если кому-то покажется вдруг смешным беспокойство художников о своём духовном имуществе, — что ж? — пусть попытается для начала осмеять самого Чарлза Диккенса!

Вот таковы есть наши все основные посылы (невесть почему называемые сегодня «посылками!»).

А чтобы уж рассчитаться по всем долгам с долговыми и прочими узилищами, напомним, что существовали в старину узилища, в которые возвращаться было... ну, не то что «одно удовольствие», а всё же не до конца страшно. Патриархально-благодушные, по-диккенсовски забавные, безопасные нравы Маршалси, — разве могли они воспрепятствовать мечтам Эми Доррит²⁷ вернуться в эту тюрьму?! Чтобы на закате дня умилённо созерцать стену, утыканную гвоздями... «Прекрасно — уходить и возвращаться!» — сказал Роберт Фрост. Но, по мнению диккенсовской героини, только возвращаться было — прекрасно. Даже так!

Тюрьма, где О. Генри отбывал срок за так называемую «растрату» (а точнее — за промах непрактичности!), была страшна. Но временный беглец — мистер Портер вынуж-

ден был вернуться туда, как честный как раз человек! Благо, что ему — аптекарю-целителю, благодетелю заключённых — там ничего (кроме неволи), по-видимому, не грозило. Зато открывался широкий простор для подвигов отзывчивости, — для дальнейшего приложения честных прекрасных сил.

Четвёртая девица под окном

Итак, трое могикан Прозаического Сюжета *случайно* создали одну и ту же историю. (Ни дать ни взять — три короля, случайно встретившиеся в одной гостинице за одним столом, — как повествует вольтеровский «Кандид»!) И, насколько я знаю литературоведение (правда, почти не знаю!), — это ни в ком не вызвало протеста или сомнений. Может быть, исследователи просто не обратили внимания на тройное совпадение, почему и не выказали подозрительности? Или молча догадались о невозможности работы гениев со шпаргалками? О чём догадаться можно и по отсутствию утомления при узнавании столь схожих историй.

Когда-то в одном кинофильме я увидела кадр с новейшим вроде бы трюком. И вдруг (при всём моём тугодумии!) догадалась, что трюк-то, должно быть, не новый. Ничего и похожего не выдав прежде, — всё равно каким-то образом поняла, что на экране передо мной передвигается сейчас — эпигонство... Из чего же я заключила, что находка у постановщиков не своя? Как, — не зная оригинала, сообразила, что это копия? Не оттого ли так произошло, что, воззрясь на новый «кундштюк», я как-то вдруг *устала и пала духом?*

Я догадалась по своей тоске
О том, что мир висит на волоске, —

не более того... По этой-то внезапной усталости и донеслась до меня, вероятно, весть о дерзком заимствовании и, выдаваемом почтенными киношниками за собствен-

ную находку. И что же? Впоследствии выяснилось, что так оно и обстояло на самом деле! «Всё было во времена, бывшие до нас, и повторится опять».

Так что усталость (если она не бытовая, конечно) тоже бывает, как ни странно, неплохим подспорьем в оценке художеств. Но ведь не устала же я почему-то ни от одного из трёх, немного сварьированных, но в главном почти одинаковых, «трюков», — трёх повествований, разобранных выше. Там же (то есть выше) я пыталась дать на это «почему» посильно-внятный ответ. А теперь могу лишь повторить: в каждом из них я увидела знак БЛАГОРОДСТВА, всегда присущего взгляду свободному и отдельному: творчеству личному и самостоятельному. Катарсис никогда не рождается из обезьянничанья и вырастает не из обмана, поэтому никогда не утомляет. Самостоятельность не утомляет, вот в чём суть. И хотя О. Генри и Франс не могли не знать Диккенса, — судя по исходящей и от них светлосияющей силе, каждый из них всё-таки написал СВОЁ.

Так древние трагики воспевали одних и тех же героев, но это одно и то же никогда не бывало одинаковым, а было великим и разнообразным, ибо авторы слушались богов, а не друг друга.

А главное то, что во всех трёх случаях (английском, англо-американском и французском) авторами насчёт героев и коллизий было принято верное решение, — не нуворишеское, не суперменское. Видно и вправду «Бог троицу любит»!

Зато... — (впрямь как при том запомнившемся кинопросмотре) я как-то вдруг сразу потеряла силы от одного лишь факта: внезапного появления (уже в наши дни) четвёртого варианта! Четвёртой истории возвращения беглеца в узилище, как домой! Не будем указывать пальцем на кого-то конкретного, в этом замешанного, но с чего он-то взялся — этот четвёртый вариант?!

— Что это с вами, с моими слонами?! —
Маугли крикнул в печали.
Хором подумав: «Ой, что это с нами?» —
Хором слоны промолчали.

(1960-е)

Даже от слухов об этом перепеве я, повторяю, сникла. Даже от конспектного радиоизложения того, что давно знала, но теперь, судя по всему, была обязана воспринимать как новинку, — пала духом. И я не поверила, что в новые времена сюжет сего «добровольного возвращения» может быть хотя бы достаточно искренним. В любом смысле! Перечислять которые (смыслы) охотно предоставила бы другим. Но только ведь кто же их станет перечислять, кроме людей вроде нас, — этих летописцев грусти, не боящихся своего занудства?! (Пусть его боятся другие!)

* * *

Лучше бы ошибиться, но впечатление неотвратимое. Трое ни у кого не взяли. Четвёртый (или четвёртая) — взял. (Взяла.) Быть может, в приятной надежде, что и мы все до одного «не читатели, а писатели» и ввек не читывали ни Диккенса, ни О. Генри, ни Франса? А значит, их четвёртый вариант нам ни о чём не напомнит?

Всего бывает в мире займов с отдачей или без отдачи. Но и заимствуя, — не надо же делать вид, что ты это сам придумал! Впрочем, что пользы — взывать к совести (или даже к благоразумию) перекройщика чужих кафтанов? Хитрец совсем не стыдлив, а главное, он давно заметил, что писателей в наше время всё равно больше, чем читателей; что таким образом у него скопилась предостаточная публика; что почти вся она без ума от его компеляций; что технология выигрышна, — перехватить идею молодцу интересней, чем выстрадать (в страдании ни удалства, ни молодцеватости); что пользователь, во всяком случае, всегда резвей созидателя и ведь даже выглядит более находчивым.

Ах! Тот, кто много мыслей
Во лбу своём содержит, —
Не вдруг решит, какая
Из многих тысяч — лучше
Для быстрого ответа.

А тот, кому Паллада
Три мысли подарила,

Уж тот (наверно!) знает:
Где у него — какая...

И вот что, между прочим,
Тут надобно заметить:
К двум-трём своим насущным
(Единственно возможным)
Прибавив три чужие,

Ты всё же таки сразу —
Не много и не мало —
ШЕСТЬ мыслей получаешь!

А сколько вариантов?
Те — вовсе бесконечны!..

(«Тёмные стороны блеска», 1973*)

И всё же воздержусь от прямого обвинения кого бы то ни было в плагиате. Тем более что в столь хитрые времена не вдруг-то и разберёшь, плагиат перед тобой или просто чья-то попытка записать в кочевники, — сделать бродягой усидчивый, до сих пор не бродячий, сюжет?

Не в том ли и предполагаемая новизна хода? Да нет, не думаю. Длинная вереница «Дон Жуанов» никому в данном случае не указ и не образец для примера. «Дон Жуан», собственно говоря, ещё до Тирсо являлся народной сказкой. (О человеке, который, к слову сказать, в исторической реальности был... однолюбом!) «Кренкбиль» же, например, если и «сказкой» был, то авторской, сугубо литературной, из которой черпать, а на источник *не ссылаться* — никому не позволено. Это всё одно, что, например, «Городок в табакерке»²⁸ запустить в массы под видом нанайского фольклора или приписать сказку Андерсена про воротничок — кочевым племенам гуннов! Хотя «новый» автор новой «Крошки Доррит» страсть до чего нового «Фараона и хорала» и потрясающе нового «Кренкбиля» даже не для гуннов чужое-то взял, а для себя лично-с! И наверно недаром (в дни первой радиорекламы радостного возвращения ещё одного горемыки в темницу) сигналом «Слыхали!» прозвучало блистательное выступление Сергея

* Из книги «Река» (1978).

Юрского с «Кренкбилем» Анатоля Франса по радио «Россия». Но разве могло быть иначе? И хотя это совсем не обязательно было специально приурочено к появлению новых римейков, — ложка-то всё же оказалась — к обеду! И ведь же наверняка попались тут с поличным кое-какие авторы четвёртых вариантов, — а кому это может быть приятно? Воистину — грешник несёт свою кару в себе самом. (Как тот, кто при звуке шагов таможенника проглотил ювелирное украшение.)

Но всё это, впрочем, моральная сторона. Оставим и её на совести кредитообязанных, — у нас ведь есть и ещё проблемы. Скажем, проблема ПРАВДОПОДОБИЯ данного сюжета при использовании его для современности. Ведь совершенно ясно, что ситуации, возможные в девятнадцатом веке (вспомним уютную каталажку Кренкбиля, почти идеальную, ибо Пенаты живут повсюду, вернее — жили), — сделались невыносимыми в двадцатом. (Двадцать первый ещё мал, а дошкольный возраст не в счёт, но и он уже становится в позу «века»; но и он уже что-то там лопочет угодное именно *двадцатому* с его сильно непотченными наработками, с подлостями его, совершенно особенными, и особенно гнусными непотребствами!) Что же делать? Разделим время — условно — на «прежде» и «теперь» и заметим: если теперь, сегодня — обратно в места лишения свободы устремится, скажем, богатч (весь, конечно, в родственниках, в заинтересованных покровителях и т. п.), то надо сказать, что губа у него не дура. В современной тюрьме с отделениями для «состоявшихся» (новая ласковая кличка состоятельных) — не так уж и плохо! Мы с вами и на воле не все так кейфуем, как нынешние богатенькие да в нынешних тюрьмах с их чётким классовым разделением. Бесчестьем не позавидуешь (как не позавидуешь и ворованному у тебя же!), — но там у них, у богатеньких-то, и телевизор, и свежие утренние газеты, и горячий кофе, и разные деликатесы к нему, и, как правило, — свободный доступ капризнейших адвокатов, прихотливо-запальчиво ругающихся из-за них... с надзирателями? — чего

с надзирателями, — даже с властями страны! (А те — заведомо загипнотизированы вольными уголовными кланами, которые у нас почему-то с такой изысканной вежливостью называются «оппозицией»!) И даже если половины этих поблажек данные заключённые (привилегированные за то, что много украли) почему-нибудь вдруг лишатся, — всё равно не такие они ослы, чтобы не заметить: на воле-то для них и опасней! В укрытии, мол, целее будем. А как раз на воле, чего доброго, могут повториться аристократические «разборки», тогда как моя тюрьма — моя крепость, — решит иной. А свобода — это осознанная каталажка, — даже так он может подумать. Правда, не зарешеченная, зато изрешеченная, а это ещё хуже, — изрешетить могут! Так что ничего удивительного, если нашего «состоявшегося», каталажки не убоявшегося, туда вдруг снова потянет. Там ему сразу опять подадут кофе, газеты, — ну и нечего строчить об этом драму. Разве что фарс? Комедию? «Прекрасно уходить и возвращаться!»

Зато если с воли — опять за решётку рванёт бедняк, то не может быть ничего дичее! Ведь нынче его там — спаси Бог! — и забить и запытать могут! Дело известное. Этому у нас теперь учат *с детства* и даже уже *в открытую*. В школах детям открыто преподают «Науку страсти нежной, которую воспел Назон», а из скаутских лагерей детки вылазят в широкий мир готовыми естествоиспытателями, — то бишь пытателями естества человеческого. Я не шучу.

Кто огласить мешает всенародно,
Что истязатель — мерзок, подл и лют?
Но пытка и для следствия негодна;
Под пыткой-то несчастные и лгут.

А если не для «дела», не для «бденья»,
То для чего она «нужна», скажи?
Ущербеньким князькам — для наслажденья.
Для «звуков сладких». Просто — для «души»!

Француженка была у нас в «Орлёнке»
(Что прежнему «Орлёнку» не под стать).

Запечатлела ли на киноплёнке? —
Там деток учат... узников пытать!

Чтоб разрослись (под видом «игр военных»)
Кульг пытки и замучиванье пленных!

(15 авг. 2004)

«Это только игра!» — уверяют «воспитатели». Ничего себе «игра»! К тому же забава проходит не понарошке. Одному из детей (условно — «лазутчику») **ВСЕРЬЕЗ** выкручивали и чуть не сломали руку! Таковы **СКАУТЫ**. За **ПИОНЕРАМИ** этого, помнится, не водилось. (По следам выступления Лорен Мило́, журналистки из Франции, на радио «Эхо Москвы» 14 августа 2004. Свидетельства этой очевидицы тем более показательны, что в остальном, и в основном, в нашей стране она симпатизирует как раз либералам.)

Так что же и говорить после этого о новых кренкбилях — в новых (здесьних) темницах! Ко всему прочему заведомо и насквозь пропитанных ещё и ядовитейшим геноцидом! Неужели не ясно, что современных кренкбилей там ждут истязания? Даже и просто так, для «игры», и чтобы проще было кому-то скоротать время. О психологи! В каких же эмпириях должно витать здравомыслящее человеческое существо (ежели существо это даже не читатель, а писатель), чтобы не знать всего этого?! Но всего этого, как ни странно, всё ещё не понимают здесьние порноинтеллектуалы (впрочем, почему они должны понимать, если они — порно?), — то есть «наши» писатели, сценаристы, режиссёры и прочая... Не понимают, не знают, знать не желают. При любом живописании всего на свете — всё равно от основного уйдут! Зато — как самую броскую азбуку в приготовительной школе! — знает о побоях и про истязания — сам бедняк. Знает, да ещё как! И уж если подобру когда из камеры ноги унёс, то добровольно нипочём туда не вернётся, — будьте благонадёжны! Либо придётся констатировать, что бедолага адресá перепутал и не туда ему надо, а напрямки в сумасшедший дом! (Каковой в своём отрочестве я, не знаю почему, называла «Домом идей»...)

* * *

Данайскому коню в зубы не смотрят.

Иван Киуру (1960-е)

Так что: «Это уж слишком!» — чуть ли ни вслух вскричала я, узнавши о названной попытке осовременить трогательную старинную историю с тюремною ностальгиею или превратить сей сюжет в бродячий, — чему он противится отчего-то со страшной силой. Время не то, — вот, наверное, почему. Условия жизни не те, — вот, наверное, почему! Все мы слишком хорошо понимаем, что такое современные тюрьмы, — (спасибо — не по собственному опыту!) — и вот ещё, наверное, почему разбираемый сюжет останется твёрд, неколебим и неподатлив сегодня на повторения. ВТРОЙНЕ личный, ВТРОЙНЕ знаменитый и так давно, так давно самодостаточный, что сказать невозможно, — ни на какие компромиссы он даже тогда не пошёл бы, если возвращение толстосума в места заточения являлось бы геройским подвигом, а возвращение бедняка туды ж не было бы (наоборот) слишком явным безумием.

Ну, а вдруг... а вдруг я всё-таки в чём-то здесь ошибаюсь? А что, если неожиданности не кончились? И что, если новый пользователь сюжета сумеет всё-таки заслужить его по ходу дела? Коли (сначала признавшись ЧЕСТНО, *что вещь ему не принадлежит, ибо это главное!*) сумеет силой пера своего изменить его до неузнаваемости? Уменьшит, конечно, блеск образца, но зато приведёт коллизию в соответствие проблемам настоящего времени? «Ножом ненужный сук обрежет, и привьёт / Ему взамен ростков надежных»? (Гораций). Собственных сюжетов не имеется, так что же? — мало ли бывает синтетических чудес, режиссёрских переосуществлений темы в пользу сценаристов (среди которых, по загадочному замечанию Вудхауза, «не бывает авторов»)! Ах, всё бывает. Даже иногда, может быть, авторы. Но *опять-таки*: «верится с трудом» в прививки новых ростков к самостоятельно определившемуся растению. Ведь же неспособны были старые хозяева

сюжета «ненужные сучья» возвращать, и как тут не подумать о ТЕХНОЛОГИИ?! Вещь, принадлежащая, можно сказать, трём мушкетёрам, трём королям, трём китам мировой прозы, — разве же она может быть обработана или переосмыслена, переоформлена другими... не только с тою же гениальностью, с какой те трое попросту СОТВОРИЛИ её, но и с тою же СОВРЕМЕННОСТЬЮ ВСЕМ ВРЕМЕНАМ? Вряд ли. Ибо современность всем временам получается только тогда, когда отдельный бедный бедняк и отдельный пропавший день остро интересуют художника. А кого интересуют они сегодня?

Пусть работает Театр. Пусть книга оживает на экране. Нужны волшебные постановки, добротные инсценировки. Совсем недурны и отдельные переделки, — как же без них?! Но всё должно быть по-честному. Перекройка чужого материала не должна походить на перешивание краденого, — *первоавторство* должно быть *гласным*. Ставя сказку про альрауна²⁹, постановщик не должен быть сам — альрауном. Переворачивающим всё вверх тормашками — ещё и от себя лично! Крошкой Цахесом во плоти!

Вот, пожалуй, и всё, что я думала (местами, наверное, ошибаясь) о СТАРОМ СЮЖЕТЕ.

Да, но где же всё-таки новый?

О! Не его ли я вижу?! Ставится, говорят, какая-то «Игра ва-банк», — наверно, это и есть наконец-то НОВЫЙ СЮЖЕТ?

— Не-а. Это пьеса... по пьесе Александра Островского «Последняя жертва». Эна! *Пьеса по пьесе!* Не пьеса по рассказу, не пьеса по повести, не пьеса по роману. А ПЬЕСА ПО ПЬЕСЕ! По не своей и уже готовой! А ничего себе — люди устроились! Как будто это не чужое НЕПРИКОСНОВЕННОЕ произведение, — чтобы вот так прихватывать, глумиться, коверкать! Как будто на это хоть кто-нибудь вправе! Как будто уже и сам Александр Островский находится в рабстве у новых хозяев! Ещё и назидаящих его, рассказывая по радио про его «промахи» (кои «промахи» берутся, впрочем, «исправить» эти новаторы. А что?

Они же ведь и умнее «старика» Островского, и прогрессивнее его, и всё такое прочее)...

Ладно. Оставим вопрос «прогресса» до лучших времён. Но если они умнее, — умнее настолько, что даже осмеливаются (посмертно, вслед) поучать гениального человека, — почему же они, сердешные, сами-то ничего сочинить не в силах? Вот в чём вопрос! И даже не задумываются над смешнотой своего положения, — незадачливые, невесёлые комедианты!

Так, может быть, оно и правда, что новый сюжет выдумать невозможно? Отступившимся видней. В таких порнозлодейских условиях, в какие они сами себя загнали, — и воистину невозможно. Раньше надо было думать. А теперь, как сказал насчёт кого-то Дени Дидро, — «Сколько ни стучи себя в лоб, — никто не откликнется».

9 августа 2004



Страшный кондитер

Повесть, которую дописывала я холодным летом на даче (при том, что на улице было теплей, чем в доме!), вдруг сильно застопорилась из-за множества сбивших меня с толку лирических отступлений! Каждое из которых могло и до Киева довести и даже до края света...

Я ли не старалась держаться в русле? Была даже уверена, что ни под каким видом не сверну с прямого пути! Между тем как эти хитрые отступления, эти, всё новые, попутные наброски, эти заметки на полях (и на лугах, и на утёсах!) всё прибывали... Беспокойную личность мою сносило то к Барбадосу, то от Барбадоса, — как путешественника Фёдора Конюхова... И этому не предвиделось конца, пока я не уразумела, что не пройти мне этак-то с полным грузом между Вардом и Зурбаганом, если не остановлюсь! Да и съезжать с дачи было пора.

А в городе — в городе радио работает лучше, чем в сельской местности. Тут-то и выяснилось, что на фронте съестного (коему и посвящалась добрая четверть моей дачной повести) всё опять успело перемениться: разумеется, к худшему. Я обнаружила, что стою на перепутье новых открытий в делах пропитания масс. (Приметно редееющих!) Что величественные плутни наших «кормильцев» углубились и усилились... Началось-то это сильно-не-теперь. Но последние «усовершенствования», доколе было возможно, удерживались в секрете, доходя до населения урывками и

со многими застенчивыми недомолвками... Зато теперь уже легально и гласно, уже нахально и властно внедряются начали в обиход так называемые ГИО, — то есть «генетически изменённые организмы».

Кто мог подумать, что в продовольственных злодеяниях люди от ДАЛЬШЕ НЕКУДА ещё дальше пойдут?! А куда — найдут! И придётся нам распивать чай соевые с конфетами «Моцарт и Сальери»... Ибо к тому всё идёт, а мы против реформ «прогресса» безоружны.

Ничего не подделаешь! — молвил фальшивомонетчик.

(«Д» двойное изволь огласить, расторопный газетчик!)

(Это о газетчике в чём-то клетчатом... В чём-то клеёнчатом... С дождевым блеском на козырьке старомодного картуза... О пацане-малолетке, звончайше — чтобы согреться! — выкрикивающим на уличном холоду названия газет и газетных заголовков... И это о фальшивомонетчике-старике, который... Но прочь, прочь, — неугомонное грозное Лирическое Отступление! Опять ты здесь?! Знай же, что я тебя больше не боюсь и на этот раз прерываю без церемоний!)

Господь создавал этот мир, как гениальное стихотворение. Никто не вправе редактировать Господа! А тут явились целые бизнес-кланы редакторов хлеба нашего насущного; редакторов... страшно молвить! — самого Промысла Божия. Явились вдруг со своей «правкой» к большой небесно-земной Рукописи, и ведь не в ключе самой Рукописи пошли «улучшать», а ПРОТИВ КЛЮЧА!

Придумали «хлеб», на который «ЗАТО» «не нападут паразиты»? Боюсь, трудящиеся тоже не нападут. (Хотя голодны — очень!)

Атакующему классу мировых капитанармусов³⁰, видать, показалось мало фактов коровьего бешенства, которое не так давно вспыхнуло благодаря внедрению изобретённых ими «кормов»! Брань и проклятия со стороны пострадавших фермеров (даже самоубийства фермеров!) не произвели на гениальных экономистов сколько-нибудь сильного впечатления. Все ругательства по их адресу, наяву этими

преобразователями отчётливо слышанные, преобразились, видно, у них (во сне) в сладкоречивые хвалы? И, ободренные таким образом, они свои опыты над бедными животными перенесли уже теперь непосредственно на... ЧЕЛОВЕКА! Минуя корову и через её голову. Самого человека, разумеется, — не спрашивая. (Как не спрашивали корову.)

Произошло и ещё кое-что (после долгого моего прозябания на даче, обернувшееся новостью для меня). Оказывается, эти симпатяги — изобретатели ГИО ни в каком отношении не дремали (сны наяву не в счёт) и даже, можно сказать, успели соединить гио-политику с геополитикой! И навязали они свои деликатесы одной голодающей африканской стране.

— Чем есть это, — лучше погибнем, — сказали аборигены. (Что тут же и выполнили.)

— Ах, как смешно, ах, как весело! — злорадствуя, рассмеялись вместе с «кормильцами» некоторые радиоведущие, их друзья. — Так, говорите, погибли? Ха-ха-ха, — держите нас! — вот потеха! От того и погибли те аборигены (ха-ха!), что нашу помощь не приняли.

Ошибаетесь, почтеннейшие. (Хотя и ошибаетесь-то неискренне.) Эти африканцы (в количестве целых племён!) не потому покинули свет, что отвергли отраву, а потому, что никто так и не предложил им настоящую пищу. Ту, которую каждый день кушаете вы сами и подобные вам филантропы. Ту, которую, коли на то пошло, сами же они (с вашей помощью) и отбирают у голодающих, с давних пор сев к ним на шею или встав между ними — и собственным их Золотом, Самоцветом, Хлебным деревом... О, я говорю обобщённо, потому что теперь уже всякий знает: кто именно «Вдоль по Африке гуляет, фиго, финики срывает?» — финики себе, а фиго (вернее — фигу) — всем прочим. И да не строит из себя благодетеля тот, в ком совести меньше, чем, к примеру, у скорпиона; кто, убив «благодетельствованных», ещё и гогочет им вслед!..

Злорадство не бывает остроумным. Даже когда оно и не связано с конкретным ПРЕСТУПЛЕНИЕМ злорадствующих. Самоназначенные снабженцы не согласятся со мной (ещё бы они согласились!). Но даже бы и с их собственных, сугубо вандалских позиций они глубоко неостроумны. Потому что, смеясь заразительно, как помесь филина с носорогом (— ГИО-ГИО-ха-ха! Погибли? Умора!), они совсем не учитывают, что отказ голодающих от несъедобного съестного (даже с самой, повторю, жестокой точки зрения, с точки зрения самих «кормильцев») делает смешными не побеждённых, а как раз победителей.

Да, невесел был «смех» бедняков, о которых речь, ничего не скажешь! Но это именно ОНИ, побеждённые голодом, посмеялись над снабженцами. Загинув, но не приняв их подачек, бедняги оставили каптенармусов с длиннейшим носом — в виде сказочной груши! Они погибли, но отклонив «милостыню», а это, на наш взгляд, даже величественней, чем знаменитая история с бостонским чаем, — вернее, с английским чаем, потопленным в море бостонскими свободолюбивыми жителями. Ну так кому же и над кем тут потешаться надо? Боюсь, наши весёлые экономисты (а неплохое бы название для журнала — «Весёлый экономист»?) никогда разобраться в том не сумеют. Бывает неразвитое чувство юмора, а у них оно, кажется, переразвитое... И потому они будут смеяться, чему не след, как тот гриммовский Боб (из сказки «Соломинка, Уголь, Боб»), который хохотал и покатывался над чужой бедой до тех пор, пока сам не лопнул.

Впрочем, не менее жизнерадостно эти глобалисты от снеди потешаются и над нами, — людьми холодных широт, особенно, когда мы выказываем им недоверие. Саркастически хихикают и открыто гогочут над нашим старомодным идеализмом и отсталостью в деле еды. И чего это мы испугались, простаки этикие? Ведь ГИО это в общем-то всё, что мы едим и, коли на то пошло, ЕЛИ ДО СИХ

ПОР! — заключают насмешники. Ну, если генноизменённые организмы это ВСЁ, что мы И ТАК ВСЕГДА ЕЛИ, то опять же вопрос: почему ГИО, кои в дорогих ресторациях и дома поглощаете вы сами, — столь СУЩЕСТВЕННО отличаются от ГИО, которые вы скармливаете другим?

И потом: если организмы эти И БЕЗ ТОГО УЖЕ ВСЕГДА ИЗМЕНЁННЫЕ БЫЛИ, — для чего тогда понадобилось вам изменять их по новому кругу? Зачем ИЗМЕНЕННОЕ ПО ИЗМЕНЕННОМУ ИЗМЕНЯТЬ?

И ещё. Коль скоро ежели ничего, кроме ГИО, говорите, мы и до сих пор не едали; коль скоро ежели длилось это издавна, издревле, исстари, испокон, всегда, завсегда и от века, — то для чего ТОЛЬКО СЕЙЧАС это обстоятельство обнаружится с таким шумом, даже скандалом? Для чего ТОЛЬКО СЕЙЧАС и приступились жрецы к подчёркиванию этого «факта» и разъяснению его «тёмным массам»? Не для того ли и не оттого ли, что только СЕЙЧАС они над нашей миской склонились и только СЕЙЧАС, пошевелив заклинательски пальцами, что-то такое над ней проделали? А стало быть, только теперь (точнее же — с середины 1990-х годов) мы все (кроме жреческой верхушки и некоторых посвящённых) сообща вкушаем ГИО — странный продукт вовсе не извечного, а сугубо новоподсунутого характера. «Дар Изоры»³¹, двинутый в массы...

О том — нет-нет — и проговариваются нечаянно сами «кормильцы» наши. Роня мимоходом, что на пачках с изменённым продуктом ведь будут проставлены особые знаки... Ах, вот как? Значит, всё-таки ещё существуют пачки (жестянки, склянки) и с НЕ-изменённым продуктом? Такие, которые и пометать не надо? Значит, ВСЁ-ТАКИ мы и допрежь не всегда потребляли одну лишь трансгенную провизию? Другое дело, что никаких остерегающих знаков на пачках (картонках, жестянках) с ГИО внутри никто, конечно, ставить и не подумает, а то бизнес не состоится... А ежели и проставят на подозрительном товаре некую оккультистскую криптограмму, лишь одним её авторам понятную (и то не всегда), — уж мы-то эти вредные для

зрения бисерные иероглифы, эту китайскую грамоту, ручаюсь, разобрать не сумеем. (У заинтересованных лиц на то и расчёт!)

Словом, все эти философы от Пищеторга (или... как это теперь называется?) решительно запутались в рассуждениях о том, что, дескать, и от Сотворения мира всё шло не так, а потому — сколько, мол, ни вреди — незаметно будет на общем фоне... Своя адская логика тут, правда, есть. Но кто нам докажет, что и мы ей должны следовать, что и мы обязаны не замечать неладного? Кто как хочет, а мы покуда не слепы. И вообще Господь задумал человека нормальным. А между тем — сколько прекрасных, свежих и *невозвратных* сил приходится нормальным людям тратить на борьбу с абсурдом! Якобы необходимым, потому что — *извечным!* И сколько же мудрёных доводов иного порядка приводится друзьями абсурда — **В ПОЛЬЗУ ВРЕДА!**

«Права человека!» — крик стоит до небес... Ну ещё бы: «как не порадеть родному человечку!»? Но если бы все, находящиеся за кругом мирового своячества, все, оставшиеся за бортом вселенского кумовства, страдали бы только от бесправия, подвергались бы только пренебрежению — это бы ещё ничего... В пренебрежении человек исчезает (пропадает) слишком медленно. (Ишь ты! — почти кейфует! Поторопить бы.) И поторапливают... И вот уже целые людские толпы: даже не от гонения терпят, но от прямой погони... Да, да, за ними буквально **ГОНЯТСЯ!** И не порожняком, а с подносом, уставленным чашами с девизом «Не пей, Гертруда!»³² (по-китайски, без перевода)... А так же тёмной «Пищей богов» («Не ешь, Гертруда!») и кубками Дома Борджиа... Ведь же, кроме еды, бывают ещё и напитки! И простодушные люди верят в их безопасность, а если нет... На желательности их ослепления, на «необходимости» их отравления будут настаивать! Даже уже открыто, гласно! Яростно-директивно, — как на их долге граждан перед страной!

«Свобода личности» — (наконец-то якобы обретенная)? «Либеральные ценности»? Да что вы говорите? Не-

рон, Ассаргаддон, Тамерлан, Гитлер сообща недодумались бы до такого тиранства, — чтобы человек (попутно ещё и обзываемый «рабом», «быдлом») даже не вправе был узнать: что же такое ему скормили?! И продолжают скармливать.

Да, мы давно уже не знаем ЧТО покупаем, — что за снесь принимаем внутрь. Это само по себе НЕСЛЫХАННО. А всё-таки по счёту высшему нас не обманешь! (Слабое утешение? А где сильное взять?) Нас не обманешь в том смысле, что мы... гм... всё понимаем. Потому что мы потребители. И когда мы возвращаемся из этой нашей новой «езды в незнаемое», нам, ей-Богу, виднее: «Был ли хорош рейс»!

И ни в чём-то слуга ваша не профессионал! Прямо как тот гриновский Комендант Порты... При всём при том в основных частях моего глубоко неучёного трактата я имею счастье совпадать во мнениях со многими высокоучёными людьми. Каковые, видимо, охотно поддержат мою скромную речь, потому что (на своём профессиональном уровне) они говорят вобщем-то то же самое. Но только ведь их тоже не слушают, — этих по-настоящему просвещённых экономистов и экспертов. А продолжают с настойчивостью скворца-вундеркинда повторять свои штуки: «Всё, что мы ни ели бы — ВСЕГДА было генно-изменённым. Всё, что вы ни ели бы — ВСЕГДА было генно-изменённым! Всё, что...» — и так далее и так далее... Может статься, впрочем, что теперь жрецы-реформаторы (поступая по-прежнему) говорят иное? Быть может, они сменили ту «аргументацию» на чуть более правдоподобную? Усовершенствовали её? Не знаю. Но думаю, что это совсем не мешает нашему намерению запомнить и запечатлеть речи, произнесённые ими в 2002-м, дабы стало ясно, что взрослые люди, столь немилосердно вравшие в таком-то году (или веке), не оставят сей пагубной привычки ни в какие новые времена.

В качестве подтверждения отметим: они продолжают выступать и отстаивать ГИО. Новую игру слов отслушать, а тем более — записать я не имела времени. Но говорят: «Капля камень точит», и опасаясь я, что, возможно, кто-то *дрогнул* под натиском безапелляционных фраз; кто-то им уже и поверил? Специально для легковерных — рискну сослаться на американский кинофильм «О, счастливчик!», — история, в которой, обманом и силою, человека превращали в кого-то... другого, — делая вид, что кругом царит демократия... Становится страшно, когда приходят на мысль также и всякие Институты переливания крови (из пустого в порожнее) и другие подобные учреждения времён, когда ещё даже недодумались до психотропных средств и до зомбирования людей через кормёжку; когда и столовок рабочих ещё не закрыли, — но уже семимильным шагом неслись к сегодняшним светлым вершинам... И вот уже близко у цели... И вот уже тех столовых нет (плохоньких, но ведь с горячим борщом!). И ничего, сколько-нибудь НАТУРАЛЬНОГО, больше нет. Но ведь есть, есть же ещё пачки (картонки, склянки) с едой или соком, на которых пока ничего (никаких знаков) проставлять не надо! Это вынуждены были вновь подтвердить и сами создатели ГИО. Ну вот и отлично! Вот и умницы! Вот и давайте-ка их сюда! Не-не-не: не те, а именно эти: эти не изменённые, эти традиционные, эти по прежней «проклятой» жизни знакомые! Потому — они самые безопасные! Но их всё меньше и меньше... Почему?

Почему в необъятной стране, вскормившей и ПРОДОЛЖАЮЩЕЙ вскармливать сонмища неблагодарных; своих ненавистников, кусающих кормящую руку и своих вредителей, — почему в ней ВДРУГ для простых (безопасных!) людей — и простого продукта нет? Русь, дай ответ! Не даёт ответа.

Ответ, наверное, надо искать у сказочника Э. Т. А. Гофмана: ведь есть у него мысли, задолго до нас им записанные, но ни дать ни взять — прямо о нашем времени! К тому же и на тему, кажется, нашу, — тему эксперимента;

искусственного выведения из нас какого-то нового образа и сорта или, возможно, сортов; угрожающе-мягких, не по-нашему опасно покорных... И удивительно, как теперь говорят, «толерантных»!

«Ах, бесценная мадемуазель Штальбаум, кондитером здесь именуют неведомую, но страшную силу, которая, по здешнему поверью, может сделать с человеком всё, что ей вздумается, — ответил Щелкунчик, — и жители так его боятся, что одним упоминанием его имени можно угомонить самую большую сутолоку.. Тогда никто уже не помышляет о земном... всякий погружается в себя и говорит: “Что есть человек и во что он может превратиться?”»

2002, 2003



Почему у нас гениев нет?

ОБОСНОВЫВАЕМ, утверждаем и подтверждаем правду. Каждый свою. Но каждый — минуя вопросы земного богатства и земной бедности. Как будто это что-то второстепенное. Как будто на путях правды бывает что-нибудь другое, кроме этих двух проблем. Как будто их как-нибудь этак обойти можно. Сделать вид, что не от них все, буквально все остальные вопросы! Проблемы! Беды!

При всяком новом успехе этой маленькой хитрости убавляется нечто важное в каждом человеке, в каждой судьбе, в каждой профессии — везде, где эту хитрость применили. Но самое необратимое происходит, конечно, с художником, закрывающим глаза на самое вопиющее: на богатство одних и на бедность других — уживающиеся, то есть якобы начинающие радостно уживаться, и на нашей земле! Художник, с фактом столь трогательной уживчивости согласный заведомо, разумеется, не правдив. Я даже напрямую сказала бы, что он лжец. (Причём отнюдь не такой «милый», как Бернард Шоу в исполнении Кторова!)

ПРАВДА, сам (ни на Шоу, ни на Кторова не похожий) служитель муз так плохо о себе, конечно, не думает. С легкостью отказавшись, точно от назойливой мухи отмахнувшись от... ну если не от единственной, то от главной истины жизни, истины современности, он, думается, продолжает ощущать себя значительным лицом нашей эпохи. Но и это ещё не самое странное. Интереснее всего, по-моему,

то, что он считает социальное отменённым (вариант: не модным) и не замечает, что даже «отмена» социального начала в жизни и в искусстве произошла без его помощи и участия. То есть без помощи и участия властителя дум! (Впрочем, тут я, может быть, и ошибаюсь и возвожу на него напраслину? Беру своё обвинение назад, так как вспомнила, что общественное в обществе отменить пытался в свое время именно он!)

Массовое вступление нашего писательства вдруг на новую — антиобщественную стезю, может быть, и нужно ему для каких-то целей, и с этим я не спорю. Но вряд ли это (не первое и не последнее) новообращение писательских масс будет столь же необходимо и читателю. Вряд ли вся эта Вита Нова (не первая и не вторая) может как-то перекликаться с истинной классикой и способствовать подлинному расцвету натурального творчества. Сама природа искусства противилась, противится и всегда будет противиться бесчеловечным решениям. Но, кажется, мы научились презирать природу вещей, и вот почему (таланты у нас есть, но) гения нет и не может быть.

Нам могут заметить, что будто бы извечная тема «отверженных», «бедных людей», «униженных и оскорблённых», мол, дело вкуса авторов. А вообще-то, мол, времена «шинелей», «станционных зрителей» и всяких там «капитанов Копейкиных» отошли, дескать, в предание. И «ну кто ж так бессовестно врет», дескать, что именно сейчас они, эти времена, возвращаются?! Что ж. Пусть каждый сам наедине со своей совестью решает для себя эти вопросы. Пускай кто-то думает себе, что сострадание — дело вкуса, а негодование несовременно. Будем хотя бы надеяться, что литератор, придерживающийся таких взглядов, не станет заблуждаться насчет их популярности и, по крайней мере, пожелает остаться в тени. Не станет, то есть претендовать на величие, потому как гордиться нечем. Но где там. Но что вы! «На нём треугольная шляпа и серый походный сюртук!» А поверх треуголки императора Буонапарте — ещё почему-то и венец великомученика — с колючками и лучами, расходящимися

в разные стороны!.. Именно потому, что он презирает бедных людей (глядя на лохмотья которых плакал когда-то Радищев), именно за это он, этот новенький, и приписывает себе гениальную одержимость да ещё и рокошет нам, как Зевес, что-то такое насчет морали и нравственности...

Злодеи существовали всегда. Но злодеи старинные знали, что они злодеи. Злодей же наших дней этого о себе не знает и знать не желает. Наоборот, он даже гордится собой, на седьмое небо лезет от мысли, что он никого не убил (хотя мог бы!), но помогать кому-то... Кому-то даже совсем незнакомому — это-то уж для него слишком. А может быть, эти нищие лишь по своей вине нищие-то? Бить в набат, кричать, что это — люди? А ведь ещё неизвестно, каких они там, на мостовой, внизу, взглядов придерживаются!..

КОНЕЧНО, не каждый из нас нынче в силах помочь бедняку, беднейшему, чем мы сами. Но чтобы воззвать к обществу, напомнить ему, что делается, — не надо обладать золотыми приисками. Чего там! Добродетельным поступком для некоторых из нас явился бы даже простой отказ наш от нападков на социальное начало в творчестве. А ведь не отказываемся! Иронизируем, глумимся над самой традицией «Бедных людей» и «Шинели». И это *сегодня!* Поищите во временах время, когда подобное поведение пришлось бы для общества кстати. Не найдете.

Разумеется, всякий волен смотреть на искусство, как ему заблагорассудится. Почему бы и не сочинить, например, любой степени лёгкости водевиль? Либо уж наоборот: не задать — посредством кино или сцены — такой мощный заряд здорового миллиардерского плача (слёз этак часика на два, на три, — ведь «богатые тоже плачут» и не только в Мексике сороковых годов!), что, как говорится, хоть стой, хоть падай... И, между прочим, всё равно не поймёшь: в чём пороссячья тонкость эротической проблематики, — и отчего столько горя, и о чём, собственно, ты обязан рыдать вместе с автором и героями?!..

В искусстве, почти как в жизни, всё дозволено. Особенно теперь. Вот ведь и роман ужасов перевели сегодня на

живопись и перенесли на поэзию. Да, собственно, и на всю культуру распространить рады. Но какой нам всем от этого (пусть мрачный, пусть вымороченный, пусть обморочный бы, но) толк? Для чего нам запоминать уроки ужасов, каких бы то ни было, если главного ужаса (а он-то ведь не в искусстве, а он-то у нас прямо перед глазами!) мы не видим? Не видим, как *прямо на городских многолюдных улицах бедняки падают от голода*.

ЕСТЬ корреспонденты, не стесняющиеся утверждать, будто эти нищие на улицах гибнут от пьянства, от не тех, дескать, сортов заграничного виски или бургундского. Интересно бы узнать, а на какие деньги сегодняшней беженец или нищий делает подобные покупки?! Бог судья тем, кто в довершение всех своих прочих грехов-преступлений ещё и оговаривает погибших! Оговаривают погибших и писатели. И кажется им, и чудится им (то есть некоторым из них), что прежде они оговаривали *не тех*, а теперь — *тех* стали оклеветывать, и потому — ступили, почитай, на новый виток художнического развития, а значит, и Добродетели! Опять-таки Бог им судья. А всё-таки я не могу понять: как всё это у них увязано с НАСТОЯЩИМ гуманизмом и со всеми его НАСТОЯЩИМИ посылами? Увы. Забота о реальном человеколюбии есть, кажется, самая последняя мысль, какая только может прийти им в голову. И вот почему, собственно говоря, есть у нас покуда только таланты, а гениальных писателей нет и не может быть.

А если и есть где-то всё-таки гений, то благодаря новой цензуре (и новой, и старой, как мир, антисократовской цензуре вольного обывательского большинства) он не только не увидит, но и не взвидит света!



Сонет, не презирай поэта!

Если бы могла узнать заранее (сразу из всех противоречивых источников), какими жёсткими правилами обставлено сочинение сонета, возможно, я не ступила бы на этот шаткий путь с тою самоуверенностью, которая была мне свойственна в юности.

Могу сказать, что львиную долю своих сонетов я сочинила, так и не зная: знаю ли я сонет? И даже — знают ли его другие...

Ибо водить знакомство с сонетом — это значит (во всяком случае так было со мной) каждый день узнавать о нём что-нибудь новое!

Так, записав некий сонет сегодня, назавтра вдруг узнаёшь (вдруг — потому что, как я уже намекнула, разные словари говорят о нём разное), что в нём нельзя было употребить больше одного раза одно существительное. Ну и что же? Вы стараетесь это учесть для следующего сонета, как вдруг вас оглушают известием, что в сонете не следовало бы рифмовать имена и названия. (Но, разумеется, вам ни-почём не подскажут, с чем их нельзя рифмовать: друг с другом или с любым другим словом?!)

Далее, прочитав сонет классика (почему-то весь дактилический!), вы узнаете, что дактилическая рифма в сонете недопустима (вариант — нежелательна), ещё через время, — что композиция сонета должна быть «железной», что главная мысль должна содержаться в концовке, что нельзя

применять рифму слишком простую и так далее и так далее...

А еще через день (месяц или год) вам объявляется, что негоже в сонете девятистопном нарушать цезуру, что сонет чуть ли не обязательно предполагает Послание (это вынудило меня одному из сонетов дать название — «К швабре»), и в конце концов вы убеждаетесь, что, оказывается, сонет вообще состоит ВЕСЬ из одного сплошного НЕЛЬЗЯ либо из множества «нельзя» мелких, но зловредных, каковых в нём не только больше, чем строк (это-то вы уже давно заметили!), но больше даже, чем слов, а то и слогов, букв даже, может быть...

Оттого, что разные специалисты говорят о сонете разное, возникает эффект какой-то странной уклончивой непреклонности сонета, на которую вообще не угодишь, — как на какое-нибудь мстительное древнеязыческое божество, желающее непременно повелевать, само при этом не очень хорошо зная — чего ему, собственно, надо...

А если это не так, то напрашивается вопрос: что же можно всё-таки авторски предпринять внутри сонета и на его протяжении? Получается, почти ничего!

Ведь если соблюдать правила, то с запретом, например, на глагольную рифму в сонете — русскому сонетисту хоть пропади! Придётся учиться безглагольностью... «жечь сердца людей»?

Если соблюдать правила, — ведь тогда не удастся уже рифмой обыгрывать впрямь названия, заглавия, имена... Хотя — на почве опять же русского стиха — они-то и придают рифме остроумие, а сонету в целом — необходимую звонкость! («Сонет» — значит «звонкий», «звенящий».)

Если соблюдать правила, то из ямба никогда не выйдешь! А все подсказки выйти из ямба и вообще все подстрекательства к бунту на вас уже не действуют, ибо за годы беспорочной службы сонету вы сделались поневоле законопослушным Некие, — подобно метерлинковской королеве, — никогда не показывающиеся людям на глаза, тёмные власти сонета воспитали вас в таком страхе, что

вас больше не шокирует и не возмущает лютое требование из сказки: «Поди туда — не знаю куда; принеси то — не знаю что»!..

Так я узнавала сонет. В полном смысле ПОСТЕПЕННО. Продолжала его постигать, уже являясь автором многих его несовершенных образчиков. И, казалось, чем дальше я его узнавала, тем меньше знала.

Но как ни суровы они, — налагаемые сонетом на свободного человека, путы, всё же с некоторых минут вы начинаете радоваться обретению навыков (хорошей, а не плохой, как вам представляется!) скованности.

Как знать, насколько справедлив устав сонета? Насколько ЦЕЛЕСООБРАЗНЫ его требования? Не нами они придуманы, но, как бы там ни было, мы их приняли. И хотя таинственные судьи, арбитры (или как там их ещё?), ну, словом, власти сонета, которых, повторяю, никто никогда не видел, и сами путаются в противоречиях (когда сквозь толстые стены своих башен придираются к нам за наши неточности), — всё же с неких пор нам начинает нравиться наша, так сказать, мирная военнообязанность, наше стремление к самодисциплине.

И уже временами английский сонет начинает казаться нам чересчур свободным; ах, не слишком ли много себе позволяющим?! И уже сонет итальянский почти перестаёт пугать своей не по климату холодной образцовостью, классической строгостью, когда вдруг (опять вдруг!) мы получаем известие, притом от людей, вроде бы знающих, что в сонете оказывается... если не всё, то ПОЧТИ ВСЁ дозволено! Выше я уже обмолвилась об этих, периодически получаемых нами, приглашениях взбунтоваться. Но подчеркну ещё раз, что открывшаяся возможность запоздалого неподчинения не только не радует нас больше, а даже напротив: тут-то и настигает нас какое-то странное разочарование...

Если нарушения правил невелики, то, по-моему, они бывают даже сколько-то полезны сонету. Но сонет вовсе развязный, сонет с ЛЮБЫМИ вариантами рифмовки, сонет, запущенный на круг едва ли не в плясовом ритме, —

такой нам давно и самим больше не нужен. А иначе с какой стати мы из-за него (ОТ него, ЗА него!) уже столько всего претерпели? За что, так сказать, боролись? Разве не возмутительно, что после всего этого нас отпускают вдруг восвояси? Что нам выдают вольную как раз, когда мы уже отвыкли от воли?! К тому же мы склонны подозревать, что «воля», даримая нам без учёта многих лет нашей беспорочной службы сонету, обманет нас пуще каторги. Может быть, из протеста такому вот, полученному однажды, разрешению на разрушение сонета и собралась я цикл «Неправильные сонеты».

— Бунт против правил? — спросят почти обязательно. Нет! В том-то и дело, что нет. О том и разговор, что нет и нет! В конце концов правильного на свете не так уж много, чтобы изнемогать под его бременем. Это не остроумно — глумиться над правилами на сегодняшних пепелищах. Ведь кто бы и в чём бы ни уверял нас, — отнюдь не законы и правила рушат мир, но как раз отклонения от законов и правил.

Может быть, мысли о форме стиха и не повод для таких больших обобщений? В таком случае возвращаюсь к простой предыстории цикла. Мне этим циклом хотелось как-то подчеркнуть, **ИДЯ ОТ ОБРАТНОГО: МНЕ НЕ ВСЁ РАВНО, КАК НАПИСАН СОНЕТ**. Потому-то сонеты вызывающей, так сказать, формы я и держу отдельно от прочих. Но, кстати, это вовсе не значит, что остальные сонеты свои я считаю правильными. Да. Степень их каноничности тоже очень различна. Но в них отразилось хотя бы стремление их автора: следовать кое-каким установкам. Тогда как в «Неправильных сонетах» неправильность представлена откровенно и нарочито.

Казалось бы, цикл, собранный с такими мыслями, не должен пользоваться авторской приязнью. Конечно, лишь некоторые его сонеты (и то с большой натяжкой!) можно назвать «сонетами»! А всё-таки я имею к ним слабость, потому что и в них — заветные для меня помыслы и воспоминания...

Потому что, как сказал Иван Киуру, они (то есть вообще мои сонеты) «пишутся не столько ради формы, сколько ради содержания». Что верно, то верно. Ну а если бы не это? Если бы из сонета учёного, сонета академического, сонета непогрешимого сотворить себе цель жизни, пугало и кумира? Как быть, узнавая сегодня, что вчерашняя твоя работа — вся из одних упущений? Уничтожить её? Легко сказать! «Кровию сердца пишу я к тебе эти строки», — признается Афанасий Фет. Так как же? Забраковать за непригодностью пусть хоть и тот же «неправильный», но «кровию сердца» начертанный стих? Невозможно пренебречь прошлым, зачеркнуть воспоминание, выключиться на полном ходу из важного спора...

— Хорошо! — вскричал однажды при мне другой поэт (эрудит, историк литературы). — Хорошо, но зачем в таком случае слагать именно сонеты? Пиши что угодно, но уж тогда — в другой форме, а не в форме сонета! — так он сказал, обличая разных собратьев (но, быть может, намекая и на автора этого очерка)... Вопрос понятен, но и ответ есть: ну а что, когда мечта, существенная в корне, —

Не захочет высказаться вслух
 Ни в каком другом ключе на свете,
 Кроме как... в НЕПРАВИЛЬНОМ СОНЕТЕ?

Так ведь тоже бывает! И каждый поэт находится тут в своём Римском Праве.

Выше я заметила мимоходом, что и другие сонетисты так же не знают (или так же долго не знали) сонета, как это было со мной. Если бы это могло служить мне оправданием, послужило бы и утешением. И то сказать! Среди этих «других» есть и такие, как Петрарка, Данте, Шекспир!.. Не странно ли, что даже они попадались, например, на повторении одного и того же существительного в одном сонете? И хотя даже самые неудачи их гениальны (а наши-то ещё неизвестно какие будут!), велик соблазн пуститься по их следам... (Ещё бы! Ведь взяв себе за руководство то, в чём сами великие немножечко пасовали, мы как бы освобождаемся от обязанности повторять за ними их подвиг чести?)

Но каковы будут общие выводы? Создаётся впечатление, что правильный сонет вообще в этом мире сочинить невозможно. Ведь только об одном безупречном сонете я знаю (да и то лишь понаслышке, ибо пересказать его нам так почему-то и не решились)! То был замечательный сонет одного из героев Генри Джеймса... (Но ведь зато глубоко безнравственным человеком оказался впоследствии сам сонетист!..)

Право, не знаю с чем это связано, но и мне (как тому джеймсовскому негодяю) изредка выпадал в виде жребия... почти совершенно правильный сонет! Быть может, даже несколько таких сонетов имеется у меня наконец-то? А что? От сонета всего можно ждать. Даже этого! Но вообще такое с сонетистами бывает исключительно редко и ругаться за сказанное я не могу.

В известнейшей сказке Гофмана «Крошка Цахес» описывается книга, из которой выбираются на волю с целью удирать картинки. И порой мне кажется, что такая текучесть кадров наблюдается и у сонетов — этих подлинных оборотней поэтической формы! Так и видишь: только что сонет был здесь, на странице — и вот его уже ищи, как ветра в поле... Только что он был и считался классическим — и вот его как будто подменили! Исчезающей формы вещь, сказала бы я...

О том, что сонет почти ничего не даёт автору как форма (впрочем, всё равно не соблюдаемая), собственно, и говорится в большинстве моих «Сонетов о сонете». Однако цель недостижимая, но при этом всё же определённая развивает в человеке изобретательность и, как мы уже намекали, приучает к трудовой дисциплине. Если бы у сонета был девиз, он мог бы гласить: «Со мной, как с конечной истиной! Её нельзя достигнуть, но к ней можно приблизиться».

Иван Семёнович Киуру, творческому и человеческому влиянию которого я обязана многим, постоянно спрашивал у меня: — Когда же ты соберёшь книгу сонетов? А что же до циклов «Сонеты к Дашковой» и «Предстательница муз» (о ней же), то именно он и натолкнул меня на их сочинение.

Прежде меня начав читать «Записки» кн. Е. Р. Дашковой и другие свидетельства о ней, он повторял мне то и дело, что я ни в коем разе не должна пройти мимо этой темы, этой фигуры! Давно изучив авторские мои пристрастия, имея всегда перед глазами целые конюшни моих «коньков», — он попросту предугадал мой нынешний энтузиазм, — всю нынешнюю мою прикованность к сюжетам отечественной истории. Так что, если найденное мной литературное решение темы окажется неинтересным, — не его вина. Если же успешным — то в этом будет много его заслуги.

Похоже, знал Иван Семёнович и о том, что я не смогу ограничиться простым прославлением замечательной личности, а посягну и на исследование... Да и как могло быть иначе?! Входя в историю Екатерины Дашковой, я столкнулась со столь чудовищными, по моему убеждению, и так далеко зашедшими уже кривотолками о ней, что при всей слабости моих сил и несовершенстве средств не могла не вмешаться в произошедшее (и, кажется, продолжающее происходить!). Надо было попытаться распутать хотя бы отдельные ветви той великой, дремучей, тысячекратно переплетённой, дико запущенной и, в чёрной страшноте своей, почти уже непроницаемой водоросли, имя которой, по-моему, — Клевета! Изыскания же свои я проводила не досужим и не причудливым каким-нибудь способом, а при помощи простой догадки, из тех, которые напрашиваются сами собой.

Если кто-либо скажет, что «Шекспириаду» и «Догадки о Шекспире» я сочинила потому, что начиталась всякой там литературы, а теперь переписываю, дескать, всё это в свою тетрадку, — никак нет, ваши благородия, — отвечу я на сии живописные обвинения. Никак нет, — потому что почти в каждом сонете обоих циклов, посвященных великому поэту, заключается та или иная (удачная или спорная, но опять же *собственная* моя) догадка о нём. Не вмещают догадку лишь сонеты, являющие собой что-то вроде перекидных мостков от одной догадки к другой.

Конечно, НЕ-исследования в поэзии и не бывает. Вопрос лишь в том: поэзия ли перед нами? Но я-то претендовала, признаться, не только на летучее поэтическое прозрение, почти независимое от нас... Ведь и в случае с «Шекспириадой» (так же, как с «Сонетами к Дашковой») я работала не со сказочным вымыслом и не с досужим домыслом, а всего лишь с естественной (надеюсь!) логикой. Которую в шекспировские времена изучали в обыкновенных школах, а теперь почему-то больше не изучают..

Преуспела ли я? И насколько? Не знаю. Ведь говорю я здесь не о результатах, а только о методе.

К самонадеянному моему предпрятию, к посильной работе по расплетению и рассечению уже не одной чёрной водоросли, а по расчистке, можно сказать, целого Саргасова моря (в котором, говорят, застревают и останавливаются корабли; чего стоит, например, утверждение, что Шекспира вообще не было!) — я мечтала приступить уже очень давно. Чему-то вроде войны за Шекспира со скептиками и зоилами я посвятила многие, не по летам дерзкие страницы своей ранней, до сих пор нереализованной, прозы. Из этой-то невостребованной прозы тема Шекспира и перешагнула в сонеты, первым из которых был (долго тоже отклоняемый редакциями) сонет «Елизавета и Шекспир» 1964 года. Он-то и открывает теперь «Шекспириаду», в целом сочинённую через тридцать лет после его появления!

Попытку Автобиографии, весьма беглой и очень краткой, но неотделимой от судьбы близких моих и родных, представляют сонеты, не входящие непременно в циклы. Духовно они группируются в основном вокруг подмосковной Сходни — местности для меня заветной. Но даже там, где мысль улетает невесть куда и витает неведомо где, всё равно это — Сходня! Её когда-то счастливые для меня пейзажи, мысли и книги, прогулки и эпизоды, поступки и разговоры, а также упования и начинания, коим она долго была (и осталась!) невольный свидетель.

Всё в мире связано, каким бы рассыпанным, раскиданным и широко разбросанным в разные стороны ни каза-

лось оно снаружи. Для меня сонет (если он удачный) есть подтверждение этой связности; находка некоторого смысла посреди сумбура.

Что ещё можно добавить к тому, что сказано? Боюсь, моя обстоятельность (которая у других людей была бы только достоинством) уже и так нагнала на читателя скуку.. Не везёт мне в последнее время с юмором! Так же, как, наверно, и в предпоследнее, и во всякое другое... А впрочем... как раз недавно мне вдруг удалось рассмешить самого короля весёлости — поэта Валентина Берестова!

— Как вы думаете, — спросил он у меня, — сонет — короткая форма?

— Если удачный, то короткая, а если неудачный, то длинная, — нечаянно ответила я. В самом деле настолько нечаянно, что даже не сразу поняла: чему этот человек смеётся? Собственный «юмор» дошёл до меня не раньше, чем я получила от Валентина Дмитриевича *заказ* на заключение моего грустного высказывания в стихотворную форму. И вот она — эта форма:

Чрезмерно длинный стих — товар не ходкий.

— А краток или нет сонет старинный?

— Что ж, если он удачный, то короткий.

А если неудачный — значит, длинный.



Песня была всегда!

(Заметки о разном)

* * *

...Вопрос о читателе почти так же обширен, как сама история. Хотя отдельная *история читательства* до сих пор не создана. Таковую и не создашь целиком! Но говорю о попытках, которые, кажется, тоже никем не делались.

Если я не ошибаюсь, думая, что в последнее время читатель изменился к лучшему, то у перемены этой так много причин, что для называния подойдёт чуть ли не любая, первая подвернувшаяся. Но для примера выберу только одну. Рискую рассердить многих, приписываю добрые изменения и тому, что критика развивалась сама по себе, а публика — сама по себе. В этом смысле критика была похожа на коллектив родителей, у которых дети «растут, как трава». Утешает то, что трава иногда вырастает совсем неплохая! Даже и с цветами вперемешку!

Реплики из публики, мной слышанные, часто казались мне и умней, и острей, и человечней многих замечаний иного критика-профессионала. Но и здесь ничего обобщать не хочется. По мне — добросовестных критиков так же мало, как, скажем, великих поэтов. Великим поэтом надо родиться. Добросовестным критиком — тоже. И всё-таки они есть (потому что «И всё-таки она вертится!»). Есть то есть критики одарённые и правдивые, — действительно развивающие отечественную культуру. И я даже нескольких знаю. И знаю наверняка, что в большой критиче-

ской массе (толпе), если бы раздался крик: «На воре шапка горит!» — человек семь во всяком случае — не стали бы хвататься за свои шапки.

* * *

...Слово «барды» как-то не очень мне по душе. В моём словаре больше прижились «менестрели». Знаю, что и это не точно, но хоть лучше звучит! Понятно, смысл у «бардов» хороший, но само звучание кажется сомнительным. Ухо у меня как-то так устроено, что при звуке слова «барды» вспоминается то «бард империализма» (как предисловисты обзывали одно время Киплинга, — а я верила!), то... миссис Бардл у Диккенса! Помните миссис Бардл, которая хотела во что бы то ни стало женить на себе мистера Пиквика? И даже как на злостно уклоняющегося подала на него в суд? А когда она падала в обморок, её ребёнок, «юный Бардл», со злобным криком вцепился мистерику Пиквику в ногу... И вся эта история упорно почему-то всплывает в моей памяти, и не могу я отделаться от этой картины, чуть только заслышу — «барды»! Ведь как это, может быть, ни смешно, а для нашего брата сочинителя даже и характерно бывает ЗВУКОВОЕ РЕШЕНИЕ некоторых вопросов. И даже диккенсовский бидл Бамбл мне при слове «барды» вспоминается, хоть я и понимаю, что это-то уж совсем нелогично...

Для людей, настроенных на всякий случай всегда иронически, звучание слова «барды» — бесценная находка! Она даёт им все основания тут же и применить к делу свою — до тех пор зря пропадавшую — иронию. Зачем далеко ходить? В самые недавние месяцы меня тоже обозвали — и довольно злорадно! — «бардом»! А я должна была это стерпеть, беззащитная, как тот мистер Пиквик, когда юный мистер Бардл с криком вцепился ему в гетры...

* * *

Разговор по существу — во все времена — редкая птица. Пусть люди и ругались бы, но ругались бы хоть *по делу!* Между тем... Так же как нельзя клеймить «эстрадными»

поэтов, чьи артистизм и ораторский уклон творчества пригодились не только для сцены, но в чём-то и для книг, — точно так же нельзя (НИКАК НЕЛЬЗЯ!) говорить об этих поэтах (или о ЛЮБЫХ других) — в прошлом времени. Этот упрёк — он и критикам и лирикам, которые иногда меняются перьями. Не понять, почему поэты, о которых так часто говорится в прошлом времени, позволяют такое с собой обращение! Начать с того, что ведь они ещё живы! Продолжить тем, что они даже ещё далеко не стары! И закончить тем, что они ведь продолжают работать! Не так ли? Так как же можно (применяя меткое выражение критика Владимира Огнева) «заживо хоронить целые поколения»?! В самом лучшем случае — это невежливо.

Да мало ли что нам чьи-то стихи не нравятся! Это ещё не даёт нам права распоряжаться самими жизнью и смертью авторов не нравящейся школы.

Может быть, и вы замечали: люди, отпевшие плеяду поэтов, живых и здравых, тем самым как бы МЕЧТАЮТ ВСЛУХ! — и, не в силах совладать с собой, выдают желаемое ими за реальное. Прекрасные и высокие у них мечты — ничего не скажешь! Превосходно этих людей характеризующие. Но ведь даже ещё лучшие мечты и надежды не всегда сбывались.

Никакой действительной необходимости в отмене поэзии шестидесятников*, по-моему, нет и не намечалось. Ведь и собственное их появление вовсе не отменило когда-то солдатскую лирику, а всего лишь изобличило многие подделки под неё — полуштатские, штатские, штабные и глубоко тыловые. Да и кто из нас конкретно — мог бы хоть посягнуть: отместить опыт поэтов-шестидесятников? Отдельные их недостатки тем более велики и запущены, что никто в своё время и не подумал указать на них ПО-ДРУЖЕСКИ авторам, тогда ещё юным. Ругаться, изливать на авторов ярость — не значит убавлять зло и помогать им вы-

* Слово ШЕСТИДЕСЯТНИКИ здесь выдуманно и употреблено впервые. Это можно проверить по всем печатным материалам того (и предыдущего) времени. Не путать с шестидесятниками XIX века.

браться на твёрдую дорогу. И всё то — плохое или хорошее, чего эти поэты достигли, — они достигли сами. Уже одним этим и то они заслужили всяческого внимания.

Но даже если и согласиться на том, что они были, и вдруг, живём, на ровном месте исчезли. Ведь и в таком ра-зе лучшее из написанного ими осталось и продолжает вли-ять! Иначе и самого Гёте пришлось бы из поэтов вывести, поскольку сегодня он больше не пишет.

Правильнее, когда в прошлом времени говорится не о самих поэтах, а только о их контактах с публикой. Опять-таки я не считаю, что популярность поэтов, — хоть по-ющих, хоть декламирующих — с теми контактами ушла. Кажется, она даже стала более основательной. А так ничто не изменилось. Продавцы музыкальных и книжных ма-газинов знают это лучше всех. Просто сами контакты из-менили свой вид. Ведь, сойдя со сцены в свои же книги, поэты не теряют свою публику, а лишь превращают её в чи-тательскую. Так и поэты-песенники, записываясь на плас-тинки или кассеты, аудиторию свою не утрачивают, а лишь перемещают её, так сказать, в пространстве. А когда ауди-тория таким образом рассеялась летом по холмам и дубра-вам, да по туристским полянам, а зимой — по своим домам и когда сама песня перемоталась на многие личные магни-тофоны, — залы, может быть, и разгрузились от публики (хотя я этого что-то не замечала!), но популярность певцов не уменьшилась.

По моим наблюдениям, песня сейчас больше в ходу, чем просто стихи. А так как песню совсем не обязательно слушать в залах (хотя в залах она, конечно, выигрывает в звучании) и так как песню можно слушать, собственно, где угодно, то изменилась и аудитория. Она ближе подошла к поэтам-композиторам, чем когда-то просто к поэтам. А такой контакт, конечно, естественней всех других. Так же, впрочем, как сама поэзия (нужная человеку во всех её обликах) естественней в виде песен, чем в виде стихов. Ведь песня была раньше стихов, как мы знаем. Песня была всегда.

* * *

...О так называемом сопереживании. Скажу о себе, как читателе и слушателе. Если я уже знаю творчество поэта по книгам или певца — по плёнкам, я иду на его выступление не затем, чтобы «разделить переживание» с другими, а только затем, что дома не хватило его книг или всё ещё мало мне его песен. Если мнение зала о выступлении совпадёт с моим — я не против. Но, с другой стороны, я знаю ведь, что моё суждение в любом случае останется при мне! «Гамлета» в игре Смоктуновского можно смотреть, думаю я, даже в пустом кинозале. (Хотя двое-трое близких или хорошо знакомых людей тут никак не помешали бы: особенно, когда в кадре на крепостной стене появляется Тень Короля! Единственному зрителю в тёмном зале сделалось бы тут немножко не по себе...)

Для выступающего НЕ с экрана, наверное, лучше, когда публики много. В этом он увидит своё не-одиночество, — подтверждение своей правды в искусстве. Однако же сама публика, если она идёт на какой-либо вечер заведомо для коммунального «сопереживания» и для поддержки ажиотажа друг в друге, — натурально, становится неприятной. Но ведь общее настроение зала, мне скажут, стихийно: оно-де не возникает по заранее намеченному плану. Ответу: бывает, что и стихийно. Но бывало ведь и так в недавнюю старину, что у «стихий» в карманах заранее лежали гнилые помидоры, чтобы ими встретить артиста! А теперь помидор хоть и вышел, кажется (в его прямом виде), из употребления, — но зато он неощутимо разлился по всему остальному поведению публики в зале. Есть даже особый разряд фигур, приходящих нарочно, чтобы уйти. Приходящих на концерт крадучись, а уходящих демонстративно, в самый разгар выступления. Я и сама имела честь наблюдать всю нестихийность этого явления — изнутри.

Но даже если говорить об искренних, почти произвольных, откликах публики на песню или стихи... Хочется и в этом случае верить, что аудитория понимающая ходит на вечера и концерты не с целью «разделить переживание»,

а ради самих стихов или песен. А переживания сколько угодно можно делить ведь и по поводу прочитанной книги, и совсем не обязательно с незнакомыми!

* * *

По-моему, постоянно показываясь по телевидению, иной поэт становится театрален, а слушатель и читатель, соответственно, превращаются в зрителя. Зритель, имеющий возможность вволю разглядывать своего — до тех пор, может быть, любимого! — автора, избаловывается, скучает. У него появляется чувство зрительной собственности на поэта — думаю, что с этим же благодушным любопытством в стране великанов разглядывали Гулливера, когда он сидел у девочки Глюмдальклич не то в игрушечном домике, не то в рабочей шкатулке.

Когда читатель постоянно имеет авторов перед своим взором, мне кажется, что, глядя на них, он думает о чём угодно, только не о стихах. Созерцая одного поэта, зрители, может быть, удивляются: какой шустрый!.. Озирая другого, думают: вот если от его пиджака сейчас оторвётся пуговица, то это увидит вся страна!.. Вид отвлекает от звука и смысла. Облик автора, навязываясь публике, отводит её от внутреннего и сокровенного: от стихов. Если они, конечно, были когда-нибудь сокровенными, а то и они, может быть, только внешние? Тогда-то автор может, конечно, выйти и показаться. А вообще поэт — не зрелище.

Я сказала — зритель избаловывается. Избаловываются обе стороны. Автор иной позирует, привыкает вдруг и к наставительству «масс», путает показывание себя, своё физическое явление народу с явлением таланта в себе — настолько-де очевидного, что всем даже на экранах видать!

А на поэзию это, по-моему, воздействует н и к а к.

Впрочем, не всегда же всё так безысходно. Бывают ведь люди очень живые, артистичные по натуре. Выступая, они не устают, не напрягаются, но и не позируют. Говорят интересно — не дают никому заглядеться на пуговицы своего

пиджака. Благо, если они ещё и талантливы как поэты! Ещё лучше, если они умеют совмещать природную уединённость поэзии с общительностью артистизма. Если так, то на телевидении они как рыбы в воде, и трудно, да и незачем тогда возражать против их, сколь угодно частых, выступлений на телеэкране. Ведь же и зарождение менестрелей осуществилось, наверное, на том же стыке — замкнутости поэзии с открытостью артистизма. Хотя и вариации тут бесконечны...

Что же до телевизионных позёров — то вот где ЭСТРАДНАЯ ПОЭЗИЯ! Но к ним это определение почему-то никто не относит.

* * *

...Считаю, что существуют ТИПИЧНЫЕ СТИХИ и ТИПИЧНЫЕ ПЕСНИ. Типичное стихотворение — это вещь, которая в самом изначальном замысле уже была стихами. И, конечно, она страдает, будучи положена на музыку! Даже и на прекрасную! Стихи тогда остаются прекрасны сами по себе, а музыка — сама по себе. И оба жанра смотрят в разные стороны.

Кажется, какая замечательная песня «Выхожу один я на дорогу...»! Какая мелодия! И всё же лермонтовского гения в песне не чувствуется — нужно мысленно снять музыку и перечитать всё сызнова — как стихи. (Хотя бы и не всё, а только первые строфы.) И только тогда восстановится гений.

Утешение в том, что стихи, угодившие в музыку, никуда — и как стихи — не деваются. Наоборот, мы даже с прибылью: вместо одного получаем два шедевра: «Выхожу один я на дорогу...» — стихотворение и «Выхожу один я...» — песню. Пусть она и не так хороша, как стихи, но она есть отдельное, совсем особенное сочинение. Конечно, уже не лермонтовское, но тоже совсем не плохое...

Когда музыка, написанная к стихам, начинает мне мешать, я просто освобождаю стихи от неё, вот и всё. Другое дело, что музыка, несвойственная стихам, или худшая, чем

стихи, на неё нашитые, всё же на какое-то мгновение коробит. Видимо, то неуловимое, что собственно и составляет ГЕНИЙ СТИХОВ (а именно — тайна интонаций), живёт лишь собственной ценностью и не терпит никакого дополнительного давления. В стихах ведь есть особенная, *только им* присущая музыка. Именно — музыка САМИХ СТИХОВ! И если к ним прибавляется ещё одна музыка — то есть мелодия, новый, изменённый ритм и т. п. — получается грубость. Получается, что одна музыка ступает прямо по другой и, при всей своей грации, как слон, не разбирает дороги.

Между типичным стихом и типичной песней есть, полагаю, некий, так сказать, пограничный тип сочинения, равно способный быть и стихотворением и песней. Думаю, что к такому типу клонятся многие стихотворения Пушкина.

Мне очень нравится «Редеет облаков летучая гряда...» — как стихи. Но моё ухо никогда не обижалось и рахманиновским известным романсом на эти слова. Наоборот, именно в романсе, именно в песне, на мой взгляд, столько непостижимого пустынного волшебства, что здесь-то как раз я уже и не могу вспомнить время, когда она была для меня стихами. Как таковыми.

Но пушкинское «Ночной зефир струит эфир...» считала бы даже незначительным для пушкинского масштаба, если б не Даргомыжский. В словах «Шумит, бежит Гвадалквивир» — всё самое вдохновенное, живое, простое, непростое, таинственное, величественное, огромное перешло, мне кажется, на сей раз от поэта на сторону композитора!

(Прошу прощения, что так пока и не привела примеров пограничного слияния пушкинских стихов с композиторской музыкой, и надеюсь в будущем исправить эту оплошность.)

Опять-таки у Лермонтова отношения с музыкой совсем другие. Хотя он и сам, по преданию, был композитором-песенником (и теперь, может быть, назывался бы менестрелем!) — своя, чисто СТИХОВАЯ музыка его — слишком внутри, слишком непостижима! Поэтому переложение его стихов даже на самую наилучшую музыку всегда казалось

мне ходьбой в сапогах (пусть в хороших, новых!) по настилу из хрупких антикварных изделий.

А лучше сказать, — по настилу из непреходящих ценностей!

Не представляю себе никакой музыки на слова:

И звуков небес заменить не могли
Ей скучные песни земли...

Ничего, что музыка на эти слова давно существует: я всё равно её не представляю.

Повторю: иная песенная музыка бывает очень хороша, если её взять отдельно от слов. Но писать прямо по Рембрандту даже и для Вермейера опасно! Хотя композитору, конечно, трудно удержаться от сочинения музыки именно на гениальные стихи.

Что же такое ТИПИЧНАЯ ПЕСНЯ? По мне, это прежде всего стихотворение, которому суждён один путь: в песню. И никакой дороги назад! Типичная песня это то, что люди всё равно запоют, даже если им не сообщать, что вещь в песенном, дескать, ключе... «Спалив бригантину султана / Я в море врагов потопил / И к милой с глубокою раной, / Как с лучшим подарком, приплыл» — превосходно и как стихи, но они не могли не стать песней.

ТИПИЧНЫЕ песни имелись в репертуаре Утёсова. «Теплоход! Теплоход уходит в море, теплоход...» Мастерами типической песни (особенно из тех, которые они пишут для радиопостановок по Шекспиру или, скажем, Сервантесу) представляются мне такие, например, композиторы, как Тихон Хренников, Дмитрий Кабалевский... Редкая в наши дни самостоятельность, неожиданность, народность, грация и какое-то, я сказала бы, реалистическое волшебство, очень весёлое и здоровое — наверно никогда не перестанут меня в этих песнях удивлять, поражать...

Стихи, на которые эти композиторы пишут, не всегда, правда, на высоте. Но происходит чудо: в МУЗЫКЕ отдельные словесные аляповатости, словно трижды перевернувшись, перекипают, невидимая фея сдувает пену, и вот

перед нами — в чистейшем виде! — ТИПИЧНАЯ ПЕСНЯ. Несмотря даже на слабость отдельных выражений, которые ведь так и остаются на своих прежних видных местах.

Как соловей о розе
Поёт в ночном саду,
Я говорил вам в прозе:
На песню перейду.

Разве это хорошо, как стихи? Имею в виду вторую половину куплета. И даже как будто остался едва заметный след усилия при совмещении этих слов с музыкой... Но зато бесподобная, совершенно неотразимая мелодия! И вдруг — слова — ей под стать:

Ведь песнею кончается
Всё лучшее на свете.

И ясно видишь: сама грубоватость отдельных фраз тоже теперь навсегда незаменима. И даже сама их неловкость — как ни странно! — пошла на пользу: на мельницу романтической сказочной дурашливости, принятой в стране Оберона и Титании. Кажется, впереди нескладного коренастого ослика летит гений...

И не важно, как сочинялась песня, — важен результат!

Ведь песнею кончается
Всё лучшее на свете.

* * *

Почему-то типически-песенное я открывала для себя чаще всего в песнях к детским и юношеским радиопостановкам. К своему позору, имена авторов, в их большинстве, я не запомнила. Может быть, потому, что для меня эти песни сразу стали народными, а народ, известно уж, — забывает сочинителей, зато песню помнит! И я — единолично — отличилась тут, может быть, и памятью и забывчивостью целого народа в миниатюре? Кроме шуток: слова тех песен, столь часто несовершенные, всё же кажут-

ся мне столь бесспорно и необратимо ПЕСЕННЫМИ, что я даже не смею прощать или не прощать их литературные недостатки. Песню ведь не затем запоминаешь навсегда, чтобы «прощать» её! Например, песню Флоренс из радиопостановки по «Домби и сыну» Диккенса.

О чем говоришь ты, море?
О чём говоришь?
На вечном своём просторе
Ты вечно шумишь...

Когда слова этой песни, местами банальные, вдруг опять сменяются ПРОСТЫМИ, — от простоты идёт наваждение:

Не спишь никогда ты, море,
Ни ночью, ни днём...

И мелодия — со стихом — неразрывная. Кстати, слово банальное или слово-сырец, вставляемое среди хорошо обождённых кирпичей, вовсе не вменяется типичной песне в обязанность: оно лишь сходит ей с рук. Потому что: даже если б типичная песня могла принадлежать десяти авторам кряду, она ВСЕГДА звучит так, словно сложил её один человек. Это-то вот и характерно для неё. А на изъездах для неё я даже совсем не настаиваю...

Такое же неотвязное наваждение типичности и единства и в песенке из «Прекрасной Нивернезки» — тоже радиопостановки по известной повести Доде. Согласно этой песне никак не должно выдавать некую «Дорогую заветную тайну», но —

Может, я расскажу её птицам —
Реполовам, дроздам и синицам?
Быстрые, лёгкие —
Далеко унесут её птицы...

Вот, думаю я, природная, врождённая песня! Можно сказать наугад, даже не зная мелодии, — тоже очень точной, простой, вдохновенной: эти стихи — ПЕСНЯ и ТОЛЬКО ПЕСНЯ! В этом смысле прирождённая песня да-

же узка, но сама её узость хранит идею безграничности, как щель в скалах, которая выводит человека на океанский берег.

Какой-либо фанатизм в разделении стихов-песен и просто стихов конечно же неуместен. Я имею в виду категоричность ЖАНРА и только. Ведь при желании можно считать стихотворением и «Песню чудака» Виктора Луфферова...

Построю дом себе я из консервных банок,
И ярко-красное себе сошью пальто,
И заживу жизнь чудачком из старых сказок,
Который смотрит в мир с открытым ртом...

Очень самобытные и неожиданные стихи! Но уже через мгновение понимаешь: «банок» и «сказок» — только в МУЗЫКЕ и может стать рифмой по праву.. И здесь догадываешься, что у наивной, свежей неправильности стиха есть только одна — только ПЕСЕННАЯ тайна и ПЕСЕННОЕ (в основном) обаяние. (Кстати, Луфферова я считаю сочинителем очень *своих* и потому очень редких мелодий.)

Словом, когда Виктор Барке создаёт — тоже незаурядную — мелодию на стихи Лорки: «...Это вода, сеньор мой, / Вода морская!»; когда Анатолий Иванов поёт: «Море гладит берег волной. / Танец крабов тих и угрюм»; когда Городницкий пишет: «У Геркулесовых столбов лежит моя дорога, / У Геркулесовых столбов, где плавал Одиссей...» — всё это слова чистейшей песенной природы. Читайте их как стихи — во многих случаях это окажется удачным опытом... Но всё равно их утянет, прямо-таки утащит обратно в песню могучим, неудержимым жанровым притяжением. Особенно, если налицо морская тематика. Почему? Но это отдельная тема, возможно, слишком обширная...

В моей практике я незнакома с необходимостью различать жанры. Я сразу стихи пишу как стихи, а песню — как песню. Я не люблю ничего, похожего на модернизм, и мне не нравится, что сегодня люди создают песню почти из любого текста и теста! Главу из неповоротливого натуралистического романа и даже суровое, наставительное предисло-

вие к нему и то, кажется, сумеют переложить на музыку. А разве нельзя? Да можно! Бывают даже любопытные эффекты. Берёт гордость за чужие открытия, за артистов космического века, которые научились петь никогда прежде не певшееся и не поющееся теперь. Но ведь — ко всем этим достижениям — надо ещё, чтобы песня ЗАПОМИНАЛАСЬ! Эту необходимость никакая новая техника отменить не может. Вот почему свои песни я всегда стараюсь слагать из поющих слов. Но конечно же не варварская хитрость примитива для меня идеал, а сложная простота шубертовских песен.

В чём для меня отличие песен от просто стихов? Во-первых, в способе сочинения. Мою песню обуславливает мелодия. Чаще всего она-то и приводит с собой и сама же расставляет слова. Даже и со стороны, мне кажется, должно быть видно: могла ли какая-то песня выйти из уже готового стихотворения, или музыка пришла раньше слов, или же сочинение музыки и слов не могло быть иным, как только одновременным. Не могло быть иным (но музыка всё же всегда хоть немножко опережала слова) сочинение многих моих песен. Вот, к примеру, песня «Золушка». Рассудите сами! Можно ли сесть и начать писать вот такое... стихотворение?

Ночь. Ночь новогодняя.
Снег синий-синий.
В заботах сегодня я,
А сёстры ушли танцевать.
Пламя в печи не горит никак...

И так далее... Тут ясно, что слова и мелодия сочинялись вместе, что сама же мелодия и лепила тут форму стиха, а потому всё-таки несколько опережала его. Ведь для просто-стихов построение их здесь не только чересчур прихотливо, но и малость несообразно. Ведь когда я пою: «Снег синий-синий», после слова «снег» я делаю достаточную паузу, а каждый из двух «синих» растягиваю согласно ходу мелодии. Если же бы это сочинялось только как стихи — то ни одна душа не догадалась бы, что после «снега» должна

быть пауза! А «синий-синий» произносилось бы разговорно, то есть довольно слитно, в одно слово! А это слово слишком сразу скатывалось бы на нет... Между тем стихи (просто-стихи!) я стараюсь писать так, чтобы все паузы, все цезуры слышны были не только мне одной.

Песню, которая складывалась в последовательности: от музыки к словам — и вообще нелегко потом читать как стихи. Можно, но в большинстве случаев нелегко. Таковы у меня и «Золушка», и «Рыжая девочка», и «Заклинательница змей», и «Страна Дельфиния», и многие другие песни.

* * *

Как приходит песня? И как — стихи? Стихи приходят, например, от потребности передать ускользящее состояние природы, разоблачить то, что кажется слишком явным вздором, признаться в слабости, но — зная, что найдутся любители позлорадствовать, — тут же всё превратить в розыгрыш и обмануть лучшие ожидания... Стихи пишутся и от восторга перед замечательным человеком, или просто явлением, или от недовольства явлением (или человеком) незамечательным. Это стихи. А песни являются всегда неведь почему и неизвестно откуда. Если так же неизвестно, откуда явится не песня, а стихотворение, я иногда превращаю его в песню. Ведь песенным способом приходящие стихи тоже уже включают в себе песенную идею. Например, в них больше прозрачности по сравнению с обычным стиховым сплошняком, больше простоты, легче даётся единство настроения. У них ДРУГОЕ ВДОХНОВЕНИЕ, чем у стихов, не близких к песне, а также им больше свойственна повествовательность и часто — сюжетность. Но вообще на всё про всё, наверное, нет единого закона и каждый случай всё равно приходится рассматривать отдельно*.

1982—1983

* «Альманах «Поэзия»», рубрика «Мастерская» (1983, № 37). (Автором сделаны лёгкие сокращения и уточнения.)



Вернитесь, листы!

Красочность лирики Янины Дегутите никак не происходит от масляной живописи, плотной и насыщенной, но это и не безотчетно нежающаяся акварель, в которой бы могла постепенно расплыться энергия линий. И хотя летучие пятнышки акварели, необходимо-неизбежные в качестве элементов, в её стихотворениях есть, как есть в них и всё остальное; и хотя — отдельными взмахами — масляная живопись заявляет о себе тоже —

Пulsирует лето
полное духоты и зноя
на холстах на холстах на холстах
голубые до боли красные зелёные
краски земли и сна —

всё же нельзя не отметить, что эти вот, например, строки взяты из стихотворения «Лето», посвященного художнику Йонасу Шважасу. А ведь художник и лето, лето и живопись маслом — кровная родня!

Но в большинстве случаев, но вдали от исключений, краски и цвета стихов Дегутите бывают какими-то иными: изнутри светящимися, тоньше цветущими... И царит среди их радужности — серебряный. Даже не цвет, а свет. «Тысячи шагов играют в снегах, как серебряные пилы» — это из «Фуги с серебряными пилами». «Окна с серебряными птицами» открываются нам в «Сахарных колокольнях». «Ледяные лестницы — серебряные террасы» — в «Вешних родни-

ках». «Серебряное поле осени» — в «Пейзаже с серебряным осколком». «Зеркальная чешуя на серебряном теле рыбы» — в «Фиорде»... И хотя в эту своеобразную Аргентину заплывают время от времени и «золотые рыбы» и «золотой лёд», и показывается порой «блёклое золото жнивья», всё же можно догадаться, что в стране Дегутите серебро ценится даже выше, чем золото. То и дело под рукой поэта мерцает и вспыхивает тот цвето-свет, от которого никогда не устаёшь, который всегда благородно своевременен и уместен, который находит точную меру уже названной окружающей радужности письма и делает его (по надобности) то легче, то тяжелее... Не так ли морская качка распоряется весом вещей на шхуне? Что ни делалось бы, что ни свершалось бы в ни з у, на страждущей з е м л е стиха, в бурях его или в затишьях, — всегда где-то выше, в том или другом небесном углу ненавязчивым отблеском держится серебро. Но стоит оно также и внизу, и сбоку где-то, — как гениальный статист и как безмолвный свидетель. Никогда не безработное, действующее почти как символ в системе образов-доказательств, — гордое серебро бессребреников.

В героине стихов, в её натуре, вас поражает редкое сочетание крайней ранимости и мужественного бесстрашия. Это человек сразу и хрупкий и негибачый. Становишься иногда в тупик — что за нервы у неё: совсем паутинки или железные тросы? Одно из любимых слов поэта — «раскачивание», «раскачать». Видать, при раскачивании, как вес вещей на той шхуне, меняется и степень выносливости снастей, прочности их. Отдельные вдруг как бы рвутся... «Ты уже никого не спасаешь / Ни от смерти, ни от безумия», — говорит себе героиня, похожая в это время на удрученную фею, на Ариэля затравленной природы, на духов кончающегося, последнего в мире, воздуха. Похожая и на современную экологическую сильфиду, с которой мало считались, но которая, жмурясь от ослепляющей гари и дыма, все ещё рвется — спасать! Но эта сильфида с железной волей — прежде всего она всё-таки человек. Которому всё страшно. Которому ничего не страшно. Ведь, «всё отлуци-

лось», отстоялось, отсеялось. Позади, в стороне, внизу где-то — остались все круги ада. Больше и терять нечего, только воспоминания иногда становятся снова грозными. Но образ моря, «серебряного кубка моря» — он тысячу раз неслучаен в этой лирике больших перепадов, — и «раскачивание» продолжается... От отчаяния к почти нигилизму оставался уже только шаг, но... приходит на помощь та, бесконечно таинственная и всех поэтов берегущая, сила, о которой, собственно, ничего не известно, кроме одного: «Ты Тот, кто никогда не вскинет белый флаг».

Отсюда — всегда возвращающееся мужество. Отсюда — горячий патриотизм поэта. Молитвенное отношение к родимой речи — другой берегущей силе. Благоговение перед Вильнюсом — прекрасным городом на семи холмах. И, как солнце сквозь тучи, блещет лик Родины. И вот уже снова жизнь — лишь ипостась бессмертия, лишь возвышенно-интригующее «вечное странствие».

Традиционное начертание стиха, относящееся к ранним периодам творчества Янины Дегутите, со временем превращается у неё — то в сплошные тире, несколько напоминающие порывистую пунктуацию Эмили Диккинсон, то заменяется почти полным освобождением от оков пунктуации. Но (и это я давно заметила) Янина Дегутите не принадлежит к поэтам, отряхивающимся от знаков препинания с прямою целью отряхнуть с себя уж заодно и всю старую классику с её традиционным человеколюбием. Как если бы оно, человеколюбие, могло, несмотря на свою крайнюю редкость, кому-нибудь надоесть! Не относится Дегутите и к тем, кто крушит привычное написание в погоне за той седой древностью, которую мы так часто и так ошибочно величаем «модой». Летят аисты Дегутите... И отказ её от запятых и точек становится таким понятным!

Над самой землей над самой землёй над самой землёй
 черно-белые крылья
 вечернее небо горит
 так трудно оторваться от земли
 от родной крыши
 от порога

Аисты дарили нам сказку детства. «Как мы ответим на их привязанность»? А вот так... Они летят туда, где им обиды не будет, где безопаснее. Но в своей невинности птицы не умеют предавать даже в ответ на вероломство. Дыхание перехватывает от их полёта-побега, всё же не отрывающегося от земли, которая затравила их... О каких же запятых и точках тут может идти речь?!

Так что же открывается? — со всей постепенностью художественности, но и на всех её скоростях? Как бы я могла ответить на этот вопрос? Открывается, вероятно, то, что уже и раньше мелькало в наших догадках. Открывается то, что вся тонкость изобразительных средств поэта: всё их безудержное богатство, впрочем, обуздываемое пуританским вкусом, смиряемое заклинательной музыкой, укрощенное и удержанное повторяющейся оправой из лунного серебра, — всё это служит, как выясняется, совсем не снобизму снобов и не эстетству эстетов-антиквариетов, а служит всё это... гонимости гонимых, бедности бедных, отверженности отверженных. Как, впрочем, тому и подобает быть у настоящей поэзии, она, быть может, несколько путает надежду с безнадежностью и опять — невозможное с возможным, ибо обращена к заброшенной всеми «женщине у кургана Унтупай», потерявшей там свою тень (к женщине, которая «этих строк не прочтет никогда!»); к сборщикам картофеля, к больным детям, к добряку-дяде, пропавшему без вести во время войны и затем «не опознанному»... И, одним словом, ко всем тем, кто уже действительно больше никогда ничего не прочтёт, потому что или совсем пропали или читать не обучены... Перспективный ли это для поэзии путь? Во всяком случае он — единственный. Ведь только поэзия, обращённая к «невписанным в окоем» (как не вспомнить тут известное выражение Марины Цветаевой!), может простираться таким образом далее окоема...

Поняв это, поймём и другое. Сочетание в стихах Янины Дегутите филигранности мастерства с абсолютной свободой и естественностью ни на миг не должно показаться нам парадоксальным. Да, кружево тонко, но кружевница-то,

видимо, из простых — в старинном, страдальческом, калёным железом пытанном смысле этого слова,

Синее дерево сливы,
что будешь делать без руты, без Божьего дерева
одно, здесь...

И с убедительностью всё усиливающейся до нас начинает доходить глубокая народность этого творчества. Кажущаяся прихотливость оборачивается небесным рукоделием простонародной швеи, вязальщицы, кружевницы. Сказочной тонкостью, но ещё больше — сказочной простотой фольклора, из заповедной глубины которого —

Двенадцать воронов-братьев кричат:
— Жди этой ночью чуда!

И чудо приходит.

Апрель—май 1989



Не скучно ли на тёмной дорожке?

«Бегущая по волнам»! Как не обрадоваться новой встрече с этим романом Грина! Ведь, чего доброго, многие его сегодня ЕЩЁ (или УЖЕ) не знают... Правда, был когда-то даже фильм по мотивам «Бегущей» (мне он, помнится, не понравился), а сейчас, по слухам, готовится новый. Насколько он будет гриновским — время покажет... Признаться, «Бегущая по волнам» всегда нравилась мне даже больше, чем «Алые паруса». Даже тогда, когда знаменитый «Секрет» еще не был взят на абордаж новыми капернскими лавочниками, а пресловутые (так приходится сказать!) паруса — не были разодраны и растасканы ими на рекламу товаров... Слов нет: «Алые паруса» Грина совершенны, но по мне «Бегущая» лучше. Здесь больше приключений, пространства, тайны. Больше догадок о душе человека. О (правда, ни разу не названном вслух) ницшеанстве; о том, как бывают обманчиво хороши и, по-своему, даже трогательны «рождённые повелевать»! Кажется, никто, кроме Александра Грина, — за весь двадцатый век! — не поднимал эту тему в романе. Быть может, я скажу неожиданно, но «Бегущая по волнам» — это СВОЕГО РОДА... гриновское «Преступление и наказание»! Хотя выполнена вещь на редкость галантно, — без единой колкости или резкости по основному адресу. А преступны и наказаны вроде как даже не те. Слишком прямое наполеонство наказано. А не прямое (и главное) как бы учтиво приветствуется...

В юности меня это страшно злило! Но не в том ли и весь фокус этой истории, чтобы хоть кого-нибудь разозлить? Думаю, в мировой романистике нет лучшей сцены, чем встреча Гарвея с Фрэзи Грант ночью, в открытом море! Здесь гениально ВСЁ, начиная с вопроса «Где он её прятал?» и до мгновения побега Фрэзи по воде, среди волн и акул... Здесь речь Рассказчика звучит, как музыка, оставаясь ПРОЗОЙ! Здесь бегут мурашки... Слабó ницшеанцу сделать такое! Для этого надо быть не завоевателем, а творцом. Единожды прочитав «Бегущую», вы уже никогда её не забудете. О, пусть мы снова услышим (расслышим!) голос Фрэзи Грант: «Я тороплюсь... Я бегу...» И «НЕ СКУЧНО ЛИ НА ТЁМНОЙ ДОРОГЕ?..»

2003



Штормовое
предупреждение

Стихи

Пролог



Елизавета и Шекспир

Когда починут, грешный мир отринув,
Монархи, вознесенные судьбой,
Нам остаются кости властелинов:
Бездушный прах, такой же, как любой.

Покуда мир становится товаром
Других купцов, какие понаглей,
Благодаря — фактически! — фиглярам
Мы (если помним) — помним королей.

По милости бродячего актера
О давнем веке столько разговора,
Что в тьме времен теперь светло, как днем!

Клянусь Шекспиром и Елизаветой:
Не он писал при королеве этой,
А королева правила — при нем.

1964

Стратфордский двойник

Шекспир и Шакспер. Это ж ДВА ЛИЦА!
Два тёзки. Два — почти однофамильца.
А кто-то, между ними всунув рыльце,
Перемешал их судьбы до конца.

Покуда ШАКСПЕР в стратфордских судах
 Судился из-за солода в галлонах,
 ШЕКСПИР блистал в театрах и салонах,
 Быть может, Лондона не покидав.

Уходит ШАКСПЕР, завещая детям
 Дом, а жене — «вторую койку». Но
 ШЕКСПИР здоров. (Ведь только в двадцать третьем
 Друзьям — его оплакать суждено!*)

— А что так странен бюст и стих надгробный?
 — Злых пращуров спроси, потомок злобный.

13 июня 1998

Гимн чердакам

Мир черенков (и черепков
 Ползущей с крова черепицы) —
 Чердак! Чертог луны-царицы,
 Пристанище былых веков!

Здесь мысль плохих учеников
 И та — парит, подобно птице...
 Рывков незримых очевидцы,
 О чердаки! Всех бедняков

Дворцы! Под кровельным теплом
 Вийона зреет здесь диплом...
 Здесь оперяются поэты

В большой полет... Здесь глобус (весь
 В лучах)... Здесь книги, свитки... *Здесь*
 Шекспира университеты!

1990-е

* «...только в двадцать третьем» — обстоятельство, замеченное именно врагами Шекспира, впрочем, сделавшими отсюда совсем иные выводы.

Дух-постановщик

Тень короля играл Шекспир на сцене.
 Мала ли роль, что грозно так весома?
 Светло ли ему было в роли Тени?
 Тепло ли в неприкаянных — как дома?

Не так уж плохо, если близко к теме!
 Певцу, как духу (чу! раскаты грома!)
 По собственному опыту знакома
 Роль изгнанных из жизни, лишних в деле.

Зачем не взял другую роль? Когда же?
 Всей пьесы на себе он тащит бремя:
 Подсказывает, правит, вяжет звенья...

Другую роль?! Штурвальному на страже
 Движенья судна — трудно (в то же время!)
 Играть на арфе и варить варенье!

1994

Большая роль

Он поступил актером в театр, но на этом поприще вряд ли достиг многого. Роу сообщает, что лучшей ролью Шекспира была тень отца Гамлета.

М. Морозов*

Шекспир, должно быть, ростом был высок.
 А следственно — еще и потому
 Роль духа-венценосца (видит Бог!)
 Не мог передоверить никому.

* Ни в коей мере ни Михаил Морозов и даже ни Роу не подвергают сомнению талант Шекспира-актера. Они лишь поневоле повторяют предание, которое уже нельзя проверить.

Роль призрака такому-то отдать?
 Но статью царственной он обделен.
 А у другого — царственная статья,
 Но призрака сыграть не в силах он.

И только он, глядишь, незаменим —
 Сей двуединой роли патриарх;
 Один (за всех), как дух ночей гоним,
 И оскорблен, как свергнутый монарх.

Побойся молний вкруг его чела!
 И не скажи, что эта роль — мала.

1994

Великий актер — Шекспир

Все роли — на подбор! Востры. Звучат не глухо.
 Ни зритель, ни актер их не толкуют ложно.
 Но слишком велика роль Неземного Духа!
 Другим ее *навряд* передоверить можно.

Кому, как не *ему*, она тиранит память?
 Кто так же здесь высок, и легок, и осанист,
 Чтоб выступить из тьмы, едва стопой касаясь
 Подмостков, — а затем, как музыка, растаять?!

Кто снес так много зла, поборов, слов изльжных,
 Чтоб, голос-колокол себе отлив на сцене,
 Вскричать: «Я был убит!»? — Кто так страдал за ближних,
 Чтоб ропот *совести* сыграть, глушимый всеми?

Сыграть саму тоску, самих ночей беззвучье,
 Изнанку счастья и тайну злополучья.

1994

Тот век...

Тот век, по нашему суждению,
Красно-зелёной был морковью:
Ботва взлетала к Возрожденью,
А корень пёр к Средневековью,

Страшась расстаться с ним; оставить
В нем то, что многим кайф сулило...
Средневековье никогда ведь
И никуда не уходило!

Покуда Подвиг, Труд, Веселье
Земной поверхностью владели,
Оно сползало в подземелья,
На срок (примерно в полнедели).

И, зацепив петлёй за шпору,
Прохожих втаскивало в нору...

1993

Божественные скорлупки

*Досталось от него не только словоблудам,
Эстетам, деспотам, их прихвостням-наскудам,
Но и философам, должно быть, перепало!
Достоин зависти, кто цел остался (чудом)!*

В шекспировских шутах заложен динамит,
Которым не один кумир подорван был.
Та взрывчатая смесь — она и днесь гремит,
Но чьи полопались апломбы — свет забыл.

А в перебранках слуг был мастером заклят,
Как в колбах, не один высокородный спор

Ученых! Но вопрос их осмеянья — снят.
Нет тех философов — и кончен разговор.

Схоласту пущенных вдогонку хлётких фраз
Повыветрился смысл и ускользнул от нас.
У *злободневности старинной* нет корней.

Какими ж *ядрами* он потчевал толпу,
Коли заставил нас влюбиться *в скорлупу*,
И аромат ядра восстановить по ней!..

1994

* * *

Восток, прошедший чрез воображенье
Европы, — не Восток, а та страна,
Где зной сошёл, как тяжесть раздраженья,
А сказочность — втройне заострена.

Где краски света, музыки и сна;
Шипов смягченье, роз разоруженье,
Жасминовые головокруженья,
В ста отраженьях — комнат глубина.

Сто потолков огнём сапфиров движет.
Сонм арапчат по жёлтой анфиладе
Бежит — и в то же время на коврах,

Далёких, золотых, недвижимых, вышит...
А дым курильниц всё мотает пряди —
Не вовсе с прялкой Запада порвав...

1970-е

*Человек из патефона**(или Два чуда подряд)*

Как бригантина, в путь пускается мембрана
Заливом черного сияющего диска,
Где лунная дорожка моря, как ни странно,
Мне блещет вдалеке и в то же время близко!

О песни! Я могу их слушать невозбранно!
И на суконный круг пластинки класть без риска
Грозы! Как будто бы зарей, пустынно-рано,
Мне вверена с Гель-Гью и Лиссом переписка...

А всё ж дрожит рука! И мнится: человечки
(С мой глаз!) поют внутри машины молодецки,
Но выход им закрыт из впадины зеркальной...

Шло время. Я сама с Утёсовым знакома!
Он вольный, не в плену! Он ростом натуральный!
С ним дочь его Эдит. И я у них, как дома!

*1966, 1980**Мечтание города*

Толпа глядит, бледна и длиннолица, —
Нос-полумесяц остро вздёрнут вверх.
Как в облаках дыхания мелиссы
Зеленоватых — реет судоверфь.

На крышах — кошек чёрный фейерверк.
Спускающихся улиц вереницы...
На вывесках, витающих, как птицы:
Ключ. Апельсин. Башмак. Посуда. Вепрь.

Трёх пансионеров лесенки кривые
 С половиками красными, как жар,
 Скакнут, имея целью мостовые,
 Но, не допрыгнув, плавят солнца шар

И странники бредут по эспланадам:
 Живые — с нарисованными рядом.

1963, 1969

Цветок зла

*Больше не могло быть сомнений: это
 был Тартараграндафлориус!. На земле
 показалось несколько трещин... Одна
 из них мчалась прямо ко мне...*

«Союз действительных»*

Приснился мне в ребячестве когда-то
 (Боявшийся — годами — оглашенья!)
 Цветок, что достигал корнями — ада
 И созидал земной коры крушенье.

Сверхплотных лепестков его громада
 Была отнюдь не флоры украшенье,
 А гибель слабым, храбрым — устрашенье,
 Разбой на пастухов и мор для стада.

Когда он распускался, вихрь упругий,
 Им поднятый, гнул рощи, тряс лачуги...
 Снимались птицы с гнёзд, кружа над далью...

Едва, как змей, раскручиваться начал
 Могучий стебель, свернутый спиралью, —
 Крича, проснулась я... Что сон мой значил?

1963, 1970

* «Союз действительных» — пока неопубликованный роман
 Н. Матвеевой. — Ред.

Мне кажется...

Мне кажется порой, что умерли стихии —
Такие, как Земля, Огонь, Вода и Воздух.
А заменили их... какие-то другие —
Из приготовленных на беззаконных звёздах;

Что до сих пор трава, наш друг многовеков́ый,
Напрасной зеленью сияла перед нами;
Что кто-то изобрёл закон природы новый,
Повелевающий расти ей — вверх корнями!

Что в джунгли отпустил шарманщик обезьянку,
Но джунглей больше нет; их царственное платье
Сорвали, вывернули, с криком, наизнанку!
Мне кажется, о них — век буду горевать я,

И плакать буду я — счастливым на потеху —
По истинным слезам и подлинному смеху.

Октябрь 1961

Знали, да забыли!

Не стоит понимать уж чересчур впрямую
Улыбки-образы и выдумки творцов!
Суров «Холодный дом». Но я в конце концов
Ещё и в «Ледяном», глядишь, переживую.

Не верь, что хижины приниженной двorcов.
А там, где Росинант нам кажет стать хромоу,
Не нацепляй коню ослиных бубенцов:
Жизнь звёздами ему ещё усее сбрую!

Не жди, чтобы попал Емелюшка впросак.
Не думай, что Иван действительно дурак!
Что Горбунок — урод (ещё и незаметный!).

Не верь, что всяк Илья — для сна и забытья.
 Что Муромцу пророк не брат. И что Илья
 Обломов — не свершит свой подвиг кругосветный.

1989, 1993

«Вышел из народа...»

Шасть из народа! — тут ему и ода.
 А я как раз зашла предупредить,
 Что я не выходила из народа,
 Да и не собираюсь выходить.

Была ходьба в народ. Настала мода
 На выход из! Но если рассудить,
 В народе нет ни выхода, ни входа:
 Мы заперты; мы все — народ. Как быть?

Спесь — вещь не антикварная. Отныне
 Мы в общей массе, точно в карантине,
 Дабы зараза чванства не могла б

Осилить нас. Но... приоткрой ворота:
 Пусть напоследок *выйдут из народа*
 Патриций-сводник и продажный раб.

1964

Есть гениальность ночи...

Есть гениальность ночи... Сокровенность
 Несбыточного властна в поздний час
 Дойти до сердца каждого из нас.
 Одни её хранят, как драгоценность,

Другие разбазаривают враз,
 А третий — впаив на радостях в надменность,
 Несёт её в дневную современность,
 Как личной посвящённости запас!

И говорит: «Не правда ль? — мы с тобою
 Возвысились над грубою толпою?!»
 Вот как, приятель?! Знай же: есть мосты,

Где всяк батрак пройдёт! Огласку тайны
 Не позволяет людям *воспитанье*.
 Но *каждый* видел то, что видел ты.

Декабрь 1994, январь 1995

* * *

*Удержи меня, мое презренье, —
 Я давно отмечен был тобой.*

С. Есенин

Когда моя, порой размашистая, речь
 Поскачет кочками, галопом увлечённым,
 Ироники всегда спешат меня осечь
 Каким-то чопорным прохладно-ровным тоном:

Восторг мой наказать, унять его поток
 Отменной сдержанности собственным примером;
 «Манеры» мне привить (как если бы к манерам
 Безукоризненным... яд относиться мог!).

Им любо вас водой холодной окатить
 И как бы скрыть зевок... Ан — всё-таки не скрыть.
 Вот так воспитанность! Постойте ж! Дерзость эта...

И вдруг — в неслыханной душевной тишине —
 Открыть: все зевки и все «зеваки» света
 Отныне и навек *неинтересны* мне.

1993

Новогоднее

Как в королевстве Пирлипат*
 Слипаются глаза от смолки
 Волшебных снов, — так мысли к ёлке
 Уж начинают прилипать,

И полночь бьёт... О, Новый год!
 Дай людям отдых безмятежный!
 А кто на улицах живёт —
 Дай валенки и дом ночлежный!

Сургуч оранжевый — письму,
 Цветочным луковкам — горшок
 (А злобным нелюдям — по рожам!).

Так пусть же будет хорошо
 Всё то небольшое, чему
 Ещё осталось быть хорошим!

1995

Презвук

Кто обгонял быстрееших безрассудно?
 Кто меньше спал, чем самый чуткий кормчий?
 Резная — на носу морского судна —
 Фигура, — талисман от зла и порчи.

В далёкий мрак, за страны Трапезунда
 Вперяя взгляд вперёдсмотрящих зорче,
 В седую рань подводных чудищ корчи
 Кто, ей подобно, первый видел смутно?

* Пирлипат — имя принцессы из сказки «Щелкунчик» Э. Т. А. Гофмана.

Кто раньше вышел в море, взяв до срока
Вест? Чьи глаза — как чайки — тень форштевня
Опережали (так же!) — до отплытий?

Кому так зябко, жутко? Так волшебно?
В рассветной тьме кому так одиноко
Ловить предзвуки — вести предоткрытий?

Стихи 1953–2004 годов



Рембрант

Он умер в Голландии, холодом моря повитой.
Обворованный бог, нищий гений.
Он умер
 и дивную тайну унёс нераскрытой.
Он был королём светотени.

Бессмертную кисть, точно жезл королевский, держал он
Над царством мечты негасимой
Той самой рукою, что старческой дрожью дрожала,
Когда подаянья просил он.

Закутанный в тряпки, бродил он окраиной смутной
У дворишков заиндевевших.
Ладонь исполина он лодочкой складывал углой
И зябко подсчитывал мелочь.

Считал ли он *то*, сколько сам человечеству отдал?
Не столько ему подавали!
Король светотени, он всё ж оставался голодным,
Когда королём его звали.

Когда же, отпетый отпетыми, низший из низших,
Упал он с последней ступени,
Его схоронили (с оглядкой!) на кладбище нищих.
Его — короля светотени!

...Пылится палитра. Паук на Рембрандтовой раме
В кругу паутины распластан.
На кладбище нищих в старинном седом Амстердаме
Лежит император контрастов.

С порывами ветра проносится иней печально,
Туманятся кровли и шпили...
Бьёт море в плотины... Не скоро откроется тайна,
Уснувшая в нищей могиле!

Но скоро в потёмки сквозь вычурный щит паутины
Весны дуновенье прорвётся:
Какие для славы откроются миру картины
В лучах нидерландского солнца!

И юный художник, взволнованный звонкой молвою,
И старый прославленный гений
На кладбище нищих с поникшей придут головою
Почтить короля светотени.

А тень от него никогда не отступит. Хоть часто
Он свет перемешивал с нею.
И мастер контраста — увы! — не увидит контраста
Меж смертью и славой своею.

Всемирная слава пылает над кладбищем нищих:
Там тень, но и солнце не там ли?
Но тише!

Он спит.

И на ощупь художники ищут
Ключи неразгаданной тайны.

1953

* * *

Всё сказано на свете:
Не сказанного нет.
Но вечно людям светит
Не сказанного свет.

Торговец чучелами птиц
Сегодня мне приснился:
Трухой, как трубку табаком,
Он дятла набивал.
Желтела иволга в тени,
Орёл в углу пылился,
И не дразнился попугай,
И соловей молчал.

Торговец чучелами птиц!
Мне твой товар наскучил:
Едва пером дотронулся я
До трепетных страниц,
Как вниз летят мои мечты
На крыльях птичьих чучел,
Когда хотели бы лететь
В зенит — на крыльях птиц.

Слова... Ищу их снова.
И всё не те, не те...
Удар —
И грянет слово,
Как выстрел по мечте.

Рисует рожицы поэт,
Круги, зигзаги чертит,
Пока покажутся слова,
Которых нет верней,
И возле сомкнутого рта
Перо в досаде вертит,

Как в темноте
Вертел бы ключ
У запертых дверей.

Порою шум из-за дверей
Доносится неясный
И по ошибке этот шум
Мы песнею зовём
И утешаемся: «Пусть — шум!
Бывает шум *прекрасный*...
Когда деревья в час ночной
Шумят перед окном, —
 Нам видеть их не надо;
 У слуха тот же взгляд.
 А шум ночного сада
 Пышней, чем самый сад».

Но, сделку с музой отогнав
Затрещиной немою,
Со звоном в позвоночнике,
В тяжёлой тишине,
Сижу
И чайной ложечкой
Вычерпываю море,
Чтобы достать жемчужину,
Лежащую на дне.

А море?
Что ж! — мелеет...
И вот уже белеет
Сквозь воду тёмным-тёмную
Морского дна песок.
Нет,
Это ночь проходит.
Нет,
Это ночь мелеет,

И в ней белеет, как песок,
Светающий восток.
Но жемчуг мой со мною:
Жемчужницы уста
Концом ножа раскрою:
Жемчужница... пуста.

Ищу её в снотворных днях
Ищу в ночах бессонных...
В душе космический огонь,
А на губах — зола.
О плиты творческих могил,
Бессмертьем раскалённых,
Я, может быть, не всю ладонь,
Но палец обожгла.

И с той поры,
И с той поры
Глаза от боли жмурю...
Всего лишь палец обожгла,
А всей рукой трясу..
Я вам несу мою мечту,
Как одуванчик в бурю,
И всё боюсь — не донесу,
Боюсь — не донесу.

Всё сказано на свете:
Не сказанного нет,
Но вечно людям светит
Не сказанного свет.

1958

Выселение из вселенной

Поэма

До сих пор грохочут водопады,
Сотрясаясь от избытка сил,
В той стране, где правнук Гайаваты
Свой очаг навеки погасил.

Не синеют в сумерках вигвамы,
Старики не курят возле них,
Не скользят каноэ под ветвями
Средь осок и лилий водяных.

Смолк навеки скорбный ваванэйса
В чаще леса — кладбище листвы.
Облетели у вождя-индейца
Радужные перья с головы.

Сохнущие шкуры у порога
В солнечном ветру не шелестят.
Навсегда отчалила пирога
К берегам Понима, на закат.

Навсегда колчаны опустели,
Навсегда лесные короли
Боевые луки опустили —
В гордое преданье отошли.

Сквозь века, сквозь пламя поздней дружбы
Я назад их горестно зову:
— Почему вы бросили оружие?
Где вы скрылись, грозные? А-у!..

...Только ветер в травах пробегает,
Где, зарывшись в землю с головой,
Вечным сном забылся томагавок —
Лучших дней товарищ боевой.

О, какой же силы дуновенье
И какой же тяжести волна,
Как пушинку, сдуло поселенья?
Как соринку, смысла племена?

Не сюда ли дети кроткой веры
Принесли Спасителя завет?
Не сюда ль пришли миссионеры... —
Погасить прекрасный Новый Свет?

Ничего себе у них «молитва»,
Коль сумели раз и навсегда
Срезать, как чудовищная бритва,
Целые народы без следа?!

Как же быть? Как прошлое поправить?
Детям леса сделанное зло —
Чем избыть?.. Сорву листок на память
Обо всём, что с ними стать могло...

...Томный Запад! Тающая тайна...
В диких почках скрытая судьба...
Шелест... Проливное щебетанье...
Водопадов дальняя пальба...

Холод сладкий, трепет вдохновенный
Чащ, ослепших в собственной тени...
А туземцы где же?! Из Вселенной
Прочь навеки изгнаны они.

Раса незаслуженного цвета —
Раса белых! Честь невелика!
Ведь твоя великая победа
Преступленьем впишется в века.

Дорог счёт за выветренный череп,
Сохнувший на солнце меж травы,

За корону из орлиных перьев,
Сорванную с гордой головы,

За печаль, догадку, сновиденье,
Где могло быть яви торжество,
Где лишь тот спасён от вырожденья,
Кто не знал рожденья самого!

Дорог счёт... Но всё ль он в старой силе?
Кто и с кем расплатится по нём?
Что же делать, если годы смыли
Кредитора вместе с должником?!

И тихонько отвечает ветер,
Пролетая в струйках снеговых: —
Кредитора, верно, нет на свете.
Но должник, по-моему, в живых.

Не на книжных сумеречных полках,
В полных чар Эмаровых томах, —
Он живёт в сомнительных потомках —
В ясных виллах, в барственных домах...

И ему ночами сладко спится,
Словно он ни в чём не виноват,
И ему не чудится, не снится
Страшный путь с востока на закат...

Пулями исклёванные «фрукты»,
Терпкие пропойцы, игроки,
У которых бороды — как муфты,
Бакенбарды — как воротники, —

Где они? От волчьего наследства
Только шерсть отбросив навсегда,
Он давно оставил пору детства —
Ту, когда бывает борода!

Носит он тончайшие манишки,
Бреется едва не до костей,

Занимает все мирские вышки,
Ходит в церковь (Господи, прости!).

Там, в лучах лампы негасимой,
Он застыл в поклоне у колонн:
Не отцов ли грех непоправимый
В этот миг замаливает он?

Где уж там! Одно он помнит крепко,
И одна молитва у него:
«Боже! Дай мне в зле, достойном предка,
Переплюнуть предка моего!

Намалюй своё благословенье
На горбах моих броневиков —
И свершу я за одно мгновенье
Преступленье нескольких веков».

О, не поздно ль? Страны прозревают.
Поздно! Человечество следит.
Сам себя наш мир не прозевает,
Взлом земли земля предупредит.

Но при этом... Ищет новый разум,
Ищет в прошлом твой досадный след...
И восходит перед новым глазом
В новом свете тот же Новый Свет.

И, дивясь на старое злодейство,
Фермер останавливает плуг
Перед ветхим черепом индейца —
Перед чёрным делом белых рук...

...Пусть ушли, растаяли во мраке
Грозные лесные короли —
С их надгробий стершиеся знаки
Мы в сердца свои перенесли.

1957—1958

Три ответа

Из цикла «Новое о Насреддине»

Узнай, Земля и Океан,
И вся Вселенная в придачу:
Сегодня грозный шах Гассан
Решает сложную задачу.

Сегодня в зал из янтаря
К нему, при пенье соловьином,
Ведут бродягу-бунтаря,
Который знался с Насреддином.

Бродяга. Но бунтарь ли он? —
Установить необходимо!
Бунтарь? Так, будет он казнён
За неимением Насреддина!

(А Насреддин, прошу учесть,
Довольно крупно провинился
Затем, что шаха превознести
В певучих бейтах поленился.)

Ответ бродяги должен быть
Находчивым в своей подаче!
Да так, что за прямой — казнить
А за уклончивый — тем паче!

— Скажи, бедняк из бедняков:
Что знаешь ты о Насреддине?
— Что у него бока — с боков,
А голова — посередине.

— Толпа!
Уклончив ли ответ?
— Уклончив!

- Нет!
- Уклончив!
- Нет!

— Но ты с ним, верно, говорил
(И этим верность мне — нарушил)?
— Клянусь движением светил,
Я говорил, но он — не слушал.

- Толпа!
- Уклончив ли ответ?
- Уклончив!
- Нет!
- Уклончив!
- Нет!

— Ты говорил с ним? Но о чём?
Рассказывай! Повелеваю!
— А говорил я с ним о том,
Что говорить с ним не желаю.

- Толпа!
- Уклончив ли ответ?
- Уклончив!
- Нет!
- Уклончив!
- Нет!

«Как быть? — подумал грозный шах,
Допрос прохожего закончив, —
Нет прямоты в его словах,
Но разговор был неуклончив...

Я ждал зыбучего, как сон,
Или железного ответа,
Но не подумал я, что он
Объединит и то, и это!»

— Ну что, бедняк? В конце концов
Не все властители жестоки.
И ценят Красное Слово
На очарованном Востоке!

И шах бродягу отпустил,
Благодаря его ответам,
Не разглядев, что это был...
Сам Насреддин по всем приметам!

1958

Зима

Что так чинно ходики ступают?
 Что так сонно, медленно идут?
 То ли стрелки к цифрам прилипают,
 То ли цифры к стрелкам пристают?

Ночь. Молчанье. Только дверь снаружи
 Напрягает раму и трещит,
 Листовую сталью лютой стужи
 Облицованная, словно щит.
 Спит колодец в панцире, как витязь,
 С журавлём, похожим на копье...
 На верёвке, чуть во мраке видясь,
 Лязгает промерзлое бельё:

Простыни в бесчувствии жемчужном
 Плавают, как призраки знамён,
 От рубах исходит то кольчужный,
 То как будто колокольный звон.

...Ну кого, скажи, не опечалит
 Прямо в душу вмёрзшая зима?
 Лишь зима зимою не скучает,
 Веселится лишь она сама:

Катится над серыми полями,
 Сети веток склеивает льдом,
 Громоздит сугробы штабелями,
 Чтоб никто — ни из дому, ни в дом.

То в дупло наклонное ныряет,
 Как ловец за жемчугом на дно,
 То снежинку острую вперяет
 С любопытством в тёмное окно...

Пальцами прищёлкивает стужа,
 Не мытьём, так катаньем берёт
 И как будто стягивает туже
 Пояса истаявших берёз.

...Что так чинно ходики ступают?
Что так сонно, медленно идут?
То ли стрелки к цифрам прилипают,
То ли цифры к стрелкам пристают?

1958

* * *

Не сам сонет растаял в блеске лунном,
А давняя сонетная пора:
Древесный сок извечно будет юным,
Хотя веков крепка на нём кора.

Застыла ода идиолом чугунным,
Элегия уходит со двора...
И лишь сонет — ещё бежит по струнам,
Ещё дрожит на острие пера!

Он жил давно. Но это не причина
Вновь не ожить ему для новых тем.
Его конец ещё не есть кончина.
(Смотря *кто* «кончил»! Как! Да и зачем...)

Шекспир — и тот не вычерпал сонета!
И ковш у родника оставил где-то...

1958—1959

* * *

Дворник листья неохотно ворошит
Под наплывом облетающих аллей.
Полог неба предвечернего прошит
Обрывающейся ниткой журавлей.
 За рекою, отражённые в реке,
 Люди с вилами подъехали к стогам,
 Точно карлы к великаньим пирогам
 С циклопической вилокoю в руке.
Веет свежестью обоих берегов.
Странной яркостью
И сказкой дышит быт.
За телегами по зелени лугов
Тучей ливневою бродит чёрный бык.
 Ухожу среди слабеющих берёз.
 Нет улыбки в их безликой белизне,
 Тем томительнее за сердце берёт
 Эта бледность, равнодушная извне.
Дети кукол рассадили возле пня
И, забыв о них, ушли за бузиной;
Куклы зябнут
И, уставясь на меня,
Отсыревшие, сидят передо мной.

1959



За письменным столом.
Фото А. Матрёнина. Начало 1980-х гг.

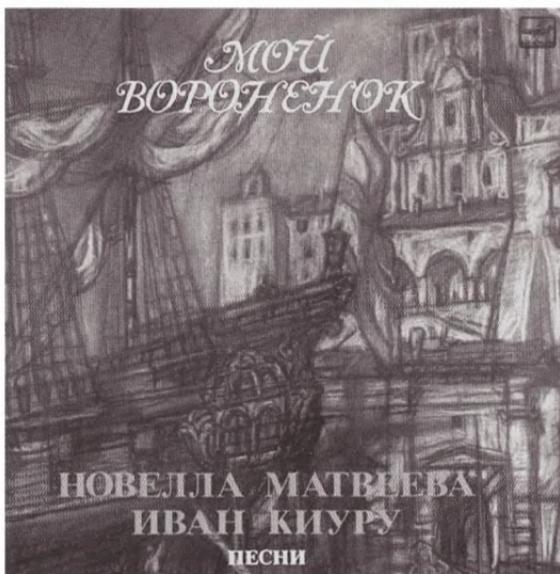


Молодожёны. Новелла Матвеева и Иван Киуру.
Фото А. Матрёнина. 1963.



«Союз
действительных».
Фото А. Матрёнина.
Переделкино. 1981.

Конверт пластинки
с песнями
в исполнении
Н. Матвеевой
(на слова И. Киуру
и собственные).
Рисунок
О. И. Гроссе.
Фирма «Мелодия».
1985.





На даче в Сходне.
1970-е гг.

Незабываемый друг
кот Маркеза.
Фото В. Ларионова.



Сходненская весна.



«Всё превратилось
в пышный курорт,
Ни одисеев нет,
ни итак, Только
простой гитарный
аккорд Всё еще мнит,
что это не так...».
Сходня. 1970-е гг.





Новелла Матвеева в гостях
у переводчицы Беллы Залесской (вторая справа).

Выступление в Литературном институте им. А. М. Горького:
Новелла Матвеева, Иван Киуру, Евгений Винокуров. 1980-е гг.





На пашне у Мцырського леса: Новелла Матвеева, Иван Киуру, поэтесса Зоя Колосова. *Сходня. Фото Л. Слесарева. 1970-е гг.*

Новелла Матвеева и Иван Киуру (в центре) после выступления в издательстве «Молодая гвардия». *1980-е гг.*



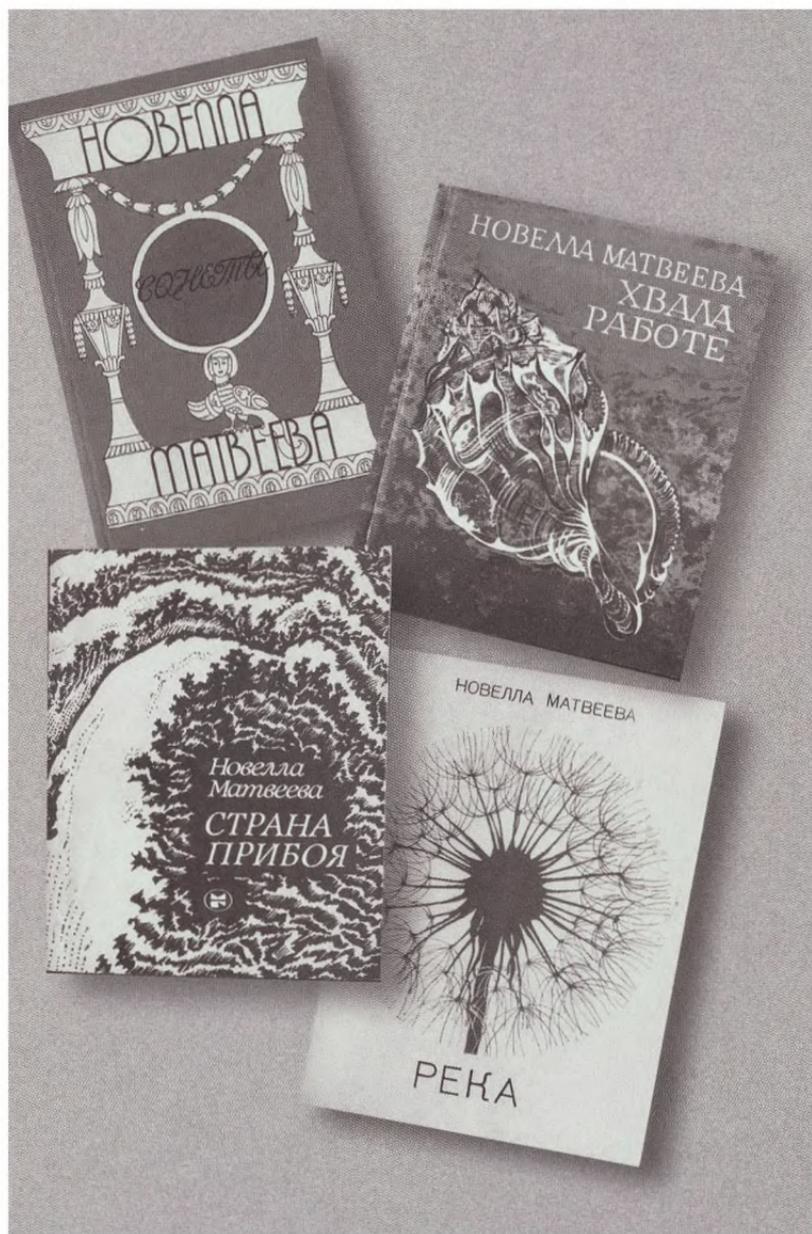


Домой через
«Черёмуховый
мосток».
Сходня. 1980-е гг.



Поэты иногда и едят.
Дом творчества
в Переделкино.
Начало 1980-х.



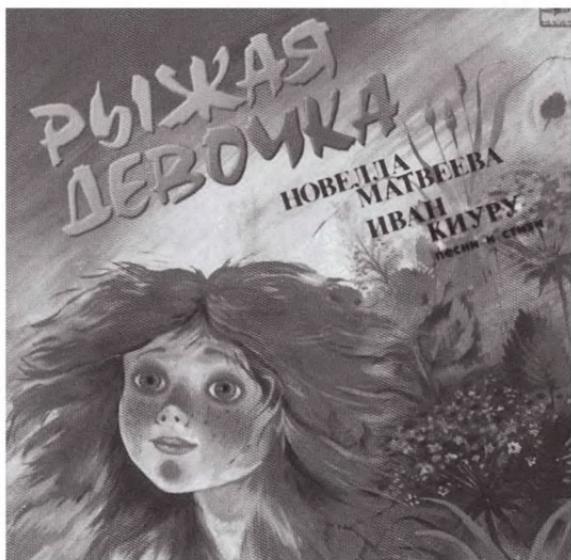


Поэтические сборники Новеллы Матвеевой:
«Река» (1978), «Страна прибой» (1983), «Хвала работе» (1987),
«Сонеты» (1998).

Новелла Матвеева
перед выходом
книги «Река».



Конверт пластинки
«Рыжая девочка»
с записью песен
и стихов
Новеллы
Матвеевой
и Ивана Киуру.
Фирма «Мелодия».
1986.



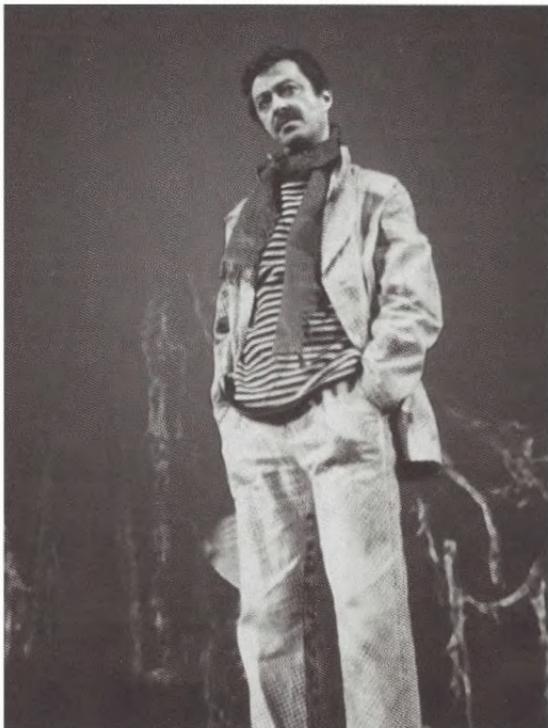


Пьеса
Новеллы Матвеевой
«Предсказание Эгля»
на сцене
Центрального
детского театра
в Москве.
Циммер — актёр
Михаил Андросов,
Тьюлип — актёр
Александр
Михайлов.
1984.

«Предсказание Эгля»,
сцена «На ярмарке».
Нищий — актёр
Николай Ферапонтов.

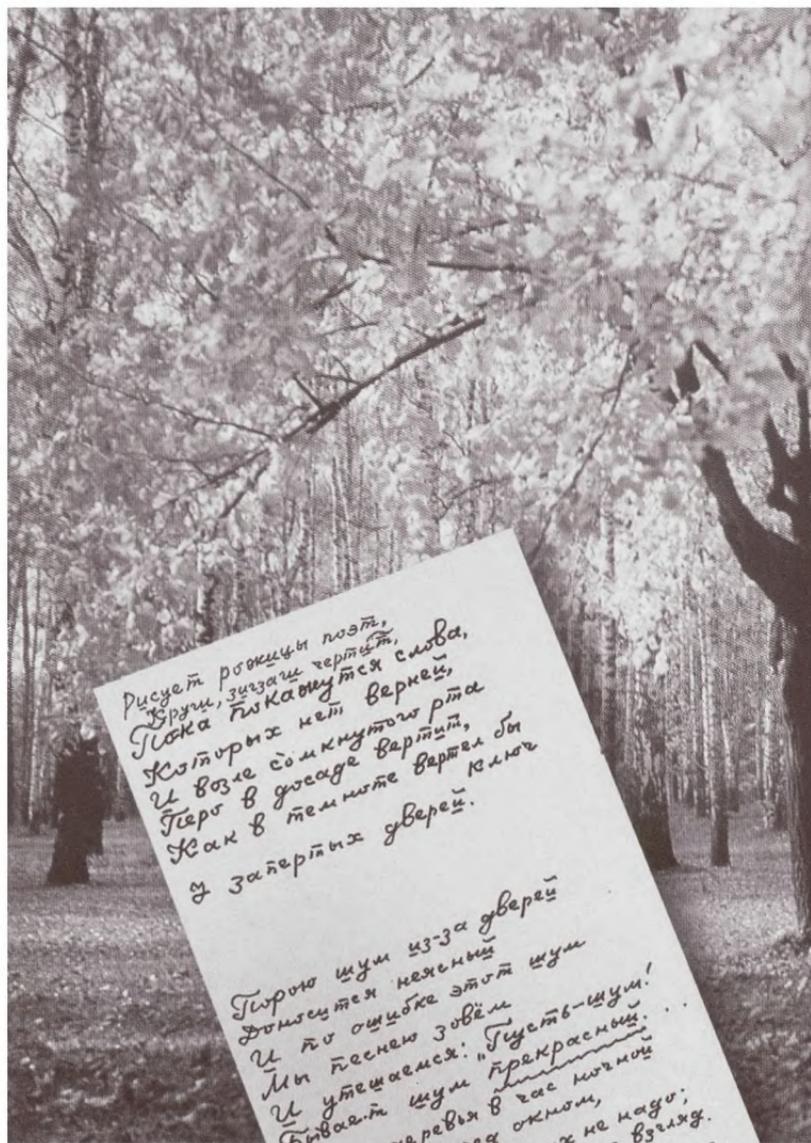


«Предсказание Эгля».
Лонгрен —
актёр
Юльен Балмусов.



«Предсказание Эгля».
Марта — актриса
Татьяна Шатилова,
Нищий — актёр
Николай Феропонтов.





Рисует рожицы поэт,
Зрелища, зыбачи чертит,
Пускай покажут ся слова,
Которых нет верней,
И возле сомкнутого рта
Тверд в досаде вертит
Как в темноте вертел бы
И запертых дверей.

Тирю шум из-за дверей
Домашней нежной
И по охибок этот шум
Мы песеню зовём
И утешаемся: "Густь-шум!"
Бывает шум прекрасный.
Когда деревья в час ночной
Шумят перед окном,
Нам видеть их не надо;
И слуха тот же взгляд.
А шум ночного сада
Птичьей, тем самым садом

Автограф
стихотворения
Новеллы Матвеевой
«Всё сказано на свете...».



Новелла Матвеева и Иван Киуру на своём творческом вечере в Политехническом музее. *Москва. Начало 1980-х гг.*

Камергерский переулок в Москве с видом на дом поэтессы.





«Давайте-ка лучше песню споём...»

Жди снега

Долги дни короткие.
Ветви в небе скрещены,
Чёрные и чёткие,
Точно в небе трещины.
Плач берёз потупленных...
Пни дождём разварены,
Точно замков кукольных
Древние развалины.

Листья под заборами.
На осинах вороны —
Осени блюстители,
Листьев заместители.
Ближний лес туманится,
Вкривь и вкось проветренный,
Дождь резиной тянется...
Снег — и тот приветливей:

Налетит, завертится,
Пень прикроет горкою,
На лету задержится
За рябину горькую,
Всё собой оденет он,
Всюду, всюду ляжет он,
Всё куда-то денет он,
А куда — не скажет он.

1959

* * *

— Как ты можешь воспевать эвкалипты,
Никогда не повидав их глазами?

— Это клязьминских берёз манускрипты,
Как сумели, мне о них рассказали.

— Как ты можешь рассуждать про оливы,
Непричастная их шуму, их чуду?

— Я о них порасспросила у ивы —
Шелест листьев одинаков повсюду.

— Как ты смеешь, не бывав за пределом,
О Манилах толковать, о Гаване?!

— Я на лужицы гляжу между делом:
Рябь на лужах устремляется (в целом)
В ту же сторону, что зыбь
В океане.

1959

Попугай

По клетке, шкафами задвинутой,
Где книги в пыли вековой,
Взъерошенный, всеми покинутый,
Он бегаёт вниз головой.

Чудак с потускневшими перьями!
Чудит, а под веками — грусть.
Язык истреблённого племени
Он знает почти наизусть.

Язык, за которым ученые
Спускаются в недра веков,
Где спят города, занесённые
Золой раскалённых песков...

Язык, что плетьюми виноградными
Петляет по плитам гробниц
И хвостиками непонятными
Виляет с разбитых таблиц.

Прекрасный язык — но забылся он,
Забылся, навеки уснув.
Огромный — но весь поместился он,
Как семечко, в маленький клюв.

Привык попугай разбазаривать
Бесценную ношу в тоске;
С собою самим разговаривать
На умершем языке,

В кольце кувыркаться стремительно,
Вниманья не видя ни в ком,
И сверху смотреть
Снисходительно,
Когда назовут дураком.

Песня

I

Как сложилась песня...

Как сложилась песня у меня?
И сама не знаю, что сказать!
Я сама стараюсь
У огня
По частям снежинку разобрать!

II

Музыка

Вы объяснили музыку словами.
Но, видно, ей не надобны слова —
Не то она, соперничая с вами,
Словами изъяснялась бы сама.
И никогда (для точности в науке)
Не тратила бы времени на звуки.

III

Натюрморт

Отстала ягода от кисти винограда;
Дрожит на кончике — всех меньше и темней...
Но презирать её, по-моему, не надо:
Наоборот! — Цена картины —
В ней.

1959

Какой большой ветер!

Какой большой ветер
Напал на наш остров!
С домишек сдул крыши,
Как с молока — пену,
 И если гвоздь к дому
 Пригнать концом острым,
 Без молотка, сразу,
 Он сам войдёт в стену.

Сломал ветлу ветер,
В саду сровнял гряды —
Аж корешок редьки
Из почвы сам вылез
 И, подкатясь боком
 К соседнему саду,
 В чужую врос грядку
 И снова там вырос.

А шквал унёс в море
Десятка два шлюпок,
А рыбакам — горе, —
Не раскурить трубок,
 А раскурить надо,
 Да вот зажечь спичку —
 Как на лету взглядом
 Остановить птичку.

Какой большой ветер!
Ах! Какой вихорь!
А ты глядишь нежно,
А ты сидишь тихо,
 И никому силой
 Тебя нельзя стронуть, —
 Скорей Нептун слезет
 Со своего трона.

Какой большой ветер
Напал на наш остров!
С домов сорвал крыши,
Как с молока — пену..
 И если гвоздь к дому
 Пригнать концом острым,
 Без молотка, сразу,
 Он сам уйдёт в стену.

1960—1961

Кораблик

Жил кораблик, весёлый и стройный,
Над волнами, как сокол, парил.
Сам себя, говорят, он построил,
Сам себя, говорят, смастерил.

Сам смолою себя пропитал,
Сам оделся и в дуб, и в металл,
Сам повёл себя в рейс:
Сам свой лоцман,
Сам свой боцман,
Сам сво́й капитан.

Тра-ля-ля-ля-ля-ля,
Тра-ля-ля-ля-ля-ля,
Сам свой боцман,
Сам сво́й капитан.

Шёл кораблик, шумел парусами,
Не боялся нигде ничего.
И вулканы седыми бровями
Поводили при виде его.

Шёл кораблик по летним морям,
Корчил рожи последним царям.
Все ли страны в цвету?
Все ль на месте? —
Всё записывал,
Всё проверял!

Тра-ля-ля-ля-ля-ля,
Тра-ля-ля-ля-ля-ля,
Всё записывал,
Всё проверял!

Раз пятнадцать — раз двадцать за сутки
С ним встречались другие суда:
Постоят, посудачат минутку
И опять побегут кто куда...

Шёл кораблик, о чём-то мечтал,
Всё, что видел, на мачты мотал,
Делал выводы сам:
Сам свой лоцман,
Сам свой боцман,
Сам свóй капитан.

Тра-ля-ля-ля-ля-ля,
Тра-ля-ля-ля-ля-ля,
Сам свой боцман,
Сам свóй капитан.

1961

Страна Дельфиния

Набегают волны синие.

— Зелёные?

— Нет, синие!

Как хамелеонов миллионы,

Цвет меняя на ветру.

Радостно цветёт глициния,

Она нежнее инея.

А где-то есть земля Дельфиния

И город Кенгуру.

— Это далеко!

— Ну что же?

Я туда уеду тоже.

Ах ты Боже, ты мой Боже!

Что там будет без меня!

Пальмы без меня

Засохнут,

Розы без меня

Заглохнут,

Птицы без меня

Замолкнут —

Вот что будет без меня!

Да, но без меня в который раз

Отплыло судно «Дикобраз»...

Как же я подобную беду

Из памяти сотру?!

А вчера пришло,

пришло,

пришло

Ко мне письмо,

письмо,

письмо

Со штемпелем моей Дельфинии,

Со штампом Кенгуру.

Белые конверты с почты

Рвутся, как магнолий почки,

Пахнут, как жасмин,
но вот что
Пишет мне моя родня:
Пальмы без меня
Не сохнут,
Розы без меня
Не глохнут,
Птицы без меня
Не молкнут!
Как же это? Без меня?!

Набегают волны синие.
— Зелёные?
— Нет, синие!

Набегают слёзы горькие —
Смахну, стряхну, сотру..
Радостно цветет
Глициния,
Она нежнее
Инея..
А где-то есть земля
Дельфиния
И город
Кенгуру!

1961

Дома без крыш

Летняя ночь была
Теплая, как зола...
Так, незаметным шагом,
До окраин я дошла.

Эти окраины
Были оправлены
Вышками вырезными,
Кружевными кранами.

Облики облаков,
Отблески облаков
Плавали сквозь каркасы
Недостроенных домов.

Эти дома без крыш
В белой ночной дали
В пустошь меня звали,
В грязь и глину завели.

На пустыре ночном
Светлый железный лом,
Медленно остывая,
Обдавал дневным теплом.

А эти дома без крыш
В душной ночной дали
Что-то такое знали,
Что и молвить не могли!

Из-за угла, как вор,
Вынырнул бледный двор:
Там на ветру волшебном
Танцевал бумажный сор.

А эти дома без крыш
В душной ночной дали
Плыли, как будто были
 Не дома, а корабли.

Встретилась мне в пути
Между цементных волн
Кадка с какой-то краской,
 Точно в тёплом море — чёлн.

Палка-мешалка в ней,
Словно в челне весло!
От кораблей кирпичных
 Кадку-лодку отнесло.

Было волшебно всё.
Даже бумажный сор!
Даже мешалку-палку
 Вспоминаю до сих пор!

И эти дома без крыш,
Светлые без огня,
Эту печаль и радость,
 Эту ночь с улыбкой дня.

1961

Пожарный

Жил-был пожарный в каске ярко-бронзовой,
Носил, чудак, фиалку на груди!
Ему хотелось ночью красно-розовой
Из пламени кого-нибудь спасти.

Мечта глухая жгла его и нежила:
Вот кто-то спичку выронит и — вот..
Но в том краю как раз пожаров не было —
Там жил предусмотрительный народ.

...Из-за ветвей следить любила в детстве я,
Как человек шагал на каланче...
Не то чтобы ему хотелось бедствия,
Но он грустил — о чём-то вообще...

Спала в пыли дороженька широкая,
Набат на башне каменно молчал...
А между тем горело очень многое,
Но этого никто не замечал.

Но этого никто не замечал.

1961

Ах, как долго едем!

Ах, как долго, долго едем!
Как трудна в горах дорога!
Чуть видны вдали хребты туманной сьерры...
А как тихо, тихо в мире!
Лишь порою из-под мула,
Прошумев, сорвётся в бездну камень серый.

Тишина. Лишь только песню
О любви поёт погонщик,
Только песню о любви поёт погонщик,
Да порой встряхнётся мул,
И колокольчики на нём,
И колокольчики на нём зальются звонче.

Ну скорей, скорей, мой мул!
Я вижу, ты совсем заснул:
Ну поспешим — застанем дома дорогую!..
Ты напьёшься из ручья,
А я мешок сорву с плеча
И потреплю тебя и в морду поцелую.

Ах, как долго, долго едем!
Как трудна в горах дорога!
Чуть видны вдали хребты туманной сьерры...
Ах, как тихо, тихо в мире!
Лишь порою из-под мула,
Прошумев, сорвётся в бездну камень серый.

Тишина. Лишь только песню
О любви поёт погонщик,
Только песню о любви поёт погонщик,
Да порой встряхнётся мул,
И колокольчики на нём,
И колокольчики на нём зальются звонче...

Цыганка

Развесёлые цыгане
По Молдавии гуляли
И в одном селе богатом
Воронá коня украли.
А ещё они украли
Молодую молдаванку:
Посадили на полянку,
Воспитали как цыганку.

Навсегда она пропала
Под тенью загара.
У неё в руках гитара,
Гитара, гитара!
Позабыла всё, что было,
И не видит в том потери.
(Ах, вернись, вернись, вернись!
Ну оглянись, по крайней мере!)

Мыла в речке босы ноги,
В пыльный бубен била звонко.
И однажды из берлоги
Утащила медвежонка,
Посадила на поляну,
Воспитала как цыгана:
Научила бить баклушки,
Красть игрушки из кармана.

С той поры про маму-папу
Забыл медвежонок —
Прижимает к сердцу лапу
И просит деньжонок, —
Держит шляпу вниз тульёю...
Так живут одной семьёю,
Как хорошие соседи,
Люди, кони и медведи.

По дороге позабыли:
Кто украл, а кто украден.
И одна попона пыли
На коне и конокраде.
Никому из них не страшен
Никакой недуг, ни хворость...
По ночам поют и пляшут,
Да в костры бросают хворост.

А беглянка добрым людям
Проходим
Ворóжит:
Всё, что было, всё, что будет,
Расскажет,
Как может...

Что же *с ней*, беглянкой, было?
Что же *с ней*, цыганкой, будет?
Всё, что было, — позабыла.
Всё, что будет, — позабудет...

1961

Что ж ты
за пароходами не плывёшь?
Видишь? —
канатоходцами по канату
Снова
по горизонту они прошли, —
Снова —
в Константинополь, Суэц, Канаду..
Снова —
по краю моря на край земли.

Снова —
в Константинополь, Суэц, Канаду,
Снова —
по краю моря на край земли.

1961

Караван

Мой караван шагал через пустыню,
Мой караван шагал через пустыню,
Первый верблюд о чём-то с грустью думал,
И остальные вторили ему.

И головами так они качали,
Словно о чём-то знали, но молчали,
Словно о чём-то знали, но не знали:
Как рассказать,

когда,

зачем,

кому..

Змеи шуршали среди песка и зноя...
Что это там? что это там такое? —
Белый корабль, снастей переплетенье,
Яркий флажок, кильватер голубой...

Из-под руки смотрю туда, моргая:
Это она! Опять — Фата-Моргана!
Это её цветные сновиденья,
Это её театр передвижной!

Путь мой далёк. На всём лежит истома.
Я загрустил: не шлют письма из дома...
«Плюй ты на всё! Учись, брат, у верблюда!» —
Скажет товарищ, хлопнув по плечу,

Я же всердцах пошлю его к верблюду,
Я же — всердцах — пошлю его к верблюду:
И у тебя учиться, мол, не буду,
И у верблюда — тоже не хочу.

Друг отошёл и, чтобы скрыть обиду,
Книгу достал, потрёпанную с виду,

С грязным обрезом, в пёстром переплёте, —
Книгу о том, что горе — не беда...

...Право, уйду! Наймусь к Фата-Моргане:
Стану шутом в волшебном балагане,
И никогда меня вы не найдёте:
Ведь от колёс волшебных нет следа.

...Но караван всё шёл через пустыню,
Шёл потому, что горе — не беда.

1961

Братья капитаны

В закатных тучах красные прорывы.
Большая чайка, плаваний сестра,
Из красных волн выхватывает рыбу,
Как головню из красного костра.

Двумя клинками сшиблись два теченья,—
Пустился в пляску ящик от сигар,
И, как король в пурпурном облаченье,
При свете топки красен кочегар.

Мы капитаны, братья капитаны,
Мы в океан дорогу протоптали,
Мы дерзким килем море пропороли
И пропололи от подводных трав,

Но кораблям, что следуют за нами,
Придется драться с теми же волнами
И скрежетать от той же самой боли,
О те же скалы рёбра ободрав.

На что, на что смышлён весёлый лощман,—
Но даже он стирает пот со лба:
Какую глубь еще покажет лот нам?
Какую даль — подзорная труба?

Суровый юнга хмурится тревожно
И апельсин от грубой кожуры
Освобождает так же осторожно,
Как револьвер — от грубой кобуры.

Мы капитаны, братья капитаны,
Мы в океан дорогу протоптали,
Но корабли, что следуют за нами,
Не встретят в море нашего следа.

Нам не пристали место или дата;
Мы просто были где-то и когда-то.
Но если мы от цели отступали,—
Мы не были нигде и никогда.

1962

Следы

Ночь напечатала прописью
Чьи-то на глине следы.
Над плоскодонною пропастью
Эхо — как пушечный дым.

Видно, прошёл тут и шёпотом
Песню пропел пилигрим;
Долго стреляющим хохотом
Горы смеялись над ним.

Тут не отделаться дешёво,
Как бы ни крался в обход:
На смех подымут прохожего
Чудища, каменный сброд!

Пусть, опасаясь предательства
Отзвуков, путник молчит;
Стук его палки в ругательства
Гулкая ночь обратит.

Вижу, как ночь приближается
Высохим руслом реки,
Но всё равно продолжается
Песня, словам вопреки.

...Где это море? — вы спросите, —
Где этот пляшущий риф?
Где — без морщинки, без проседи —
Юный зелёный залив?

Где эти заросли тесные
В лунной летучей пылице?
Звери да птицы чудесные?
Люди с огнём на лице?

Гибкие пальцы упрямые?
Чаши, цепочки с резьбой?
Эхо! Не путай слова мои! —
Я говорю не с тобой!

Вижу, как ночь приближается
Высохим руслом реки,
Но всё равно продолжается
Песня, словам вопреки.

Но утешенье напрасное —
Только на эхо пенять:
В тёмное слово и в ясное
Спрятан порыв — не понять!

Слово потом разветвляется,
С ним же ветвится разлад...
Не оттого ль замедляется
Путь между каменных гряд?

Ночь напечатала прописью
Чьи-то на глине следы...
Над плоскодонною пропастью
Эхо — как пушечный дым.

В сумрак, исчерченный змеями,
Русло уходит, ветвясь...
В путь!
Между розными звеньями
Рвуть восстанавливать связь.

1962—1963

Художники

Кисть художника везде находит тропы.
И, к соблазну полисменов постовых,
Неизвестные художники Европы
Пишут красками на хмурых мостовых.

Под подошвами шагающей эпохи
Спят картины, улыбаясь и грустя.
Но и те, что хороши, и те, что плохи,
Пропадают после первого дождя.

Понапрасну горемыки живописцы
Прислоняются к подножьям фонарей
Близ отелей,
Где всегда живут туристы —
Посетители картинных галерей.

Равнодушно, как платил бы за квартиру,
За хороший иль плохой водопровод,
Кто-то платит живописцу за картину
Либо просто подаянье подает.

Может, кто-то улыбнется ей от сердца?
Может, кто-то пожелает ей пути?
Может, крикнет: «Эй, художник! Что расселся?
Убери свою картинку! Дай пройти!»

Но, как молнии пронзительную вспышку,
Не сложить ее ни вдоль, ни поперек,
Не поднять её с земли, не взять под мышку, —
Так покорно распростёртую у ног!

И ничьи её ручищи не схватили,
Хоть ножищи по её лицу прошли.
Много раз за ту картину заплатили,
Но купить её ни разу не смогли.

Шарманщик

На землю падал снег,
И кто-то пел о том,
Как жил да был старик
С шарманкой и сурком;
Что он вставал чуть свет
И шёл за песней вслед;
О том, что на земле
Шарманок больше нет.

Шарманок, шарманок,
Шарманок больше нет.

Скажите, а зачем
Шарманка вам нужна? —
И сиплая совсем,
И хриплая, она
Скрежещет, как возок,
Скрипит, как бурелом,
Как флюгер, как сапог,
Как дерево с дуплом!

Как дерево, как дерево,
Как дерево с дуплом!

Достойные друзья!
Не спорю с вами я:
Старик-шарманщик пел
Не лучше соловья.
Но — тронет рукоять, —
И... — верьте, что порой
Он был самостоя-
тельнее, чем король!

И радость, и печаль
Звучали в песне той,

Был тих её напев,
Старинный и простой...
Не знаю, как мне быть!
Нельзя ли как-нибудь
Шарманку обновить,
Шарманщика вернуть?

Шарманщик! Эй, шарманщик!..
Шарманщика вернуть!

Шарманщик! Эй, шарманщик!..
Шарманщика вернуть...

1963—1964

Девушка из харчевни

Любви моей ты боялся зря, —
Не так я страшно люблю!
Мне было довольно видеть тебя,
Встречать улыбку твою.

И если ты уходил к другой
Или просто был неизвестно где,
Мне было довольно того, что твой
Плащ
висел на гвозде.

Когда же, наш мимолётный гость,
Ты умчался, новой судьбы ища,
Мне было довольно того, что гвоздь
Остался после плаща.

Течение дней, шелестенье лет, —
Туман, ветер и дождь...
А в доме событие — страшнее нет:
Из стенки вырвали гвоздь!

Туман, и ветер, и шум дождя...
Течение дней, шелестенье лет...
Мне было довольно, что от гвоздя
Остался маленький след.

Когда же и след от гвоздя исчез
Под кистью старого маляра, —
Мне было довольно того, что след
Гвоздя
был виден — вчера.

Любви моей ты боялся зря, —
Не так я страшно люблю!

Мне было довольно видеть тебя,
Встречать улыбку твою!

И в тёплом ветре ловить опять —
То скрипок плач, то литавров медь...
А что я с этого буду иметь?
Того тебе — не понять.

1964

Душа вещей

Люблю дома, где вещи не имущество,
Где вещи легче лодок на причале.
И не люблю вещей без преимущества
Волшебного общения с вещами.

Нет, не в тебе, очаг, твоё могущество.
Хоть весь дровами, точно рот словами,
Набейся — я и тут не обожгусь ещё,
Не будь *огонь* посредником меж нами.

Мне скажут: брось мечты, рисуй действительность;
Пиши как есть: сапог, подкову, грушу..
Но есть и у действительности видимость,
А я ищу под видимостью душу.

И повторяю всюду и везде:
Не в соли соль. Гвоздь тоже не в гвозде.

1960

* * *

Баклажаны бока отлежали,
Им наскучили долгие сны.
Возле красной кирпичной стены
Огуречные плети повяли.
 Мак потух на ветру, как фонарь;
 Лепестки, словно отблески света,
 Разлетелись — и замерли где-то...
 Солнце в небе — как в море янтарь —
В мокрой дымке, похожей на ил...
Но ещё лопухи лопушатся,
Но ещё петухи петушатся;
Чу! — строптивное хлопанье крыл...
 Лишь один только старенький кочет,
 Приближенье зимы ощутив,
 Кукарекнуть для бодрости хочет,
 Да никак не припомнит мотив
И слова... И в зобу застревает
Стертый хрип, неосмыслен и ржав,
И на месте петух застывает,
Бледно-жёлтую ногу поджав.
 Всплыли в нём ломота и томленье
 Бледным пальцем грозящей зимы,
 Мрачен трепет его оперенья,
 Как пожар за решёткой тюрьмы.
Бузиной гребешок багровеет,
Льётся блеск ревматического мха
Вдоль по перьям,
И холодом веет
Чуть заметная тень петуха.

Начало 1960-х

Галчонок

Потеряла галчиха галчонка —
Колченожку, плюгашку, чернушку.
А подкинули галке скворчонка —
Прямоножку, милашку, пеструшку.

Стала плакать она и рыдати,
Стала грудью к земле припадати,
И слетелись на крик её птицы,
И расселись по краю криницы.

— Что ты, глупая, плачешь, рыдаешь,
Что рыдаешь, к земле припадаешь?
Уж твоё ли дитя не резвушка,
Прямоножка, милашка, пеструшка?

— Не моё это чадо, а ваше,
А моё-то дитя было краше:
Мутно пёрышко, тускла макушка,
Колченожка, плюгашка, чернушка!

1962

* * *

Прошёл, прошёл,
Осыпался Новый год:
Все куклы с ёлки
Попадали вниз лицом...
Блестящий шарик,
Как перезрелый плод,
Свалился с ветки —
Смирился с таким концом.

Морозной ночью,
Стыдливо, крадясь, как вор,
Уносишь ёлку —
Бросаешь на задний двор,
Но завтра снова —
За шкафом и там, в углу, —
Найдешь от ёлки
Ещё не одну иглу.

И долго будешь
От игол свой дом полоть,
А иглы будут
С укором тебя колоть —
Так тихо-тихо,
Как, долгую мысль тая,
Руку свою же
Кольнёт иногда швея.

1963

Природа поэзии

Я в поэзию
Пришла по лезвию,
И открылась мне Гора священная.
В современность гонит мир — поэзию,
Но она ВСЕГДА — несовременная.

Приглядишься к Олимпу: настоящее
Для него — яйца не стоит выеденного,
Ибо он — планида, состоящая
Из Воспоминанья и Предвидения.

2 марта 1963

* * *

Не пиши, не пиши, не печатай
Хриплых книг, восславляющих плоть.
От козлиной струны волосатой
Упаси
Твою лиру
Господь!

Не записывай рык на пластинки
И не шли к отдалённой звезде,
В серебристую дымку
Инстинкты
И бурчанья в твоём животе.

Верь:
Затылок твой — круглый и плотный,
Группа крови и мускул ноги
Не предстанут зарёй путеводной
Пред лицо поколений других!

...Как волокна огнистого пуха,
Из столетья в столетье
Летят
Звёзды разума, сполохи духа,
И страницы в веках шелестят...
Но уж то, что твоя козлоногость,
Возгордась, разбежалась туда ж, —
Для меня беспримерная новость!
Бедный мастер!
Закинь карандаш,
Отползи поскорее к затону,
Отрасти себе жабры и хвост,
Ибо путь от Платона к планктону
И от Фидия к мидии — прост.

1964

Плакальщица

Что не плакальщица я, не причитальщица,
Не рыдальщица, сердцам не надрывальщица,
И к чужому-то я горю не привальщица,
И волос-то на головушке не рвальщица!

Не люблю я нашу плакальщицу Фёклушку:
Она ходит бережливо, как по стёклышку,
Поколыхивает чёрною одежею,
Юбкой пасмурной да шалью непогожею.

А и смотрит она, Фёклушка, иконою,
А лицо-то у ней воблино, копчёное,
А зовут-то её, чёрную палачицу,
Где самим бы надо плакать, да не плачется!

А вы гляньте ей в глаза: они сухим-сухи;
Суше камня, суше ветра, суше засухи!
Аж до боязного сухо, до песочного!
Никакого дуновения проточного.

На крылечко-то ничком она бросается,
Лбом-то бьётся, да слеза не вытрясается,
А как не было бы Фёклушке заплачено,
Вот тогда бы наша Фёклушка — заплакала!

1964

Аргус

1

...Он же гений...

А. Пушкин

Глупцы, пускаясь в авантюру,
 С одной лишь низостью в душе,
 Себе приписывают сдуру
 Всю авантюренность... Бомарше!
 Естественно, у бомаршистов
 Ум изощрён, размах неистов:
 Сейчас дракона обкрадут!
 Змею вокруг пальца обведут!
 Но...
 Жертвы их корысти страстной,
 Как поглядишь со стороны,
 То беззащитны, то больны,
 То простодушны и несчастны...
 Так верят в добрую судьбу!
 Столь кротко носят на горбу
 Груз незаслуженных мучений,
 Что Бомарше
 (Добряк и гений!)
 Перевернулся бы в гробу.

2

На поэта, пинающего собаку

Поэт,
 Пинающий собаку,
 Божусь,
 Не вступит с тигром в драку.

И не напишет, хоть убей,
 Ни «Илиад», ни «Одиссей».

А в довершение обиды,
Не сотворит и «Энеиды».

У лорда Байрона был пёс,
Любимый Байроном
Всерьёз.
«Друг самый верный, самый близкий», —
Писал о нём поэт английский...
А ты — собаку пнул ногой.

Нет, ты не Байрон! Ты — другой...

3

Одному коллеге

Если в сочинительстве любом
Надобно влияния искать,
Думаю, что яростный Рембо
Вашей музе взялся помогать.

Нет сомнений! — вас ведёт Рембо.
Как мужик с соломой в волосах,
Как силач, способный ткнуть в ребро,
Ну и... как хороший коммерсант.

4

Обратное превращение

Шелковистый бейт я делаю из камня.

Рудаки

«Я из камня сделал шёлковое слово», —
Некогда сказал великий Рудаки.

Да. Но он не знал, что переводчик
Снова
Сделает кирпич
Из шёлковой строки.

5

«Поэзия должна быть глуповата», —
Сказал поэт, умнейший на Руси.
Что значит: обладай умом Сократа,
Но поучений не произноси.

Не отражай критических атак,
Предупреждай возможность плагиата...
Поэзия должна быть глуповата,
Но сам поэт — не должен быть дурак.

6

Аргус

Когда впаду в какую-либо страсть,
Я внутреннего сторожа встревожу.
«Почто, — спрошу бессмысленную рожу, —
Даёшь мне лгать, подглядывать и красть?»

«Но случай-то, — польстит мне нечестивец, —
Особенный! Как на голову снег!
Другим нельзя. А это лжёт — правдивец.
Подглядывает — честный человек!»

1966

Питер Брейгель Старший

Поэма

*Хула великого мыслителя угоднее Богу,
чем корыстная молитва пошляка.*

Ренан

В палаццо и храмах таятся,
Мерцают, полотна и фрески.
Зажгла их рука итальянца
И скрылась в их царственном блеске...

Даль в дымке, одежды цветущи,
Фигуры ясны, но не резки.

На ликах
Огня и покоя
Слиянием — кто не пленится!
И все же (строка за строкою)
Всегда (за страницей страница)
Я Питера Брейгеля буду
Злосчастная ученица.

Ах, лучше бы мне увязаться
Вослед за классическим Римом!
Не так-то легко и солидно
Брести по пятам уязвимым,
Ранимым... За Брейгелем Старшим,
За Брейгелем неумолимым.

Прозренья его беспощадны,
Сужденья его непреложны.
Его дураки безупречны,
Его богомольцы — безбожны,
Его отношения с вечной
Бессмертной Гармонией — слóжны.

Его плясуны
К небосводу
Пудовую ногу бросают,
Как камень из катапульты...
Старухи его
Потрясают
Лица выражением тыльным
На пиршестве жизни обильном.

...Однажды
За ветками вязов,
Меж сонных на солнышке хижин,
Увидел он пир деревенский.
И понял, что пир — неподвижен.
И только, пожалуй, бутылки
На этом пиру не застыли.

Увидел детину-танцора.
И красками в памяти выжглось,
Что фортелей в танце — изрядно,
Но главное в нём — неподвижность.
А с публикой тоже неладно,
И главное в ней — неподвижность.

Нежнейшие краски на грубых
Фигурах. На прочных жилищах.
Мадам с кошельком на шнурочке
(Мол, знайте, что мы не из нищих!),
И завтрашний бургер (к вам боком)
С его наставительным скоком.

Той скачущей пары напору
Противиться — сил не достанет!
Ещё бы! — и *выскочки* оба,
И выскочить рады на танец,
Затем, чтобы, взрезав пространство,
Совсем ускакать из крестьянства...

Молчанье росло, невзирая
 На стук деревянных бареток.
 Был танец такой деревянный —
 Как пляска хмельных табуреток!
 И ста языков заплетанье...
 И всё это — разве не тайна?

И молния быстрой догадки,
 Что некий мясник мимолётен,
 Как пёрышко, как сновиденье!
 Хотя предостаточно плотен,
 И нет на лице трепетанья.
 Не странность ли это? Не тайна?!

Сплошной, носовой, анонимный
 И ханжеский гомон волынок
 Зудел, обволакивал танец
 Волной звуковых паутинок...

Но странным молчанием тянет
 От гульбищ на этих картинах.

И слышу: как музыка листьев —
 (Тишайшая!) — голос пронёсся:
 «Те фортели были недвижны
 Задолго до их переноса
 На Брейгелевы полотна!
 То, плотное — было бесплотно!..»

Симпатией приятной
 К художнику влеком,
 Хохочущий Заказчик
 Бряцает кошельком.

Он ехал из Брабанта, —
 Звенели стремена,
 Позвякивали шпоры,
 Как звякает казна.

Звенела вся лошадка:
Ступив на поворот,
Копилочною щелью
Ощеривала рот.
 Он ехал из Брабанта, —
 Пунцовый от вина...
 И нёс
 Весенний ветер
 С деревьев семена...

...Он смотрит на картину.
Он пятится назад.
Он бьёт себя по ляжкам
(И ляжки вдруг звенят).

 Он мастера находит,
 В простой беседе с ним,
 То Брейгелем Мужичким,
 То Брейгелем Смешным...

Воистину, зрелища явны:
Кто стал бы скрывать показное?
На публике зрелища зреют,
Как рожь под ударами зноя.

Тем более дорого стоит,
Кто тайное в явном откроет.

О, каверзный Брейгель!
Простейшие пьянки и пляски,
Как жуткую тайну, открыл он.
Как заговор, предал огласке.
И взгляд уловил моментально,
Что это действительно — тайна.

Не тайна — пещеры драконов
И пропасти чёрной Гекаты:

Таинственен
 Подслеповатый,
 Приплюснутый,
 Тусклый,
 Бессвязный,
 Создания перл компромиссный,
 Творенья венец безобразный.

Таинственно всё, что ничтожно.
 Таинственно,
 Невероятно!
 Понятьем объять невозможно.
 И, значит, оно необъятно!
 Великое измеримо.
 Ничтожное необъятно.

Бессмертие вовсе не странно,
 Но смерть изумляет, ей-богу!
 ...Прогнать ее тщась,
 Неустанно
 Названивал Брейгель тревогу:
 Верёвки на всех колокольнях,
 Звоня,
 Оборвал понемногу...

Как блики на пряжках башмачных,
 Как срезки мертвецкой фланели,
 Как сыр, — у натурщиков жутких
 Створоженно бельма тускнели,
 В последней картине «Слепые»,
 Застыв на последнем пределе.

С тех пор,
 Подвернувшись попутно,
 «Слепых» принимает канава:
 Извечно, ежеминутно...

Но где же Гармония, право?
Где длинные трубы-фанфары,
Звучащие так величаво?!

Ступает Гармония ровно,
Нигде не сбивается с шага.
Один её взор,
Безусловно,
Для нас наивысшее благо!
А плащ её — ветер весенний
Для целого Архипелага.

Верна, постоянна, урочна,
Как Разум, Душа и Святыня.
Но жаль: не указано точно,
Где именно
Эта богиня
Слоняется?
Лес?
Катакомбы?
Край пропасти?
Пустошь?
Пустыня?

Я карту дорог раскатаю,
Я путь её, в шутку, размечу..
А спросят: «Гармония — сказка?»
«Чистейшая правда!» — отвечу,
Но я-то пока не питаю
Надежды на личную встречу.

А есть же на свете — ей-богу! —
Счастливики, вещие люди:
Они ежедневно, помногу,
По их показаниям судя,
Гармонию зрят!

И свободно
Об этом калякают чуде!

Ну что же!
К юродивым часто
Нисходит святой в ореоле.
По-свойски: с какой-нибудь пастой
Иль мазью от мелочной боли...
А вместо святого явиться
Не может Гармония, что ли?

Но даже прохвосты (обычно
Причастные каждой святыне,
А им-то уж точно и лично
Известны приметы богини!)
Не чаю, когда разобьют
И где ее встретить — подскажут.

Гармония!
В мире не мирном,
Скрипящем, наморщенном, сложном,
Готовом низвергнуться в бездну
При слове неосторожном, —
Дурак, ограниченный малый —
Один гармоничен, пожалуй.

Гармония?
Сладко мечтая,
На древних руинах Эллады
Один восседал бы. Другие
Сидеть на сегодняшних рады,
В развалинах греясь привычно,
Вписав себя в них гармонично,
Публично
Крича от придуманной боли
В действительно трудной юдоли.

Антверпен покидает
Заказчик-пилигрим.
Занятных две картины
Слуга везёт за ним.

На будущей неделе
Заказчик будет сам
Потешные картины
Показывать гостям.

...Боярышник пушистый

Сиял ему в глаза...

А где-то за холмами

Невнятно шла гроза,

И тщетно пилигриму
Шептал вечерний зной,
Что Брейгель — не Мужичкий,
Что Брейгель — не Смешной,

Что, может быть, не стоит

Гостей-то приглашать?

Что в мир приходит гений

Не тешить, а мешать,

Что страшно он смеётся.
(Не там ли, за холмом,
Он, кашляя, смеётся,
Как сумеречный гром,
Большие бочки смеха
Куда-то вдаль катя?..)
Но ты дремли! Не бойся,
Усатое дитя!

Закат поджарил рощи

На бронзовой золе...

Спи телом,

Спи душою,

Спи дома,

Спи в седле...

...При мысли о душах несложных,
Разгадывать кои не надо:
К раскрытию коих
Подходят
Ключи от амбара и склада, —
Всегда ли резонно — не знаю,
Но Брейгеля я вспоминаю.

При мысли о лицах недвижных,
В тугом напряженье покоя
(На задней стене мыловарни
Всегда выраженье такое!
На брусьях, на дубе стропильном...);
При мысли о каменно-мыльном,
О твёрдо-подошвенном взоре
Асфальтовых глаз Примитива;
О пальце картофельно-белом
На кнопке вселенского взрыва;
О судьбах, скользящих по краю, —
Я Брейгеля вспоминаю.

При мысли о логике нищей,
О разуме задремавшем,
О стоптанном ухе,
Приникшем
К железным чудовищным маршам, —
О Брейгеле я вспоминаю! —
О Питере Брейгеле Старшем.

1967—2002

* * *

Поворотилась на тихой оси планета —
Заговорили деревья толпой сердитой...
Печь забелела в углу, в серебре рассвета,
Каменной редькой, очищенной и отмытой.
 Стекла оконные дымом заря питает,
 Венские стулья за спинки лучом хватая...
 К слову, как нимбы, тающему: «Светает» —
 Первая в жизни рифма пришла: «Святая».
...Библии старой — всю ночь не спала! — страшилась.
Тёмных ее картин избегала взора...
Вся — подозренье, не спать до конца решилась,
Маясь тоскою, что утро ещё не скоро.
 В тёмной ночи плутали, грустя и плача,
 По лесу Красная Шапочка и Козетта...
 Тихо несла Колыбельная песнь Рыбачья
 Люльку младенца по серым морям рассвета...
Тени тускнели... И вот, просочив телами
Смутную стену, вскипали чудовищ горы;
Скосив глаза, наблюдала за их делами,
За жизнью мрачной, влюблённой в свои повторы...
 (Могла ли знать, поражаясь упорству тени,
 Как будто винтик на месте какой «заело»,
 Сколько ещё возвращений и повторений
 Тьмы, что и в первый раз — давно надоела!)

...Звёзды слезятся,
На землю глядеть не смеют —
Так далеко переставил их мрак непрочный...
Снизу, как ветер,
Подул полусвет молочный;
Камни являются,
Пятна земли белеют —
И тёмный
Сон
Приходит,
Когда, при виде
Алого утра, — звёзды дрожат в обиде...

Пушкин

К чему изобретать национальный гений?
Ведь Пушкин есть у нас: в нём сбился русский дух.
Но образ родины он вывел не из двух
Несложных принципов и не из трёх суждений;

Не из пяти берез, одетых в майский пух,
И не из тысяч громких заверений;
Весь мир — весь белый свет! — в кольцо его творений
Вместился целиком. И высказался вслух.

...Избушка и... Вольтер! Казак и... nereida
Лишь лёгкой створкой здесь разделены для вида;
Кого-чего тут нет!.. Свирель из тростника —

И вьюг полнощных рёв; средневековый патер,
Золотокудрый Феб, коллежский регистратор,
Экспромт из Бомарше и — песня ямщика.

1970

Россия

К России все подходят разное: кто робея,
 Кто любопытствуя: мол, дескать, вот она,
 Анекдотическая даль... Гиперборея!
 Страна величественных вихрей! Царство сна.

Кто до себя поднять (простак!) Россию хочет,
 Кто, ей безбожно льстя, иронию таит,
 Кто беды ей несет (и сам же их пророчит!),
 Кто покровительственно с нею говорит,

Кто — напрягая лоб, кто — в духе скверной шутки,
 Кто — как с пастушкой, нежно дующей в свирель,
 Кто — как с пророчицей, помешанной в рассудке,
 Кто — как с царицею, кто — как с рабой своей.

К ней пожинать плоды снисходят Христа ради,
 Устроить «гений» свой, свой бизнес, петь, порхать...
 Но редкому придёт простая мысль... пахать
 На земледельчества неслыханной громаде!
 (Покличь сердешного, его и не слышать!)

Так, стало быть, он гость? Тогда... какого сорта
 Цель высмотрел пострел в столь бедственном краю?
 Послушай, это мысль! — Ты узнаёшь Лефорта?
 Нет. И его не узнаю.

Лефорт — Кот в сапогах. Маркизу Карабасу
 Несущий к Рождеству игрушек ярких массу,
 Метуший, кланяясь, пером нашлапным пол...
 А этот не привнёс, как говорит проверка,
 В морозный зимний мрак ни искры фейерверка
 И пёрышком в сенцах ни разу не подмёл.

Не внёс ведь ни-че-го!
 Ни в йзбу — крошки ситной,

Ни новой чёрточки в Руси вид самобытный.
 Так, может быть, хоть гнев? Быть может, разъярясь
 На нашу «нищету, невежественность, грязь»,
 Хоть дверью хлопнул бы, и вспылчив и не мирен,
 Негодованием высоким трепеща?
 Но... слитком золота изрядным оттопырен —
 Как раз при выходе — был край его плаща.

Вот наши судьи кто!
 Вот наши кто эзопы!
 Их рвеньё — в грязь втоптать Руси стези
и тропы,
 Её Историю навыворот прочесть,
 С насмешкой приписать ей славу всей Европы,
 Чтоб тем ловчей отнять ту, что и вправду есть.

А есть немалая!
 Свой — богатырский, детский,
 Благочестивый жар, свой гений есть у ней!
 Что толку ей лубок приписывать немецкий
 И псевдавторство над лавкой мелочей?

Прочь, лесь безмерная!
 Прочь, преувеличенье
 Вещей, действительно имеющих значенье!
 Лъстец мало что лукав,
 Лъстец — нагл! За ним разбой и превышенье прав.
 Нагл баснословный царь, велевший море высечь,
 Но тот наглей, кто лъстит волнам; кто осмеять
 Их тщится... И мудрит, стремясь преувеличить
 То, что и так нельзя объять.

1970-е

Раскрепощённость

Ты говоришь: «Хочу дать сердцу волю;
Поддамся гневу, чванству, лени, страхам,
Пуд лишнего себе свершить позволю, —
Уж то-то будет лирика с размахом!»

Ты говоришь: «Раскрепощаю слово!
Ужимок не могу терпеть манерных!»
Но всё ль «раскрепощённое» так ново,
Чтобы новее быть времён пещерных?

И вещи разве ты не видел жутче
«Паркетного манерничанья»? Боже!
Когда пожары и пивные путчи,
«Манерность» ни при чём, «паркетность» — тоже,
Зато «раскрепощённость» кажет рожи...

Знать к сёмге вкус, к себе грести руками
Ещё никто за партой не учился.
А сдерживанью учатся веками.
Но мало с кем большой успех случился.

...В далёкий путь певец пустился юным
И мнил: «Зачем старик шарманку крутит?
И лирнику зачем бряцать по струнам?
Струну порвать — вот то-то песня будет!»

Не чуя пальцев он, в кулак сведённых,
Рыдал: «Поймите, сколь свободны все вы!»
И с кафедр, виноградом оплетённых,
Стада сатиров звал топтать посевы...

Как Дионисов грек, не то Аттила,
Безумство проповедовал успешно.
Вернулся к ларам. ...Дух перехватило,
И шапку с головы стянул поспешно.
Богатым вышел он, вернулся нищим
И над могилами поник смущённый.

...А где-то там, над общим пепелищем,
Носился Ницше дух «раскрепощённый»...

Генрих Гейне

Избранник муз в торговых кланах редок, —
Поэзии банкирство не к лицу.
Герр ростовщик почти нормальный предок
Кому угодно. Только не певцу.

Но если род, столь преданный Тельцу,
Вдруг Ориона выдаст напоследок;
Но если — против чаянья, вот эдак, —
В цепи предлинной, где делец к дельцу,

Смешав их строй, сверкнёт Поэт впервые, —
Обрубит он все корни родовые,
Не их прославит, выразит — не их,

Нет! — сердца жар отдаст он *всем народам!*
Лишь дом свой бросит. Где девиз над входом
Звал жить иль гибнуть — только для «своих».

1970-е

Война воды и леса

Буйно-пребуйно росла бузина,
 В росте весёлом неслась без ума:
 Ветер устами не мог продышать,
 Месяц лучами не мог промешать.
 А под широкою той бузиной,
 В омуте, в холоде — жил Водяной,
 Жил-поживал, пузыри пожинал,
 Той бузины отраженья жевал.
 А из-под камня таращился рак,
 Диву давался, спрашивал так: —
 Сладко ли, батюшка, воду-то грызть?
 Эх ведь какая чижёлая жисть!
 — Сладко не сладко, — ему Водяник, —
 Делать-то нечего, я и привык.
 Коли прикинуть да ежели взять,
 «Голод не тётка» и даже не зять.
 Знамо, калиновы тени вкусней
 Да и сытнее бузинных теней,
 Ан не беру я калину в расчёт:
 Вишь, загордилась — у нас не растёт!
 Я и малину в расчёт не беру:
 Не хороводится в нашем бору,
 Не отражается в царстве моём...
 Что отражается, то и жуём.
 — Чем же ты думаешь хлеб оправдать?
 — За год стараюсь поменьше съесть,
 Дно подметаю, протоке служу,
 На зиму впрок отраженья сушу.
 Али не веришь, опасливый рак
 В кухню ко мне заходи, коли так!
 Видел и ты отраженья в воде,
 Только сушёных не видел нигде!
 — Ты меня в гости зовёшь, Водяной,
 А угощаешь, так тенью одной!

Что ж нам бузинные тени жевать?

Что ж... хочь живой бузины не нарвать?

— Ох, не сломить мне багряную гроздь:

Я на земле не хозяин, а гость,

Только в воде моя сила и власть,

Стыд Водяному — прибрежное красть!

Разве что в омут единожды в год

Ягода с ветки сама упадёт?

Вот уж тогда я над ней — голова!

Так бы и съел её! В день или в два...

Ан берегу я её для гостей,

А и делю-то на сорок частей,

Ан затеваю той самой порой

Пир — не пригорком, а цельной горой!

...Так вот и жил Водяной, поживал,

Тихую тенью под тиной сновал,

Странничков тешил в полуденный зной.

Только пришёл к Водяному

Лесной!

Леший прослышал (невнятно пока)

Про подкоряжную жизнь старика;

Слух до него докатился и гул

Про Водяного опасный разгул.

«А Подкоряжник-то дедушка — хват,

Сильно гораздый шутить невпопад!

Эк разгулялся в своем терему —

Ягоды на год хватает ему!..

Видно, у ягодки росту — верста!

Нет в моём царстве такого куста,

Чтоб наедаться по ягоде в год...

Где Водяник такие берёт?..»

А и как начал Лесной хохотать,

С берега сучья-коряги метать,

Пни муравьиные в воду валить,

Ровно из пушек, из дупел палить,

Ровно из пушек из дупел палить,

Пылью палить да трухою пылить,

Перьями перить да пухом пушить,
Ломом да сором протоку душить.
Старыми листьями пруд завалил,
Так завалил — ровно чай заварил:
Тёмной да бурою стала волна,
Туча песчаная встала со дна!..
...Высохла речка, и омота нет.
А Подкоряжного — сгинул и след;
Видела белка: шагал с узелком...
(Спутала, видно, с простым стариком.)
Вместе с водою и сам как вода,
Встал да ушёл неизвестно куда...
Только весной на деревьях опять
Мелкими каплями стал выступать,
Только туманами бродит в логу..
(Больше скажу — поневоле солгу!)
Только летает кулик молодой, —
Тонкие крылышки пахнут водой.

1970-е

Трясогузка

Поистине, я знаю, трясогузка,
Была бы до суровости серьёзна
Твоя из чёрно-белых нитей блузка,
Не будь ты так резва и грациозна!

На что тебе и красок перегрузка?
Лишь пёрышком да тушью скрупулезно
Рисованная, решишь... И — бесхозна,
Свободна по песку твоя притруска.

Ты вся — рисунок на этрусской вазе! —
Составленная с тактом безупречным
Из быстрых линий, точных, словно токи,

Порхающая по кустам приречным,
Не знающая ни пылинки грязи —
Знак высшей пробы серебра протоки.

1970-е

Иней

На рассвете, в сумерках ледовых,
Хор берёз был выше и туманней.
И стояла роща, как Людовик, —
В сизых буклях изморози ранней.

Но опять, за далями пустыми,
Красное, как будто после бури,
Встало солнце с мыслью о пустыне
В раскалённо-грезящем прищуре.

По коре взбирался, укреплялся
На ветвях огонь его раскосый,
И кудрявый иней выпрямлялся,
Делался водой простоволосой.

Иней таял, даже не стараясь
Удержаться в лёгкой сетке чаши,
Уменьшаясь,
Точно белый страус,
Отвернувшийся и уходящий.

1970-е

Веселье живописи

I

Страстотерцы

Кисть весела, и живопись красна.
Твои печали — не её печали,
И о тебе не думает она;
Ей — только бы тона не подкачали!

Ей всё равно, чьё «Утро на причале»,
Чем «Богоматерь» вправду смущена
И заработали или украли
Лилового, на крючьях, кабана...

Лишь Гойя цену знает кабану.
Лишь Брейгелю натурой не упиться!
Но их-то я как раз не в живописцах,
А в страстотерпцах горьких помяну:

Ведь ложь они презрели бескорыстно,
А истина — совсем не живописна!

II

Видение

Заката в долах жар животворящий.
Но лозы в гнев. Рдея, — плеть за плеть, —
Пошли, как трещины в стене горячей,
Как щели ада, лающе алеть.

Мне снится кардинальский — то напевный,
То ржущий пурпур. Битвы ржавый свет.
До треска красный, пушечно-полдневный,
Владетельный, громово-алый цвет.

Предел бесстыдства на лице безбровом.
Впервые заплавшая щека
Низвергнутого в ад ростовщика.
Вельможный плащ. Клеймо на родниковом
Челе блудницы. Странно жжёт глаза
Мне в тихий вечер тихая лоза!

III

Лоза вдали

Лоза в кудрях, лохмотьях и огне,
Как беглый узник замковых развалин;
Он плащ порвал и руки окровавил,
Спускаясь на верёвках по стене,

Но, в двух прыжках от выцветшей травы,
Внезапно замер, даль обозревая,
Скосив глаза на варварские рвы
И в хитрости холмы подозревая...

За этим красным ветровым пятном,
Как за огнём, слежу глазами детства
И вижу битвы, скованные сном,
На месте завертевшиеся бегства,

И неподвижный залповый огонь
Смеживших веки, грезящих погонь...

1970-е

* * *

Творил Рембо, как гений с гордым лбом,
Но пробил час (дела и мысли лживы!),
И всё, что сохранилось от Рембо,
Прокляв стихи, ушло на путь наживы.

Захотало золото-металл
Над золотом его стихотворений.
Как старый скряга, золото считал
В палатке бедуина — юный гений...

И всё же — как различны две судьбы!
Считала деньги мать не хуже сына,
Но вряд ли ей понадобилась бы
Для этого... палатка бедуина!

Знать, был поэт из редких! Из таких,
Чьё бегство от стиха — такой же стих.

1967

Мой Бодлер

Сделать песню из промежутка
 между песнею и молчанием.
 Ведь в зазоре меж радостью и отчаяньем —
 Тихо. Жутко.

Сделать песню из материала,
 Из которого состояло
 Всё, что песню твою убивало.

Как бедняк мотыгой убогой
 Тощий клин между полем чужим и проезжей
 дорогой

Отвоевывает по ночам воровато,
 Сделать песню — что так искома! —
 Из невозможности петь;
 из кома

В горле.
 Из железного перехвата.

Ненавидящий, ненавистный,
 Презирающий и презренный,
 Каждый дюйм воспой!
 Каждый миг! Капризный,
 Ускользящий, пропадающий
 зря во вселенной...

Из белены, цикуты,
 Из полынного в чаше осадка,
 Из горьких или из пресных шипов пустыни,
 Из напрасно прожитой жизни
 влачащегося остатка —

Сделай песню ныне!
 Сделай песню, щемящую сладко,
 Муза —
 Пчела полыни!

1970-е

Конец авантюризма

*Он, я знаю, считает себя очень ловким,
потому что поступает подло...*

Бернард Шоу (из письма)

I

Сумерки грехов

Старинные багровые светила
Больших грехов склонились на закат,
Но добродетель их не заменила.
На смену — похотлив, жуликоват —

Пришел грешок. Но многие твердят:
«В нём — демонизм, огонь, свобода, сила...»
Что ж, повторим: столетья три назад,
Наверно, в нём, и правда, что-то было?

Когда он виселицы украшал,
Монастырей каноны нарушал
(По грозной схеме: Страсть. Позор. Темница...).
Но нет картины жальче и мерзей,
Когда, свободный, с помощью друзей,
Трус и пошляк над честностью глумится.

II

Крих авантюризма

Не поминай Дюма, узнав авантюриста.
Увы! Сей рыцарь пал до маленьких страстей
И ужас как далек от царственного свиста
Над океанами терзаемых снастей.

Уж не фехтует он. Верхом в ночи не скачет.
Не шутит под огнём, на голову свою.

А трусит, мелко мстит, от ненависти плачет...
По трупам — ходит ли? О да! Но не в бою.

Неведомы ему и той морали крохи,
Что знали хитрецы напудренной эпохи:
Он даже *дерзостью* их вольной пренебрёт,

И *наглостью* берёт (нарочно спутав слово).
Ах! Добродетели падение не ново:
Новее наблюдать, как низко пал порок.

1970-е

Трюизмы

Всё едино? Нет, не всё едино.
 Пламя, например, отнюдь не льдина.
 Плут о благе ближних не радетель.
 А насилие — не добродетель.
 Всё едино? Нет, не всё едино:
 Ум — не глупость. Край — не середина.
 Столб фонарный веселей простого.
 Пушкин одарённое Хвостова.
 Всё едино? Нет, не всё едино:
 Детский самокат не гильотина.
 Есть Большой, есть Маленький, есть Средний
 Человек. (И Средний — есть последний!)
 Всё едино? Нет, не всё едино
 (И «Майн кампф» — не шутка Насреддина);
 Малый да Большой — едины станут,
 Среднего — и тросом не притянут!
 Всё едино? Нет, не всё едино:
 Волк не голубь. Жаба не сардина.
 О единстве бухенвальдской печи
 С Красотой — не может быть и речи.
 Всё едино? Нет, не всё едино!
 Нет, не всё сжевать должна скотина;
 Разобраться прежде должен гений
 В *некоторой* разнице явлений.
 Всё едино? Нет, не всё едино;
 В рощах нет повторного листочка!
 Потому что это «всё едино»,
 Значит — «всё дозволено». И точка.

1970-е

Подпись за мир

*Война нравится только тем, кто
не испытывает её на себе.*

Эразм Роттердамский

В чёрных ладьях полудикие песни проплыли —
Хриплые песни военных, на рыцарский лад.
Грустно их слышать, на свет извлекая из пыли
Хоть бы и лучшие доблести лучших солдат.

Мало прошло по земле справедливых баталий:
В чёрной отаре — лишь несколько белых овец!
Но и в приятнейших войнах, как мы подсчитали,
Всё-таки самое славное время — конец.

Как бы то ни было, сердце пленяли невольно
Храбрость, отвага и мужество шедших на бой:
Телом рискующих (вечной душой, как ни больно!),
Жертвы берущих. Но жертвующих и собой.

Даже в погибели крылась живая основа —
Гении славы смягчали и худший исход.

Но порассудим (уж коль доживём до такого):
Разве *солдат* на последнюю кнопку нажмёт?

Разве *герой*?

Разве рыцарем надо родиться,

Чтобы на клавишу смерти — лилейным перстом?!

(Есть отчего молодцу гоготать, заноситься,

В чарку глядеться, усы завивая винтом!)

Где они все? Как подвижники, так святотатцы?

Храбрость и трусость? Султаны из конских волос —

И костыли лазаретов? Да всё это *вкратце!*

Вкратце настолько, что к махонькой кнопке свелось!

Может быть, это и к лучшему? Легче и проще

Мигом загинуть, чем вечные слёзы точить?

Жалкая кнопка!

Но как пресмыканье от мощи,

Подлость от подвига — как при тебе отличить?

Стоит ли всадником, лучником, витязем зваться?
 Вдрагивать, вскакивать, спрыгивать, ползать, бежать,
 Лезть, гарцевать, наклоняться, пришпоривать, мчаться,
 Мускулы холить? Зачем?
 Чтоб на кнопку нажать?!

Бедная кнопка,

Последняя кнопка вселенной!

Ба! — и Ахилл, и трубящий, как раненый лось,
 Дерзкий Роланд, и наглец Ланцелот несравненный
 В реюющих перьях — и всё это в кнопку свелось?

Надо ли быть Геркулесом, Атлантом, Зевесом?

(Надо ль греметь барабану, а лошади ржать?)

Надо ли слабым хотя обладать интересом

К фортификации, брат, чтоб на кнопку нажать?

Надо ли было рядиться в мундиры и латы?

Шлемы ковать или вече сзывать, например?

Кнопка не выдаст, что кони бывали крылаты!

В кнопку свои легионы увёл Искандер...

Горе! Сжимайся не в боли — сжимайся в размахе!

Падайте, тысячелетние слёзы, в цене!

Сдержанность Гектора, горестный вскрик Андромахи,

Плач Ярославны в Путивле на древней стене —

В кнопку, туда же! (Лишь только бы после ошибкой

Дружеский пепел не путали с вражьей золой!)

Пошлый и слабый — нажмёт с идиотской улыбкой...

Грубый, слепой, раболепный... (А впрочем, «не злой»...)

Доблесть, однако ж (казалось, нажал бы — и ладно!),

Доблесть не гаснет, а только меняет места:

Квакнет, нажмет — и почувствует... «гордость Роланда»,

«Ярость Ахилла» и — может быть! — «святость Христа».

Сороковые годы

Когда вступили мы впервые
В ревушие сороковые
(Но не широты, а года),

Мы не смогли бы, не сумели
Под пули стать, надев шинели:
Ведь были дети мы тогда!

Наш путь, однако, не был нежаш:
Мы жили
Как бомбоубежищ
Из стен пробившийся росток:

До нас полою доставала,
Нас тусклой пылью обдавала,
Тень войск, идущих на восток.

Но редко мы твердим об этом.
Не потому, что «шпингалетам»
Был всяк заказан батальон,
Не потому, чтоб не видали
Войны существенных деталей
И смерти явственных сторон,

А потому, что ведь (по слухам)
Одетым в чёрное старухам
Не надобно напоминать
Про их прощанье с сыновьями!
И без того
(Мы знаем с вами!)
Вовеки сына помнит мать.

Зачем к печалям беспримерным
Нам приступать Фомой Неверным?

В незаживающее лезть?
 Прости, Фома!
 Но палец в рану
 Я ей заталкивать не стану,
 И так я знаю: рана — есть.

Молчание — не умолчанье.
 И дико нам само звучанье
 Разговорившихся скорбей!
 Ужели истинное горе
 Не в немоте, а в разговоре?
 Не понимаю, хоть убей!

А ты, — прости! — с какого краю
 Ты подходил к войне, — не знаю:
 Не может быть, чтобы связист
 Или сапёр на поле боя,
 Увидев смерть перед собою,
 Стал так напыщен и фразист,

Как не был и до встречи с нею!
 Я за тебя давно краснею!
 Друзей так много, может быть,
 Там, на глазах твоих, почило!
 Но... даже смерть не отучила
 Тебя красиво говорить!

Теперь,
 Какую ткань ни вытки
 И, наставительный до пытки,
 Каких ни распиши атак,
 С перстом, надменно вверх воздетым,
 Мы спросим: — Ты-то — был при этом? —
 Мы скажем: — Что-то здесь не так...

О да! Покуда подрастали,
 Мы смерти явной не видали:

На нас не прямо глянул Вий,
А только искоса и вкриве
(Когда в своей недоброй гриве
Мотал нас ветер дистрофий),

Но и теперь,
В семидесятых,
По мелочам и для дебатов
Тревожить павших не хотим:
Пройдем, молчание устроив.
Глубок, священен сон героев
И с суетой несовместим.

1970-е

Народ

И снова Русь изнемогла под ношей.
У новеньких историков, однако,
Бирон «хороший» и Гапон «хороший»,
Харон — «хороший»... Только русич — «бьяка».

Баюкает их помысел приятный,
Что русский от рожденья — «отщепенец»,
И что ему заменой был бы знатной
Стиль а ля рюс — узор для полотенец...

Метали камни в нас и комья грязи.
Куражился над нами каждый встречный.
За доброту нас часто водят за нос.

Но мы НАРОД. И ни в котором разе
Ни свергнуть, ни лишить нас жизни вечной,
Ни заменить, ни выдумать — нельзя нас.

1970-е, 2005

* * *

Кудри, подъятые ветром,
Вольный, порывистый вид...
С дикой скалы
Обыватель
В бурное море глядит.

Платье на нём пилигрима,
Посох убогий при нём.
Щёки, что розаны, рдеют,
Очи пылают огнем.

Рёв комфортабельной бури,
Страстный, восторженный сплин...
Всё в этом мире возможно:
Даже моряк-мещанин!

Сказку Сервантеса вспомнить
Рад иногда и сервант:
В нём затрепещут бокалы,
Словно заржёт Россинант...

Лавочник
Любит дукаты,
Но и к мечтам не суров...
(Тонет «Летучий Голландец»
С грузом голландских сыров...)

Всё выполнимо на свете!
Словно молоденький ствол,
Раз
Под рукою поэта
Посох цветами зацвёл...

(С тополем, корня лишённым,
То же бывает весной...)

Всё в этом мире возможно
(Кроме безделки одной).

Только одно невозможно
(Хоть и не стоит труда):
Палка с дуплом для дукатов
Не зацветёт никогда.

1970-е

Мечта о недруге

Не могу расстаться с вами я без боя...

Песнь о моём Сиде

Искать себе врагов прямых, как солнце юга,
Открытых, царственных — не велика заслуга:
Как можно требовать, дружище, от врага,
Чего не требуют обычно и от друга?

Напрасно, старина, в мечтании прелестном
Ты мыслишь о враге прямом, открытом, честном.
Крепись! Бери его таким, каков он есть:
Злым, хищным, маленьким, тупым... Неинтересным...

И враг же у тебя! Отвага в честном взгляде,
Лежачего не бьёт, не подкрадётся сзади...
Послушай! Вот тебе пяток моих друзей,
Но этого врага — отдай мне, Бога ради!

Я недругу за ложь коварством не плачу,
Но нежность к недругу мне вряд ли по плечу.
Стараюсь *поступать*, как долг повелевает.
Позволь хоть *чувствовать* мне так, как я хочу!

С ним ладишь, кажется, а он грозит борьбой.
Но другом скажется, когда объявишь бой.
Ни дружбы, ни вражды, скотина, не выносит!
Нет, не таких врагов искали мы с тобой.

У деда моего был, рассказывают, враг,
В раздоре — золото, сокровище для драк:
Не сразу нападёт, а крикнет: «Защищайся!»
Никто, никто уже теперь не крикнет так!..

1970-е

Ошибки зависти

Зависть есть признание себя побеждённым.

Скрябин

Честность работает. Мудрость вопросы решает.
Зависть — одна лишь! — досуга себя не лишает.
Ах! Не трудом же назвать неустанное рвенье,
С коим она и труду и таланту мешает.

Даже завидуя гению, зависть ленива,
Даже завидуя диву труда — нерадива,
Даже завидуя доброму делу — злонравна,
Даже завидуя правде — коварна и лжива.

Будь осторожен! Завидуя славной судьбе
Славного брата,— по скользкой же ходишь тропе!
Сам рассчитай: посягнувши на всю его славу,—
Все его подвиги делать придётся тебе.

Где та гора, что завистники встарь своротили?
Где те моря, что завистники вплавь переплыли?
Очень бы я почему-то услышать хотела
Истину ту, что завистники миру открыли!

Люди всему позавидуют, надо — не надо.
Если вы Гойя — завидуют горечи взгляда,
Если вы Данте — они восклицают: «Ещё бы!
Я и не то сочинил бы в условиях ада!»

«Хочешь ли видеть собрата простёртым у ног
Или в него самого обратиться разок?» —
Дьявол спросил у завистника. Но одновременно
Оба заказа — и дьявол исполнить не мог!

1970-е

Ласточкина школа

Ударил опера громом
Над миром притихшим и серым,
Над племенем, с ней незнакомым.
Но первым запел менестрель.

Но первая песня — за нищим,
Но первая — за гондольером,
За бледной швейей,
За старухой,
Качающей колыбель...

Журчит — пробивается к свету,
Сочится из каменной чаши...
Бежит — прорывается к свету,
То руслом пойдёт,
То вразброс...
Поэмы — аббатства большие,
Романы — империи наши,
Симфония — царство мечтаний,
А песня — республика грёз.

Как синее небо, простая,
Над синими
Льнами.
Как синее небо, простая,
Народная...
(Даром что царь
Давид запевал её встарь!)

Она подымается к солнцу,
Как жаворонок над нами,
А к ночи спускается в море,
Как тонущий нежный янтарь.

Как синее небо смиренна,
Проста и смиренна.

Как синее небо смиренна,
Как небо горда...

Её распевает извозчик,
Погонщик поёт вдохновенно...
Но жуткая тишь на запятках:
Лакей не поёт никогда.

...Не нам шлифовать самоцветы.
(И думать-то бросим!)
Не нам шлифовать самоцветы
И медные вещи ковать:
Ремёсла сначала изучим. Но песню, —
Но песню споем — и не спросим;
Нас ласточка петь научила,
И полно о том толковать!

Напрасно сухарь-мейстерзингер
Грозит нам из старых развалин,
Напрасно
Перстом величавым
Нам путь указывает педант:
Волов погоняющий с песней
Цыган — непрофессионален,
Простак-соловей — гениален,
У жаворонка — талант.

И парии нет между парий
(Бродяг, дервишей, прокаженных,
Слепых, на соломе рождённых
Под звон андалузских гитар),
Босейшего меж босяками,
Дерзейшего из беззаконных,
В чьём сердце не мог бы открыться
Таинственный песенный дар.

...Бежит,
Прорывается к свету

Родник Непокоя священный, —
Тростин перезвон драгоценный,
Гром кузницы, тайна, вопрос...
Посмотришь: большие романы —
Как Цезарем взятые страны,
Симфония — царство мечтаний,
Но песня — республика грёз.

1967

Рожь

Страшно мне за рожь перед грозой!
 Вот уж пополудни скоро шесть,
 В ней же и разгневанному зною,
 И дневному блеску место есть.

В красной мгле её сухих разливов
 Будто шерсть горящая трещит,
 Будто электрический загривок
 Медных кошек... Будто медный щит
 Сбранного к битве полководца,
 Рдеет поле с трещиной межи:
 Искры неба ждёт — не дозовётся
 Искра, затаённая во ржи.

Но безвредней капли застучали,
 Благодушной, чем земля ждала.
 В каждой капле тлел заряд печали,
 Но угрозу ночь превозмогла.

Сломанные, смятые плюмажи
 Тихо уронив за край земли,
 Навзничь, как подкупленные стражи,
 Пьяные колосья полегли...

Подобрался низенький туманец,
 Упаковку блеска разорвал,
 Затаённый в воздухе румянец,
 Как живую розу, своровал...

Не боюсь огней небесной боли!
 Мне не страшно искры той сухой.
 Поскучнев, межа уходит с поля
 И, намокнув, гаснет за ольхой.

Скворушка

Молодой скворушка
Обошёл дворушко,
Обскакал дворушко,
Потерял пёрышко.
 Подбирал пёрышко
 Воробей Жорушка,
 Собирал сборушко:
 Чьё, ребя, пёрышко? —
Налетал сборушко
(На воре ворушко!),
Подымал орушко:
— Отдавай пёрышко!

И — пошла ссорушка!

1970-е

Отражения

В деревне соседней чинить собираются крышу...
 То крик петушиный... То — оклик, шагами дробимый...
 А я повседневных, я будничных звуков не слышу,
 Пока не подымется ветер холодный —
 Мой ветер любимый...

Но слышу, как ходят полозья, как шепчутся люди
 На бледной стене золотистой — на копии льдистой
 С холста Ван-Остаде, — где, в сонной осенней остуде,
 Катается отблеск вечерний, как пух серебристый,

Вращается чистый, как шар на серебряном блюде...

Люблю эти миги!
 Ловлю эти слабые блики!
 В их беличьем беге, в их мелочной кроличьей дрожи
 Они на обрывки линялого меха похожи,
 С великой равнины гонимые ветром великим...

Как будто равнина летит через комнату — тоже!..

Люблю эти блики... Они, как неясные лики,
 Ненастны и дики... Но самый их холод мне дорог.

Пугливы, как бегство бродяги, как песня заики,
 Как белые мыши с зонтами из красной гвоздики,
 Бегущие в страхе улик... Но и сами — улики,
 Что милость равнины таких не обходит каморок!

Равнина по стéнам свой свет горностаевый стелет,
 Равнина в каморке! (Не так ли из главного зала
 В клетушку слуги достягает сияние в щели?)
 То — снежное в тучах посольство... То — ветра начало...

И вот уже входит Зима, подымая забрало.

И вот уже ветер, охотничий рог подымая,
Гвоздичным и заячьим бликам наносит обиду;
Их далее гонит по стенам, по «Зимнему виду»...

И, гóлоса будней в безветрии не принимая,
Я с первым порывом — совсем упускаю из виду
Обязанность Прозы...

Пуškai даже к ночи не выйду
В размах листопада, листы из него изымая...

1970-е

Следопыт

При свете месяца, как замыслы,
 Клубились дымчатые заросли.
 И что-то хрупко шелестело,
 И что-то тоненько хрустело...
 И, как лицо туманнобровое,
 Курилось озерцо бобровое:
 Казалось — если приглядеться, —
 Лицо курящего индейца.

В воде распахивались форточки —
 Бобры высовывали мордочки,
 Так чутко двигая носами,
 Как будто звездный свет сосали...
 Вздымалась мордочка — и пряталась.
 Тогда бобру в макушку брякалась
 Вода стальная — в виде круга,
 Похожая на крышку люка.

Светало — смутно и томительно...
 И, улыбаясь одобрительно
 Теченью беспокойных мыслей,
 Шёл добрый Нэтти в шапке лисьей.
 И были кожаными нитками
 Рисунки остренькие вытканы
 На двух лосиных мокалинах,
 Каких не купишь в магазинах.

При заморозке пахло листьями...
 Воротника ворсинки мглистые
 До подбородка доставали
 Серебряными остриями.
 И, как ножны́ из алюминия,
 На них садились иглы инея;
 Как повторенье игл меха,
 Как призрак меха — дух и эхо.

В горах, на скалах, тьмой притупленных,
 Ждал солнца стан лесов предутренних.

Ружьё — при первом шатком свете —
 Синело за спиною Нэтти;
 Оно, — гласит лесная хроника, —
 Могло, не целясь, бить без промаха.
 (Но, с тайной целью, зачастую
 Оно стреляло вхолостую.)

«Чудно! Стрелок не ищет крови-то!
 Ни лишней капли им не про́лито!
 Не хочет век прожить со славой!»
 (Так ястреб думает кровавый.)
 «...А мог бы сделать бой забавою!
 (Так думает лисица ржавая.)
 Жестокой мог бы жить игрою,
 Как то положено герою!»

Чудно! Чудно! Не зная промаха,
 Ни росомах, ни птиц, ни кролика
 Не бьёт без надобности крайней!
 Не правда ли — всё это тайной
 Окружено неразрешимою?
 Но знает холм с лесной вершиною,
 И лог, и плёсы мелких речек
 Разгадку снайперских осечек.

Стрелок *нарочно* осекается.
 И, осекаясь, он не кается:
 За исключением Зла и Быта,
 Вся жизнь охотнику открыта, —
 Всех дебрей недра одичалые!
 И не страшатся звери малые
 Того, кого по всем долинам
 Прозвали Глазом Соколиным.

Он дважды знал лесные шелесты:
 Один был песней, полной прелести,
 Другой — таил ответ-примету:
 Откуда ветер дул по свету..
 Он дважды знал лесные запахи:
 Ловил одни — читал как записи,
 Другие видел как портреты..
 Он знал все тайны, все приметы,

Неявность, явность, ускользания,
 Прямую речь, иносказания,
 Все вздохи, выкрики, невзгоды,
 Улыбки, трепет, плач Природы...
 Тумана внутреннюю сторону..
 Найдя перо,— какому ворону
 Вернуть перо... Где дно без ила...
 Всё, всё ему доступно было!
 Клин журавлиный, в небо вогнанный,
 Кулик, фламинго бледно-огненный,
 Блеск утра... Ночь,— когда в долины
 Сползались тени-исполины;
 Дождя и ветра смесь волнистая...
 Весна... Подножья травянистые
 Деревьев — темных и одутлых
 От снега, тающего в дуплах...

Скалистых Гор черты надменные,
 Племян обряды сокровенные,—
 Где слуху музыка не рада,
 Где зрелище страшится взгляда;
 Узор, каким по дну изложины
 Растений помыслы изложены...
 Всё видел, слышал, чуял, ведал
 И ни одной черты
 Не предал.

Неунывающей тропинкою,—
 Бегущей с детскою запинкою
 И с молчаливым заиканьем,—
 То перед вынырнувшим камнем,
 То перед корнем заковыристым,
 Из-под земли внезапно выросшим,—
 Шагал охотник белокожий,
 На всех охотников похожий.

И не похожий, и особенный:
 К таким простым не приспособленный
 Вещам, как скука, злоба, скверна...
 Его грехи — и те, наверно,

Иной бы счёл за достижения!
 Его простейшее движение
 Другим казалось бы шарадой...
 Сопровождалось бы тирадой...
 (Потом, когда пошли бы жалобы
 На сложность Нэтти,— я сказала бы,
 Что эти сетованья ложны:
 Охотник прост. Мы сами слóжны;
 Как много в жизни вдохновенного!
 Как мало в ней обыкновенного
 И неизысканного! Вроде
 Стремленья к чести и природе!)
 ...Уже зари краснеют полосы.
 Что там трепещет в рыжей поросли?
 В ледке и в зелени сверкает?
 Сверканьем путь пересекает?
 Откуда целый склад гортанности?
 Кто здесь довел до непрерывности,
 До пустомельства переливов
 Речь делаваров молчаливых?
 Ручей!
 К нему стрелок спускается.
 Струя с камнями пререкается,
 Играет солнечным оплетьем...
 К индейских сходок междометьям
 Припутав трели клавесинные,
 Весну несёт в леса пустынные,
 То расширяясь постепенно,
 То вдруг мелея... На колено
 Охотник рядом с ним становится,—
 К священнодействию готовится
 (С нехитрой горсточкой приёмов,
 Что от бобров узнал знакомых);
 Смущая свистом чашу дикую,
 Запруду строит невеликую
 И, не без некой тайной цели,
 Отводит воду к новой щели...

...Была ли щель, через которую
Могла пойти в другую сторону
Вода истории? Не знаю...
Но часто Нэтти вспоминаю.
Того, чьи странствия чудесные,
Слова прямые, мысли честные
Показывают непреложно,
Что людям быть людьми — возможно.

Лето 1975

Бабада круга

Счастья искать я ничуть не устала.
Да и не то чтобы слишком искала
Этот зарытый пиратами клад.

Только бы видеть листочки да лучики...
Только бы чаще мне были попутчики:
Тень на тропинке,
Полёт паутинки
И рощи не сумрачный взгляд.

Но измогильно, откуда-то снизу,
Жизнь поднялась. И под чёрную ризу
Спрятала звезды, восход и закат...
Ну и повисила ж, ведьма, в цене
Это немного, нужное мне:
Тень на тропинке,
Полёт паутинки
И рощи не сумрачный взгляд!

— Ну, — я сказала, — раз так, — я сказала,
Что ж! Я сорву с тебя, жизнь, покрывало!
А не сорву — не беда. Наугад
В борьбе с тобою,
В борьбе с собою,
В борьбе с судьбою
Добуду с бою
Тень на тропинке,
Полёт паутинки
И рощи не сумрачный взгляд!

Глупо, однако, что посланный на дом
Воздух, и лес, колыхавшийся рядом,
Надо оспаривать, ринувшись в ад,
Дабы, вернувшись дорогой окольной,
Кровью купить этот воздух привольный,

Тень на тропинке,
Полёт паутинки
И рощи не сумрачный взгляд...

Вижу я даль с городами громадными,
Дымные горы с тоннелями жадными,
Грозного моря железный накат,
Но не схожу с великаньего тракта
В поисках трёх лилипутиков! Как то:
Тень на тропинке,
Полёт паутинки
И рощи приветливый взгляд...

Так из-за нужного массу ненужного
Робкий старик накопил. И натужливо,
В тачке, увозит томов пятьдесят —
Ради заморыша-спецприложения!

Где вы?
За вас принимаю сражение,
Тень на тропинке,
Полёт паутинки
И рощи таинственный взгляд!

...Что же лежу я под соснами старыми?
Что не встаю обменяться ударами?
Пластырем липнет ко лбу листопад.
Латы росой покрываются мятые.
Жизни вы стоили мне, растреклятые! —
Тень на тропинке,
Полёт паутинки
И роща, где вязы шумят.

1970-е

Луна

Та область,
Куда космонавты, вдвоём
(Не то из Подвала, не то с Потолка!),
Шагнули,— взволнован Луны водоём
Ракетой-бадьёй на верёвке рывка,

Вторженьем землян, лунохода клешнёй...
Не странно ли? — детям, рождённым сейчас,
Под новой, дающейся в руки, Луной,
Уж той не видать, что сияла для нас!

...Сбылось!

Поколений великий накат
На две половины Луна рассекла;
Одна — воздымала к ней пламенный взгляд,
Другая — сама к ней дорогу нашла.

Но лунное счастье — на чьей стороне?
Не знаю... Ведь нынешним детям Земли
Приходится жить при доступной Луне.
А мы — недоступную видеть могли.

1973

Закат

Закат прекрасен, как душа Лауры,
 Как мысль травы, сияюще-зелёной,
 Как мысль травы, поднявшаяся выше
 Древесных куп над далью ослеплённой.

Темны деревья. Но поля покато
 Облиты блеском... Я догадки строю:
 К чему столь расточительная трата?
 Не связано ли всё, чем жизнь богата
 И не напрасна, — с пламенем заката
 Надёжнее, чем с утренней зарёю?

Блеск и огонь на бузине укромной.

Блеск и огонь на пыльно-золочёных
 Волнисто-старых стёклах кухни тесной,
 Раздвинувшейся вдаль, как зал учёных,
 И в гроздьях вулканических рябины, —
 Как стекловидный пурпур изверженья,
 Внезапных, проницаемых прозрачно
 И раскалённо-жидких на мгновенье.

Да, как трава, зелёный! Травянисто-
 Зелёный! — травянисто-лучезарный

Жар, свежий пламень! С тенью золотою,
 Союзной свету; жаркой тенью тою,
 В какой не скроешь умысел коварный!

Да! Итальянский свет! Пушисто-красный,
 Оливковый... В слепящих срезах глины,
 На голубятне, в рощах... В ренессансных
 И кардинальских пурпурах рябины,

Уже непроницаемых, однако,
 Уж не кипящих на пределе жженья.
 Но даже весть о допущенье мрака
 Теперь не омрачит воображенья.

Черны деревья,
 Что вдали горели
 Кольчугой медной и драконьей раной

И реяли, как плащ героя рдяный:
Там ночь и осень. Свёртываясь, гаснет
Драконьей кровью клёнов жар багряный.
Но так неукоснительно, так властно
Движеньё поступательное света,
Что в ночь уже не веришь.
Сердцу ясно:
Не может тьмою кончиться всё это.

1970-е

Синее море

Ивану Киуру

Синее море, белая пена,
Бурных волн бесконечная смена...

Знаю — за той чертой,
За поволокою,
За волоокою далью далёкою, —
Знаю — за той чертой
Вечно чудесные,
Мне неизвестные
Страны лежат.

В зарослях тёмных райские птицы
Так горят — как лучи сквозь ресницы!

Там по побережью дружную парюю
Ходят рядком какаду с кукабаррою.

А за утёсами
Там носом к носу мы
Можем столкнуться,
Можем столкнуться
Порой с утконосами —
В дюнах, под солнца
Лучами раскосыми.

А за лианами переплетёнными
Там водопады стоят веретёнами...

Ветер травой шумит,
Равнина тянется...
Там кенгуру,
Там кенгуру пробежит —
И вдруг оглянется!..

Синее море, белая пена,
Бурных волн бесконечная смена...

1970

Река

Когда одна я, совсем одна,
И вечер свеж после жарких дней,
И так высоко стоит луна,
Что земля темна и при ней,

И холодный ветер пахнет травой,
И веки смыкаются в полусне, —
Тогда является мне на стене
Река
и чёлн теневой.

А в том челне старина Гек Финн
Стоит вполуоборот:
И садится он, и ложится в челнок,
И плывёт, закурив, плывёт...

В лучах пароходов и городов,
Один-одинёшенек-одинок,
Становится точкой его челнок,
Но не так, чтоб исчезнуть совсем,
Но не так, чтоб исчезнуть совсем...

И все ему на реке слышны
Остроты встречных плотовщиков.
Спросите, а чем они так смешны?
И смысл у них каков?

А просто смех на реке живёт,
А просто весело ночью плыть
Вдоль глухих берегов
По реке рабов...
Но в свободный штат,
Может быть!

Вдоль глухих берегов
По реке рабов...
Но в свободный штат,
Может быть!..

1973

Старинный бродяга

В мороз и зной
 в юдоли земной
 Вижу я ночью свет без огня.
 Свой дом и очаг
 у каждого есть,
 Но нет его у меня.

Свой дом и очаг
 у каждого есть,
 Но нет его у меня.

У птицы есть,
 у ящериц есть,
 Есть у крота, у всех, кто живёт,
 И только меня
 на празднество дня
 Никто не ждёт, не зовёт.

Проскачет всадник,
 следом — другой,
 Но я ничего у них не прошу,
 Я только спою:
 «Дорога — мой дом» —
 И дальше в путь уйду...

Люблю я утра
 первый восход,
 Люблю я погоду, если тиха,
 Гнездо жаворонка
 в жёлтых полях,
 Костёр, костёр пастуха.

Люблю я даль
 с гуртами овец
 И над очагами тающий дым,

Тёстрый ларчик

Вечный закон

Кто умён — не хитёр. Кто хитёр — не умён.
 От начала времён до скончанья времён
 Неизменным останется вечный закон:
 Кто умён — не хитёр. Кто хитёр — не умён.

* * *

Скупой берёт за всё: за чувство раздраженья,
 С каким он грабит вас (в порядке одолженья),
 За кукиш, каковой он сам же вам подносит...
 Ведь кукиш *тратится* в процессе подношенья!

Плагиатор

И плагиатор ценит тон любезности.
 Зови ж его не хищником словесности,
 А... сборщиком фольклора безымянного
 В среде поэтов мировой известности.

* * *

Мудрец вопросы миру задаёт.
 Дурак ответы скорбные даёт.
 (К тебе, глупец, как раз не обращались;
 Ведь ты и есть причина всех невзгод!)

* * *

С холóдностью снегов мы чистоту связуем,
 Но «жизненным теплом» блудливость именуем.
 Скажи: нельзя ли быть и чистым и живым?
 Трагический исход — неужто неминуем?

* * *

Сто тысяч лет подряд погонщик бил осла.
 Сто тысяч лет подряд из раны кровь текла.
 Но кто дерзнёт сказать, что в мире не хватало
 При этом «трепетности, ласки и тепла»?

* * *

Шалуны Языка, ослепительные пустомели!
 А видать, не напрасно вы так в Языке нашумели:
 Это бунт обычайности, скрипку ломающей с треском,
 Чтоб никто не узнал, что играть вы на ней не умели.

* * *

«Что есть Истина?» — голос раздался в ночных небесах,
 Обратись к Языку (что всегда как солдат на часах).
 А Язык — промолчал. Потому что «решительной ломке»
 Подвергался как раз... И стоял в это время в «лесах».

* * *

Есть, есть разрыв — ручаюсь головой! —
 Меж сущностью и формой стиховой:
 От формы — пляшешь, носишься, летаешь...
 От сути — ковляешь, чуть живой..

* * *

— Чего тебе, тоскливое создание?
 — Мне дайте форму. Но — без содержания.
 Я формалистка. Ибо только форма
 Ещё не причиняла мне страдания.

А меня осенило!

За что седой Восток так долго и упрямо
 Хайяма избегал? А тут была программа:
 «Коран или Хайям», — сказали мусульмане
 И так естественно избрали... не Хайяма!

* * *

Какие ни имей жестианщик недостатки,
 Не отразиться им на мировом порядке.
 Философ и халиф! На мягком воске мира
 Лишь *ваших* слабостей застынут отпечатки.

* * *

Поэт не о себе скорбит. Как ни тяжка
 Зависимость певца от черствого куска,
 Стократ ему больней, что от куска зависят
 Умы, характеры, народы и века.

* * *

В дыму интриг, убийств и зуботычин
 Лишь Летописец сдержан и приличен.
 Держись, не падай! Ибо в целом мире
 Один за всех ты должен быть логичен.

* * *

Когда заносчивость припишут вам лукаво,
 Но и на равенство у вас отнимут право
 И каждой курице позволят клюнуть вас, —
 Ловите этот час и знайте: это — слава.

* * *

Не верь, что постоянство приедается.
 Такая мысль ничем не подтверждается:
 Когда ж успело б нам приестся качество,
 Которое так редко попадается?

Небольшое уточнение

Поскольку в историческом потоке —
 Не вдруг поймешь — где доблести, где склоки, —
 Давай не на историю молиться,
 А на ее отменные уроки!

Тремственност

Вбежал и уязвлённо заявил:
«Сальери никого не отравил!»
Возможно. Но спустя два века после странной
Кончины Моцарта — откуда этот пыл?

* * *

Бесчинства объясняются войной.
Зловредный нрав — природою дурной.
И только честь ничем не объяснима.
Но верить можно только ей одной.

1970-е

Жорж Санд

Они усы и бороды носили, —
Гремящий трагик, романист, поэт...
Но в общем парни — женщинами были;
Ведь женственной души французской — нет!

Весь мир беспечною они пленили,
Изыществом очаровали свет
И с томной красотой соединили
Девичьей грусти ливневый расцвет.

Одна вспылит, другая прослезится...
Та — ворковать, та — с перстнями возиться,
Подымет эта ближнего на смех...

Учтив, спокоен, храбр, великодушен,
Не столь плаксив, не всем ветрам послушен,
Один Жорж Санд — мужчина среди всех.

1970-е

КИНО

Когда выходишь из кино
В мерцанье вечера сырое,
Лишь краем зренья замечая,
Что землю снегом замело,
То существуешь за двоих:
И за себя, и за героя.
Или совсем не существуешь:
Ни за себя, ни за него.

Ознобом воздух напоён,
Тоской по Куперу и Грину.
Приторможёнными ручьями
Бесшумного снегодождя...
Кинематограф, как сова,
Тебе глядит упорно в спину,
Зелёнолунными очами
Над городами поводя.

...Как тень жаровни по стене,
Текли виденья в тёмном зале:
Был полон счастья и печали
Старинной песенки напев,
Пока не гас на полотне,
Перерождаясь в ропот устный,
Картины оборотень грустный,
От превращений побледнев...

Нет! Место низости не тут!
Иллюзион — страна титанов!
Момент — и хоры великанов
Подхватят клич передовой...

Но и случайный в пятке зуд
Здесь облик обретает плотный.

И огонек встаёт болотный —
До колокольни головой!

...То не борцы-тяжеловесы,
То мыслей тёмные процессы!
Мне представляли в ходе пьесы
И страхи в латах Жанны д'Арк,
И низкой прозы интересы
В обличье сказочной принцессы...
Искусства дальние экспрессы,
Вы поворачивали в парк!

Угадывалось: близок час,
Как за Джульеттою Мазиною
Пойдут эскортом, цепью длинной
«Блаженных» новые сорта:
Придут бой-золушки, пай-жанны...
Гибрид из бокса и нирваны.
Вся та святая простота,
Что не проносит мимо рта.

...Но зал, как донор-пеликан,
Питал детей своих фантазий;
Стоял, как лекарь, с банкой мазей
Для новых Золушкиных ран...
Устроить Золушку на бал
Толпой пытались персонажи...
А мне от Золушкиной сажи
Хотелось выстирать экран.

(В чём счастье зрителя? Молчать
При хохоте единодушном
Или хихикать одиноко
В молчанье зала гробовом?)
...Как жаль, что Золушка теперь,
Когда на бал бежать ей нужно,
Уж не проходит через стены,
А прошибает стены лбом!

Так, значит, снова — в добрый час?
Съедим горчайшей соли гору,
И выпьем Стикс,
И много сносим
Железом кованных сапог,
Пока простейшее поймём:
Что, подготовленной к отпору,
Железной Золушке —
Не впору
Хрустальный башмачок!

А как растроган был экран,
Что не свята Святая Жанна
(Хотя придумал это сам!)
Она сгорала на костре,
А в промежутках, как на грех
(Что не в пример для Жанны странно!),
Держалась Жанна хуже всех.
А в лучшем случае — как все.

Она Руанов не брала,
Не колыхала знаменами,
Ан воевала — за себя!
Не поджигай, палач, постой:
Здесь просто нечему гореть.
И если молвить между нами,
Она согласна и с ханжами,
И с инквизицией «святой».

Ей, разорительнице гнёзд,
Галчиных бедных гнёзд семейных, —
Смешно доспехами греметь,
Мечом размахивать грешно!

...Об оклеветанных тенях,
О чувствах к ним благоговейных
Ты по-старинному грустишь,
Когда выходишь из кино.

Искусство ищет новых троп.
Искусство смешивает жанры.
Но, даже смешивая жанры,
Мешать понятия ни к чему.

...И неуклонно в эту ночь
Стучит мне в сердце пепел Жанны,
Стучит мне в сердце пепел Жанны,
И трудно сердцу моему.

1970-е

Стихотерапия

I

Когда сердце,
С себя сбивая
Скорлупу, одну за другою,
В гадость памяти обрываясь,
Мчится воющими пропастями,

Ты представь себе
Своё горе
Нарисованным... на фарфоре.
Да и то не всё, а частями.

Но... круги и зигзаги ада
На фарфор наносить не надо:
Ведь фарфор и фаянс так ломки! —
Против жанра идти не стоит...

Да и кто ты такой, отучая
Человека от чашки чая?
Если жизнь ты ему отравишь,
Разве это тебя устроит?

Только маленькие промашки,
Улыбаясь, рисуя на чашке:
Слишком сильное заблужденье
Нипочем под глазурь не ляжет!

Выбирай картинки бывшего
Наименее всё же злого...
(Сердце, рвущееся на части,
Вкус и меру тебе подскажет.)

Как люблю я фарфор с фаянсом!
С нанесённым на них Провансом,

С их Аркадией...
 Как природа их белопенна!
 Постараюсь, чтобы страданье
 Соскользнуло с них постепенно
 (С целой тучей забот, которым
 Повседневность — не оправданье).

Есть резон моему пристрастью:
 Даже бьётся посуда — к счастью!
 (Хороша и та, что не бьётся:
 Уж зато цела остаётся!)
 Есть резон моему пристрастью
 И гончарному упоенью:
 Если бьётся посуда к счастью,
 То не бьётся — к успокоенью.

И откроется очень скоро
 При расписыванье фарфора,
 Что грешно малевать кошмары
 На батисте из рода глины;
 Гадость памяти, сил крушенье,
 Оскорбленье и поношенье...
 В этом случае допустимы
 Только розы и мандолины.

II

Как мой вкус изыскан, однако!
 А изысканность — грех великий:
 Слишком тонкое — снова грубо.
 (Я эстетов кляню, каналов!)
 Но поскольку речь о посуде, —
 Прикладном, а не главном чуде, —
 Отчего не ценить фарфора?
 Табакерок, резьбы, эмалей?

Над боярышником фаянса
Тени ночи летать боятся;
Никогда мадам Косарица
На фарфоре не воцарится!
Я по свету хожу; я всюду
Разрисовываю посуду,
Чтобы хор ее нежноголосый
Пел анафему ведьме безносой!

И пускай Зоил образцовый,
Принимаясь за пашквиль новый,
Как всегда не подумав, скажет
(Ведь Зоил человек простецкий!),
Что в расписыванье фарфора —
Ни судьбы, ни с судьбою спора,
Ни отчаянья, ни задора
И ни удали молодецкой.

И пускай питомец зоилов
Носит громы на лирных вилах;
Бурю (якобы) в поле ловит,
Рвёт, рыча, на груди рубаху, —
Вот кто пляшет среди фарфора!
Ан заденет его — не скоро:
Порешить свою обстановку —
Не достанет ему размаху.

Вообще же... Взращённому в холе
Скакуну — как не рваться в поле?
Но скакун, испытавший сечу,
Зря не прыгнет ветрам навстречу.
Это бюргеру льстит ужасный
Ураган в байроническом роде.
Но бродяга
Плохой погоде
Не споёт серенады страстной.

III

Ах, фарфор на старом камине!
Уж не бюргерский ты отныне,
Так как бюргеры переменились:
Практикуются на ураганах...

Но поскольку у них такие
Поразительные стихии,
Что не только не бьют фарфора,
А тем пуще оберегают, —

То... дозволено мне да будет
Расписать эти несколько блюдец
Сценками
Из моей пасторальной
Жизни — долины взгляда...
И пока филистеры с жиру
Множат скорбь, грозящую миру, —
Вы уж дайте мне улыбнуться!
В память
О последнем обрыве ада.

1975, 1976

Моё отношение

Навстречу мне — не помню, сколько раз, —
Вы подымали пару мрачных глаз,
Тяжелых и увесистых, как гири.
(В каком-то смысле вы штангистом были!)

Вы подымали «каверзный» вопрос:
Как отношусь я к нациям?
Всерьёз.
Ревниво и равнодушно смалу
Я отношусь к Интернационалу.

Быть может, дело в том, что прадед мой
Был фельдшер корабельный, врач морской?
Он переслал мне в гибком кругозоре
Всеврачеванья мысль и образ моря.

И парусник прадедовских времён
В глазу моем с тех пор отображён.
Он подбирает почту. Но и тоже
Всех тонущих. Любого цвета кожи.

Я всех приветствую наперебой,
Кто мне не предназначил быть рабой.
Но тем, кто надо мной желает власти,
Я говорю не «здравствуйте», а «здрасте».

Когда я вижу: кто-то плут и псих,
Я не спешу обидеть малых сих.
(Гм... *Дюжих* малых сих... Сих дюжих малых —
Прожжённых бестий и пройдох бывалых!)

Кто я, чтобы сурово их судить?
Я та, в чьем арсенале могут быть
(Уж я не говорю про недостатки!)
Пороков неосознанных десятки.

Но и мое терпенье не гранит!
 Мне жизнелюбство пошляков — претит.
 И с пылом протестантов убежденных
 Я не терплю
 Повелевать рождённых!

Как?! Вечно пальму первенства искать,
 А дивной пальмы равенства — не знать?!
 Не понимать речения блаженства
 С старинным ударением: «Равёнство»?!

По счастью, тем, кто трудится, плевать
 На всех «родившихся повелевать»;
 Там, где они приказывать рождаются,
 Не всяк родился им повиноваться.

И... путается их прожектов нить...
 Как с миром быть? Пригреть или спалить?
 Они ещё и сами не решили,
 Ан вознестись над нами поспешили!

Хоть не созрел ещё для взлётов тот,
 Кто злобствует, ворует или лжёт;
 Смешно, когда из-под небесной тоги
 Обычные выглядывают ноги!

Людская серость, впрочем, всех лютей
 Престолов жаждет. Скипетр снится ей,
 Гром, крылья, цепи, кровь, попрянье братьев...
 (Всё то, чего нельзя желать, *не спятив!*)

Людская серость, впрочем, всех лютей
 Стремится спятить. Допинг нужен ей.
 И факелам тем пуще дурни рады,
 Чем суше в зной пороховые склады.

Таким — великовозрастным — нельзя
 «Детишкам» спички доверять! Не зря

Их жёстких глаз прожилки кровавые
Перетекают в зарева сплошные!

И — «мальчики кровавые в глазах».
Но то, что Годунову было — страх,
Отчаянье, раскаянье, прозреньё, —
Для них... источник удовлетворенья.

Чего Борис себе простить не смог,
Для них — тренаж! Гимнастика навпрок.
Что прошлым для него ужасным стало, —
Того им и для будущего мало!

Им жалость непонятна. Трус и смерд
В их представленье тот, кто милосерд!
И вы согласны, чтоб вандалы эти
Людьми считались первыми на свете?!

Кто сам себя избрал — не суть мудрён,
Хоть и ловкач! Расизмы всех времён
С бордюрчиком романтики по краю
Я «бабьим экстремизмом» называю.

Зачем за бесноватеньких душой
Вступаться вам? Эх, на крови чужой
Цветёт «прекрасный юноша», Нарцисс-то!..

... Что с вами?
Я обидела нациста?

Но зверских кланов гнусному отцу,
Нацизму оскорблённость не к лицу,
Потерпит! Но скажите, разве было,
Чтоб я *национальность* оскорбила?

Когда же я смолкаю, всё сказав, —
Зачем у собеседника в глазах...

Нет, не протест, не вызов, не обида:
Нож и огонь! Гроза и Немезида!

Зачем — в конце столь, в общем, здравых слов —
Он... Ба! Да он убить меня готов!
В припадке яростного, как пиранья,
«Национального самосознания»?!

1970-е

Тёмные стороны блеска

Находчивость в ответах
При споре и в беседе
Случается от прочных
И выстраданных мнений,
От опыта в раздумьях
Того, кто в споре с нами
Или в живой беседе
Находит мыслям русло.

Находчивость в ответах бывает и от злого,
Дрянного отношенья ко всем и вся на свете;
От бойкого нахальства,
В котором быть не может
Ни вежливости трудной,
Ни страха вас обидеть.

Ведь тот, кто уважает
Или (того тяжеле!) —
Кто любит вас, — тот редко
Блестящ и колок с вами;
Жестом неосторожным задеть он вас боится;
Тем более — в подборе и слов и выражений
Он, точно пленник, связан.

И даже если точный, блистательно-лукавый
Ответ он держит в тайне, — и то — чудесный козырь
Он впрок приберегает;
Когда один, при свечке,
Раскрыв свои тетради,
Перо добряк очинит, и — с воздухом заспорит;
С ночною тьмой, царящей за окнами, сразится, —
То время, то пространство, то сам уклад вселенский
Ловя на предрассудках...

О, трижды прав далекий
 От устных излияний!
 Звук речи — та стихия,
 В которой, неприметно заглѣбываясь, гибнут
 Все помыслы благие.
 На девять миль длиннее, чем мы подозреваем,
 Язык наш — корень адов!
 Наш разговор не только приятностями скрашен:
 Он для натур несмелых
 Превратностями страшен,
 Как шаткий путь синдбадов!

Находчивость в ответах —
 Резерв паркетных снобов, —
 Нутром — малюток нежных,
 Но хваткой и напором —
 Ущельных великанов!
 Находчивость в ответах
 Рождается за вистом,
 За веером раскрытым, скрывающим усмешку,
 Змеящуюся грубо,
 Да смертную зевоту..
 Находчивость в ответах
 Живѣт в одном приходе
 С тобою, скука мира...

О, ты бываешь всякой,
 Словесная сноровка!
 Свидетельствуя часто
 О чувствах беспощадных,
 О склонностях презренных,
 О низком воспитанье,
 Злорадстве, вероломстве...
 Вот почему не плакать, а радоваться надо,
 Не каждой краской спектра
 Подобного владея:

Блеск Евиного змея
 К нам не тогда приходит,
 Когда мы сердцем чисты и вымыслом бездонны,
 Но иногда — что делать! —
 Он к нам тогда приходит,
 Когда мы — беспардонны!

Ах, тот, кто много мыслей
 Во лбу своем содержит, —
 Не вдруг решит, какая
 Из многих тысяч — лучше
 Для быстрого ответа.
 А тот, кому Паллада
 Три мысли подарила,
 Уж тот (наверно!) знает:
 Где у него — какая...

(И вот что, между прочим,
 Тут надобно отметить:
 К двум-трём своим насущным,
 Единственно возможным,
 Прибавив три чужие,
 Ты всё же таки сразу —
 Не много и не мало —
 Шесть мыслей получаешь!
 А сколько вариантов?
 Те — вовсе бесконечны!)

Базарная торговка
 (Попробуйте-ка с нею
 Заспорить!) вас бойчее
 «Отбреет», чем Сенека!
 (Опять — читайте выше! — базарная торговка
 Не друг для человека!)

Руссо боялся острых,
 Усаженных шипами,

Парижских язычков,
 Быстрей кофейных мельниц
Вращающихся в «свете»,
И на вопрос вопросом,
 Острóтой на острóту —
 Не мог ответить сразу..

1971

Тремидрия мышь

Задумала мышь в кладовую сходить, —
Хорошего сала кусок ухватить!
Опасны такие дела,
И робость воровку взяла.

Но мышь сказала:

— Волков бояться — и в лес не гулять.
Волконского бояться — Лесковского не знать.
Страшиться Волковицкого — не видеть Лесовицкого.
И пошла мышь смело,
И украла, и съела.

Хозяйка заметила мыший разбой,
Пошла, принесла мышеловку с собой,
В ловушке оставила сало,
И мышь
В мышеловку
Попала.

Но мышь сказала:

— Что ж...
И на старуху бывает проруха.
И на старушку бывает этак прорущка.
И на старушенцию бывает прорущенция.
Старушенченко идет —
Прорушенченко ведет...

А к ночи Котенко в кладовку зашел,
В кладовку зашел — мышеловку нашел;
Мышенко хотел проглотить,
Но как мышеловку открыть?!
И мышь сказала:

— Ах! Не всё коту Масленица!
Не токмо к Маслову Котову прогуливаться-стать!

Забудь, Котовиков, дорогу в Масленников Посад,
Да протопчи-тко тропку теперя да в Постникову Пустынь!

По-моему, так никакому коту
Сломать мышеловку невоготу!
И взял себе кот отпускного,
И вряд ли воротится снова...

Радуетсямышь-воровка:
Спасает иногда, гляди, и мышеловка!
Имышь сказала:
— Нет худа без добра, что я сюда попала!
Нет Худякова, — говорит, — без Добрякова!
Не представляю, — говорит, — себе Худовецкого
Без неизбежного (выглядывающего из-за его плеча)
Добровецкого!
Худыня, — говорит, — без Добрыни — не человек.

1972

Круги чтения

Читатель-чувственник, сластёна любострастный,
С губами, вроде как сосущими лимон.
Лишь похождениями бредит он, злосчастный,
Но Приключения — не восприимлет он!

И вольный парусник, и в море путь опасный,
Шторм, абордаж, побег — его вгоняют в сон,
Как монотонное ворчанье дамы классной,
Оберегающей девичий пансион.

Как едко он острил (чуть не с Вольтером вместе!)
Над добродетельностью «ангелов» и «дев»!
Потрафим; подгребём к нему пригоршню бестий,
Таких же, как он сам! Но вдруг, расшвирупев,

Он вместе с «ангельством» пиратство отмечает
И — уж без примесей — бульварщину читает!

1974

Есть хиппи, а есть хиппиоты. И хиппи (как в небе
стрижи,
Земной убягая заботы) не верят ни правде, ни лжи.
Цель хиппи нельзя обозначить. Цель хиппи — концы
отдавать.
А цель хиппиота? Подначить. Оплакать. Романтизовать.

Прекрасная марихуана! Как сказки твои хороши!
Дай неба нам! Дай океана! От тёмной земли отрешись!
Судьба — нападательный минус... Оскомина жизни
горька...
Печальный курильщик! Возьми нас, прими нас в твои
облака!

В твоих-то хоромах уютней! Мы будем довольны
судьбой!
Как крысы за гамельнской лютней, мы ринемся вслед
за тобой!
Но хиппи, наследник печали, растаял в кипящем дыму,
И зрители сразу отстали, которые льнули к нему.

Подначка — великое дело! Прекрасная вещь — западня!
Воспеть же! (Отпеть же!) И смело вернуться
к насущности дня.
Но вскорости ж — новые траты... И снова увязывать вам
Искусственные заплаты с естественной тягой к деньгам.

Так хиппи, лишась интересов, несут на загравке,
под блюз,
Своих неотвязчивых бесов дублёный и замшевый груз.
Мостами, лесами проносят на ниточках тоненьких шей,
Не чуя, как носят, где сбросят непрошенный тучный
трофей.

Готовый к любым присосаться системам, филистер живёт
Банальный. Не все согласятся, что имя ему — хиппиот.
Трудней, чем зарубки на сучьях, давать хитрецам имена:
Их лики меняются. Сущность их — та же во все времена.

Буржуйство! Тебе не впервые
Кататься у нищих на вые!
На сотнях мостов, поворотов (Америка, Лондон,
Мадрид) —
Глянь: хиппи несут хиппиотов. Кто смотрит — всегда
разглядит.

Зима 1976

* * *

Кто в романтику жизни не верит,
Тот не верит (нелепая туша!)
В океан, на земле занимающий
Втрое более места, чем суша!

Но и логику тот ненавидит,
Кто, упёршись копытами в берег,
Смотрит в море, — а моря не видит,
Смотрит в небо, — а в небо не верит.

1976

Адам и Ева

— Нет! — сказала Ева. — Я упряма:
Я не выйду замуж за Адама!

— Но почему и отчего? —
Скажи мне, будь добра!

— Да он калека! — у него
Недостаёт ребра.

1976

Закон песен

Хороводы вакханок в экстазе,
 Фавна к нимфе копытца несут...
 Что ж, сойдет, как рисунок на вазе,
 Но для лирики — чистый абсурд!

Лишь небесная страсть остается
 В песнях вечной. (Лаура, живи!)
 Существует, но вряд ли поется
 Земноводная грубость любви.

Кто там в рощу так робко прокрался?
 Притаился под сенью ветвей?
 Пой! — пока на балкон не взобрался,
 Не назвал Инезилью своей.

Пой — пока, по искусства законам,
 Девять Муз во главе с Купидоном
 Девять шёлковых лестниц совьют...
 Серенады поют — под балконом.
 На балконах — уже не поют.

И, тем паче, с высот геликонов
 Тот сорвётся, кто тайны притонов
 С гордым видом выносит на суд.
 (Вас на пуговицы переплавят,
 Сир! А пуговицы — пропьют!
 Кто же карту краплёную славит?!
 Спрячь её, незадачливый плут!)

Очень многое — так нам сдается, —
 Существует. Но... ах! — не поётся.
 Грусть — поётся. Надеждой на чудо,
 Упованием песня жива.
 Но у блуда нет певчего люда;
 Вещий голос-то взять им — откуда?
 (Что поделаешь — жизнь такова!)

Только тот, кто любви своей силой
За возлюбленной тенью в Аид
Мог спуститься, —
Тот песню для милой
В неподкупных веках сохранит.

Коль же скоро во всяком напеве
Похоть та же и разницы нет,
То за что же вакханками в гнев
Был растерзан великий поэт?

Жизнь — цветок. Ей закон — аромат.
Не ищи же, теряясь по сортам,
Божью искру в Калачестве Тёртом,
Друг мечты и романтики брат!

Пой — цепляясь на лестничном шёлке;
Пой — пока твои мысли невинны
И пока на губах молоко
Не обсохло...
Пути твои долги,
Твои лестницы — длинны-предлинны,
Твой балкон — высокó,
высокó...

1977

О юморе

Говорят: «Народный юмор груб.
 Грубостью простому сердцу люб».

Что вы! Юмор грубый чересчур —
 Он как раз для избранных натур!
 Старый вертопрах
 наедине
 Шепчет сальности чужой жене.
 Вроде бы и юмор площадной,
 Ан, глядишь, рассчитан для одной.

Муженёк в угоду девке ржет.
 Посмеяться так же в свой черед,
 В стороне, с улыбкою кривой,
 Ждет жена соломенной вдовой.

То-то и оно, что грубый смех —
 Смех кустарный, редкий, не про всех!
 Не скажу, насколько он прожжен,
 Да не про детей и не про жён!

Груб, а ведь не каждого берет.
 (Ржёт конюшня — да и то не вся!)
 Что за притча? Что за анекдот,
 Если вслух рассказывать нельзя?

При мужьях нельзя, при стариках,
 При маэстро, при учениках,
 Там, где людно, там, где молодёжь,
 При знакомых, незнакомых — то ж...

Если двое крадучись идут
 «Посмеяться», третьего не взяв,
 Скоро эти двое создадут
 Царство смеха на его слезах.

Если шутка выстраданный вкус
 Истинных артистов оскорбит,
 Что же в ней «народного»?
 Божусь, —
 Лишь филистер грубостью подбит!

Говорят: «Народный юмор груб,
Грубостью простому сердцу люб». —
Что вы! Юмор грубый чересчур —
Он как раз для избранных натур!
 Вот смеются у дверей в кино.
 Разве я не так же весела?
 Но — что делать! — с ними заодно
 Посмеяться так и не смогла...
...Спутник селадонов и блудниц,
Чёрных лестниц, краденых утех,
Смех «плебейский» — для отдельных птиц.
«Аристократический» — для всех.

1978

Полёт летних дней

*Мир полей всегда мне снился населённым.
И не верю я, что стал он неживым.*

Иван Киуру

Что маленькое солнце
 собой напоминает
Подсолнух, — каждый знает!
 Хотя не каждый знает,
Что маленькое солнце
 подвержено затмению;
Когда лучи свободны,
 а диск — окутан тенью.

Я отродясь ленива;
 так мало успеваю...
Я даже не на каждом
 затмении бываю!
Отнюдь не вся планета
 достойно мной воспета,
Но *маленькою жизнью*
 я называю лето.

Лето 1978

Язык детства

В детстве я встретила слово «зияние»,
 Камнезвенящее, точно змея:
 «Бездны зияли». Так это ж «сияние»!
 «Бездны сияли!» — подумала я.

Дальше я встретила слово «нисходит»;
 «С высей нисходит...» Вот снова секрет!
 Всё-таки «сходит» он или «не сходит»?
 Пусть он решается: да или нет?

Дальше узнала я слово «дерзание».
 Эх, не считайте другого глупцом!
 Если содержите в планах «терзание»,
 Так и скажите! И дело с концом.

Не Микронезия, а Мокронезия!
 В воде, в воде! А ещё? Нигде.
 Была в ней пронизывающая поэзия
 Галоши, плавающей в воде.

...Идёт усыпляющий дождь тропический,
 Зигзаг прилива бежит впотьмах,
 Молния
 Картою географической
 В чёрных показывается небесах.

Вижу несчётные грады и веси я,
 Шапки магнолий, как сахарный снег..
 Мокрые пальмы скрипят: «Мокронезия...»,
 Вторит им гром: «Нантакет...»,
 «Бробдингнег...»

И годы шли.
 Исправленья законные
 Принял учтиво мой скромный язык:

Молча словечки отверг неучёные
И от неправильностей отвык.

Уж не ведёт к ним тропинка заросшая!
Взрослым за ними — судьба не велит.
(Ведьмински-стар и лукав, кто нарочно
Эти неправильности говорит!)

Разве что... тёмной предутренней ранью,
В серую темь, когда все ещё спят,
Тихо и крадучись
В полуреальный —
Полуприснившийся выбраться сад?

Там, у стены крепостной,
У подножья
Яблонь кривых беззаботно присесть,
И соучастницей — тьмой бездорожья
Отгородясь от всего, что ни есть,

Камень достать из стены, самый крайний,
Красного дерева ящик извлечь;
Спит в нём, ах, спит в нём
Покрытая тайной
Храброго детства забытая речь!

1980-е

На чествование сонета

Давно ли, старый друг Четырнадцатистрочник,
Мы вдаль с тобой брели под пыли пеленой?
И ты на замо́к свой глядел, король-заочник,
Из-за наружных рвов за крепостной стеной!

И мог придраться к нам по прихоти шальной,
И за нос дёрнуть нас любой прохожий склочник,
И щебнем завалить, кривляясь, всяк источник,
Откуда черпали мы воду в летний зной...

И что ж? Ты вознесён! Твоей воскресшей славе
Ведь, кажется, и я порадоваться вправе?
Пусть там, где праздник твой, меня сегодня нет,

Но я, твой преданный, бессрочный твой придворный,
Что был слугой тебе в изгнания день твой чёрный,
Кричу издалека: «Да здравствует сонет!»

1980-е

* * *

В долгах мы. Как Сервантес! В виде шутки —
Кому он должен был — давай считать:
Жене-пройдохе. Дочери-малютке.
Гутьерресу, умеющему ждать.

Родителям. Далі-Мамі — пирату.
Царя Гассана властной пятерне.
Казне. Святому Братству. Просто брату.
За хлеб и воду в долговой тюрьме.

За путаницу при налоговсборе.
За свет в окошке. За корабль в море.
Ну а ему? За подвиги его?

За ту, в боях простреленную, руку?
За «Дон Кихота»? За добро и муку?
Ужель никто не должен ничего?

1982

Сквер в переулке

Светлой памяти Чарлза Диккенса

Братьев Чириблов тропинка

(Так уж я её зову)

Складки старческой улыбки прячет в жёсткую траву.

Здесь гуляет чёрный самый, сдав манжеты в дымоход,

Вечным Васью да Гамой путешествующий кот.

Здесь почти провинциальный подорожников уют.

Голуби в кругах сияний жёлтое зерно клюют,

А над ними (и над нами) в знак защиты и журьбы

Мощными опекунами мощно клонятся дубы,

Чтоб от жара не ослепли дети скопищ городских,

Чтобы, в крыш алжирском пекле взмывший,

в маревах, кривых

От зернистости карнизов, — август высказался весь

В зёрнах жёлтых, в крыльях сизых, в синей зелени древес.

Вот крадётся наш Василий (о мошенник!), сделав вид,

Будто голубя хромого хищно сцапнуть норовит!

Но едва мы отвернёмся, сделав вид, что не глядим,

Зверь зевнёт: де — «и не думал я охотиться за ним...»

Братьев Чириблов тропинка. Так уж я её зову.

Кто пройдёт по ней за нами — сны увидит наяву.

Тут живут воспоминанья.

И витает здесь мечта

По охотничьим угодиям Васьки, чёрного кота.

Помнишь старые страницы?

Братья честные, вдвоём

О чужом пекутся благе и о счастье (не своём!).

За конторкою высокой пишет добрый старый клерк...

Этот след не затерялся. Этот образ не померк.

Но уж вновь запыльхали комментаторов очки, —
Дескать: «Неправдоподобны филантропы-добрячки!
Только в склоке, только в драке, в уголовщине сплошной,
Передравшись, как собаки, люди хлеб добудут свой!

Мы считаем, что такой-то недостаточно свиреп:
Чего доброго — без драки заработает на хлеб!
Ведь “борьбу” предаст, каналья, раньше времени поев,
Никого ни покалечить, ни прикончить не успеv...»

Кровожадные! Уймьтесь;
Что за радость — множить зло?
Как бы злыдничество ваше вас самих ни подвело!
Слишком противоречивы и напоминают чушь
К благоденствию призывы при неверье в щедрость душ.

Коли зол от сотворенья человек (ведь вот стервец!),
Киньте, бросьте негодяя, — пусть погибнет наконец.
Если добр от Сотворенья человек (а это так!),
Отчего бы его долю не вернуть ему — без драк?

Только что́ там понапрасну к лютым извергам взывать...
...Снег пошёл.

Мороз подкрался. Будем зиму зимовать.
Быстро сумерки спустились. Лёг зелёный зимний час.
Лишь глядят с небес прозрачных братья Чириблы на нас.

1985

Китовый ус — королеве,
А ворвань жаркая — Деве
Для ста лампад золотых!
«Китовый ус — королеве...»
И в моря яростном чреве
Последний ропот затих...

1985—1986

*На исчезновение буквы «ё»
из русского алфавита*

Куда девалась буква «ё»?
Кто утаил от нас её,
Тогда как «е» — уж лезет горлом?
Мне не хватает «ё» одной,
Чтобы шедевр искусств иной
Не ПЕРЛОМ называть, а ПЁРЛОМ!

1989

Никарагуа

О Никарагуа!

И ни кола-гуа и ни двора-гуа!

Так думала когда-то я и верила,

(Решила так: поверим-ка!)...

Но пораскинулась ты, Никарагуа,

Привольно, что твоя микроамерика,

От тихоокеанского

До атлантического берега...

О Никарагуа!

Я думала, я мнила, что бедна она

(Пустили слух такой — газет ханжи несносные),

Но там растёт банан,

Таинственно слюдой мерцает кварц,

И реки там текут золотиносные...

О Никарагуа!

Под усыпительные сказки о твоей горючей бедности

Богатства твои разграблены

Полуоседлыми крепостниками лукавыми!

(Щедрые недра вычерпывать

Истинно легче, пока они

Простым болотом объявлены...)

О Никарагуа!

Двух океанов омываемая влагою!

Словно сквозь двойственность волн, сквозь кривую

корягу, я

Вижу двоящийся лик твой ...В банкирах, на славу

удавшихся,

Я глубоко неудавшихся вижу твоих карбонариев,

«Гарибальдийцев», — стотысячный раз да за тридцать

динариев

Перепродавшихся.

Но крестьян твоих изголодавшихся

Что-то давно не вижу я.

Где же мескито? Ниже,

Ниже должна пригнуться я,

Чтоб разглядеть его «дом» среди лодочных склизких днищ...
 Для кого была Революция,
 Если индеец нищ?

Не корзину под хлеб, а под водку — паром
 Получает мескито затравленный:
 Не имеющий хлеба, — имеющий ром
 Тем скорее сопьётся, не правда ли?

О Никарагуа!

Только что́ они могут об этом понять, Никарагуа,
 Правовики, для которых не писан закон?
 Разве им жаль антикварной находки времён, —
 Тайны племени неповторимого?
 Подтолкнуть — и уже невозвратного.
 Очернить — и уже только мнимого.
 Разве жаль им народа? И цвёта, и мёда, и улья его?
 Блеска испуганных глаз? Ожерелья из зуба акульего?
 Постепенно стихающих слов языка ароматного?

Думалось, мнилось; и этот индеец ушёл;
 Не я ли — в последних мечтаниях юности в путь
 проводила его?

Вроде и хуже, а вроде и легче
 Было мне от того,
 Что в Полях Великой Охоты покой человек обрёл
 И не охотится больше никто на него самого.

Радоваться или плакать, приняв тревожную весть;
 Потомки Выселенных из Вселенной на свете всё ещё —
 ЕСТЬ!

И всё ещё новозтнограф «не знает», куда их деть и отнести!
 И всё ещё всякой козьявке МЕШАЕТ ПОСЛЕДНИЙ
 ИНДЕЕЦ ТВОЙ, —

Последний полуиспанец и земледелец последний твой,
 Никарагуа!...

...Обрывок суши в воде по ўши
 Уже. Сужается круг
 Судьбы гонимой; мескито уходят в воду..
 Не надо людям «нести свободу», —
 Страшна свобода — из липких рук!

Не надо людям — бесщётных
Лозунгов зажигательных, сказок дремотных!
Я думаю так, что не надо их спаивать,
Хижины их поджигать;
Не надо «праздников искромётных»
Устраивать
Им опять

На улочках шириной в полтора вершка
Из мусора и ракушечника;
Где водоросли судорожная призрачная рука
Уже и сама, проступая сквозь волны, ловит их, —
Не хуже любого крепостника
К «новой жизни» готовит их...

О Никарагуа!
Курорт «бунтарей-карбонариев»,
Скупивших (за тридцать динариев)
Красу неоглядных земель!
Их раззолочено платие —
Им ни к чему демократия
И ни кола-гуа,
Ни двора-гуа
У тебя, земледелец Мигель, —

Истый потомок Сервантеса!
Но... кажется, я и тебя различаю неясно теперь...
И вообще непонятно: куда подевались
Все, для кого революции затевались.

1989—1990

* * *

Звёздный отблеск на оконных стёклах,
Их брэнчание в порывах тёплых.
В зáрослевом летнем запустенье —
Трепет стёкол, ветер, листьев тени...

Листьев тени, по стеклу мелькая,
По стеклу мелькая, набегая,
Мне напоминают не впервые
Пушкина рисунки перовые.

Что же вдруг они проснулись ныне,
Эти бесшабашные наброски?

Будто в рощах скачут перед ними
Мысли, их родившей, отголоски...

И они

За этой мыслью пылкой

Гонятся причудливой толпою,

Вскачь, как цыганята за кобылкой,

Как безумцы — за судьбой слепую...

Слышу дребезг я стеклянно-струнный.

Веки мне смежает сон коварный.

Ночь бурлит кудрями рощи лунной,

Получёрной, полулучезарной...

Там шумел ветвями дуб сражённый,

Как живой... На три версты светились

Три пути. Легки, бумагой жжёной,

Тени облаков по ним катились...

И как будто не было дуэли!

И тяжёлой не было кручины.

И как если бы на самом деле

Для кручины не было причины

Там, где звёзды счастье прорицали,

Где ольха помахивала веткой,

Чтобы две чернильницы мерцали

Перед чёрной лунной статуэткой.

Ставрогин и дети

Тот автор, что Ставрогина Николу
Нам вывел как растлителя детей,
Жаль, не видал сегодняшнюю Школу,
Не посетил Детсадик наших дней,

Не сведал, что таких, как он, людей
Наивных — мятежу и произволу
Теперь каюк! И книжечку весёлу —
Порно-Букварь со множеством статей

И снимков для дошкольного показу,
Жаль, не листал! Не то смекнул бы сразу,
Что понапрасну «Бесов» создал он,

Что их взяла! И что его Ставрогин
Не цепью волчьей клацает в остроге,
А... в педагоги днесь произведён!

1989

Эккермани

Когда бы, Эккерман, для лучезарной чести
 Сквозь время прошагать с бессмертным Гёте вместе
 Явились бы не Вы, а кто-нибудь другой,
 (Сравнимый мелкостью с подсолнечной лузгой!);
 Когда б на свой Олимп — на Веймара высоты
 Не Вас — кого-нибудь другого поднял Гёте
 В друзья, в советчики свои под старость лет, —
 Донёс ли бы другой до нас живые речи,
 Остроты старика? Гнев? Смех его при встрече?
 Находки для стихов? Догадки? Притчи? Нет.

Вы! Только *Вы* один достойны были чести,
 Какой не вынес бы никто на Вашем месте;
 Другой бы осмеял великие черты,
 От зависти ослеп, от гордости взбесился,
 В соавторы к творцу (посмертно) напросился
 Иль просто выкрал бы священные листы.
 По нашим временам сужу. О, не по вашим!
 Их не вернуть. А ты, о муза, ты воздашь им
 Простое должное? Иль, уж теперь, как все,
 Забудешь облаков божественные лики,
 Германских ясных утр на красных креслах блики
 И ночь? И лес дриад? — весь в звёздах, весь в росе!..

Я книгу распахну, как с музыкой шкатулку,
 Чтоб Вашу с ним найти в ней дальнюю прогулку;
 (О, здесь не упустить так важно — ничего!)
 Его больших шагов тяжёлую крылатость,
 И Ваших добрых глаз чуть-чуть подслеповатость,
 И то, как слушали Вы жадно речь его!

...Он ВСЁ обожествлял. (Жука не обезбожил!)
 Он Вам показывал места, где юность прожил,

Стол, где работал он, и, в землю врытый, стул...
Весна ещё едва курилась, неодета.
И столько тишины скопилось в рощах света,
Что Гёте произнёс: «Должно быть, Пан уснул».

1989

Марианне Мур

Пусть
Усмехнутся хмуро
Или скажут, что я — чересчур,
Но кроме
Томаса Мура
Была Марианна Мур.
 У нас её знать не желали,
 Об ней и сейчас — тишина.
 Мне выпало много печали,
 Что я её книг лишена.
Зачем судьба мне судила
О Вас так поздно узнать?
Ведь я уже всё сочинила,
На что Вы могли повлиять!
 И только уж после, вдогонку —
 Вы мне дивный выслали знак,
 Как золото — вслед паломнику,
 Которого кормят за так.

1991

«Быки» и «Юпитеры»

Основным аргументом этих догадок служила и служит барски-пренебрежительная мысль, что сын ремесленника, получивший недостаточное образование и служивший актёром в театре, не мог создать столь великоленных произведений.

Ю. Ф. Шведов. «Вильям Шекспир»

— Но где же всё-таки сын мастера перчаток,
Где недоучка мог познаний накопить?
— Что ж! Если нужен вам познаний недостаток,
То у Шекспира он имеет место быть.

Кто был в латыни слаб? Кто век знай путал с веком?
А принца-регента — с монархом? Видит Бог,
К такому хаосу маяк Науки Бэкон
Никоим образом причастен быть не мог!

Так как же нам теперь свои достроить штучки?
Как нам шекспировского авторства алмаз
Другому передать?! Однако с тем как раз,
Чтоб уж — без ляпсусов титана-недоучки?

На солнце пятна. Хвать! Дай — пятна совлеку,
Чтоб солнце знатным сдать, а пятна — мужику!

1994

«Один за всех»,
или «Все за одного»?

Пример ничтожен мой, но есть и в нём загвоздка...
Едва я выбилась на поприще Пера,
Зоилы и жрецы постановили жёстко,
Что пишет за меня стишки... моя сестра!

А за сестру — отец. Кто ж за отца-то? Мать.
А за неё, кажись, внучатый отчим тёти...
Гром разрази совсем! Ужель, в конечном счёте,
Сам за себя — никто не в силах сочинять?!

Свет зол на Авторство. Шекспиру самому,
Глядишь, то Бэкона, то Ратленда назначат,
Как второгоднику! Подтягивайся, значит,
До знатных лиц, мужлан!.. И верит всяк — чему

Угодно! Лишь в один не веря факт упрямый:
Что *сам* Шекспир писал шекспировские драмы.

1994

Каюр

Я наверно против кого-то,
Но не знаю — против кого.
Просто я нахожусь во власти
Песнопения своего.

Осуждаю?
Нет: *рассуждаю*.
Не судья, чтобы всех осуждать.
Но и, всё ж, не солдат, которому
Не положено «рассуждать».

Рассудив, кого и обижу,
Да «обидчицею» не кличь:
Просто я
ПОЮ, ЧЕГО ВИЖУ,
Как нанаец из старых притч.

А чего не вижу — того я
Просто-напросто — не пою.

Помолчи и ты, ретивое! —
Одинокий певчий каюр.

1994

Ураган без ветра

Давно, давно не бывало ветра с порывами.
 Катили тучи, трясли групповыми гривами,
 Гремели гривнами града, и снега белого
 Горстями сыпали остро...

Но ветра не было.

Так царь — с колесницы мечет в народ дукатами
 И люди верят, что будут теперь богатыми;
 Кто схватит льдистое, кто — золотое (под видом
 медного)...

В любой монете «ловили ветер»...

Но ветра не было.

Как долго не было, чтобы вдруг — да в лицо повеяло!

Была минута, когда я в это почти поверила!

А вы — не верьте, что это ветер; то был неведомый... —

Магнит ли? Радий? (Мятеж во аде?)

Но ветра не было.

А нынче к ночи вдруг зазвенело окно по-старому!

И сразу вспомнилось, как в трубе Домовой

постанывал;

Пугал — но с толком, страшал по делу, а не из прихоти!

Учил — не слушались... (Лишь рукавицей махнул

при выходе)

Дуй, ветер, вей! Вороти надежду нам, неприкаянным!

Сдуй пыль, свей скверну с вещей! Рачительным стань

хозяином,

Да не навей нам того глухого, того нелепого

Кошмара снова! — где всё готово,

Чтоб ветра... не было!

Как тихо, Господи! Потерпев кораблекрушение,

Без криков тонут... (Ведь не у каждого разрешение

На право голоса есть!) Но кто и зачем потребовал,

Чтоб ураганы громили страны,

А ветра — не было?

Я слышу...

(Прочитав чудесный рассказ Алана Маршалла «Отец»)

*...И отзвуки в мире дольнем
Слышу, донныне я слышу
И улыбаюсь невольно...*

Иван Киуру. «Старатель»

К воде ползли повозки, за которыми
Следили эвкалипты или ивы.
Товарищество
Связано с просторами,
А с теснотою — ссоры да разрывы.
Но и в просторах
(вроде столько сделавших,
Чтоб не было к побоищам соблазна),
Вдруг разгорался бой
В защиту девушки,
Которую могли обидеть грязно.
Теперь — не могут. (Крепко спят, — не вскинутся —
В игле, в кольце, в ларце, в макушке дуба, —
Все те,
Кому был ясен стих шекспировский
Про «девственность, поруганную грубо».)
Теперь — не ясен. Что такое «девственность»?
Где стыд девичий? Где мужская совесть?
Воюй за то, что и сейчас на свете есть,
А не за то, чего никак не вспомнить!
Бесчинствуй смело; на дуэль не вызовут
И в рыло не дадут: здесь безопасно!
Небось не дровосек какой безвызовый,
А что не дворянин — так это ясно.
Но в мире дольнем есть воспоминание
О лучших днях, — которыми гордится
Нерабский дух! Звенит, как заклинание,
В лучах блестит, как в колесе ступица
В мельканьи утр, внутри пути зелёного,
Великое воспоминанье это

О мощи — не для низостей рождённого;
Для счастья предназначенного, света!
Мужская честь — на страже чести дёвичьей;
Всей чистоты, всей грации — на страже!
Так было. Листья плыли по воде ничьей...
Фургоны шли... Я слышу, слышу даже,
Я и теперь как будто слышу даже:
В изножье гор с их лиственными свитами,
У розовой равнины в изголовье —
Перебирают лошади копытами
Да колокольчики бренчат воловьи,—
Те самые...
В тех далях.
В том верховье.

Начало июля 1994

Воспоминание

Мама, помнишь тот сад полночный
И черёмухи свет непрочный?
Зной стоял. До утра мы не спали —
Всё полынь молодую искали.

У соседки в горшках петунии
Огневели в воздухе мёртвом.
Всем казалось, что мы — колдуньи
И ночами — скотину портим!

Но не портили мы скотину
Ни рогатую, ни безрогу;
Это ветер путал картину, —
Пел в берёзах... Звал нас в дорогу —

По верховному соизволению
Той весенней ночи высокой, —
Недоступной закабаленью,
Беспокойной и одинокой.

1994

Есть комики с душой...

*Есть комики с душой.
Но, рассуждая строго,
Прямым учеников у Чаплина не много.*

Ключи от клуба, 1982 год

Есть Райкин, есть Никулин... И ещё
Актёры есть находчивее многих.
И... вдруг заметишь ты, как горячо
Участвуют они душой в далёких

(И столь недавних!) «Новых временах»
Невозвратимой чаплинской эпохи,
Где у кофеен подбирает крохи
Бродяга Чарли в латаных штанах!

...Ты, мания величия, враждебна
Всему, что справедливо и волшебно.
Но люди Сердца поняли давно:

Ничто так не рифмуется открыто
С величием, как срочная защита
Отверженных! И в жизни, и в кино.

31 января 1995

В ПОЛНОШНЫЙ ШАС

Сонет на опыты над русским языком

«Молочник» был, а стал «молошник».
(Пустует — вот он и грубит!)
И торжествует «полуношник»,
А «полуночник» позабыт.

И я приёмник выклюшаю,
*Ш*тоб вышказаться напрямик:
«В полношный шас по молошаю
Не шастай, шокнутый штарик!»

Когда бы вся Периферия
Заговорила через Центр,
Кто не вскричал бы: «Вот Россия!»
Но и один людской процент

На том наречье не гуторит,
Которому Столица вторит!

13 января 1995

Покажись!
или «Нечто» и «нешто»

Ну, дóжили! Включив беспечно
Себя в языковые дожди,
Пойми, арбитраушко, что «нечто»
И «нешто» — не одно и то же!

Как ты ни стой на безобразье,
Как ни алкай переворота,
А «нечто» — это значит «что-то»,
А «нешто» — это значит «разве»!

Бог весть кому актёр, художник
В испуге вторят, холодея:
«Тошь-в-тошь, «достатошно», «молошник»...

Кто ты, тиран, который нами
(В стране, свободной по идее)
Заочно вертишь, как рабами?!

Июль 1995

Вечер с бузиной

У ягод бузины не вкус, а кислый чад.
У лиственных глубин — лазоревость угара,
Как будто, истопив прохладами очаг
Июня, истопник закрыл заслонку рано!

В тех зверских кисточках — томатный зной коралла
И едкость перца есть! И — в сизых ободках
Тумана — все они краснеют, как в очках
Совиных (к сумеркам), — и огненно, и вяло.

Пресытись красками, слабеет летний день.
И детство, крадучись, опять приходит к нам.
Ну как же! Красота всегда вмещает пытку!

Ведь там, куда сейчас оглядываться лень,
Не только яркость; был на кой-то нужен нам
И жёлчный привкус «бус», наколотых на нитку!

18 мая 1995

*Сибирь**Ивану Киуру*

Красно-рыжую с бурым тайгу
Взял мороз, но отпустит потом:
Лёса бронзовый лис
Убирает хвостом
Голубые следы на снегу.

Осень леса рванётся к садам,
Краскам родственным в даях — мигнёт,
Да по снежным по тем васильковым следам
Опахалом сырым полыхнёт...

Но к чему эта ростепель вновь
Рушит заморозка филигрань?
Жаль мне красных лисиц!
Васильковых снегов!
Жаль святую рассветную рань!
Заповедную жаль глухомань...

Там Еловка — деревня твоя,
С материнскою прялкой в избе.
Или избы вдали
Аж под корень снесли,
Чтоб никто не узнал о тебе?

Там недетские думы копил,
С тайным ужасом слушал псалмы
Под соломой, слетающей с чёрных стропил...
Или все свои льды океан растопил,
Чтоб не стало сибирской зимы?

Или зря о заре серебрил
Высоченные кроны мороз?..
— Всё в Сибири огромно! На то и Сибирь,—
Помню, с важностью ты произнёс.

Ноябрь, декабрь 1996

Рисунки для чайного сервиза,
или Обиженный пастушок

Мы вроде вчера сговорились
Плясать до утра с Амариллис
На нашем Овечьем лугу?
 Так что же нейдёт Амариллис
 Плясать, как вчера сговорились?
 Я долее ждать не могу.

Я был бы, конечно, скотиной,
Когда бы с пастушкой Беттиной
С досады пустился плясать!
 Но... был бы я также — скотиной,
 Когда б не сдружился с Беттиной:
 Зачем же ей вызов бросать?

Двух песен с Беттиной не спели,
Два круга пройти не успели —
Уже Амариллис пришла!
 И, видя, что я ей не верен,
 Свой сельскохозяйственный веер
 Леандру всердцах отдала!

А он подарил ей гитару,
Перчаток пастушеских пару
И розовый зонтик при том.
 (Гитара — для драк, для огрева,
 Перчатки из кружев — для хлева,
 А зонтик — ходить за скотом.)

Весь в розах, в пастушеских бантах,
Побрёл я в сарай на пуантах
И, — пару хозяйственных цитр
Хватив о бордюр балюстрады,
Амвросии выдул с досады
Я чисто пастушеский литр.

И вспыхнул в моих подсознаниях,
Под шляпою в перьях фазаньих
Типично пастушеский план:
Леандр! Легкомысленный скотник,
До женского пола охотник,
Ответишь ты мне за обман!

Вблизи мелового карьера
В долину спускалась портьера:
Я спрятался в складках ея
И, маску достав из крапивы,
Сел ждать, чтобы вместе пришли вы,
Леандр и плутовка моя!

Ну, что ж вы? Смелее — на сцену!
А я вас не песнями встрену..
Мне трудно читать вам стихи;
Рывок, да перчатки, да маска,
Да вострая сталь из Дамаска, —
Вот то, чем берут пастухи!

Зачем ты не шла, Амариллис,
На пляску, как мы сговорились?
Почто объявилась не в срок?
А я-то! — я чтил её свято.
Свидетели — овцы, ягнята
И розы,
И горы,
И дрок!

1996

Стансы

Хвала великой прозябательной
Способности журденских масс!
Но их натуры занимательной
Я не поклонница как раз.

Я не ищуща амёбной участи.
Дожить хотела бы и я,
Но не благодаря ЖИВУЧЕСТИ,
А СТОЙКОСТИ благодаря.

Я не желаю быть комическим
Всекоммунальным существом
Из тех, что жизнь берут КОЛИЧЕСТВОМ,
А думают, что... БОЖЕСТВОМ!

Им не понять (в горячке ловчества),
Что большинство не божество
И что *надышанность* сообщества
Не есть — *возвышенность* его.

Ты помнишь, как в икру лягушечью
Филистер гофмановский влип?
Тебе бы всё — смешки, игрушки,
А человек пропал! Погиб!

Хоть отряхнулся он, как водится,
Вернулся к жизни и труду, —
Я ни к труду, ни к безработице
За этим типом не пойду.

Не принесут мне утешения
Ни вавилонское смешение,
Ни кухонный переполох.
Количественные решения
Не для поэта, — видит Бог!

Количественное клокочество
Несёт войну, разбой, недуг..
Кто забракует одиночество,
Тот и для общества — не друг.

Хвала могучей, прозябательной
Непотопляемости стай,
Но с их сплочённостью ласкательной
Совпасть мне, Господи, не дай!

Чем в общей бочке быть спасённою,
Втереться сельдью меж сельдей, —
Быть лучше — ветром унесенною
От времени и от людей.

18—19 июля 1996

Пушкин и Вольтер

Не знаю: были правы иль не правы
Античности улыбчивые люди,
Но в том, что были счастливы они,
Последние сомнения гони:
На древности серебряном сосуде
Ты не увидишь пятен в наши дни.

Искусство — отблеск счастья
Не прямой.
И лишь НЕПРЕВЗОЙДЁННОЕ искусство
Отчётливей о счастье говорит;
Смелей, прямей в рог радости трубит,
Являя нам и светлый непокой,
И весь возможный мир общности людской
Затем, что не запальчиво, не шустро,
Не переусложнённо, не краснó,
А попросту — БОЖЕСТВЕННО оно.

О, был ли счастлив наш поэт великий,
Когда, под шум древес многоязыкий,
Кумирами язычества пленён,
Он был... христианин? Но, дружный с наважденьем,
И вещим, озорным ведомый заблужденьем,
ВПОЛНЕ христианином — не был он?
Поэт, которому весна стучится в грудь,
Пока хоть так, — но счастлив будь!

Прозренья редко людям душу греет.
А заблуждение не долго длится.
Простим часы гармонии певцу;
Тому и «многобожие» к лицу,
Кто эллинских богов так близко видит лица,
Неповторимому доверясь Образцу.

Простим полуневеденье блаженных
 Воспитаннику статуй совершенных!
 Что́ вокруг него?
 Античность во плоти,
 Чьи духи осязаемы почти...
 И сладок лёгкий хлад касаний их мгновенных.

Судьба ль тебе назначила, Поэт,
 Быть одиноким даже и со свитой?
 Жить отрицаньем, но... во цвете лет?
 Безверие питать. Однако ж под защитой
 Таинственных божеств Эллады знаменитой.

Но в миг младоязычества (игрой
 Безвучной схвачен изваяний рой
 Улыбчивый...) —
 «Фернейский злой крикун»
 При них же... И настройку вещей струн
 Фернейцу приписать так хочется порой!

Твоей прохладой, мрамор ключевой,
 И свежей тяжестью листвы над головой,
 И виршей звонких записью живой
 Не знаешь иногда — кому обязан:
 Наивным грекам?
 Царскосельским вязам?
 Или сарказму радостно-кривой
 Усмешки вашей, искуситель старый,
 Гудоновский Вольтер, насмешник сухопарый?

Святой Господь, помилуй и спаси
 Людей, меж нигилизма и красы
 Увязнувших, пленясь неравной парой!
 Забыв, что дале — ад; забыв, что на Руси
 Оглядка надобна; что ментор хитроярый
 Весь круг полётов пленника следит, —

Опомнись! И спроси, доверчивый пиит:
Кто, ежели не Бог, безумца защитит?

Не поздно ли?

Тогда... Зачем так дивно веет
Теплом — ослабевающий закат
От невесомых лиственных громад,
От их цветного дырчатого мрака?
(Бывает мрак, но радужный, однако!);
Зачем ты счастлив?

Ах! Ещё успеет

Исправиться неисправимый бард!
Хоть и не Феб его накажет за азарт,
Не Пан и не Гермес, — проказливые дети,
А тот безбожный мим,
Что примешал своё изображение к ним,
Не веруя ни в них и ни во что на свете;
Ни в радость, ни в друзей, ни в стоящих врагов,
Ни в христианских, ни в языческих богов...

О! Там, где Царское, где Павловск, Петергоф
С их европейским сном, укрomным и пригожим,
Ещё не дрогнули перед лицом снегов,
Где путник всё ещё не схвачен бездорожьем, —
Легко мешает он язычество с безбожьем,
А солнечный Олимп — с вольтеровым подножьем,
Как воду и вино... И в идолах досель
Ещё равны ему Гудон и Пракситель,
Вольтер — и светлый Феб; не видит он вражды их, —
Взращённых, мнится, в родственных стихиях;
И то! — ведь лиственный *един* над ними свод:
За небожителя и леший тут сойдёт.

А ты, — доверчивый сын творческого жара,
Поклонник идолов от мала и до стара,
Вестимо, знамо, ты «язычник» не всерьёз!
Но блеск античных снов,

Но пир счастливых грёз,
 Безверия в душе твоей смягчив удары,
 Замаскирует лик надвинувшейся кары,
 Не даст отпутаться от многих тонких пут...
 И этот каменный потатчик — тут как тут:
 Рад яды расточать и старческие чары
 И жёлчный смех мешать с аккордами кифары, —
 Как будто и его в Элладе с мёдом ждут!
 И просят у него, почти как снисхожденья,
 Немного уксусу для целей возрожденья!
 Стой, пиротехник зла и учредитель смут, —
 Богов не тронь! в тебе они ВТРОЙНЕ умрут!
 Дела твои — не загляденье;
 — Вот, — прокричит людской, хотя и поздний, суд, —
 Вот верх паденья! Низ паденья!

...А годы мчатся вскачь.
 Вопросы есть? О, есть!
 И нечисть, как всегда, их за народ решает.
 И век не устаёт умам тенёта плесть.
 А для инспекции — видоков приглашает...
 Что духу времени твоё вино с водой?
 Гляди, — ещё не то ещё не с тем смешает
 Сей ветренник полуседой!..

А что же, мсьё Вольтер, твой первый ученик?
 Ты упустил его, «единственный старик».
 Держись! Тебе ещё увидеть остаётся,
 Как (словно брезгая достичь твоих седин)
 На чернорецкий снег
 Падёт ХРИСТИАНИН.
 И ХРИСТИАНСКАЯ из раны кровь прольётся.

Август 1996

Исповедь «мимозы»

Кто верит, что я «ничего не видала,
От подлинной жизни в отрыве», —
Не знает,
Что я далеко забредала
И видела почки на иве.

Я видела снег, облепивший полозья,
И зелень рассады под градом
И то, как, набычась, мотает предгрозье
Цветами, растущими рядом.

Я видела:
На дождевом бездорожье,
Где нет на рябинах коралла,
Неверная почва пружинит, как дрожжи,
А верной — становится мало.

Я видела, как собеседник лукавит —
По холоду глаз его. Эка! —
Я видела даже, как многие травят
Всю жизнь — одного человека!

«Мимозой тепличной» молва окрестила
Меня. А не в той ли «теплице»
Я видела, как замерзают чернила?
Как пишешь, надев рукавицы?

В стихах моих оранжерейность искали.
Не в этой ли «оранжерее»,
В промёрзлых углах расцветая,
сверкали
Из снега и льда орхидеи?

Что видела я, чтобы хвастать так яро?
Каких-то семьсот ограблений,

Две с лишком войны, единицу пожара
Да несколько штук выселений.

Я видела:
С неба снежинки слетали
На вышвырнутые пожитки...
Помилуйте!
Это ЖИТЬЯ не видали.
А ЖИЗНЬ мы видали. В избытке!

И прописи школьные в глаз мне не суйте,
Её восхваляя суровость.
Ступайте к другим и другим указуйте.
А нам — и диктанты не в новость.

1997

Честертон

Просили его унывать,
Молили его унывать,
Но он стоял на своём
И не хотел унывать.

Золя ему в ухо жужжал,
Что мир отменно блудлив;
Толстой резину тянул
Почти на тот же мотив:

Что мир, конечно, хорош,
Но счастью в нём — не бывать...
А он — стоял на своём
И не хотел унывать!

Просили его унывать,
Молили его унывать.
«Отстаньте!» — он им отвечал
И не желал унывать.

Просил его царь Соломон,
Молил его скальд Оссиан,
Просили — валялись в ногах! —
И Фрейд, и весь его клан.

А там уж и Старость: «Пора
Позиции, — шепчет, — сдавать!»
Но он
Настоял на своём
И не захотел
Унывать.

4, 6 ноября 1997

Техники, — как на часы с заводом,
Как на вещь прекрасную глядеть?

Принято на свете между всеми
На часы глядеть — «Который час?»
Жёлудь, жёлудь!

Покажи мне время,
Навсегда ушедшее от нас.

1 декабря 1997

Святочная фантазия

Пумперникель с Никербокером
Засиделися за покером.
Из окна у них видна была
Крыша противоположная:
Тополь, облетевший наголо,
Нёс ей снежное пирожное.

Пумперникель с Никербокером
Ели каперсы с картофелем.
В это время хлопья выткали
Крышу с дымовыми трубами,
Облицованными плитками,
Точно пряниками грубыми.

Пумперникель с Никербокером
Подрались, как шкипер с докером.
А в окне у них видна была
Та же крыша (в третьем действии),
Переписанная набело
Первой вьюгой Равноденствия.

Никербокер с Пумперникелем,
Баламуты превеликие,
Успокоились и начали
Мыть посуду после ужина.
(А за стёклами маячила
Кровля с лесенкой завьюженной.)

Пумперникель с Никербокером,
Добряки голубоокие,
Чай допили — к синим сумеркам
Под рождественскою ёлкой.
...В окна другу машет с улицы
Никербокер треуголкою.

Никербокер с Пумперникелем
Были выполнены грифелем.
Крыша — чуть была завьюжена:
На ней лесенка студёная
Серебрилась, как жемчужина,
В виде лесенки рождённая.

Пумперникель с Никербокером
Завтра встретятся за покером...

28 декабря 1997

Губернаторство Санчо на острове

Эта притча о том, как Простак не побрезговал жутью
Ненормальности друга. О том, как лукава Мечта...
Эта притча о том, как простилися у перепутья
Полоумие и Простота.

Эта притча о том, как Простак изловился «на мушку»,
Как его наградили смешным деревянным конём
И столкнули — в доспехах картонных — на остров-игрушку.
(И как БЕДНЫЙ ПРОСТАК ЗАМЕЧАТЕЛЬНО ПРАВИЛ
НА НЁМ!)

Эта притча о том, как доверчив мужик и незлобен,
И о том, как другие над ним потешаются всласть.
И о том, что никто мужику уступить — не способен
Н а с т о я щ у ю власть.

Эта притча о том, что — чем злее ылита и прытче,
Тем труднее поверить в ылитников «герцогский» род.
Эта притча о том, что... сия невесёлая притча
До глухих — не дойдёт.

Март, октябрь 1997

Родина

Лёд на берёзе подтаял чуток, —
Мшистая тень подо льдом.
Смотрится в пасмурный снежный поток
Наш покосившийся дом.

О золотые родные места!
В том подмосковном лесу
Не в переводе, а прямо с листа
Я прочитала весну...

Сослана к соснам веленьем судьбы,
К листьям берёз молодым,
Я полюбила большие дубы,
Ветер, фиалки и дым...

В сумерках серых опилки красны.
Быстро просохшие вдруг,
Щепочки светятся... Ветер весны
Рвёт медуницу из рук...

Вечер. Черёмухи выход немой.
В воздухе — с гулом — жуки.
Белые платья... Внакид — пиджаки.
Смех под гармонь...
А зимой —

Снег, перевитый на вьюжной юле,
Кровь леденящий мороз,
Толпы молящихся в солнечной мгле,
Бьющих поклоны, берёз;

Их ностальгически-нежный хрусталь,
Как бы нездешний уже! —
Коего, — словно отъехавшей, — жаль
Даже оседлой душе...

Дней протекал несжимаемый круг.
К нам не цеплялись никак
От новолуний — опущенность рук,
От полнолуний — тоска.

Разве бывали «магнитные дни»?
Что мне могло помешать
Складывать песни? Садиться на пни?
Воздухом вольным дышать?

Кольцами в омут закат уходил,
Месяцем падал на дно...
Век (не «магнитный», не «лунный») шадил
Старых и малых — равно.

Так отчего же,
Безумью под стать,
Всё исказилось вдруг?
Знать, не положено людям
Роптать,
Бурю подкармливать,
Жар нагнетать,
Плакать
И рваться за круг.

18, 21 декабря 1997

Такое впечатленье

Такой туман ехидный,
Как будто сожгли в нём резину..
Такое впечатленье,
Что в море подлили бензину,
 Что жирный блеск бензина
 Мне радугу скорчил для виду,
 Что старая дрезина
 Собой заменила Тавриду.
Какое странное море! —
Ни белое, ни голубое...
Такое впечатленье,
Что сдан Севастополь без боя.
 Неужто лиходеи
 От праведной кары заклёты?
 Такое впечатленье,
 Что крепости — ПОДЛОСТЬЮ взяты!
О, всякий плен печален,
Погибельно рабство любое.
Но *доблестных* плененье,
Но рабство *отчаянных* — втрое!
 Решусь ли оглянуться
 На шум заповедного флага?
 Такое впечатленье,
 Что льётся из глаз моих влага,
Что в мире
Нет одиноче
ГЕРОЕВ,
СВОБОДЫ ЛИШЁННЫХ.
Что нет ничего жесточе
Трусов вооружённых!
 И щиплет глаза от рези,
 Как будто попал в них и жжёт их
 Отскол от статуи Фрэзи —
 Заступницы мореходов...

Но тот не взвидит света,
Кого униженный проклял.
Такое впечатленье,
Что там, за моросью блёклой
 Есть яркое море Грина
 И Фрэзи Грант на «Бегущей»...
 Такое впечатленье,
 Что с нами Бог Всемогущий.

4, 20 октября 1997

*Лермонтов**Я русский...*

М. Ю. Лермонтов

Шотландской крови в Вас — такая малость
(Хоть капля эта дивно-знаменита),
Что вряд ли вообще до Вас домчалась,
А в жилах Ваших пращуров размыта.
Вы русский. Лермы? Но уже на пятой
Ступеньке рода (сколь бы ни блестящей)
Не остаётся крови привходящей.
Вы русский. Чистый. Вылитый. Завзятый.
Вы, — сердце обжигающий стихами
Родимыми; Вы, — в ком Отчизна дышит,
Вы — русский! Даже ежели припишут
Русейший гений, выраженный Вами,
Не этой вот махине, в Вас осевшей,
А капельке, — до Вас не долетевшей.

12 октября 1997

Золотое сечение

1

Золотое сечение

— Кто мне ответит, — спросил декан в заключение (Это должно быть известно художникам думающим!), — Что означают слова: «Золотое сечение»?

— Это, — ответил студент, не успев подготовиться, — Это — когда ваш ребёнок хамит, но ВЫСЕЧЕН будучи, Вдруг ЗОЛОТЫМ становится.

2 марта 1981

2

Учёный муж

Учёный муж — не тот, кто знает письма
Халдеев... И латынь... И наделён смекалкой...
А тот, кого жена
Порою *учит* палкой.

2 января 1976

3

Стакан философа

Если стакан до краёв не долили,
Мне его видеть — каким?
Наполовину наполненным или
Наполовину пустым?
Если мы в духе, — запомним
Этот стакан — полуполным.
Если же вдруг загрустим, —
Наполовину пустым.

3 октября 1959

4

Не подходи!

Не подходи к жаровне с лейкой,
К медведю — с тёплой телогрейкой,
А к леонардовой «Мадонне» —
С логарифмической линейкой.

Апрель 2001

5

*Современная логика
на полном серьёзе!*

Чтобы вновь развеселиться
Наконец могла и я,
За врагов моих... молиться
Обещали мне друзья!

Братцы! Если негодяи
И не стоят батогов, —
Что же вы так быстро взяли...
Сторону моих врагов?

И хоть я, — вы не сумлитесь! —
Благодарна вам весьма,
За СВОИХ врагов молитесь!
За МОИХ — уж я сама.

Апрель 2001

6

Чувство меры

Да. Стишки довольно серы.
Но, по-моему, не надо
Выдавать за «чувство меры»
Серость авторского взгляда.

Покоряясь чувству меры
И живя как будто в путях,
Трижды правы гулливеры
В королевстве лилипутов:

Если сам себя поддаться
Чувству меры не заставишь,
То, — куда бы ни податься, —
Всё — кого-нибудь задавишь!

Но святое чувство меры
И пигмей лелеет сглупу,
А такое «чувство меры»
Видно... только через лупу!

Ан — малютку и такое
«Чувство меры» жжёт и гложет:
Всё и вся — одной ногою
Задавил бы! Да не может.

1970-е

7

Искусство дружбы

Мне дружбы героическим уютом
Непросто овладеть, золотокрылым!
Дружить? Но как же?
Как Патрокл с Ахиллом?
Как Гёте с Шиллером?
Или... как Цезарь с Брутом?

Февраль 2001

8

Не горюй!

Дружище! Не горюй, что я без премий:
 В густой толпе, где всяк — лауреат,
 Неплохо: *отличиться* между всеми
Отчётливым ОТСУТСТВИЕМ НАГРАД.

6 октября 1969

9

Премия

И шум и гам, и трения и прения:
 — Позор! Позор! Художник принял премию
 Через посредство деспота, как плут!

Афина! Подивись на этих демонов:
 Они и сами добрых дел не делают,
 И деспотам их делать не дают.

1999

10

Кому судьба...

Кому судьба на шпагах драться —
 Уж за кирпич не должен браться.
 Но — с незапамятных времён! —
 Подобный тип распространён.

Ни в чём не взять ему умом,
 А только подлостью да силой.
 А норовит, чтобы о нём
 Шептали: «Ловкий!», «Умный!»,
 «Милый!»...

Но ошибаетесь, друзья,
 Не поношение — цель моя:
 Без вышеназванных трюкачеств
 Он был бы малый лучших качеств.

Как часто
 Зрителей турнирных
 Пленял бы он и ослеплял,
 Когда бы выпадов рапирных
 Пинками ног не подкреплял.

1967

11

Здравствуйте, господин учитель!

Кто нынче
 В этом мире хрупком
 Всех учит праведным поступкам?
 Священник? Истинный поэт?
 Актёр? Философ? Лекарь? Нет.
 И не декан, и не старьёвщик,
 А... НАТОВСКИЙ БОМБАРДИРОВЩИК!

Чего не повидали вроде?
 Премногих подняли на свист...
 Но вот вам — новое в природе:
 Бомбардировщик — моралист!!!

1999

12

Жалоба

Нынче в хозяйстве моём
 Долго царит запустенье.
 Где Ариаднина Нить?
 Где Золотое Руно?

Нету! Кастальский Родник
Сохнет без примененья.
Дерзкий подкидыш Зоил —
Ходит не порот давно...

1982

Посвящение

Певец растленья маленьких детей!
Накальватель бабочек на спицу!
В курортной романистике твоей
Я чую грифа! Зрю гиену-псицу!

А кто тебе сказал, что ты звезда?
Да; иногда бывает гений грубым.
Но смачным — никогда. Но красногубым,
Но масляным, но хищным — никогда.

Вернулся к нам, однако ж, Мезозой.
И где бы он тебе ни кинул «Здравствуй», —
Уж из камней выглядывает глаз твой
Под крокодилей чувственной слезой.

И уж ходить не надо за экватор,
Чтобы с тобой столкнуться, аллигатор!

Июль 1999

*Памяти Янины Дегутите**

Распахнувшая пурпур свой,
Вновь болезненно сжала
Лепестки с морозной росой
Чаша розы. Держава,

На багор навалясь, бросив рупор,
Ту страну оттолкнула,
Где до времени роза пурпур
На ветру распахнула.

Погляди! — Литва отплывает
На отколотой льдине
С тихой женщиной посередине,
Той, каких не бывает!

Её дело — стихов её свитки.
Её имя — Янина.
Скрип её заповедной калитки —
Словно звон пианино.

Погляди: под ноябрьскую тучей
В океан, полагаясь на случай,
Вильнюс мчит с ускореньем!
Сообщая холодный, горячий,
Водяной вкус — кореньям;

Всем кореньям, куреньям, соленьям,
Спящим в каждой квартире
(Дух крысиной кладовки
С оленьим
Силуэтом на сыре).

* *Янина Дегутите* — классик современной литовской поэзии.

Дух невольничьих трюмов (где трюфли
Не растут) — колоссален!
Стенки трюмные влагой набухли...
Но и льдины уж нет.. Пересядем

Под обноски снастей не поющих,
Парусов не надутых...
Мчат пловцы промеж бурь вопиющих
В те края, где не ждут их.

В неисправных бесправных просторах
Ничего им не светит.
Трюмных крыс, на предательство скорых,
Там, как родичей, встретят.

Но не нужен там яшень карминовый,
Серых башен камень наследный;
Там не надобны: ни соловьиный
Саломей* напев, ни Янины
Стих последний и хрип последний.

1990, ноябрь, декабрь 2000

* Саломея Нерис — другой классик литовской поэзии; старшая современница Янины Дегутите.

Спасибо за осень с кудрявой травой.
За греющий свет кирпичей под листвою.
За строчку из «Аннабель Ли».
За солнце у края земли.

За первые звёзды, зеркально-гранёны.
За ветер... За ясеня лист обронённый...
За то, что минуту вернуть
Нельзя. А вернув, — обмануть
Нельзя. Спасибо за осень!

1974, 2000

Гимн детективу

Люблю толковый детектив!
Где рыщет ловкий коллектив
Сыскменов! Где лежит, шикарен,
На нежном бархате — алмаз, —
В лучах, — как в иглах дикобраз
Или как палица с шипами...

Нет! — как морозная звезда
В Рождественскую Ночь! Когда
Метель, как терние, колюча;
Когда со снегом, с талым льдом
За Лестрейдом влетает в дом
Сплошных упущенностей туча...

Люблю, когда на Бейкер-стрит
Ленивых мистер Холмс корит
То за одно, то за другое...
(Вот чей высокомерный вид
Не спесь дурацкую таит,
А преднамеренье благое!)

— Взгляните, доктор Ватсон, сэр,
На это блюдо, например;
Что скажет вам его каёмка?
— В ней тоже прячется злодей?
— Нет. Но для вдумчивых людей
Любая вещь — наукоёмка.
В наружной простоте своей...

Часы летят... А мы читаем...
Что делать, если попадаем
За то у снобов под клише!
Мы не художники Монмартра,
Мы не поклонники поп-арта,
Но детектив — нам по душе.

Чего ж мы ищем в этих книгах?
 Давно освоюсь в их интригах,
 Что видим там? Всего скорей —
 Те перекуры в Скотленд-Ярде
 И то, как ночью на бильярде
 Лежат лучи от фонарей...

Не кровь убитых нас влечёт,
 Не кровь пугает. Бойся тот,
 Кто к преступлению способен
 (За что и сыщиков клянёт)!
 А наш — беспечен и незлобен
 К таким историям подход.

Мы знаем, что НЕ МЫ убийцы,
 НЕ МЫ — лжецы и кровопийцы;
 Хоть и грешны по мелочам, —
 Мы в этом смысле бьём баклуши.
 И жертв замученные души
 НЕ К НАМ приходят по ночам.

Вот почему и в детективах
 Мы верим в сыщиков учтивых,
 В бесстрашных праведных судей, —
 В мир, где инспектор неподкупен,
 Преступник — ЗНАЕТ, что преступен,
 Злодей — НЕ РАД, что он злодей!

Где чёрное, промежду делом,
 Ещё не называют белым.
 Есть глупость. Но ещё нигде
 Не выдают на том этапе
 Фигуры «Без порток, а в шляпе»
 За «Обнажённых в канотье»!

Мир, где прослоечное тесто
 Сидит в квашне и знает место.

Где ни единый идиот
Ни за какие «перестройки»
Певичку и певца *прослойки*
«Народными» — не назовёт!

Где типов масляных и сальных
Пока не числят — в колоссальных
Героях Шпаги и Пера.
А в плагиаторах нахальных —
Не чтят колоссов эпохальных,
Отлитых сплошь из серебра...

Не перешло ещё в методу —
Чтоб напроказившим — свободу,
А жертву — накрепко связать!
Для персонажей детектива
Добропорядочность не диво.
Но... что об Авторе сказать?

Отстав от Диккенса во многом,
Он тоже КЛАССИК перед Богом;
Клеймит нечестье,
Чтит Закон,
Часы по классикам сверяет.
И матюгов не повторяет
За уголовниками он.

А нынче — швабрам голос даден,
По мненью коих... «кровожаден»
Любой, кто требует Суда!
Самих убийц — не числят злыми.
Как будто кровь убитых ими
Не кровь, а просто так... вода!

Ты, отводящий тяжесть кары
От рассыпающих удары,
От исполнителей *расправ*,

Не ты ли (что всего ужасней)
И есть заказчик ЭТИХ казней?
И потому — чем безнаказанней,
Тем лучше для тебя? Ты прав!

По-своему, по-людоедски.
И в полном смысле — по-мудрецки.
(Ведь, если человек — мудрец,
То это, кажется, надолго?)
Но ты мне гнусен, балаболка,
«Свободолюбца» образец!

С открытой казнью споря гласно,
Ты притворяешься напрасно:
Ты всё равно её творишь, —
Но по секрету (в ночь и в темень!),
Казнь *тайную!* Зато — над теми,
Кого ты с а м приговоришь!

...Люблю старинный детектив,
Где, незадачлив, но правдив,
Грустит в курилке сыщик младший
(Поди — профессию освой!),
Где нарушитель, — ангел падший,
Позор оплакивает свой...

*Декабрь 2000,
январь и февраль 2001*

Просперо

Действие пьесы Шекспира «Буря» происходит в Южной Америке. Судьба это или случай, что два столетия спустя после кончины Шекспира — именно американец — (богатый спортсмен) первый усомнился в авторстве поэта над его произведениями? А ведь с тех пор и пошло...

Господи помилуй!

Не рыцарю, не старцу-джентльмену
(Такого нет у нас ориентира), —
Кому? Американскому яхтсмену
Поверили, что «не было Шекспира»!

Яхтсмен — он что? В улыбке рот ощерить
Умеет. В бицепсах и в гонках дока.
Но мы-то? Мы-то?! Глупо и жестоко
Не верить в Бога, а в яхтсмена — верить!

От горизонта и до горизонта
Обшарить Шар — и... не найти умнее
Себе историка! А он-то, он-то —
И есть не кто иной (дублёна шея!),
Как — тех пещер воспитанник блестящий, —
Сам Калибан! Душе Просперо — мстящий.

19 января 1999

Происхождение басен

Как в эпосе — не знаю. А в сонете
Не обороть проблему документов:
Приписанных в большой дали столетий
К семье Норфолков или к роду Кентов.

А мы-то — что ж? Не путались в макетах
Бумажной лжи? Не угождали в сети
(В каком-нибудь там даже сельсовете)
Поддельных справок? Или мы в навете

Не вязли с негодующим бессильем?
Так что ж и думать о старинных плутах?
Ведь знали же: *Гильермо не Уильям,*
А Шакспер — не Шекспир! Но, справки спутав,

Свидетелей ушли... И приступили
(*Столетье выждав*), — к басням о Шекспире.

16 июля 1998

Путяники

Возможно, что имя Шекспира, ещё юным отбывшего в Лондон, давно изгладилось из памяти сменяющихся властей Стратфорда, тогда как торговец Шакспер — был всегда у них на виду. Что и помогло более образованным путяникам, завистникам, наслышанным о лондонской славе Шекспира, — в их стратфордских плутнях.

Приходят к мэру, жалобно-суровы:
— Поэт Шекспир скончался от недуга!
— Скончался Шакспер? Господи! Да что вы?!
Но разве он... поэт? Гонцы друг друга

Тихонечко — давай толкать локтями...
— Да, да! Наш Вилли был большим поэтом.
— Гильерм — поэтом?! Что же я об этом
Не слышал ничего? — Сэр, мы и сами

Не вдруг узнали; тих был, скромн Шакспер.
— Гм... Скромн? Тих? А говорят — кушак спёр...
Но если скаред был силён в науке...

— Да, сэр, да, да! И просим, как даянья,
 Как снисхожденья, — чтоб (на изваянье)
 Ему перо и книгу дали в руки!

13 октября 1998

Страшная месть

Шекспиру монумент — накладка лжи на ложь;
 Ватага мстительных поддельщиков решила,
 Чтоб не был до конца на Шакспера похож,
 Но в чём-то был похож чуток и на Шекспира.

Заказ художнику: пускай соединит
 (Вот был бы апеллес у нас по стенгазетам!)
 Пропахший солодом, знакомо-общий вид
 Гильермо Шакспера — с Уильяма портретом...

Портреты гения... исчезнут! Но тогда
 Добыть его портрет — не стоило труда
 И злую вылепить с него карикатуру;

С тетрадкою, с пером, как водится, в руках...
 Чтоб смычке Золота и Солода в веках
 Грядущий геродот обрадовался сдуру.

15 октября 1998

*Санет
 на странное обсуждение
 и даже... осуждение (!)
 самих портретов Шекспира*

Успех картин, полёт мазков цветущих
 Отнюдь не от натурщика зависит:
 Халтурщиком бывает — не натурщик;
 Халтурщиком бывает — живописец!

Так не пеняйте ж вы творцу «Макбета»,
 Что «не похож» он на своём портрете
 Сам на себя! Как знать и вообще-то,
 Кто на кого *похож* на этом свете?

И есть ли сходство у Оригинала
 С Изображеньем, сделанным не плавно,
 Коли и ВСТАРЬ не вся округа знала
 Его в лицо? А нынче — и давно?

Не каждый Портретист хорош. Однако
 Сие не значит, что Натурщик — бяка.

26, 27 апреля 2001

К неудачным портретам Шекспира

Уж так ли грешен портретист?
 И уличать ли в нём «мазилу»,
 Коли трудился, взявши кисть,
 ПО ПАМЯТИ? И через силу?

Спасибо парню и за «китч»,
 Когда не потрафлял зоилу,
 Что, — сам вогнав Певца в могилу, —
 Ему такой отгрохал «спич»:

«Пил». «Браконьерствовал». «Стяжал».
 «Буянил». «Грамоте не знал»...
 Но, в довершение измены,

Винить Певца и в том, что он
Неправильно... изображён?!
 Уж это слишком, джентльмены!

11 августа 1998

*Сказка за сказкой
и неувязка за неувязкой!*

К Шекспиру мы теперь — с простой,
Как чих, придиркою. Послушай:
Твои «веронцы» скачут сушей
Там, где пристало — плыть водой!

Не изучал, видать, рельеф-с?
Не знал Италии прекрасной,
Как знал её Камзол Атласный
И «настоящий автор пьес»?

Но если Ратленд — автор пьес,
То КТО ЖЕ... в их повинен ЛЯПАХ?
Но если Ратленд на просвет
Латинян знал; без шляп и в шляпах,

То... КТО ЖЕ СПУТАЛ (вот так да!),
Где у них суша, где — вода?

21 мая 2001

Италия — и далее!..

Знаток хронологических созвездий,
Великому Шекспиру глядя вслед,
Не знает — где он был с десяток лет,
Но «знает», что... в Италию не ездил!

А что, коли, надувши мудрецов
(В года, как раз пропущенные ими),
Он побывал и в Генуе, и в Риме,
И в Падуе? (*Хотя в конце концов*

Мог о Вероне знать лишь понаслышке?)
 Искусство! Что не входит в твой объём?
 Там — личный опыт, здесь — прозрений вспышки,
 Там — сказка, здесь — история живьём,
 И просто — *память* о чужом рассказе,
 Скрывающем ошибку в каждой фразе.

1998

Двойные стандарты

В ответ на заверения, что Шекспир якобы «не мог» самолично написать несколько итальянских фраз, потому что... — по утверждению тех же — «не бывал в Италии!»

Невежественная певичка (средний класс),
 Желая расцветить репертуар простецкий, —
 И та — заучит враз пять-шесть расхожих фраз
 По-итальянски... По-испански... По-немецки...

И если, скажем, я задумаю рассказ
 (А лучше — водевиль) «Стамбульские невестки», —
 Неужто я рвану туда, где носят фески,
 Чтoб черпать реплики внутри турецких масс?

За что же ВАМ, о сэр, велят: свергаться с гор,
 Пускаться вплавь, пешком пересекать просторы,
 Чтoб ЛИЧНО выяснить (к восторгу снобьей своры),
 Как произносится за Альпами — «сеньор»?

Вот ты, зоил, скажи: готов ли, с картой-планом,
 Ты рифму к «щёлочи» искать за океаном?

Ноябрь 1999

* * *

Классическому гению за то, что
Вам горьких слов успел наговорить,
Не надо мстить так вязко, так дотошно;
Он говорил не с вами, может быть!

Небрежно целясь в лес или скалу,
Стрелок не чаял, дерзкие пострелы,
Что вы ему подставите под стрелы —
Кто лоб, кто глаз, кто пятку, кто — скулу.

И где подставите? Внутри времён!
За гранью дней! Да вы чего, ребята?
Да вы не принимайте на себя-то!

Но лезет в драку новый легион, —
Могученький, хоть и на ножках слабых,
И мелкий — в титанических масштабах...

1980

* * *

В инкогнитах, почти всегдашних,
На полусогнутых крадясь,
В плащах красивых, в масках страшных,
В интригах бурных отродясь, —

Подстраивают струны лир
Лихие лорды между делом,
Поют... И мнят назваться в целом
Незванным именем: Шекспир.

Зачем?! Ведь **НЫНЧЕ** — все зоилы
Его считают... «дураком»!
«Бездарностью»! «Ломовиком»!
Не отстают и от могилы

Певца! Зане — им «честь» велит
Изгадить мрамор скорбных плит!

8 июля 1998

Италия и Шекспир

«Вот личность, о которой, — ты вскричал, —
Нам ничего, по сути, неизвестно!»
— Тогда почём ты знаешь, молви честно,
Что он... Италию не посещал?

Раз «неизвестно», значит, неизвестно!
Раз «ничего», так ничего! Начал —
Концов не видя, брось бросать причал
В трясину! Человеку, повсеместно

Нигде шнему — верни свободу ног:
Бывать где хочет! Всем твоим ищейкам
Нос (в Риме) натянуть! В «пропащий» срок —
Доучиваться в Кёльне... Плавать с Дрейком...

Стран — тьмы! Но знай, что мир певцу открыт
И в той одной, где Вымысел царит.

12 июля 1998

На сказку Гофмана «Золотой горшок»

В своей филистерской норе
Сидят, как с братом брат,
Конректор Паульман и ре-
гистратор Гебрант.

И регистрируют они,
И конректируют они
Ужасных адских шельм,
Которых много в оны дни
Любил студент Ансельм.

Не грех ли — жить в порожней пре
И унижать талант,
Конректор Паульман и ре-
гистратор Гебрант? —

Так вопрошала я порой, —
Зато студент Ансельм — герой! —
Так заключала я.
В душе
Стояла я горой
За странность бытия.

Казалось мне о той поре,
Что лунный свет бранят
Конректор Паульман и ре-
гистратор Гебрант.

Зато теперь, когда и пень
Поэт! — и все, кому не лень,
В безумцы подались, —
Я сокрушаюсь каждый день,
Что сны шальных — сбылись!

Ура Шелкунчику! Но той
Утопии конец
Грядёт лихой,
Где кот — «плохой»,

А коршун — «молодец»;
Где к Серпентине на поклон
Студент мотаться принуждён;
Запутался в зверье! —
На птичке мог жениться он —
Женился — на змее!

Что, Архивариус-хитрец?
Где Золотой горшок,
Уж там и Золотой телец,
Должно быть, недалёк?
 Но не участвуют в игре,
 Не держат кучами в ларе
 Мидасов провиант
 Конректор Паульман и ре-
 гистратор Геббрант.

Как пробужденье на заре,
Как струнный холод вант, —
«Конректор Паульман и ре-
гистратор Геббрант», —
 Как знак, что выход я найду,
 Мне нынче в сказкином чаду
 Их имена звучат!
А ты, Ансельм, рождён в аду
И возвращайся в ад!

23—24 сентября 2001

Старинному критику

Белинский ставил в вину Жан-Полю чрезмерную уступчивость... немецкому своеобразию, упрекая его за сентиментальность характеров... за романтизм в душе.

Адмони

Потрафив Рейнеке и Маргарите,
Позволив Гёте петь на рейнский лад,
Зачем же вы ЖАН-ПОЛЮ не велите
Быть ТАК ЖЕ — немцем с головы до пят?

И Гофман-то у вас не виноват
В немецкости, в берлинском колорите:
Как бы о реющем космополите
О нём вы говорите. Странный взгляд!

И между тем, как по льняному полю
Германских муз — германского шитья
Цветы пестрят, — лишь одному Жан-Полю
За это не даёте вы житья!

Неужто он такой достоин платы
И грешен в том же, в чём другие — святы?

24 октября 2001

Ислам

Исламу доподлинному исполать!
 Нормальный Ислам до сих пор
 Ещё никогда не стремился взорвать
 Страсбургский собор!
 Своих мусульманин держался идей,
 Закону служил своему,
 И образы Будды — до нынешних дней
 Ничем не мешали ему.
 Так что же его *переучивать* стали
 Пришельцы из той оскандаленной дали?
 Чего не просил — за него исполнять?
 Народы пасти... Самочинно детали
 В колёсиках солнца — менять!!!
 Ужели их всех медресе воспитали?
 Корана — шакалы — в глаза не видали.
 «Восток дело тонкое», да не для них...
 А ты, правоверный, завтра, не дале, —
 Загинешь заложником свор подрывных
 И «гуру», — охавших ране
 Священный классический стих!
 Но, путь потеряв в ваххабитском тумане,
 Угрозу и ты усмотрела в Коране,
 Земля? Ты всё гредишь? Проснуться пора:
 В Европе, — в её опрокинутом зеркале,
Евангелие пересмотру подвергли!
 А там — подменили *Коран!*
 Ты видишь, как всё СОВПАДАЕТ покуда? —
 Христос — «неугоден»! Разжалован Будда!
 Ан — вот и Аллах разонравился «гуру»
 (И людям, что «гуру» поверили сдуру).
 В редчайший пустынный колодец — не плюй!
 Не с Богом воюй; с *демагогом* воюй,
 С *подлогом* воюй, баламут!
 Зачем на Ислам ополчаться? Ослам
 Понятно, что воду мутит — *не Ислам,*

А люди — никак не поймут!
Мы пили коктейли из правды и лжи,
Мы видели многих пустынь миражи,
Мы сами размножили их тиражи,
А всё ещё нам невдомёк,
Что есть у всего и у вся — двойники,
Которые пишут за нас дневники,
Которые сталкивают материки,
Которые травят Восток!
И рвут, и кромсают кромсанием рьяным
«Святое писание» вместе с Кораном,
Чтоб, Западу вздыбленному под стать,
«Продвинутость» — глыбе Востока придать.
Но «Запад есть Запад, Восток есть Восток,
И с места они не сойдут».
А коли сойдут — ни за грош пропадут
И друг друга в веках не найдут.
Что ж. Если их звёзды закатятся дружно,
То это, наверно, кому-нибудь нужно?
Не зря же, — лаская «отдельную личность», —
Мятежные стаи жрецов
Так возненавидели СВОЕОБЫЧНОСТЬ,
Что с целых народов стирают, — сдирают! — ЛИЦО!
Им «личность» важна? А какие там «личности»,
Когда не останется своеобразности?
Всего-то и толку: с натурой порвав,
Раздать одинаковым маскам — права
За то, что безмозглы! За то, что безлики!
За то, что под клики,
Искусственно стравленных ими задир,
Нацелясь изгадить Зенит, испохабить НаDIR, —
Убили, с орбиты свели,
С карты Космоса стёрли — великий,
Единственный и прекрасный,
Таинственно-многообразный,
В часы Вдохновения Господом созданный, мир!

11—21 ноября 2001

Его мотивы

Памяти Гейне

Ботфорты бы мне — Скороходы!
 Скорей, через горы и воды,
 Помчал бы я, с ветром играя,
 В края, где живёт дорогая.
 Я видел её в сновиденье:
 В обиде, в беде, в изможденье...
 И, в силу бывшего знакомства,
 Простил ей всё вероломство.
 ...На палубу лёгкого судна
 Ступил я неслышно... Как чудно
 Его относило волною!
 И снова — ОНА предо мною!
 Пейзажами
 Быстро пейзажи
 Сменялись на людях...
 Меня же
 Прекрасная дама так мило
 У ног своих сесть пригласила!
 Я стал уверять её с жаром,
 Что верен обманчивым чарам...
 Что скучно в Лапландии людям...
 Что скоро мы в Индии будем...
 Навстречу неслась деревенька
 Вся в зелени майской...

 Давненько

Расстались мы оба со светом.
 И сами не знали об этом.

Февраль 2002

Тиршество

Не только вешняя фиалка
В Элладе сладостно цвела,
Но иногда и аморалка
Элладе свойственна была.

А мы привыкли прибедняться,
Свою природу унижать,
Чтоб на фиалку не равняться,
Но аморалку — поддержать!

В глубь незапамятного века
Шагнув на свет Искусства грека
(Какой чудесный променад!),
Но взявши на вооруженье
Не творчество, а разрушенье,
Не Красоту, но — разложенье
Распутных празднеств и менад,
Мы повторили бы Античность,
Но, только, разница одна:
В ней пламенела симпатичность.
В нас — отвратительность видна.

Венчай же нас, пацан, венцами
Из лучших роз! Удрал, дурак?
Так увенчаемся же с а м и!
Мы олимпивцы — так и так!
Мы перепели бы Орфея
(С той разницей при сходе в ад,
Что он вернулся без трофея,
А нас — не выпустят назад...)
Эван эвоэ! Дайте чаши!
Где наши всё-таки венцы?
Невольник Фирс, — где тирсы наши?
Где ники? оscarы? тельцы?

Не прерывайте пир во время...
Чего? (Но это не по теме!)
Под миллиард подайте кружку!
Чем милостей от Феба ждать, —
Айда — увенчивать друг дружку
И грешным золотом награждать!..
Споём про грецкий променад,
Про аморалку, про менад,
Про мощный хор без Корифея
И про Элладу без Орфея!
(Он слишком верен, слишком чист.
Он Грецию не выражает,
А тяготит и унижает!
Пора поднять его на свист!)
Эван эвоэ! Дайте чаши!
Где наш трагический венец?
Где эллинство? Где тирсы наши?
Где ФИРСЫ наши, наконец?!
— Фирс болен. Голод и озноб.
Он хлеба не видал полгода.
— А мы с утра не ели мёда:
Неси ж нам сладкое, Эзоп!

... То глуше клики, то звучней...
А мне казалось, мне сдавалось,
Что пиршество не прерывалось
«От Ромула до наших дней».

Март, 2002

На приватизацию русского леса

Страна сгорела, но не вся.
 И решено в итоге
 Сдать поджигателям леса
 В награду за поджоги!
 Рать думская не может, чтоб
 Вконец не осрамиться,
 И вору,
 Вместо пули в лоб, —
 Страну отдать стремится!

Кто в силах Западу пропить
 Бор, обращённый в брёвна?
 Кто в силах заросли скупить?
 Неужто — мать Петровна?!
 Тогда, когда всё дело здесь
 В количестве «лимонов»?
 Знать, понапрасну «Русский лес»
 Писал старик Леонов.

Как позабыться? — плачет мать;
 Сынка в Чечне убили!
 ...Пойти бы в лес — грибов набрать, —
 Да лес огородили!
 В стране надуманных гербов
 Петровна прозревает.
 В углу
 Корзинка для грибов
 Ей душу надрывает...

Вот нам и сказка про гуся!
 Отдать, на радость бесам,
 Тому и виллы и леса,
 Кто жёг деревни с лесом?!

Народу — гриб сорвать нельзя.
Всё можно — для Ылиты!
Страна разграблена. Не вся.
Но нет у ней защиты.

Сентябрь — ноябрь 2003

Неслышимая сирена

«Гибель “Титаника”» — это не мистика.
 Но, к сожаленью, документалистика!
 Ужас доподлинный. Ночь — настоящая.
 Прорвенно и не по-мелкому льдистенько.
 Но, перед линзой, за чашечкой йогурта
 Млея, улыбку тая сумасшедшую, —
 Что ж ты так жадно глядишь на дорогу-то,
 Стольких людей никуда не приведшую?
 Да, стариканы, девицы и отроки,
 Ран вы уж больше ничьих не встревожите.
 Было — да кануло в Лету. А всё-таки
 Что ж вы никак **НАГЛЯДЕТЬСЯ** не можете
 На беспокойное, на безысходное?
 В чём-то и с нашими бедами сходное?
 Что распяляете Киноимперию —
 Множить и множить за серией серию?
 «Гибель “Титаника”» — это не мистика.
 Не развлекаловка. Не беллетристика.
 И одного бы хватило сценария —
 Вспомнить невымышленные стенания
 В море... Но множится «Гибель “Титаника”»,
 Не иссякай, пассажирская паника!
 Чаше тоните, ребята! — для зрителя
 Крик ваш последний — заманчивей пряника!
 От состраданья давно ль исцелились мы
 К бедной планете, столь многое вынесшей?
 Лучше слезой обольёмся над вымыслом,
 Чем над реальностью: прошлой ли, нынешней...

Ноябрь 2003

Троянская конница

I

Министерский уровень — 2003

*Моя твоя не понимает:
Твоя бежит, моя — стреляет.*

Из фольклора

Кому-то нравится конфета.
Кому-то нравится навоз.
« — Айда внедрять и то и это! —
Министр культуры произнёс.

— Нам трудно *равенство* принять, —
Приводит нас оно в свирепство!
Но Чистоту и непотребство
Приказываем — *уравнять!*

И так как чистеньких эпоха
Быстрее смелет в порошок,
Забудем, что такое плохо
И что такое — хорошо.

А телезритель пусть хоть лопнет.
Моя нальёт — твоя потопнет».

23, 24 марта 2004

II

Заговор обречённых

Никого на свете не дичася,
Телебосс распорядился тут
Блуд нормальный нам казать до часа,
После часа — ненормальный блуд.

От апломба лопаюсь вотще,
 Кротких не приемля нареканий,
 Негодяй «забыл», что на экране
НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ БЛУДА ВООБЩЕ!

О ч а с а х поспорив, мы ему
 В остальном и в главном — не мешаем;
 Телезритель, душечка, внушаем —
 Сам не помнит, зомби, что к чему,

Вежливо поникнув головою
 Под забывчивостью круговую...

24 марта 2004

III

Гнев телезрителя

Разобьясните мне в словах толковых:
 Как сделались мы *швалями* такими,
 Что — под предлогом равенства альковов
 С экрана ПРЯМО В НОС нам тычут ими?!

Пусть будут равными; пусть в деспотизме,
 В неравенстве пусть лопнут целой ратью;
 Должна ли вся страна пред телелинзой
 Сидеть фактически как под кроватью?!

У смысла отвоёванный со злобой,
 Здесь геям час отводится особый
 (В ущерб о б ы ч н ы м дряням, не эстетам).
 А нам едино — гейши или геи;
 И тех и этих — гнать в четыре шеи!
Стыд отменён? Когда? Каким декретом?

26 марта 2004

IV

Троянская конница

*Уж не Троянский конь, но, трижды окаянская,
Въезжает в город конница Троянская!*

2001

Разбулькался скорбей буржуйских чан
Среди эфирных волн. Какого ляда,
Зануды, вам от слушателей надо, —
Чтоб гнать слезу в их продранный кафтан?

О призванные сеять Просвещенье!
Зачем — на комфортабельном посту —
Вам стряпать пьески — только про смещенья
В органике? Про блуд? Про наркоту?

Вы думаете, сея фальшь и порно,
Что это никому не тошнотворно?
Где кончится ваш чёрный многотомник, —
Яд, сопли, плач богатых, злость, елэй?
...Я выключаю радиоприёмник;
Без «развлечений» как-то веселей!

14 августа 2004

БАСНИ

Боже меня упаси как-либо критиковать (а тем более «подправлять»!) гения русской басни Ивана Крылова! Разве — мне вдруг захотелось бы собственным примером проиллюстрировать его беззакатный шедевр «Слон и Моська»? Нет, увольняюсь!

Другое дело, что у некоторых (очень отдельных) крыловских басен есть как бы два входа: один парадный — прямой и несомненный, а другой — боковой: дверца, совсем небольшая, но зовущая рассмотреть идею... как бы это выразиться? — с другой стороны. Этой-то боковой дверью и воспользовалась я — почти нечаянно и на краткое время. В надежде, однако, что великий баснописец посмотрел бы на это сквозь пальцы (мало ли видывал он шутников, подобных нам!). Тем более что к БОЛЬШИНСТВУ его работ ни у кого уже наверняка подступа нет и, по-видимому, не будет.

Действительно, в основной своей доле его басни неуязвимы. Нет никакой возможности (оставаясь порядочным человеком) переделать наоборот, к примеру, такие, как «Волк и Ягнёнок», «Осёл и Соловей», «Демьянова уха», «Квартет», «Мартышка и очки» и многие, многие другие... Невозможно перевернуть сентенцию: «Кто знатен и силен да не умён, так худо, ежели и с добрым сердцем он» или напоминание: «Мы корни дерева, на коем вы растёте». Невозможно усомниться в том, что «Волк, евши,

никогда костей не разбирает» или подойти с другой стороны к замечанию: «Про взятки Климычу читают, / А он украдкой кивает на Петра»... Ах, «с другой стороны»? Не получится! Ибо есть вещи, у которых просто НЕТ другой стороны.

Июнь 2004

Автор

Стрекоза и Муравей

Расторопный Муравей
 Проработал лето цело.
 — Ты бы мне теперь попела,
 Стрекоза весенних дней!
 Подарю тебе за это
 Плащ сиреневого цвета,
 Связку бус, карандаши, —
 Только спой мне и спляши!

— Что же ты, хозяин, ЛЕТОМ
 Не просил меня об этом?
 Аль не ты ещё весной
 Насмехался надо мной?!
 Если осень крылья студит —
 И Комар плясать не будет!
 Кто лучом не обогрет,
 У того и песен нет, —

Стрекоза ему в ответ.

— Не прельщаюсь я дарами:
 Хороши, — да что мне в том?
 А придёт зима с ветрами —
 Ты меня не вступишь в дом.

1970-е

Снова Кот и Повар

Тому, что Повар сей не бессловесный скот,
 Что речь его красна, свободна и логична,
 И что стряпню его так ценит умный Кот —
 Я не нарадуюсь обычно!

Мне нравится, что здесь не применили власть;
 Что Васе курицу позволили украсть,
 Что отнимать её никто не торопился...
 Ах! — не такая уж напасть,
 Что человек сверкнул и высказался всласть,
 А Кот недурно подкрепился!

Мораль. Будь это всё не так,
 Будь Васька-кот не плут, а Повар — не простак,
 И Повара бы не было опасней,
 И повода бы не было для басней.

Январь 2003

Кукушка и Петух (Новая версия)

Давайте говорить друг другу комплименты.

Б. Окуджава

Петух Кукушку хвалит? — не беда.
 Кого ж ему хвалить? Уж не врага ли?
 Она ему не делала вреда.
 А мы её достаточно ругали.

Кукушка тоже хвалит Петуха.
 Но не за то, что хвалит он Кукушку,
 А, зная, за то, что он не лил пока
 Расплавленный свинец ей на макушку.

Ни сахарить не надо, ни солить:
 Суждение должно быть беспристрастно.
 Но если нас преследуют всечасно, —
 Нам хочется безвредных похвалить.

Ноябрь 2003

«Да ладно! Ничего...
Что уж такого в ней особенного было?
Каменья да былё!
Кривой воспользоваться он не сможет
пашней...»
Так утешалась я в своей потере страшной,
ЗАВИДУЯ СЕБЕ И ЗАРЯСЬ НА СВОЁ.

Давайте занавес! — уходим за кулисы.
С той сцены, где подчас не только лисы,
Но и честной певец, парнасским сёстрам
брат,
Вдруг скажет: «Был хорош
Да зелен виноград!»

25 октября 2004

Мчат — фужеры налить —
за вонючий стриптиз — до краёв...
Алчет крови безвинной —
зачинщик собачьих боёв...

Вот что значит,
когда в «гениальность» впадают «умы»!
Тут уж пир — не ВО ВРЕМЯ чумы,
а ВО ИМЯ чумы.

Им Кассандра — ничто.
Им посмешищем — Лаокоон;
(В змеях вязнущий, —
вязнет теперь в непристойностях он)...
«Близок день —
и погибнет священная Троя» — был глас.
После вас — хоть потоп, говорите?
А если — ПРИ ВАС?

2004

Насчёт «новых русских»

Среди красавцев криминала
 Я мало **НОВЫХ** лиц видала.
 И **РУССКИХ** тоже что-то мало!
 Чай, разбрелись туды-сюды?

Но либералы
 «Новых русских»
 Честят на взгорьях и на спусках.
 И «патриоты»
 «Новых русских»
 Готовы клясть на все лады.

Неужто русский в деньгах первый?
 В грабительствах — железнонервный?
 Неужто — самый характерный
 Из призванных предпринимать?

Ой ли! Не зрю таких нигде я.
 Так в чей же медный лоб
 Идея
 Ударила: за **БОГАТЕЯ**
 Народ гонимый принимать?

Так, значит, именно у русских —
 Круиз? Бургундское? Закуски?
 (— Голь! Вам сарделек? Вам капустки?
 Бомжи! Вам сёмги не подать?)

— Нет: лучше — консоме с пашотом.)
 Вопрос хотя бы к «патриотам»:
 Откуда столько «новых русских»,
 Когда и старых не видать?

И что за выдумки такие,
 Что обездолена Россия?

Об чём, народные витии,
Раз всё «о'кей», — шумите вы?

Где сыты пристяжные клячи,
Чай, коренные-то — тем паче?
С ОБЖОРСТВА мрём, видать? (Иначе
Не отдали б Москвы?)

Да кто ж мы? Выросшие в холе?
Сплошь «новенькие»? Где-то в поле
С луны свалившиеся, что ли?
(Отколе с а м и, господа?)

Бестактно, гости дорогие,
Звать «новым» — РУССКОГО В РОССИИ!
Зачем? Какие-никакие, —
Мы были здесь — в с е г д а.
Мы — «новые»? Как для злодея
Разобъяснить, что он — *новее*?
Как лиходею втолковать,
Что нечестивой жирной шельме
Грешно сидеть у нас на шее:
Сто лет сидеть у нас на шее
И нас же... «лодырями» звать!

...А если россы так богаты, —
Что ж, главные проблемы — сняты?
Так отчего ж гремят дебаты
Про обнищание слоёв?

Среди которых, нищий самый —
Слой РУССКИХ! Гряньте ж,
эпиграммы
На их лохмотья, их стограммы,
Их шрамы со времён боёв,

Их слёзы в память той Победы,
На зимней свалке — их «обеда»...
Должно быть, мы сошли с ума;

Для славы, для авторитету —
Считается, что русских нету.
Для оскорблений, для навету —
Считается, что русских — тьма...

2004

Театр и Коринна

В то царство,
О котором речь на деле,
Передо мной ВСЕГДА закрыта дверь.
Но кабы вы меня ОТКРЫТО не задели,
Колпак позорный мне на темя не надели, —
Смолчала бы я и *теперь*.

Не подозрительно ли, мэтр великий,
Что всяк театр без боя вами взят?
Что даже *театральные интриги*
Вам не грозят?

Что всякий зритель терпит вас без жалоб?
Что всякий критик оду вам поёт?
На вашем месте я не ликовала б,
Наоборот!

Любезный мэтр! Великие — страдали.
За рампою, вам не в пример,
Столь полной благодати не видали
Ни Гоцци, ни Мольер!

Но мало вам друзей, богатства и успеха,
И безграничных прав;
Вот и Коринну вы задели ради смеха
(Пусть не назвав).

Зачем? Что вас гнетёт? Какое бремя давит?
На что вам с нищими да с париями спор?
Злорадствуя при всех, что пьес моих
не славят,

Поймите: с давних пор
Завидуют мне! — вот их и не ставят.
А вам не позавидуешь, сеньёр.

15 июня 2004

Толерантность

— Хи-хи! Шпиономания какая!
 Как недоверья в нас дремуч запас! —
 Смеётся он

(шпиона увлекая

Обнюхать всё, что спрятано у нас).

«Чернь! — он рычит, уже как повелитель, —
 Словес таких не допускать до рта,
 Как “диверсант”, “предатель” и “вредитель”!» —
 (И... отворяет недругу врата!)

«Я, — мнётся он, — дружил с убийцей сдуру..

Как тесен мир! — не разойтись двоим...»

«А всё же, — он гремит, — долой цензуру!»

(И... цензором становится твоим!)

Гиене, скунсу, вепрю и грифону
 Гостеприимно дав по микрофону
 («Смелей, гиена! Правду режь, грифон!»),
 «Свободу слова» он ласкает всяко.
 (У всех инакомыслящих, однако,
 На всякий случай вырвав Микрофон!)

Так, антирусских правил учредитель,

Из формы в форму он перетекал —

Наш диверсант, предатель и вредитель.

А мягко говоря — политикан.

(Тот, у кого семь вилл, завод и яхта,
 И есть наш ЦЕНЗОР! — выражайтесь
 МЯГКО!)

1 октября 2004

Непохожесть

Зима подходит. Стало холодно,
 Мосты поскрипывают сваями...
 А я читаю Джека Лондона
 С его Канадой и Гаваями,
 С его каноэ, оморóчками,
 Землепроходцами, индейцами...
 И вижу, вижу между строчками,
 Что мы не в действии. В бездействии.
 Что, по какой-то схеме ханжеской,
 Нас проучили без учебников.
 Что из Москвы, столицы нашенской! —
 Нас вытесняют, как нахлебников.
 Мы терпим от гостей гонение.
 Мы кормим всех, а сами бедствуем.
 Но боссы
 Рассылают мнения,
 Что НЕПОХОЖИХ мы не чествуем!
 Что мы не ценим в них «экзотики».
 Что не стремимся к ним под выстрелы...
 А сами
 Нас под общим зонтиком —
 Всех под одну ермолку выстригли!
 С цветками сами; сами — с бантами —
 Зелёными!.. Протуберанцевыми!..
 А нас — пустили арестантами
 Под серенькими нумерациями.
 Красноречивейшая «знаковость»!
 Рывки, ни с чем не сообразные!
 То — гнали нас за «одинаковость»,
 А то опять — за то, что разные?
 — Так, *были* ж разные?!
 — Нет. Не были.
 Кому куда, а вам — к банальности.

... Мой паспорт
 Переписан набело,
 Да нет уж в нём НАЦИОНАЛЬНОСТИ.
 А нам: Рабы! Молчать! Допляшетесь!
 Что было, то коровой слизано!
Национальность — не про вашу честь
 И не про вас НЕСХОЖЕСТЬ писана!
 Будь вы гостями, будь шахидками,
 Будь ваххабитов недобитками,
 Не будь вы мирные прохожие, —
 Вы тоже (с нашими агитками)
 Могли бы выйти в НЕПОХОЖИЕ!
 И были б у вас рожи — ЛИЧНЫЕ:
 Заморские! Своёобычные!
 Приятные! Своёобразные!
 Не одинаковые, — разные!
 А вы, натуры бледно-палевы, —
 Не с нами в ногу выступали вы:
 Не покорились — вот и здравствуйте;
 Печаль в лице —
 Безродность в паспорте.

...И нас же дразнят
 НЕПОХОЖЕСТЬЮ!
 И нам же хвалят её лакомость!
 Зачем? — у нас одно и то же всё...
 Но, несмотря на «одинаковость»,
 «Шагистика» нам запрещается
 (Иначе вышагнем в дивизию?).
 Жаль: факты — что ослы упрямые,
 И результаты — те же самые,
 Раз в «город Солнца» превращается
 Мир, загнанный в сию коллизию:
 Мы *всё равно* идём шеренгами,
 Да не туда, куда хотели бы.
 С одной и той же вилки

гренками

Нас потчуют в Радиотереме.
У всех одна и та же мельница...
Нас в пудру смалывает мельница,
Мы общим шифром закодированы...

Мне даже в то теперь не верится,
Что есть этнографы правдивые.

Когда народов не останется
(Ни лиц, ни слёз, ни луков прогнутых),
Джек Лондон
И как сакс прославится,
И как последний из этнографов.

1 и 10 октября 2004

Лист шумит, а цветы молчаливы

Весенний дождь поёт, как примус —
На тысячу эпиграмм!
Стекла́ в окне цветная кривость
Ломает каплю пополам.

Долой домашней скуки привязь!
Быстрее — в рощу! Знаю: там
Уже витает по кустам
Благоухающая примесь

Тепла и просыханья... Толпы
Черёмухи — шумят... Заметь:
Благоухать бы им и только,
А им приходится... шуметь?

То листья, — НЕ ЦВЕТЫ шумели;
Цветы и в дождь молчать умели.

1998—2004

* * *

Тёмная зелень
Позднего лета.
Белая зеленоватость
Неба
Смотрится в лиственные прорехи.
 Промахи и орехи
 Дня,
 Гордость и виноватость
 В снах растворились где-то.
Лишнее — пусть пропадает.
Пусть, откипев, самолюбие станет
Даже ещё одиноче.
 Пусть ветерок листает
 Звёздную Книгу Ночи.

2004

Примечания

¹ Аркадия — в античные времена единственная страна на полуострове Пелопоннес (Греция), которой не коснулось дорическое переселение (дорийцы — одно из основных древнегреческих племён; на месте их расселения возникли такие государства, как Спарта, полисы Крита, Аргос и другие, уже отмеченные наличием рабовладельчества). В Аркадии сохранились ее древние обитатели, которые жили в основном скотоводством и земледелием, почти не знали промышленности, искусств (за исключением музыки), наук и пользовались у остальных греков славой гостеприимного и благочестивого народа. Позднейшие поэты изображали Аркадию райской страной невинности, патриархальной простоты и мирного счастья, а «аркадские пастухи» стали предметом особого рода поэзии. Так, самый знаменитый поэт императорского Рима Вергилий (70—19 гг. до н. э.) в своих буколиках (от гр. *bukolikos* — пастушеский) изображал Аркадию сказочной идиллической страной; в эпоху Возрождения итальянский поэт Якопо Саннадзаро (1456—1530) прославился прозометрическим романом «Аркадия», который определил развитие пасторального жанра (идеализированное изображение пастушеской жизни). В переносном смысле Аркадия — страна счастья.

² *Филип Сидни* (1554—1586) — английский поэт, писатель, блиставший при дворе королевы Елизаветы и считавшийся образцом рыцарства. Погиб у голландского города Зутпен во время войны Англии с Испанией. Автор пасторального романа «Аркадия», цикла сонетов «Астрофель и Стелла», а также трактата «Защита поэзии», которые вышли посмертно.

³ *Рамсесит* — египетский фараон, обладатель несметных наследственных сокровищ; герой одноименного стихотворения немецкого поэта Генриха Гейне (1797—1856).

⁴ *Трубадур Жоффруа Рюдель и принцесса Мелисанда* — герои драмы «Принцесса Грёза» французского поэта и драматурга Эдмона Ростана (1868—1918).

⁵ *Джиннистан* — волшебный город добрых фей, упоминаемый в сатирической повести-сказке «Крошка Цахес по прозванию Циннобер» не-

мецкого писателя Эрнста Теодора Амадея Гофмана (1776—1822). Задолго до рождения Цахеса феи переселились в его страну, зная, что ею «правит князь Деметрий, однако никто не замечал, что она управляема, и все были этим весьма довольны. Лица, любящие полную свободу во всех своих начинаниях, красивую местность и мягкий климат, не могли бы избрать себе лучшего жительства, чем в этом княжестве, и потому случилось, что, в числе других, там поселились и прекрасные феи доброго племени, которые, как известно, выше всего ставят тепло и свободу. Их присутствию и можно было приписать, что почти в каждой деревне, а особливо в лесах частенько совершались приятнейшие чудеса и что всякий, плененный восторгом и блаженством, вполне уверовал во всё чудесное и, сам того не ведая, как раз по этой причине был весёлым, а следовательно, и хорошим гражданином. Добрые феи, живя по своей воле, расположились совсем как в Джиннистане...». После смерти Деметрия ему наследовал юный Пафнутий, который «тотчас распорядился отпечатать большими буквами и прибить на всех перекрестках эдикт, гласящий, что с сего часа введено просвещение и каждому вменяется впредь с тем сообразовываться». Начались нелепые притеснения и ограничения, и феи вернулись в Джиннистан. Осталась лишь одна из них — фея Розабельверде, из-за которой и начались все события, связанные с крошкой Цахесом.

⁶ *Клаас* — персонаж из «Легенды об Уленшпигеле» бельгийского писателя Шарля Де Костера (1827—1879), отец главного героя Тили Уленшпигеля; был сожжен на костре как еретик по доносу соседа (старшины рыбаков), позарившегося на его имущество. Тиль носил на груди мешочек с пеплом отца, повторяя: «Пепел Клааса стучит в моё сердце».

⁷ *Жорж Кювье* (1769—1832) — французский зоолог, реконструировал строение многих вымерших животных.

⁸ *Уильям Хогарт* (1697—1764) — английский живописец и график, мастер сатирического бытового жанра (серии картин «Карьера проститутки», «Карьера мота», «Выборы» и др.).

⁹ *Лиза Рагно* — жена кондитера в комедии Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак».

¹⁰ *Геката* — в древнегреческой мифологии богиня призраков, ночных кошмаров, заклинаний, покровительница нечистой силы, повелительница теней в подземном царстве. Считалось, что она носится по перекресткам дорог и среди могил в сопровождении адских псов и ведьм. Изображалась с горящим факелом в руке и со змеями в волосах.

¹¹ *Стеклтон* — персонаж из произведения английского писателя Чарльза Диккенса (1812—1870) «Сверчок на печи».

¹² *Лаокоон* — троянский герой, жрец Аполлона в Трое, прорицатель. Пытался помешать осажденным троянцам втащить в город оставленного греками у его стен деревянного коня (в котором были спрятаны греческие воины). Покровительствующие грекам боги наслали на Лаокоона огромных змей, удушивших его вместе с двумя сыновьями.

¹³ *Кай* — герой сказки «Снежная королева» датского писателя Ханса Кристиана Андерсена (1805—1875).

Петер Мунк — персонаж из сказки «Холодное сердце» немецкого писателя Вильгельма Гауфа (1802—1827).

¹⁴ *Киприда* — одно из прозвищ богини любви Афродиты; производное от острова Кипр, где царил её культ. (Многие прозвища Афродиты связаны с местами ее культа: Киферея, или Цитера — от острова Кифера, или Цитера; Пафия — от города Пафос; Книдия — от города Книд в Малой Азии; Эрикия — от города Эрик на Сицилии.) В Коринфе, где богиня любви особенно почиталась, жрицы Киприды, жившие при храме, несли служение своей богине тем, что отдавались за деньги.

¹⁵ *Эжен-Сюрреализм* — от имени французского писателя Эжена Сю (1804—1857), автора романа «Парижские тайны», изображавшего людей парижского «дна».

¹⁶ *Рип ван Винкль* — герой одноимённой новеллы американского писателя Вашингтона Ирвинга (1783—1859). Отведав тайком напитка забвения, принятого за водку, Рип ван Винкль проспал 20 лет, а проснувшись, не узнал родные места.

¹⁷ *Полигимния* (с гр. — богатая гимнами) — одна из девяти муз, покровительница гимнов (первоначально, подобно Терпсихоре, считалась покровительницей танцев, а также пантомимы).

¹⁸ *Немезида* (от гр. — дочь Никты, то есть Ночи) — одна из самых древних и почитаемых греческих богинь, карающая за нарушение установленного порядка вещей: как за излишнее счастье, так и за чрезмерную гордыню; со временем стала считаться богиней возмездия. Изображалась в виде задумчивой, сильной женщины; её атрибуты — весы, уздечка, меч, плетень, крылья, колесница, запряженная драконами, что символизировало равновесие, контроль, наказание, быстроту.

¹⁹ *Ясон (Язон)* — в древнегреческой мифологии сын царя Иолка — Эсона, предводитель аргонавтов. Собранные Ясоном со всей Греции герои отправились с ним на корабле «Арго» (отсюда название «аргонавты») в Колхиду, чтобы вернуть в Иолк золотое руно. С помощью дочери царя Колхиды волшебницы Медеи руно было ими похищено. Ясон женился на Мееде и увез ее в Иолк. Однако из-за злого волшебства Медеи они были оттуда изгнаны и поселились в Коринфе у царя Креонта. Через десять лет Ясон решил жениться на дочери Креонта Главке. Медея послала в дар новобрачной отравленное одеяние (отчего та умерла в страшных мучениях), убила двух своих малолетних сыновей от Ясона и унеслась на колеснице, запряженной драконами. Ясон покончил жизнь самоубийством (по иному мифологическому варианту погиб под обломками обветшавшего и внезапно рухнувшего корабля «Арго», когда зашел в его тени).

²⁰ *Джоб Троттер, Сэм Уэллер* — персонажи из романа Чарльза Диккенса «Посмертные записки Пиквикского клуба».

²¹ *Богиня Кали* — в индуизме одна из многочисленных жён бога Шивы, несущая энергию кровопролития, мора, убийства, смерти.

Джагернаут — в индуистской мифологии бог разрушения.

²² *Кристофер Марло* (1564—1593) — английский драматург, автор трагедий богоборческой направленности «Тамерлан Великий», «Трагическая история доктора Фауста»; предполагаемый соавтор Шекспира в нескольких ранних пьесах.

²³ *Тирсо де Молина* (настоящее имя Габриель Тельсе) (ок. 1583—1648) — испанский драматург, его пьеса «Севильский озорник, или Каменный гость» — первая драматургическая обработка легенды о Дон Жуане.

²⁴ «Охотники на снегу» — картина нидерландского живописца Питера Брейгеля Старшего (между 1525 и 1530—1569).

²⁵ *Уильям Сидни Портер* — настоящее имя американского писателя О. Генри (1862—1910).

²⁶ *Мисс Токс, мистер Домби* — персонажи романа Чарльза Диккенса «Домби и сын».

²⁷ *Эми Доррит* — героиня романа Чарльза Диккенса «Крошка Доррит».

²⁸ «Городок в табакерке» — сказка русского писателя и музыкального критика Владимира Фёдоровича Одоевского (1803/1804—1869).

²⁹ Альраун — немецкое название мандрагоры — растение, с которым связано много страшных поверий; атрибут волшебницы Цирцеи, с помощью которого она превращала людей в свиней; растение ведьм. Так называли крошку Цахеса из одноимённой гофмановской сказки за его злоещее уродство.

³⁰ Каптенармус (от слов «капитан» и «армия») — должностное лицо, ведавшее в царской, а затем в Советской армии (до 1950-х) хранением и выдачей продовольствия, обмундирования и оружия.

³¹ «Дар Изоры» — яд, которым Сальери отравил Моцарта в трагедии Александра Сергеевича Пушкина (1799—1837) «Моцарт и Сальери» («Вот яд, последний дар моей Изоры. / Осьмнадцать лет ношу его с собою...<...> Теперь — пора! заветный дар любви, / Переходи сегодня в чашу дружбы»).

³² *Гертруда* — королева Датская, мать Гамлета из одноимённой трагедии английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира (1564—1616), выпившая отравленное вино. «Не пей, Гертруда!» — предостерегающий возглас ее мужа короля Датского Клавдия, который предназначал этот смертельный напиток для принца Гамлета.

Содержание

<i>Геннадий Красников. И одна в поле воин...</i>	5
--	---

МЯЧ, ОСТАВШИЙСЯ В НЕБЕ

Аркадские пастухи	26
Восстановить в памяти.....	48
Мулёля и другие	71
Тысячвёрстый путь	98
Из песни слова не выкинешь	122
Над омутом лóзы	131
Непобедимый стих	156

ПЕСНЯ ПЕВЦА ЗА СЦЕНОЙ

Пастушеский дневник. 1954 год	194
Дама-бродяга. Повесть	216
Алиса в Закулисье	255

ИМЕНЕМ КОРОЛЯ!..

«Именем короля!..»	262
Мысли о Ростане	265
Опыт грёз	273
Сюжеты на манжетах	279
Страшный кондитер	312
Почему у нас гениев нет?	321
Сонет, не презирай поэта!	325
Песня была всегда!	334
Вернитесь, аисты!	348
Не скучно ли на тёмной дороге?	353

ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Стихи

ПРОЛОГ

Елизавета и Шекспир	356
Стратфордский двойник	356
Гимн чердакам	357
Дух-постановщик	358
Великая роль	358
Великий актёр — Шекспир	359
Тот век... ..	360

Божественные скорлупки	360
«Восток, прошедший через воображение...»	361
Человек из патефона	362
Мечтание города	362
Цветок зла	363
Мне кажется...	364
Знали, да забыли!	364
«Вышел из народа...»	365
Есть гениальность ночи...	365
«Когда моя, порой размашистая, речь...»	366
Новогоднее	367
Предзвук	367

СТИХИ 1953—2004 годов

Рембрандт	369
«Всё сказано на свете...»	371
Выселение из вселенной	374
Три ответа	378
Зима	381
«Не сам сонет растаял в блеске лунном...»	383
«Дворник листья неохотно ворошит...»	384
Жду снега	385
«— Как ты можешь воспевать эвкалипты...»	386
Попугай	387
Песня	
I. Как сложилась песня...	388
II. Музыка	388
III. Натюрморт	388
Какой большой ветер!	389
Кораблик	391
Страна Дельфиния	393
Дома без крыш	395
Пожарный	397
Ах, как долго едем!	398
Цыганка	399
Горизонт	401
Караван	403
Братья-капитаны	405
Следы	407
Художники	409
Шарманщик	410
Девушка из харчевни	412
Душа вещей	414
Бобры	415
«Баклажаны бока отлежали...»	416

Галчонок	417
«Прошел, прошел, осыпался Новый год...»	418
Природа поэзии	419
«Не пиши, не пиши, не печатай...»	420
Плакальщица	421
Аргус	
1. «Глупцы, пускаясь в авантюру...»	422
2. На поэта, пинающего собаку	422
3. «Если в сочинительстве любом...»	423
4. Обратное превращение	423
5. «Поэзия должна быть глуповата...»	424
6. Аргус	424
Питер Брейгель Старший	425
«Поворотилась на тихой оси планета...»	434
Пушкин	435
Россия	436
Раскрепощённость	438
Генрих Гейне	439
Война воды и леса	440
Трясогузка	443
Иней	444
Веселье живописи	
I. Стратотерпцы	445
II. Видение	445
III. Лоза вдали	446
«Творил Рембо, как гений с гордым лбом...»	447
Мой Бодлер	448
Конец авантюризма	
I. Сумерки грехов	449
II. Крах авантюризма	449
Трюизмы	451
Подпись за мир	452
Сороковые годы	454
Народ	457
«Кудри, подъятые ветром...»	458
Мечта о недруге	460
Ошибки зависти	461
Ласточкина школа	462
Рожь	465
Скворушка	466
Отражения	467
Следопыт	469
Баллада круга	474
Луна	476
Закат	477
Синее море	479

Река	480
Поэты	482
Старинный бродяга	485
Пёстрый ларчик	
Вечный закон	487
«Скупой берёт за всё: за чувство раздраженья...»	487
Плагииатор	487
«Мудрец вопросы миру задаёт...»	487
«С холодностью снегов мы чистоту связуем...»	487
«Сто тысяч лет подряд погонщик бил осла...»	487
«Шалуны Языка, ослепительные пустомели...»	488
«Что есть Истина?» — голос раздался в ночных небесах...» ..	488
«Есть, есть разрыв — ручаюсь головой!...»	488
«— Чего тебе, тоскливое создание?...»	488
А меня осенило!	488
«Какие ни имей жестянички недостатки...»	488
«Поэт не о себе скорбит. Как ни тяжка...»	488
«В дыму интриг, убийств и зуботычин...»	489
«Когда заносчивость припишут вам лукаво...»	489
«Не верь, что постоянство приедается...»	489
Небольшое уточнение	489
Преемственность	490
«Бесчинства объясняются войной...»	490
Жорж Санд	491
Кино	492
Стихотерапия	496
Моё отношение	500
Тёмные стороны блеска	504
Премудрая мышь	508
Круги чтения	510
Хиппиоты	511
«Кто в романтику жизни не верит...»	515
Адам и Ева	516
Закон песен	517
О юморе	519
Полёт летних дней	521
Язык детства	522
На чествование сонета	524
«В долгах мы. Как Сервантес! В виде шутки...»	525
Личность под тентом	526
Сквер в переулке	527
Песенка про китовый ус	529
На исчезновение буквы «ё» из русского алфавита	532
Никарагуа	533
«Звёздный отблеск на оконных стёклах...»	536
Ставрогин и дети	537

Эккерману	538
Марианне Мур	540
«Быки» и «Юпитеры»	541
«Один за всех», или «Все за одного»?	542
Каюр	543
Ураган без ветра	544
Я слышу... ..	545
Воспоминание	547
Есть комики с душой... ..	548
В полношный шаг	549
Покажись! Или «Нечто» и «нешто»... ..	550
Вечер с бузиной	551
Сибирь	552
Рисунки для чайного сервиза, или Обиженный пастушок	553
Сонет в защиту Марианны	555
Стансы	556
Пушкин и Вольтер	558
Исповедь «мимозы»	562
Честертон	564
Жёлудь	565
Святочная фантазия	567
Губернаторство Санчо на острове	569
Родина	570
Такое впечатленье	572
Лермонтов	574
Золотое сечение	
1. Золотое сечение	575
2. Учёный муж	575
3. Стакан философа	575
4. Не подходи!	576
5. Современная логика на полном серьёзе!	576
6. Чувство меры	576
7. Искусство дружбы	577
8. Не горюй!	578
9. Премия	578
10. Кому судьба... ..	578
11. Здравствуйте, господин учитель!	579
12. Жалоба	579
Посвящение	581
Памяти Янины Дегутите	582
Спасибо за осень!	584
Гимн детективу	586
Просперо	
Господи помилуй!	590
Происхождение басен	590
Путаники	591

Страшная месть	592
Сонет на странное обсуждение и даже... осуждение (!) самих портретов Шекспира	592
К неудачным портретам Шекспира	593
Сказка за сказкой и неувязка за неувязкой!	594
Италия — и далее!..	594
Двойные стандарты	595
«Классическому гению за то, что...»	596
«В инкогнитах, почти всегдашних...»	596
Италия и Шекспир	597
На сказку Гофмана «Золотой горшок»	598
Старинному критику	600
Ислам	601
Его мотивы	603
Пиршество	604
На приватизацию русского леса	606
Неслышимая сирена	608
Троянская конница	
I. Министерский уровень — 2003	609
II. Заговор обречённых	609
III. Гнев телезрителя	610
IV. Троянская конница	611
БАСНИ	
Стрекоза и Муравей	614
Снова Кот и Повар	614
Кукушка и Петух	615
Там же и те же	616
Оскомина	616
Штормовое предупреждение	618
Насчёт «новых русских»	620
Театр и Коринна	623
Толерантность	624
Непохожесть	625
Лист шумит, а цветы молчаливы	628
«Тёмная зелень...»	629
Примечания	630

Матвеева Н. Н.

М 33 Мяч, оставшийся в небе: Автобиографическая проза. Стихи / Сост., авт. вступ. ст. Г. Н. Красников. — М.: Молодая гвардия, 2006. — 639 [1] с.: ил. — (Библиотека мемуаров: Близкое прошлое; Вып. 20).

ISBN 5-235-02859-7

Новую книгу известной поэтессы Новеллы Матвеевой составляют ее воспоминания, эссе и лучшие стихотворения, что закономерно, поскольку ее проза неотделима от ее поэзии. От светлых романтических стихов Н. Матвеевой были в восторге К. Чуковский, С. Маршак, Л. Утёсов. Многим известно обаяние ее знаменитых песен «Какой большой ветер...», «Цыганка-молдаванка», «Мой караван шагал через пустыню...», «Девушка из харчевни», «Ах, как долго, долго едем...», «Платок вышивая цветной...» и др. Любители поэзии знают, с каким совершенством владеет Матвеева иронией, как остроумны и опасны ее эпиграммы, памфлеты, политические инвективы. А ее сатира и публицистика — вызов всем мировым и отечественным негодям и подлецам, клеветникам России. Воспоминания поэтессы можно определить ее же словами как «личный эпос». В этом эпосе — отблески мировой культуры, на которой она выросла. Так, в книге есть блестящее эссе-свидение «Опыт грёз» о разгадке убийства Кристофера Марло, на других лежит золотой отблеск художественного опыта Гофмана, Кафки... Повествование «Мяч, оставшийся в небе», посвящённое «утреннему свету детства», наполнено той красотой и таинственностью, детской доверчивостью к миру, которые остаются в памяти от чтения лучших страниц о детстве С. Аксакова, Л. Толстого...

УДК 821.161.1-94
ББК 83.3(Рос=Рус)6

ISBN 5-235-02859-7



9 785235 028593 >

Матвеева Новелла Николаевна
МЯЧ, ОСТАВШИЙСЯ В НЕБЕ

Главный редактор **А. В. Петров**
Редактор **Л. С. Калужная**
Художественный редактор **И. И. Суслов**
Технические редакторы **В. В. Пилкова, Н. А. Тихонова**
Корректоры **Т. И. Малюренко, Г. А. Мещерякова,**
Г. В. Платова, Т. В. Рахманина

Лицензия ЛР № 040224 от 02.06.97 г.

Сдано в набор 06.09.2005. Подписано в печать 05.04.2006. Формат 84×108/32. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. Гарнитура «Таймс». Усл. печ. л. 33,6+1,68 вкл. Тираж 3000 экз. Заказ 54298.

Издательство АО «Молодая гвардия». Адрес издательства: 127994, Москва, Сушевская ул., 21. Internet:<http://mg.gvardiya.ru/> E-mail:dsel@gvardiya.ru

Типография АО «Молодая гвардия». Адрес типографии: 127994, Москва, Сушевская ул., 21.

ISBN 5-235-02859-7

Новела Матвеева

Мяч,
оставшийся в небе



...До чего же безотказно загорается, чернеет и скручивается любая бумага!.. Иное дело — плохие рукописи. Вот эти действительно в огне не горят и в воде не тонут!.. Ничего не делается и полномочным их кровным родичам; плохие статуи не разбиваются, плохие картины не вспарываются, плохие (поддельные) самоцветы не разворовываются...

Бог Судья — судьям самозванным. Но я-то считаю так: расстраивает? — значит, не искусство; руки у людей опускаются? — значит, не искусство. Радует? — значит, искусство. Древние греки ведь не зря «придумали», а лучше сказать, выстрадали, катарсис: очищение то есть, а не мутные разводы тоски...

И всё же слухи о каких-то моих панических «бегствах от действительности» в идеализм, в инфантилизм, в сентиментализм, в идиотизм, в блаженство рассудка и вообще в какие-то Елисейские Поля восторженного слабоумия — все эти слухи несколько преувеличены. Мне, конечно, жаль, что я произвожу такое впечатление... Жаль, что и само слово «романтик» в устах сегодняшнего человека стало звучать, как «дурак»! Хотя мне бесконечно легко попасть под эту категорию вместе с такими людьми, как Вальтер Скотт, Гюго и, скажем, Шарлотта Бронте...

Парусник работает на ветру, паровоз — на пару, экспресс — на электричестве, прогресс — на пощёчинах, раздаваемых пошлякам (все задержки за тем, что пощёчин мало, а пошляков много)...